

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

9



1970

1970

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVI

№ 9

Сентябрь, 1970 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАКСИМ ТАНК. Новые стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	3
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ. О главном, стихотворение	6
БОРИС ВАСИЛЬЕВ. Иванов катер, повесть. Окончание	7
ЕФИМ ДОРОШ. Пятнадцать лет спустя. Деревенский дневник. 1967	39
И. ИСАКОВ. Каспий, 1920 год. Из дневника командира «Деятельного». Окончание	74
Американская поэзия протеста, стихи. Перевели с английского Петр Вегин, Валерий Минушин, Ю. Школенко	102
ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ. Мои позывные — РАЕМ	110

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ВОЛКОВ. «Работа на себя»	156
------------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К. ГРИГОРЬЕВ. Б. ХАНДРОС. Эммануил Казакевич и генерал Выдриган (История одной переписки)	168
---	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Л. ЧЕРНАЯ. Три биографии Вернера фон Брауна	188
--	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

Л. АННИНСКИЙ. Сбывшееся предчувствие. Из опыта советского кино	194
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. КУЗЬМЕНКО. Человек творящий. Статья первая	219
И. ПИТЛЯР. «Ты — репортер жизни...» (К 100-летию со дня рождения А. И. Куприна)	248
С. ФРЕЙЛИХ. «Несказанное, синее, нежное...» (Этюды о Сергее Есенине)	256

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Ал. Михайлов. Подвиг века.— Р. Орлова. Сабурбия.— Эдуард Бабаев. Рассказы романиста.	260
<i>Политика и наука</i>	
И. Матюшина. Комментарий к ленинской статье.— С. Долецкий. Мысли, которые рождает книга доктора Спока.	272
КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Павлова. — Нора Аргунова. Песенка Савояра. ♦ А. Майкапар. — А. Б. Гольденвейзер. Статьи, материалы, воспоминания. ♦ В. Портнов. — Поль Верлен. Лирика. ♦ Ал. Гринберг. — Осип Пятницкий. Избранные воспоминания и статьи	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МАКСИМ ТАНК

★

НОВЫЕ СТИХИ

С белорусского

* * *

Пожалуй, ни одна из королевских династий
Не может соперничать в долговечности
С тем бессмертным мужицким родом,
Чей трон состоял из простого лемеха,
Подпертого косою и серпом,
Топором и навозными вилами.

Пожалуй, ни одна история
Коронованной фамилии
Не может соперничать с летописью
Моей мужицкой династии.
Ее строки начертаны головешками
Сожженных помещицких имений,
Стиснутыми кулаками,
Тяжелыми, как гнев.
Ее авторы, не зная грамоты,
Вместо подписей поставили крестики.

Палачи вырывали не раз
Страницы из этой летописи,
Перечеркивали историю рода
Плетьми и штыками,
Но строки ее,
Словно кровь сквозь бинты,
Проступают сквозь борозды пашни,
Сквозь мои бессонные песни.

* * *

На весах озер
Взвешиваются рыбацьи лодки,
Перелетные облака
И птицы.

На чашу озера Мястра
 Легла грозовая туча.
 И оно слегка опустилось.
 Потом на озеро Нарочь
 Легла чеканная тень
 Партизанского обелиска.
 И она перевесила.

Так постоянно качаются чаши озер
 Под радугами и тучами,
 Под звездами и солнцем.

Сколько раз на этих весах,
 Безошибочных и чутких,
 Взвешивались —
 Мое сердце,
 Мои мысли,
 Мои строки.

* * *

Эта земля
 Ничем не балует.

Когда поедете по нашим местам,
 Передние колеса
 Могут захлебнуться болотом,
 Задние — поперхнуться песком.

Когда начнете пахать,
 Плуг может извлечь из почвы
 Замшелый валун
 Или гром позабытой мины.

Если захотите поставить дом
 И станете валить строевые сосны,
 Ваш топор будет в зазубринах
 От пуль, засевших в каждом стволе.

Глядя со стороны,
 Трудно, пожалуй, понять,
 Отчего, прощаясь, каждый из нас
 Берет с собой горстку
 Тревожной этой земли.

ОПТИМИЗМ

Я прочитал предания
 О сотворении света
 И пророчества
 О его конце.
 Невесело стало.
 Но я вспомнил,
 Что в школе нас учили:
 «Материя пребудет вечно».

Кажется, я на пятерку
Сдал этот самый урок.
Но я и сегодня
Не перестаю
Удивляться вечности.

Идя на работу,
Я на всякий случай скупаю
В магазине игрушек
Для знакомых малышей
Всевозможные кубики,
Складной алфавит,
Сборный конструктор —
Всё, из чего ребята,
Наделенные пылкой фантазией,
Если понадобится,
Всегда сумеют
Сотворить удивительный мир
Не хуже нашего.

* * *

Откуда в тебе столько радости,
Что и я начинаю смеяться?

Откуда в тебе столько грусти,
Что и я впадаю в отчаяние?

Откуда в тебе столько света,
Что я и в ночи тебя вижу?

Откуда в тебе столько мрака,
Что и днем, как слепой, блуждаю?

Перевел Яков Хелемский.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

О ГЛАВНОМ

Не будет ничего тошнее,
Живи еще хоть сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.

Стою в намокшей плащ-палатке,
Надвинув каску на глаза,
Ругая всласть и без оглядки
Все то, что можно и нельзя.

Сегодня лопнуло терпенье,
Осточертел проклятый дождь,—
Пока поднимут в наступленье,
До ручки, кажется, дойдешь.

Ведь как-никак мы в сорок пятом,
Победа — вот она! Видна!
Выходит срок служить солдатам,
А лишь окончится война,
Тогда — то, главное, случится!..

И мне, мальчишке, невдомек,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.

Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.



БОРИС ВАСИЛЬЕВ

★

ИВАНОВ КАТЕР*

Повесть

В Никифорова дома Иван остановился. Переложил кулек с конфетами в левую руку, правой долго вытирал мокрый лоб: никак не мог решиться постучать в эту до трещинок знакомую дверь.

— Можно, хозяева? — ненатурально бодро крикнул он, заглянув в маленькие темные сени.

В доме было тихо. Иван прошел внутрь, нащупал вторую дверь — в комнаты, — постучал. Опять никто не ответил, и он открыл эту дверь, и еще раз — все так же бодро — спросил:

— Можно, что ли?

— Кто? — спросили из-за перегородки.

— Я, Бурлаков.

Иван прикрыл дверь и старательно вытирал ноги. Он узнал по голосу Федора, хотя голос этот и показался ему странно приглушенным. Федор больше ничего не говорил, и Иван все тер и тер подошвы о старый, грязный половик. С печи, не мигая, смотрели четыре глаза: старики, не шевелясь, сидели там и молчали, как сычи.

— Ну, входи, раз пришел, — с неудовольствием сказал Федор. — Чего ты там?

Иван поздоровался со стариками, но они не ответили. Он прошел в комнату: Федор полусидел на кровати, обложенный подушками. На коленях у него лежал лист фанеры, а на нем — пузырек с клеем и стопка исписанных ученических тетрадей. Сбоку, у стены, спал ребенок.

— Здравствуй, — угрюмо сказал Федор. — Ну, что скажешь?

— Да вот... — Иван растерянно развел руками. — Навестить решил. Детишкам гостинца...

— Гостинец?.. — Глаза Федора странно блеснули, он даже приподнялся на локтях, стараясь рассмотреть, что именно положил Иван на стол. — А мне гостинца не захватил? Нет?

— Ты что это, Федя? — с испугом спросил Иван. — Что, худо? Ты лежи, лежи...

— Восемь пудов поднимал, — задумчиво и спокойно перебил Федор. — Восемь пудов. А теперь — вот!.. — Он подкинул в воздух исписанные фиолетовыми каракулями листы. — Вот, видал? Кульки клею. Копейка — кулек. Кто виноват, а? Молчишь?.. За славой все гнался. Получил славу? Тебе, хромому черту, хорошо: ты один, здоров, как бык. А у меня — семь ртов. А я — кульки клею. Кулечки — малину прода-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

вать. Заработок — ровно на «Байкал». И то спасибо, свояк помог. Все занятие, артель «напрасный труд»...

В сенях хлопнула дверь. Федор рванулся.

— Кто?

— Да я, я, господи,— устало и безразлично сказала Паша. Вошла в комнату, увидела Ивана, качнулась, прислонилась к косяку и тихо сказала — Здравствуйте, Иван Трофимыч...

— Принесла? — заглушив Иванов ответ, нетерпеливо спросил Федор.

— Принесла,— сказала Паша и достала из кошелки четвертинку.— Вот, Иван Трофимыч, все, что даете мне, на водку уходит. Каждый день требует. Каждый божий день...

Она опустила на стул, все еще держа четвертинку в руке.

— Ну?.. Давай, ну?..— зло и беспокойно закричал Федор.

— А что делать, а? — тихо продолжала Паша, не обратив на него внимания.— Ведь криком кричит от боли, исходит весь. А выпьет — вроде легче.

— Яд ведь,— сказал Иван.— Губишь ведь, Прасковья, опомнись.

— Знаю,— покорно согласилась она.— Врач специально предупредил: ни капли.

— Ну, давай, чего болтаешь?..— грубо закричал Федор.

— Зачем же ты... — начал Иван.

— А что делать? — опять спросила она.— Вы крики его послушайте, хоть раз послушайте. Ведь Ольку уже напугал: плачет она ночами, дергается. Ну, что делать, Иван Трофимыч, ну хоть посоветуйте...

— Давай, зараза!..— крикнул Федор.— Давай, а то такой концерт устрою...

Иван шагнул к столу, взял из рук Паши бутылку, все до капли вылил в большую эмалированную кружку.

— На!..— Он резко сунул кружку Федору.— Пей!.. Ну?..

Федор взял кружку, но пить не стал. Глядел исподлобья: кружка дрожала в руке, водка выплескивалась на детские тетради.

— А ведь был мужик,— тихо продолжал Иван.— Восемь пудов поднимал. Характер имел.

— Раздавило меня...— опустив голову, сказал Федор.— Как червя, раздавило...

— Гляди, до чего семью довел, гляди, глаза не прячь!.. Старики на печке шевельнуться боятся, девчонка по ночам плачет, Паша — теңь одна осталась. А ты все куражишься, Федор, все ломаешься, безобразничаешь...— Он закурил, отошел к окну. Крикнул, не оглядываясь: — Ну пей, чего дрожишь? Пей при госте один, если уж и мужика в тебе не осталось!..

Тишина стояла в доме. Ворохнулся на кровати ребенок, почмокал сладко губами и зatih. У стола плакала Паша, а Федор не поднимал головы.

— Паша, слышь-ко,— вдруг тихо сказал он.— Ты, это... Ты рюмки бы подата, что ли...

— Федя!..— выкрикнула Паша и, рухнув к ногам мужа, судорожно обняла их.— Федя! Феденька!..

Федор гладил ее по голове и, шмыгая носом, отворачивался: не хотел, чтобы видели слезы.

— Ну, что ты? Ну, Паша? Ну, неудобно: гость пришел, а ты... Дайка нам рюмочки лучше. Рюмочки, огурчика...

— Сейчас. Феденька, сейчас,— с торопливой готовностью сказала Паша, вставая.

Всхлипывая и ладонями вытирая слезы, прошла на кухню. Иван

молчал. Федор повозился, то ли устраиваясь поудобнее, то ли от смущения. Сказал:

— Не сердись, Трофимыч. Не выдержал. Жалко себя стало, силы своей...— Он помолчал.— Ты знаешь... Знаешь, в суд я подал.

— Знаю.

— Ну, вот...— Федор вздохнул.— Затаскают тебя, поди.

— Меня-то ладно.— Иван потушил окурок, вернулся к Федору.— Меня-то ладно, Федя. Тут хуже дело получается. Так получается, что работяг ты премии лишишь. Квартальной премии. А ведь они-то ни в чем перед тобой не виноваты.

— Как?

— На первое место по району вышли. А если суд, то, сам понимаешь, срежут. Знамя-то еще, может, оставят, а премию...

Вошла Паша, принесла две рюмки, тарелку с огурцами.

Мужчины молча чокнулись, несколько торжественно выпили. Федор сунул в рот огурец, сказал деловито:

— Надо, Паша, к Ефиму Лазаревичу сходить и забрать назад то заявление.

Паша молча посмотрела на Ивана.

— Это свояк нам затмение устроил,— виновато улыбнулся Федор.— Хорошо, до позора дело не дошло. Сходишь, Паша?

— Схожу.

— Ну, молодец,— с облегчением вздохнул Федор.— Умница ты у меня и душа добрая. Будь здоров, капитан, и не сердись: тошно мне, знаешь...

И вновь Иван уходил со смятением в душе. Шел, глядя под ноги, не узнавая встречных, пытаюсь понять, не слишком ли дорогой ценой заплатил он, не пустив в Волгу прорвавшийся лес. Ни до чего он так и не додумался, но твердо понял, что не успокоится, пока хоть маломальски не наладит Никифоровым жизнь...

«Волгарь» по-прежнему бегал по затону, но Иван, занявшись делами Федора, меньше бывал на катере, и Сергей один мотался из конца в конец. Намотившись за день, вечером аккуратно шел на занятия: кажется, ему даже нравилась эта непомерная нагрузка. Он был общительнее Ивана, быстрее сходился с людьми, и вскоре само собой получилось, что его фамилия стала чаще упоминаться на летучках, чем фамилия законного капитана «Волгаря».

В субботу Иван побежал в местком: Пронин тянул с решением о суде. С утра катер нарядили тащить воз, и Еленка решила устроить генеральную приборку. Долго мыла кубрик, выколачивала на корме сдеяла, морила клопов, которые нет-нет да и появлялись на катере. Сергей посмеивался:

— Смотри до дыр не промой!

Еленка сухо глянула — они почти не разговаривали — и принялась за трап. Выскребла каждую ступеньку, начала протирать перила и вдруг остановилась: на перилах химическим карандашом были выписаны три имени: «ЛЮСЯ, КЛАВА, ВАЛЯ». Еленка хорошо знала этих девчонок — молоденьких кубометристок с запани. Знала и молву, которая ходила по поселку о трех подружках, зазывно голосивших двусмысленные частушки субботними вечерами. Глянула снизу на широкую спину Сергея, ссутуленную над штурвалом, усмехнулась и перенесла тряпку повыше.

В воскресенье Иван надел выходной костюм, сказал, ни к кому не обращаясь:

— К Сашку схожу.

Полез наверх, налегая на поручни. Сергей догнал его уже на палубе:

— Когда вернешься?

— А когда надо?

— Догадлив ты, капитан,— заулыбался Сергей.— Ну, часам к семи, думаю.

Иван коротко кивнул и похромал к носу. Сергей последил, как неуклюже перебирался он на затопленную баржу, как, сильно раскачиваясь, шагал к лестнице, ведущей в поселок: по тропинке он больше уже не поднимался.

Еленка убирала со стола. Сергей помолчал, прикидывая, как начать разговор: отношения были сложными.

— Как день провести думаешь?

— Мешаю, что ли? — не оглядываясь, спросила она.

— Почему мешаешь? Наоборот, предложение имею.— Он замолчал, но она продолжала так же медленно, старательно вытирать стол.— Поедем на острова?

— Вдвоем?

— Шестеро поедем. Компанией.

— Лишняя я в вашей компании.— Еленка прошла в свой закуток, грохнула кастрюлями.

— Глупая.— Он вдруг шагнул, крепко обнял. Она рванулась, но он не отпустил. Зашептал в ухо: — Разве тебя забудешь?

— Пусти.— Она мягко высвободилась.— Не надо. Прошу тебя. Пожалуйста.

В тоне ее было что-то такое, что он сразу перестал настаивать.

— С радостью бы с тобой вдвоем на острова уехал, но — договорился, неудобно. В одиннадцать ребята из рыбнадзора придут. А потом за девчонками заедем. Ну, гуляют ребята с ними, ну, как тут отвертись?..— Он помолчал.— Поедем?

— Было бы куда уйти, Сережа,— ушла бы, не оглядываясь...

Гости прибыли точно. Красный, конопатый капитан катера рыбоохраны нес заботливо упакованную от посторонних глаз выпивку и авоську отборных, еще живых лещей. Быстрый, цыганистого вида инспектор притащил завернутый в мешковину предмет:

— Тебе, Сергей.

Сергей развернул: это была новая сеть с крестовиной и растяжками: люлька. Мелкоячеистая, почти на три метра.

— Ну, теперь с рыбой будем! — радостно сказал Сергей.— Теперь — порядок!

Девчонок было двое: Люся и Клава. Худенькая, с лисьим личиком и тонкими, как палки, ногами Люся с визгом бросилась на шею краснорожему здоровяку-капитану. Сонная, круглая, как арбуз, Клава держалась степенно: подала каждому руку, покивала и уселась на моторный люк, подобрав толстые губы.

Сергей гнал катер к островам, мужчины держались в рубке: были они женатыми, и хоть семьи их жили далеко отсюда, все же побаивались молвы.

У дальнего островка Сергей причалил. Мужчины развели костер на мягком, прогретом солнцем песке. Потом дружно, в шесть ножей чистили рыбу.

За обедом мужчины поили девушек портвейном, много было шуток и смеха. Еленка совсем было оттаяла, но тут угрюмый инспектор начал скучно тискать равнодушную Клаву. Рыжий захохотал, хлопнул вертящую Люську:

— Гуляем девки!..

Сергей по-хозяйски потянулся к Еленке, но она резко вскочила,

отбила руку и, спрятав глаза, кинулась на катер. Прикрыла дверь, спустилась в кубрик и вдруг расплакалась, упав на диван.

Когда успокоилась, голосов уже не было слышно: гости то ли дремали, загорая на песке, то ли ушли в глубь острова. Еленка напряженно прислушивалась, пытаясь угадать, где они сейчас, но в кубрик доносился только плеск воды, шуршащий пережат камыша да резкие крики чаек. Потом грохнули по палубе шаги, и на трапе показался Сергей: он нес бутылку вина и тарелку с конфетами.

— Подлизываться пришел,— улыбнулся он.

— Где они?

— Гуляют,— он хохотнул, не удержавшись.— Природа, Еленка, своего требует.

— Женатые ведь.

— А что им, убудет, что ли?

— И ты таким будешь, когда женишься?

— Я-то? — Сергей налил вина, хлебнул.— Это смотря на ком же-нюсь. Если муж налево свернул, так в том, Еленка, жена виновата.

— Жена всегда виновата.

— Ну, не скажи. Вот у меня кореш в Саратове...— Он вдруг замолчал; точно вспомнив что-то.— А ты чего не пьешь? Веселей гляди, матрос! Чего там, мир ведь, а?

А глаза никак не хотели улыбаться. Холодные и колючие, жили они отдельно от него — шумного, подчеркнуто веселого.

— Фальшивый ты.— Еленка вздохнула.— Ох, какой же ты фальшивый!

— Ну, что там — фальшивый, фальшивый. Какой есть...

Гости вернулись к ужину: усталые, равнодушные, далекие друг от друга. Мужчины держались особняком: капитан усердно скоблил толстую можжевелину с хитро загнутым корнем; инспектор лег в тень, прикрывшись от мух рубахой. Сергей помогал женщинам с готовкой, таинственно подмигивал, ухмылялся. Еленка злилась, но молчала. Улыбалась, пряча злые глаза, все снесла и выпросила-таки крепкую можжевеловую палку.

— Это — вам,— сказала она Ивану вечером, когда они остались одни в кубрике.— Не знаю, может, коротка.

Иван взял палку, примерил:

— В самый раз.

Равнодушно поставил в угол, начал стелить постель.

— Вы простите меня, Иван Трофимыч,— еле слышно сказала Еленка.

На секунду он замер, завяз в рубахе. Сказал глухо:

— Ты бы вышла. Раздеваюсь я.

Еленка качнулась, прижала руки к груди. Спотыкаясь, взбежала по трапу.

Иван лег к стене, закрыл глаза. Может, надо было шагнуть к Еленке, шагнуть и обнять, и все бы вернулось, но он сразу же прогнал эту мысль.

Он отрезал Еленку, отрезал по самому сердцу. Нет, совсем не за то, что она в запальчивости наврала ему, не за ложь — за правду: она просто жалела его.

Утром встал с глухой, уже привычной головной болью. Поднялся на палубу: на корме Сергей собирал новую люльку. Иван тупо посмотрел на широко раскинутую сеть:

— Что это?

— Подарок.— горделиво улыбнулся Сергей.— Кончилась наша кустарщина, капитан.

— Закона не знаешь?

— Законы, капитан, для дураков пишут. Для дураков да для судей, когда эти дураки попадаются.

Иван метнулся в кубрик. Выскочил оттуда, молча отстранил Сергея и полоснул по сети остро отточенным ножом.

— Ты что?

— А я — дурак, — запинаясь от ярости, сказал Иван. — Тот дурак, для которого законы пишут.

И опять широко, уже не примериваясь, резанул сеть.

— Не смей!.. — Сергей, не рассчитав, с силой толкнул капитана.

Иван отлетел к борту, ударился о леер. Нож, выскользнув, упал в воду. Иван тяжело поднялся, шагнул к сети, скомкал. Сергей ухватился за другой конец:

— Рыбинспектор дал. Понятно тебе?.. Сам дал, лично!..

— Не дам!.. — Иван, задыхаясь, рвал сеть к себе. — Не позволю!..

— Моя сеть, ясно? Мне подарили! Мне, ясно? .

Тяжело дыша, они почти упирались лбами. Сергей был здоровее и помаленьку, по частям перетягивал сеть, мотая Ивана по всей корме.

— Оставь! Слышишь?.. Добром прошу, — бормотал он.

Иван вдруг бросил сеть и, схватив с палубы тяжелую крестовину, далеко швырнул ее в воду.

— Вот так-то, Прасолов. Так-то лучше будет. Спокойнее.

— Твою мать... — сквозь зубы выругался Сергей. — Добро, капитан, побеседовали. В жизни этой беседы не позабуду.

— Уходи с катера. — Иван закурил, затянулся, говорил почти спокойно. — Сам уходи. Не сработаемся.

— За бабу считаешься? — тихо спросил Сергей. — Эх, мужик называется! Дерьмо собачье.

Швырнул в воду исполосованную сеть, пошел к рубке.

Навстречу вылезла Еленка.

— Завтракать.

— Идем. — Иван встал. — Я сказал тебе, Сергей. Все.

— Не задержусь, капитан. Теперь не задержусь, не думай!..

Но задержаться Сергею все-таки пришлось: он задумал досрочно выпустить своих радистов. Просьбу встретили недоверчиво, но пошли навстречу: создали комиссию, в состав которой вошли директор, главный инженер и по собственной охоте Пронин.

Группа не подвела Сергея: из пятнадцати выпускников четырнадцать получили свидетельства. Пятнадцатый слушатель — Еленка — не явился на экзамены. Сергею объявили благодарность в приказе и наградили именными часами. Он был очень доволен и ради такого случая закатил на катере торжественный ужин.

— Не откажешься, капитан?

— Можно, — сказал Иван.

Сергей пригласил всю комиссию, но пришли только Володька Пронин да парторг Пахомов. Пронин держался официально, говорил тосты, но быстро опьянел и стал пялить глаза на Еленку. Еленка развеселилась, краснела, закрывалась рукой.

Спьяну Пронин принимал Еленку и Сергея за молодоженов, лез с поздравлениями, журил, что скрыли правду.

— Волжская свадьба!.. — кричал он, требуя внимания. — Катера — все в цветах! Музыка! Народное гулянье!.. Товарищ Прасолов, возродим народные обычаи? Возродим?..

Пахомов пил мало. Вел с Иваном тихий мужской разговор о лесе, заработках, хозрасчете, который в порядке эксперимента хотели ввести

на их запани с будущего года. Он не поддерживал этого новшества, хмурился:

— Опять, значит, рубль гнать будем, да? А сознательность?

— Без рубля тоже не проживешь.

— Правильно. Но вот ты мне скажи: хорошо зарабатываешь?

— Хватает.

— Вот. Ты — передовой, ты из премий не вылезашь, по высшей сеточке пятый год без промаха. Почему? Потому, что ты нам проценты даешь, а мы тебе — соответственно. А при этой самой новой экономике что будет? А то будет, что станешь ты, передовик, получать куда меньше, чем сейчас.

— Почему? — не понял Иван.

— А потому. Сейчас откуда фонд зарплаты идет? Оттуда.— Пахомов важно поднял к темному потолку толстый палец.— Существуют утвержденные ставки, кому сколько полагается. А будет что? Будет фонд зарплаты исчисляться из прибылей, и станем мы его делить на всех чохом. А какой он будет, этот фонд, после всех отчислений? Неизвестно. А ну — запань прорвет? А ну — катер на мель сядет? А ну — еще что? Вот и получится шиш без масла.

— Этого я не понимаю,— вздохнул Иван.— Работать надо хорошо — и запань не прорвет, и на мель никто не сядет...

— Комнату! — вдруг заорал Пронин.— Товарищ Пахомов, сделаем комнату молодоженам?

Иван поднял голову, удивленно посмотрел на Еленку. Она с веселым вызовом встретила его взгляд, и он сразу отвел глаза.

— Комнату? — Пахомов, не понимая, моргал белесыми ресницами.

— Не надо им комнату,— глухо сказал Иван, уставясь в стол.

— Нет, надо! — озорно сказала Еленка.— Очень даже надо!

— Им — не надо,— упрямо повторил Иван.— Старикам лучше дайте. Столько лет на барже...

Разошлись за полночь. Сергей пошел провожать. Еленка, напевая, убирала со стола. Иван начал стелить постель, спросил вдруг:

— Поздравить можно?

— С чем, Иван Трофимыч?

— Ну, с этим... Комнату вон обещали. И вообще.

— Можно, Иван Трофимыч.— В Еленку вселился какой-то бес: хотелось озорничать.— На свадьбу-то придете?

— Ну, что ж, поздравляю,— не глядя, сказал Иван и, забыв о постели, тяжело полез на палубу.

— Далеко ли собрался? — спросил Сергей, встретив его у рубки.

— Порыбачить хочу,— хмуро сказал Иван.— Давно не рыбачил.

— Гляди не опаздывай: я завтра с утра занят.

— Ладно.— Иван поковылял к носу.— В шесть вернусь.

Сергей спустился в кубрик. Сказал, усмехнувшись:

— Розыгрыш наш Ивану против шерстки: рыбачить пошел.

— Надоели вы мне,— вздохнула Еленка.— Все надоели. Для себя жить буду. Вот как. Для себя.

Сергей потушил свет, разделся, лег. В кубрике было тихо, только чуть поскрипывал борт, касаясь затопленной баржи. Сергей думал о том, как хорошо прошел вечер, и о том, какой серьезный и деловой разговор вел он, провозжая парторга до дома. Завтра начнут ставить на катера рации: дело это поручено лично ему и...

— Спишь?..— странным приглушенным шепотом спросила вдруг Еленка.

Сергей спрыгнул с дивана...

Два дня Сергей только ночевал на «Волгаре»: устанавливал на катерах передатчики, регулировал, налаживал связь. Он работал с азартом, умел подчинить людей своей веселой настойчивости. Дело, запланированное на неделю, провернул за двое суток, получил крупную премию, ходил в триумфаторах. Резко сократились холостые пробеги катеров.

А Иван жил молчком. Молчком работал, молчком ел, молчком курил на палубе. Он не заговаривал больше об уходе Сергея с катера, понимая, что уходить-то надо ему. Он проиграл эту молчаливую битву за первенство на «Волгаре» и, оставаясь капитаном, фактически был просто третьим лишним. И не было сил бороться. Просто — жил, и все. Тихо жил.

В воскресенье он надел выходной костюм, прихватил новую палку: шел к Сашку. Еленка вручила ему сверток с пойманной накануне рыбой, спросила, когда вернется.

— В семь, — сказал он. — Пойдете куда?

— Не знаю.

— Я к тому, что ногу ломит, — пояснил Иван. — Ломит с вечера. Как бы грозы не было.

— Да какая гроза! — засмеялся Сергей. — Барометр в диспетчерской на великой суши вторую неделю застрял.

— Мой барометр поточнее, — сказал Иван и полез из кубрика.

День был безветренным, сонным, белесым от зноя. С утра на пристани толпился народ: люди собрались в Юрьевец, но рейсовый запаздывал где-то вверху, в Красногорье. Мужчины прели в темных выходных пиджаках, поругивали пароходство, курили. Сергей из любопытства пошел узнавать, вернулся с рыжим капитаном и рыбинспектором.

— А народ-то зря на пристани топчется: рейсового не будет. В Красногорье винт о топляк сломал, при мне диспетчер звонил.

— Ну, Сергей, на тебя вся надежда, — улыбнулся рыжий. — Не срывай нам мероприятие.

— Ты что, капитан? Это тебе не по нашим дебрям ходить: там, в Юрьевце, документы нужны.

— А ты к пристани не швартуйся — и документов никто не спросит.

— Деньгу можно зашибить немалую, — понизив голос, сказал инспектор. — Гляди, сколько рублей на берегу мается.

— Деньги само собой, — нажимал капитан. — Главное — людям помочь: выходной пропадает.

— Это верно... — заколебался Сергей.

— Ой, Сережа, не соглашайся, — вмешалась Еленка. — Нельзя так, не положено. И Иван Трофимыч не позволит.

— Ну, на Трофимыча-то я облокотился, — усмехнулся Сергей. — А вот если в Юрьевце засекут...

— Не засекут, — убеждал капитан. — В Ямском долу отшвартуешься, я проведу.

— Там, между прочим, совхозный сад, — сладко причмокнул инспектор. — Вишни уродились — дай бог!..

— Без штанов с этой вишней останетесь, — сердито сказала Еленка: боялась, что Сергея уговорят. — Собаки — как лошади.

— У Лешки все собаки знакомые! — захохотал капитан. — Уж как-нибудь, хозяйка, корзиночку сообразим.

— Уговорил! — крикнул Сергей, заметно волнуясь от принятого решения. — Уговорил, рыжий черт! Командуй погрузку!..

Насажали полный катер. Женщины и дети разместились внизу, где сердитая разнаряженная Шура с нефтянки отвоевала полдивана. Мужчины толпились на палубе набились в рубку, торчали под окнами: Сергей с трудом видел фарватер.

Капитан нахально собирал деньги: два рубля с взрослого, рубль — с ребенка. Ворчали, но платили: не сидеть же на берегу, ожидая, пока починят рейсовый.

На носу голосисто пели Клава и Люся. На моторном люке обветренные плотовщики азартно рубились в «петуха». Еленка сидела с бабами в кубрике, болтала, настороженно встречая колючие взгляды Шуры.

Над разомлевшей рекой плыло марево. Тяжко было дышать, но «Волгарь» бежал ходко, и ходовой ветерок сушил липкий, изнурительный пот.

С остановками одолев крутую лестницу, Иван нашел знакомый дом запертым. Покурил на скамейке у калитки и пошел назад, на берег, потому что идти больше было некуда.

Уже у лестницы он подумал, что своим внезапным появлением нарушит планы Сергея и Еленки. Вспомнил, как предупредительно собирала его Еленка к Сашку: теперь в этом он увидел одно нетерпение. Вспомнил и затоптался: идти на катер было нельзя.

Тогда он, обогнув причалы поверху, выбрался к реке на окраине возле развалин старой мельницы. Берег был пустынен. Иван снял пиджак и сел на бревно.

Против него торчали в небе клыки грейфера: Васин топякоподъемник расчищал здесь дно. У борта стояла лодка, на палубе мелькал кто-то: Иван напряг зрение, с трудом угадал Васю. Видно, молодые собирались на берег или решили испытать новый мотор.

Иван никогда не завидовал ни молодости, ни здоровью, ни силе, но счастьем завидовал. Выпадает же такой номер людям, какой выпал Васе и Лидухе. И любовь есть, и дружба, и время пожить, и детей воспитать, и женить их, и нянчить внуков, и спокойно, с достоинством рассчитаться за прошлое в окружении тех, с кем рядом прожил эту жизнь. Об этом и должно мечтать человеку и завидовать этому не грех, потому что рожден человек для доброго труда и очень простой радости...

Он не обратил внимания на стрекот мотора, а когда очнулся, Вася уже заглушил движок, и лодка мягко ткнулась в берег.

— А мы глядим, кто это сидит? — весело крикнул Вася. — Лидуха вас первая узнала: глазастая она.

— Айда с нами, Иван Трофимыч, — предложила Лида.

— Да что вы! — Иван растерялся, встал, начал надевать пиджак. — Вы молодые, гуляйте, а я так...

— Шагайте в лодку, Иван Трофимыч, — сказал Вася, упираясь веслом, чтобы не сносило корму. — Покатаемся, рыбки половим: я удочки захватил.

— Рыбка-то есть, — улыбнулся Иван и поднял с песка пакет. — Сашку нес, да никого дома не застал.

Перебрались на острова. Ловили рыбу: просто так, для забавы. Собирали ягоды, искали грибы, но не нашли: стояла сушь, и хоть грибам по всем законам полагалось уже пойти, в этом году они запаздывали. Лида сварила уху, позвала обедать.

— Эх, выпить нечего! — вздохнул Вася. — Лидуха моя насчет этого кремень: иссохнешь, пока допросишься. Строга!..

— Это правильно, — тихо сказал Иван. — Вот что значит — жена. Ты, Василий, всегда слушай ее, держись за нее.

Ничего не сказал Иван особенного, но Вася и Лида услышали в этом что-то тревожное. Переглянулись, и Вася упрямо мотнул коротко стриженной головой:

— Скажу я, Лидуха.

— Не надо.

— Нет, скажу! — Вася бросил ложку, уперся взглядом в Ивана.— Надо честно, без обмана. Правду надо вам знать, Иван Трофимыч.

— Ой, зря!..— вздохнула Лида.

— Обманывает она вас,— твердо сказал Вася.— Еленка обманывает. С этим. С Сергеем.

— Знаю.— Иван еще ниже опустил голову.

Вася растерянно замолчал. Иван хлебал уху, не поднимая глаз и не чувствуя вкуса. Ныла, не переставая, перебитая давним осколком нога.

От чая он отказался. Лег на траву, закрыл глаза. За костром переговаривались шепотом, осторожно звякая посудой: считали, что он спит. А он думал о том, о чем уже все знали.

Холодный ветерок налетел неожиданно, зашуршав в камышах. Иван сразу очнулся. Сел, обеспокоенно обшарил глазами небо: на севере тяжело сложилось сухое рыжее марево.

— Собирайтесь,— сказал он, вставая.— Сейчас шквал ударит.

Втроем побросали вещи в лодку, поспешно расселись. Иван с силой греб, отводя от берега, Вася возился с мотором. Ветер то сникал, то снова прорывался, крепчая раз от разу. По реке пятнами разбегалась рябь...

Первый удар «Волгарь» принял в лоб, как только вышли в море. Тупо сунулся в волну, не смог вовремя вынырнуть, и вода хлынула через борт. Девчонки с визгом посыпались к рубке.

— Ходче давай! — крикнул рыжий капитан.— Шквал идет.

Сергей до предела отдал сектор газа. Старенький движок с натугой выжимал обороты. Ветер бил в лицо, гасил скорость, прижимал нос к волне. Вода каталась по палубе.

Плотовщики побросали карты. Вытягивая шеи, с беспокойством поглядывали вокруг, прикидывали, сколько осталось до Юрьевца. Степаныч торопливо увязывал на корме корзины, накрывал их клеенкой, а ветер рвал ее из рук, и она флагом развевалась за катером.

— Давай обороты, Сергей,— бормотал рыжий.— До бури бы проскочить.

В кубрике смолкли женские голоса, только испуганно скулил ребенок. Волны ходили ровень с иллюминаторами.

— Тыр-пыр...— хмурился инспектор Лешка.— Тяжело идем.

— Насажали,— сквозь зубы сказал Сергей.— Говорил же...

В кармане у него лежали скомканные рубли, и ругать было некого. Он не боялся, но трезво оценивал опасность: катер не держал волны даже при максимальных оборотах.

— Баллов пять будет,— сказал капитан.— Как думаешь?

Сергей промолчал. Инспектор выглянул в дверь.

— Эй, девки, вниз ступайте. Мокро тут.

— Да-а,— протянула Люся.— Туда зайдешь — назад не выберешься.

Сергей глянул на шиток и не поверил собственным глазам: стрелка масляного манометра мертво стояла на нуле. Он тупо смотрел на нее, даже протер стекло пальцем: стрелка не шелохнулась. Рядом что-то бубнил капитан, Сергей не слушал: его вдруг бросило в жар. Он бессмысленно глянул на рыжего и рванул сектор газа на себя. Двигатель смолк.

— Ты что? — тихо спросил капитан.— Ты с ума сошел?

— Давление на нуле.— Сергей вытер пот.— Давай в мотор, Сашка.

Катер быстро терял ход. Волна швырнула его в сторону, развернула, положила на бок. Что-то с грохотом покатилося по палубе, в кубрике пронзительно закричали женщины.

— Держи к волне!..— крикнул капитан, скатываясь по трапу в моторное отделение.

— Баб не пускай!..— закричал Сергей, всем телом налегая на штурвал.

Женщины, толкая друг друга, с криком лезли по узкому трапу. Лешка спихивал их обратно, хрипло матерился, бил по рукам, рвал платя. А они, теснясь, все лезли и лезли, и от крика их Сергей не слышал голоса капитана из моторного отсека.

Катер заливало водой. Она хлестала в носовой трюм, переливалась в рубку, текла по трапу в кубрик. Ругался Степаныч: корзины смыло за борт, клубника моталась по волнам. Визжала Клавка, со страху взобравшись на крышу рубки.

Капитана швыряло из стороны в сторону в тесном и темном моторном отсеке. Дважды он налетал на раскаленный выхлопной коллектор, прожог новый пиджак, до крови рассадил руку. Вылез грязный, злой:

— Не нашел. Заводи!..

— Нельзя!..— кричал Сергей.— Двигатель заперем!..

Катер тяжело болтался на волнах. Сергей с огромным напряжением удерживал нос к волне.

— Моряк, твою мать!..— Капитан рванул Сергея от штурвала.— Пусти! Потопишь всех, сволочь!..

— Уйди!..— Сергей бросил штурвал, с силой ударил капитана в лицо.— Вон из рубки! Вон! Убью, гад!..

— Заводи мотор!..

Неуправляемый катер сразу же развернуло, положило на бок. Волна ударила в распахнутую дверь рубки, окатила Сергея, рыжего, Лешку. Дико закричали женщины в тесном кубрике. Лешка схватил капитана, оторвал от Сергея.

— Уходи!..— вытолкал из рубки, крикнул Сергей.— Ставь на волну! Носом на волну!..

И снова с остервенением, со злобой схватился с обезумевшими женщинами.

Шмыгая разбитым в кровь носом, Сергей кое-как выровнял тяжелый, залитый водой «Волгарь», огляделся.

Их снесло назад, к перекатам левого берега. По обе стороны торчали из пены шесты, обозначающие мели. Волны катились через них, вздымая тучи песка, местами совсем обнажая дно.

Катер терял плавучесть. Неповоротливый и бессильный, он плохо слушался руля, ложился на волну. Пока еще Сергею удавалось ставить его на киль, но вот-вот должен был наступить момент, когда катер не успеет выпрямиться, его накроет, и тогда на поверхности останется только то, что само по себе способно плавать. Сергей дал горючее и включил стартер.

— Назад? — спросил Лешка.— Лучше не пробуй.

— На мель выброшу,— сказал Сергей.— Выброшу на мель, как-нибудь добредете до берега.

Он подождал волны, успел развернуть катер и на гребне ее пошел к берегу, дав двигателю максимальную нагрузку. Дно чиркнуло о песок, катер дернулся, и волна схлынула, оставив его на мели. Сергей заглушил мотор, махнул рукой Лешке:

— Выпускай.

Мокрые напуганные женщины повалили из кубрика. Кричали, плакали, метались по катеру, проклинали Сергея.

Катер болтался на волнах, то ложась на борт, то встряхиваясь, когда подходила волна. Люди цеплялись за железо, друг за друга: палуба качалась под ногами.

— Ну, миленок, погоди!..— кричала разлохмаченная, в разорванном на груди платье Шура.— Я так не оставлю! Я все напишу, куда следовает!..

Но паники не было. Плотовщики, Лешка и опомнившийся рыжий капитан быстро навели порядок.

— На берег надо,— сказал Лешка.— Если ветер усилится — перевернет катер. Либо с палубы смоем: всех не удержишь.

— Идите.— Сергей безуспешно раскуривал мокрую сигарету.— Тут мелко. Линем свяжетесь — добредете.

— А тебе к рыбам захотелось?— тихо спросил инспектор.— Уйдем — катер полегчает и — хана. Через три дня всплывешь — глядеть страшно будет.

— Вот только — как дойдете?..— вслух размышлял Сергей, словно не слыша, что говорит Лешка.— Первому с багром надо...

— Ну, веди. Ты — длинный, волна не накроет...

Сергей, сбвываясь линем, первым прыгнул за борт. Волна швырнула к катеру, но он уперся багром, устоял. За ним попрыгали остальные, мужчины несли детей. Брели по грудь, оступались, падали, хлебали мутную воду: только песок хрустел на зубах.

Вылезли на крутой глиняный откос. Лешка и рыжий капитан пытались развести костер: сырые спички, что Лешка пронес в кепке, не разгорались, гасли одна за другой. Женщины в кустах отжимали мокрые платья, кутали ребятишек. Плотовщик достал чудом сохраненную сухую папиросу, отдал Сергею:

— Держи, парень. Не знаю, как ты один назад дойдешь.

Сергей понял, что возвращаться придется. Буркнул, пряча вздох:

— Доберусь.

Сергей отдал недокуренную папиросу, взял багор:

— До людей дойдете — шумните там. Долго не продержимся.

— Будет сделано, парень.

Сергей на заду сполз с обрыва, побежал по мели, держа багор наперевес. Он бежал от отчаяния и, чувствуя, что вот-вот, еще минута, и остатки решимости окончательно покинут его. Волны били в лицо, дно уходило из-под ног. Он падал, отплеываясь, поднимался, снова шел и снова падал. В двух шагах от катера его сбilo с ног огромным раскоряченным пнем, затянуло под него, поволокло по грунту. В ужасе он бился под цепкими корнями, выпустил багор, но вылез, встал и, почти теряя сознание, уцепился за леер залитого водой «Волгаря». Прижался грудью к ржавому борту, закрыл глаза. Волны били в спину, перекачивались через голову, ноги подбрасывало, тянуло под киль, но теперь он был спасен и отдышал, копя силы, чтобы взобраться на палубу.

Он не расслышал голоса, но почувствовал руки, которые тянули его вверх, на катер. Поднял голову, увидел Еленку: мокрые патлы, расцарапанное в кровь лицо, раскрытый в крике рот. Он кое-как взобрался на танцующую палубу, не смог встать и пополз по скользкому железу. Еленка тащила его за пояс, падала, когда сбивала волна, и все говорила и говорила, и он опять не слышал ее. В рубке он поднялся на ноги, и они плотно задраили дверь.

— Сережа! — Плача, она целовала его мокрое лицо.— Я знала, что вернешься за мной, что не бросишь!..

— Ну, ладно,— сказал он и сел на рундук, усадив ее рядом. Катер швыряло, и они качались, как ваньки-встаньки.— Ты чего с нами-то не пошла?

— Так ведь кубрик залило. Постели мокрые, хлеб, крупа — все мокрое. Пока прибралась — вы уж за борт попрыгали. Я испугалась сперва, а потом поняла, что вернешься, что не бросишь меня тут.

— Да.— Теперь Сергею казалось, что так оно и было.— Я глянул там, а тебя нет. Ну, и... И катер оставлять нельзя, не положено, под суд пойти можно. Да не реви же ты, господи! Спасут.

— Я не от страха реву, Сереженька, я — от счастья. Ведь не верила, что любишь, совсем не верила, дура проклятая. А ты едва не утоп из-за меня!..

Катер снова кинуло на бок, Еленка слетела с рундука и осталась стоять на коленях перед ним.

— Где поцарапалась?

— Это? — Она коснулась щеки и засмеялась.— Это Шурка меня угостила. Помнишь, толстая эта, с нефтянки?

— Да...— сказал он.— Много воды в кубрике?

— Много. Сверху налилось и, по-моему, с машины течет: переборка старая, в щелях вся.

— Отливать надо.— Он отстранил ее, встал, держась за стену.— Давай-ка работать.

Долго отливали воду, но убывала она медленно: волны по-прежнему захлестывали катер. А потом пошел тяжелый густой дождь, и Сергей с остервенением швырнул ведра: отливать было бесполезно.

Рация не работала: то ли разболтало ее от качки, то ли залило аккумуляторы. Сергей попыталось было наладить ее, но бросил, ничего не добившись. Сидели в сумрачном кубрике, забравшись с ногами на диван, кутались в сырые одеяла. Ветер не утихал, катер валяло с боку на бок, плескалась вода в кубрике, заливая диваны. Еленку мутило от болтанки, усталости и голода...

Грузный топлякоподъемник тоже било и раскачивало, клыки грейфера лязгали над палубой. Но суденышко было хорошо расчалено, якоря прочно держали грунт, и Вася не беспокоился. Пили чай в теплой, чистенькой комнатке, нахваливали мотор:

— На веслах ни за что бы до шквала не выгребли. Сила мотор, а, Иван Трофимыч?

— Мотор добрый,— соглашался Иван: его тревожило, догадался ли Сергей зачалить корму.— Как бы катерок мой о баржу не побилло...

— Напрасно переживаете, Иван Трофимыч. Помощник у вас опытный, сообразит.

Досидели до вечера, когда пошел дождь и волнение чуть утихло. Иван попросил лодку: не терпелось глянуть на катер. Вася с Лидой попытались его отговорить, но Иван был непреклонен.

— Съезжать пора, хозяева дороги. Загостился. А лодку утречком доставлю, не беспокойтесь.

— Ладно, сам отвезу,— сказал Вася.— Достань-ка, Лидуха, плащи.

Лодку швыряло по волнам, но мотор выгребал легко, и Вася умело держал курс. Вода звонко хлестала в нос, брызги разлетались в воздухе: шли сквозь сплошную завесу. Плащи сразу намокли, коробом оседлав плечи. Вася радовался.

— Сила мотор, Трофимыч!..

Волны перекачивались через баржу, били в берег: «Волгаря» не было. Вася растерянно оглядывался:

— Куда же это Сергей подался?

Берег прятался в густой пелене дождя. Спросить было не у кого.

— Правь к «Быстрому»!..

«Быстрый» стоял в затишке за тяжелым корпусом плавучего крана. Подошли. Вася зачалил лодку за леер, Иван поднялся на палубу. Долго стучал в задраенную дверь рубки. Наконец она с лязгом приоткрылась — на пороге стоял сонный моторист.

— Иван Трофимыч?..— Он обалдело моргал, словно не веря глазам.— А «Волгарь» где?

— Не знаю,— сказал Иван.— У тебя хотел спросить...

— Это да! — удивился моторист.— Да он же в Юрьевец утром пошел. Я думал, вы повели... А тут люди болтают, что потоп в устье...

— Кто потоп?

— Да катер ваш. Может, врут.

— А ну, Петр, заводи «Быстрый». Где Антон Сергееч?

— Капитан на берегу, а завести не удастся. Иван Трофимыч. На ремонте стоим, головку с блока сняли, завтра перебирать...

Иван, не слушая, уже хромал по палубе. Слез в лодку, глянул ошалело:

— Несчастье, видать. Петр говорит, потоп, мол, катер. В устье потоп, на перекатах.

— Да что вы, Иван Трофимыч...

— Давай, Вася. Христом богом прошу: давай туда сбегает. На ремонте «Быстрый».

— Как же, Иван Трофимыч?.. Это ж часов шесть ходу. И бензину не хватит.

— Люди ведь там, Вася! А бензину мы в Козловке достанем, на шестом «Гансе». У них бочка целая, сам на прошлой неделе возил. Надо ведь, Вася!

Гнали на максимальных оборотах. Теперь ветер дул в лицо, сек дождем: невозможно было смотреть. Вася щурился, отворачивал голову, терея из виду нос лодки. Иван курил папиросу за папиросой. По мокрой спине барабанил дождь.

Так шли они часа полтора. Уже показались сквозь сплошную завесу дождя первые избы Козловки, когда раздался вдруг мокрый треск и лодку рвануло куда-то вверх. Взревел на мгновение выкинутый в воздух мотор, все стихло, и Иван очутился в воде. Вынырнул, ослепленный, оглушенный, не соображая, что произошло. Сапоги, мокрый плащ, одежда тянули вниз, волны накрывали с головой. Он увидел перед собой треугольную бревенчатую платформу бакена. Подплыл, загребая из последних сил, кое-как взобрался, вцепился в пляшущий на волнах бакен.

— Василий!..

Его рвало, бил кашель, выворачивая грудь. Передохнув, огляделся: ни лодки, ни весел, ни обломков. Только черный огромный топляк танцевал невдалеке на волнах, то показывая толстый комель, то вновь скрываясь под водой.

— Василий!.. Василий!..

Вроде мелькнула в мутной бешеной круговерти белая Васина голова. Вроде плыл он размашистыми саженками к берегу, но, как ни всматривался Иван, толком разобрать ничего было нельзя. Вода, вода, вода, одна вода была кругом, и то ли Васина голова, то ли просто пена мелькает на поверхности — понять невозможно.

Вот и все. И не цепляйся ты больше за мокрый холодный бакен за дубельными руками. Даже если стерпишь, если удержишься до случайной лодки, как помотришь в глаза Лидухе? Как глянешь в глаза людям, капитан неизвестно где потопленного катера? Почему ты еще живой, когда злая вода таскает по дну Еленку и Васю?

Но, видно, жила в нем сила посильнее этих мыслей. Трясся в ознобе, стонал. А держался крепко, изо всех сил держался.

Снял через час. Вася — в телогрейке с чужого плеча — с трудом разжал заострившие пальцы. Перетасчили в лодку, силой открыли рот, влили спирту. Иван очухался, огляделся, спросил:

— Вася?.. Живой?..

— Живой, Трофимыч, живой!..— смеялся Вася.— Не чаял вас на баkene найти. Кошку мужики захватили да багры. Там искать думали. Фельдшер вон по берегу бегаёт: откачивать вас собрался.

Двое мужиков из колхоза имени Первого мая, усмехаясь, поглядывали на них, покачивали головами. Они и радовались, что спасли чело-века, и осуждали Ивана, что полез в бурю на углой лодчонке, словно неопытный горожанин.

— Лодку-то утопили. Жалко, а?..

— Топляк проглядел. А жалко — чего жалеть-то теперь? Главное, вы живы, Иван Трофимыч, а лодку наживем. И мотор достанем: мужики говорят, тут метра три глубина, не боле.

— Про катер мой не слышал?

— На мель он сел, Трофимыч,— сказал один из мужиков.— Аккурат на перекате, что по левому берегу. Там они его, значит, и оставили, а сами до берега добрались и подались вроде в Ольховку.

— Все сошли?

— Слышал, все.

— Ой, туда мне надо, мужики,— забеспокоился Иван.

— Водки тебе надо,— улыбнулся второй.— Выпить водки и залечь на печи под тулупом. А туда мы сами ходим. Вот затишеет чуток — и ходим...

Стихло только к утру. Колхозный катер вышел из Козловки с рас-светом; Ивана не взяли, как он ни настаивал. Его еще бил озноб, он ле-жал в медпункте под двумя тулупами, и председатель колхоза ехать ему запретил.

«Волгарь» был залит водой. Еленка и Сергей с ночи дрожали в хо-лодной рубке. Катер огруз, влез в песок, и спасателю сдернуть его не уда-лось. Надо было идти за подмогой, и капитан забрал Еленку с собой: Сергей наотрез отказался покинуть судно. Попросил только оставить курево.

«Волгарь» сдернули двумя катерами, да и то после того, как отка-чали воду. К полудню отбуксировали в затон, подвели к барже. Иван сам принял чалку, закрепил, молча полез в моторное отделение.

— Заклинило,— сказал Сергей. Он сидел наверху, на трапе, свесив ноги в моторный отсек.

Иван попробовал повернуть двигатель ломиком за маховик. Вис всей тяжестью, согнул ломик — двигатель не повернулся.

— Я же говорю: заклинило,— повторил Сергей.

— Под суд пойдешь,— негромко сказал Иван и полез наверх прямо на Сергея.

Сергей вжался в стенку, пропустил. Иван прошел на нос, с грохотом откинул люк. Из кубрика выглянула испуганная Еленка:

— Молчит?..

— Через час вернусь,— вдруг сказал Сергей и спрыгнул на берег как стоял: в мятых рабочих штанах, грязной рубахе.

Он почти бежал по берегу, и злоба душила его. Ему пригрозили, угроза была реальной, и теперь в дело вступали другие законы.

Ему повезло: Пахомов был на месте и — один. Сергей почти оттолк-нул секретаршу, застрявшую в дверях. Ввалился грязный, задыхающий-ся. Пахомов строго сдвинул брови, указал на стул.

Рассказывать Сергей умел. Он ничего не скрывал: ни того, что пошел в рейс без разрешения, ни того, что загубил мотор, ни того, что первым спрыгнул за борт тонущего катера. Но про деньги не сказал ни слова, и все выходило так, словно действовал он если и не совсем по закону, то все же из добрых побуждений.

Пахомов слушал молча, по-прежнему строго насупив брови. Молчание его очень пугало Сергея: он стал увядать, вязнуть в рассказе, повторяться, но тут парторг неожиданно начал проявлять любопытство, перебивать вопросами, и Сергей, воспрянув, ловко и стройно закрутил покаяние, вызвавшись оплатить ремонт из собственного кармана.

— Зарплаты не хватит,— нахмурился Пахомов.— Пустое обещание.

— На книжке есть,— заверил Сергей.— Производство не должно страдать от моего легкомыслия.

— Правильно,— сказал Пахомов.— Это ты правильно рассудил, одобряю. Я понимаю, действовал ты активно. Сам в воду полез, людей на берег вывел. Все это в плюс тебе, но могут быть серьезные нарекания. Жалобы. А если жалоба в письменном виде — сам понимаешь, не откликнуться не имеем права. Вот и соображай.

— Спасибо, Павел Петрович,— с чувством сказал Сергей.— Вот поговорил с вами и вроде душу облегчил. Нет, вы не подумайте чего: за то, что напортачил, отвечу. По всей строгости, сознаю. А с души вы у меня груз все-таки сняли. Спасибо вам за это большое.

Он уже шел к дверям, когда Пахомов остановил его:

— А Бурлаков что думает?

— А что ему думать, Павел Петрович? — как можно проще спросил Сергей.— Он ведь не ходил с нами, он тут ни при чем.

— То есть как это ни при чем? Он капитан, он за все отвечает.

— Так-то оно так, но ведь формально...

— Ну, ладно, поглядим. Иди, действуй. Не задерживаю.

Сергей на цыпочках вышел из кабинета и тихо притворил за собою дверь.

Он вернулся на катер и весь день вместе с Иваном прокрутился в моторном отделении. Вычерпали воду, досуха тряпками протерли днище. Двигатель не трогали: до прихода комиссии не велено было к нему касаться. Еленка шуровала в кубрике.

Работали молча. Раз только Еленка заикнулась насчет обеда, но Иван хмуро сказал:

— Не заработали.

К вечеру кончили. Иван хотел было заняться палубой, но Сергей решительно отказался:

— Дела у меня.

Иван не спрашивал, что за дела. Прошел на палубу, ковырялся там один: только грохот стоял.

Сергей спустился в кубрик. Еленка протирала пол, высоко подоткнув короткую юбку.

— Дела, Еленка. Действовать надо, а то навесят нам, что и в жизнь не разогнешься.

— Скоро вернешься?

— Постараюсь. А что?

— Ничего.— Она улынулась.— Скучать буду.

— Ну, поскучай.— Сергей переоделся, сунул в карман деньги и вышел.

Он не хотел спрашивать Ивана, да и встречным опасался прямо ставить вопрос: юлил, балагурил, выпытывал и вызнал-таки нужный ему адрес.

В ответ на стук долго брехала собака. Потом послышались шаги, приглушенный голос спросил:

— Кто?

— С «Волгаря»! Сергей Прасолов. По делу.

Калитка приоткрылась, и в щели показалась массивная фигура Степаныча. За спиной яростно билась на цепи собака.

— Чего тебе?

— Поговорить.

— Не о чем нам говорить.

Он хотел захлопнуть калитку, но Сергей подставил ногу.

— Долг за мной, Степаныч. Клубнику ты по моей вине утопил. Совесть велит рассчитаться.

— Совесть?..— Степаныч захохотал.— Ну, проходи.

Прошли в дом. Толстая жена в упор смотрела на Сергея и только моргнула в ответ на его: «Добрый вечер, хозяйшюшка».

— Ну, садись,— сказал Степаныч.— Значит, прищучило начальство?

— Начальству об этом знать не положено,— улыбнулся Сергей.— И если договоримся, то и беспокоить его не будем.

— Смотря как договоримся...

— По совести.— Степаныч был калач тертый, и Сергей держал ухо востро.— Во сколько убытки ставишь?

— Во сколько?..— Степаныч прикидывал, как бы не продешевить.— Ну, это как считать...

— Клубники две корзины,— вдруг быстро сказала жена.— Одна к одной ягодки, перебранные...

— Не мешай! — прикрикнул Степаныч.— Ступай вон на кухню да жрать мне приготовь... С работы я,— пояснил он, когда жена вышла.

— Значит, в самый цвет угадал,— сказал Сергей и выудил из кармана бутылку.

— Полагаешь, что договоримся? — усмехнулся Степаныч.

— Начальство тебе убытки не оплатит, это ты и сам понимаешь.

А я — оплачу.

— За что?

— За что?..— Сергей прикурил, раздумывая, стоит ли играть в открытую. Решил рискнуть: мужик был жадным.— За то, чтобы начальство не беспокоить.

— Полста.

— Ого!..

— А ты как думал? Клубника — раз. Костюм праздничный измарал — два. И мое беспокойство тоже не задаром.

— Любую половину.

— Четвертной, значит? Нет, парень, поищи дураков. Мы тоже понимаем, чего ты ко мне прискакал...

Торговались долго, зло, как на рынке. Сергей хватал бутылку, шел к дверям, возвращался. Столковались на тридцати, распили водку, долго клялись друг другу забыть эту историю.

Утром пришла комиссия: представитель главного инженера, молодой мастер из ремонтных мастерских и капитан «Быстрого» Антон Сергеевич. Иван хотел поговорить с ним, но держался Антон Сергеевич официально:

— Поглядим. Лишнего не напишем.

Лишнее и не понадобилось. Согласно акту авария произошла по вине экипажа: сорвало штуцер масляного фильтра.

— Согласно, Иван Трофимыч? — спросил представитель главного инженера.

— Моя вина,— сказал Иван.

— Тогда подпишите.

Иван подписал. Комиссия удалилась, приказав готовить двигатель к монтажу. Двигатель готовить Иван не стал, а полез в кубрик за ключкой. Вылез, сказал, не глядя:

— Я — к старикам. Вернусь поздно.

— Вот мы и опять одни,— сказала Еленка.— До самой ночи одни.

— Поскучать тебе придется, Еленка,— вздохнул Сергей.— Дела у меня, понимаешь...

— Может, отложишь?

— Нельзя. Земля под нами колыхается.

Она молча смотрела, как он бреется; как надевает праздничный костюм, как старательно причесывается перед зеркалом, и в сердце ее возникла тревога. Подошла вдруг, обняла:

— Не уходи, Сережа.

— Не могу.— Он мягко высвободился.— Нельзя, Еленка. Надо, чтоб комар носа не подточил.

— Когда вернешься? — угасшим голосом спросила она.

— Вернусь?..— Он задержался на трапе.— Не хочу обманывать: поздно. Ночью приду, не жди.

Сергей ушел, прогрохотав над головой ботинками. Еленка села к столу и тихо заплакала.

Дом пять, с палисадничком... Вот он, такой же, как все на этой улице, только наличники попроще. Те же тюлевые занавески, те же фикусы да столетники.

Сергей очень не хотел входить в этот дом. Это было во сто крат хуже, чем пить со Степанычем водку.

— Шура дома? — с наигранной небрежностью спросил он у тощей, пронзительно любопытной хозяйки, без стука войдя в дом.

— До-ома,— неторопливо протянула она, в упор разглядывая его.— Вон в ту дверь...

Он постучал и, не ожидая ответа, приоткрыл дверь:

— Можно?

Шура сидела на широкой, как телега, деревянной кровати и ложкой хлебала кислое молоко из большой кастрюли. Увидев его, она словно окаменела. Он плотно прикрыл за собой дверь, блеснул зубами:

— Приятного аппетита!

— Ты зачем? — Она поискала, куда поставить кастрюлю, и поставила ее на пол у кровати. Ложка, звякнув, утонула в простокваше.— Ты чего тут?

— Соскучился,— с вызовом сказал он и сел на единственный стул у тумбочки, заставленной флаконами и баночками.— Не прогонишь?

Она молча смотрела на него, часто моргая короткими ресницами. В старательности, с которой она пыталась сообразить, как он здесь оказался, было что-то детское. Сергей не дал ей опомниться:

— Тоска меня заела, Шуренок. Такая тоска, что хоть криком кричи, честное слово. Думал я, думал и надумал к тебе прийти, прощения просить. Обидел я тебя, очень обидел, знаю. Черт возьми, как это получается? И не хочешь, а иной раз не справишься с настроением, обидишь хорошего человека, а потом локти кусаешь... Один я тут, Шурок, совсем один, чужой, понимаешь?

Он говорил приглушенно, мягко, жалостливо: ворковал. Шура слушала не слова, а голос, который звучал все тише, все печальнее, и сердце ее уже сладко и тревожно замирало в груди. Сергей взял ее руку, погладил, не вырвалась, только спросила деловито:

— Тебя хозяйка видела?

— Тощая такая? Как селедка?

— Тебе уйти надо,— озабоченно сказала она.— Я потом проведу, если хочешь.

— Боишься?

— Если бы ты на мне жениться собирался, мне бы наплевать на них было. А так, когда гуляем просто, нельзя. В день на всю улицу ославят.

Он вышел, демонстративно распрощавшись с хозяйкой. До вечера они гуляли по берегу, а когда стемнело, Шура провела его в комнату. Здесь он грубо обнял ее, а она только шептала:

— Тише. Стенка тонкая. Тише...

На катер возвращался с рассветом. Шагал, задыхаясь от омерзения, тер лицо. На берегу разделся до пояса, долго мылся, скреб грудь песком. Одевшись, босиком прошел на катер. На носках спустился в кубрик, шагнул в свой угол...

Утром он опять побежал к Пахомову. Долго ждал, пока можно будет потолковать с глазу на глаз. Курил в коридоре, прятал от знакомых лицо, думал.

Он отвел возможные удары. Два пассажира «Волгаря» имели основания посчитаться именно с ним, но он блокировал их действия. Конечно, не исключено, что напишет кто-нибудь еще, но та жалоба уже не может быть направлена лично против него, против Сергея Прасолова.

Он ни словом не обмолвился об этом с Пахомовым. Поговорили о заключении технической комиссии, о возмещении убытков. Пахомов не расспрашивал, держался настороженно, и Сергей снова грубовато порадовался:

— Посоветуешься с вами, Павел Петрович, и словно камень с сердца. Легче дышится. Действовать хочется, Павел Петрович, честное слово!..

— Ну, ну, ты не очень-то это... словами бросайся,— сердито сказал Пахомов, но улыбку сдержать не мог.

— Неужели вы во мне сомневаетесь? — как можно проникновеннее спросил Сергей.— Я знаю, чем грех замаливать. Знаю и выполняю.

— Вот это — разговор! — с удовольствием сказал Пахомов и впервые за два свидания пожал Сергею руку.— Действуй, товарищ Прасолов.

И опять, как в тот раз, спросил об Иване, когда Сергей уже выходил из кабинета. Спросил просто, как бы между прочим, но Сергей уловил в его тоне оскорбленное самолюбие:

— А Бурлаков, конечно, занят по горло?

— Да не сказал бы, Павел Петрович,— рискнул Сергей.— Вчера, например, к шкиперу на баржу с обеда ушел.

— А посоветоваться — времени нет,— с неудовольствием сказал Пахомов.— Ну-ну...

И было в этом привычно служебном «ну-ну» что-то такое, что Сергей на миг пожалел о своих точно рассчитанных словах.

Никто не хотел заводить «дела», но оно завелось словно само собой. В пятницу назначили общее собрание.

— Насчет того, за так возил Прасолов или за денежку, нету у меня мнения,— говорил капитан «Быстрого» Антон Сергееч.— Кто говорит: да, кто помалкивает, а кто наоборот: на общественных, мол, началах.

Зал клуба был набит до отказа. Вел собрание Пронин.

— Так что будем считать — за совесть вез Прасолов...

— Точно! — пробасил Степаныч.— Именно что за совесть!

Захотали:

— Степаныч у нас — первый спец насчет совести!

— Так и считаем,— продолжал Антон Сергееч.— И все-таки по-разному Бурлаков и Прасолов провели то воскресенье, и вина у них разная.

Прасолов оставался за капитана, он и виноват в первую голову. А Бурлаков не сумел правильно воспитать экипаж, вот как я полагаю. Что скажешь, Иван Трофимыч?

— Вину свою полностью признаю,— с места сказал Иван.— Обязуюсь прощение заслужить.

— К дате! — крикнули из зала.

— Что? — спросил директор.

— К дате! Ну, какая там на очереди?

— День кино!

— Давай, председатель, закругляй! Все ясно-понятно!

Сергей прошел к трибуне и долго молчал, облизывая пересохшие губы. В голове путалось, ощущение чего-то непоправимого мешало говорить. Он понимал, что надо ломать возникшее у собрания представление о его личной вине. Он все продумал, он твердо знал, что в самом начале должен удивить людей, а уж потом поворачивать их в нужную ему сторону. Он продумал все и все-таки боялся...

— Надо быть честным,— глухо, словно сквозь стиснутые зубы, сказал он.— Честным перед коллективом, перед своими товарищами. Тут одним признанием не обойдешься, тут нужно все как на ладони. В прятки играть с вами я не хочу и не буду.

Собрание напряжилось. Легкий говорок, летавший по залу, притих: слушали напряженно.

— Я виноват не столько в том, что вы знаете, сколько в том, что от вас скрыл! — вдруг выкрикнул Сергей.

Он прошел к президиуму и положил на стол горсть скомканных рублей.

— Что это? — удивился Пахомов.

— Я вез за деньги. Я использовал катер в целях личного обогащения. Мне стыдно, товарищи!..

Гул прошелестел по рядам, и собрание опять смолкло.

— Я ночей не спал. Я думал, кого мы обманываем, товарищи? Мы себя обманываем. Мы себе врем, товарищи!..

Вновь пробежал гул, на этот раз недоуменный. Сергей поднял руку:

— Сейчас все расскажу. В начале работы моей на «Волгаре» пошли мы заправляться. И я, я лично сделал так, что получили мы одно масло. Сделал потому, что у «Волгаря» перерасход по топливу свыше двух тонн. Было это, товарищ Бурлаков?

Иван привстал, провел рукой по лицу и снова сел. А Еленка, сидевшая в другом конце зала, поспешно закивала.

— Пойдем дальше. По ведомости на нашем катере числится четыре человека. Зарплата идет четверым, а работают трое. Один из матросов — фигура фиктивная, он только в ведомости расписывается, а работать никогда, ни часу еще не работал! Так ведь это же обман, товарищи!..

Гулом взорвался зал, и опять Сергей притушил этот гул, подняв руку. Теперь он держал собрание в своих руках, теперь от него зависело, куда и как повернуть.

— А теперь — самое главное. Купил известный вам шкипер Игнат Григорыч телку, и понадобилось телке сено. И вот в следующее воскресенье взяли мы катер, пошли к Лукониной топи и выкосили там всю траву. Всю, под бритву! Погрузили, пошли назад, а нас колхозники перехватили. Но и тут нам удалось уйти и свалить это ворованное сено на барже у шкипера для прокорма его личной скотины! Нас судить надо, товарищи!

Последние слова утонули в шуме:

— Бурлакову слово! Пусть объяснит!..

— А с травой решать надо, товарищи! Это — не шутка!..

— Чего же ты, Прасолов, раньше молчал? Думал, сойдет?

— Тише, не кончил он еще!..

— Он еще скажет! Он еще отчудит!..

— Тихо, товарищи, тихо!..

С трудом успокоили зал. Сергей залпом выпил стакан воды, продолжал:

— Вот в чем я повинен. И я хочу точку на этом поставить. Хватит, товарищи! Жить надо честно!..

Опять поднялся шум. Сергей не пошел на свое место, а сел в первом ряду, в уголке. Пронин перекричал гул:

— Слово предоставляется Бурлакову!..

Стихло в зале. Иван медленно поднялся, долго шел по проходу. Стал возле стола, растерянно оглядел зал:

— Все правильно.

И замолчал. И собрание молчало, ожидая, что он еще скажет. Потом Пронин спросил:

— Все, Иван Трофимыч?

Иван посмотрел на него невидящими глазами, тихо сказал:

— Подлец он. Неужели вы не видите?

В зале зашумели:

— Что он сказал?..

— Громче, Трофимыч!..

— Я говорю, что Прасолов подлец,— громко сказал Иван.— Никого не шадит: ни стариков одиноких, ни Пашу. Разве ж можно так? Разве можно за счет чужого несчастья?.. Да волк он!..

— Давайте без оскорблений,— сказал Антон Сергееч.— Вину свою признаете?

Иван крепко сжал челюсти. Глянул через плечо.

— Нет.

— Как нет?.. Сам же только что сказал, что правильно...

— Все правильно, а вины моей нет,— упрямо повторил Иван.— Нет моей вины, не признаю.

И шаркая, пошел на место. В зале молчали.

— Странно мне Бурлакова слышать! — вскочил вдруг Антон Сергееч.— Знаю его давно, считал, что хорошо знаю, а выходит, не знаю совсем. Удивил ты меня, Иван Трофимыч. У тебя получается, что правду товарищам сказать — подлец, а сено украсть у колхоза — друг!

И сел на место. Сергей с облегчением расправил плечи и откинулся к спинке стула. А собрание по-прежнему помалкивало. Пронин оглядывал зал:

— Ну, товарищи, кто хочет высказаться?..

— Я хочу высказаться,— сказал Николай Николаич.

Он не пошел к трибуне, а выйдя к рампе, остановился против Сергея. В зале вдруг стало очень тихо, и в этой тишине Николай Николаич негромко спросил:

— Почему вы уволились из Саратовского порта, Прасолов?

— Я уволился по собственному желанию.

— В середине навигации?

— Смешной вопрос! — крикнул Сергей.— Захотел и уволился!..

— Я все равно выясню это, Прасолов. Выясню! — Николай Николаич повысил голос.— А вот к Бурлакову у меня вопросов нет. Я Бурлакова с детства знаю. И вы знаете!..

— Точно! — восторженно и звонко крикнул Вася и зааплодировал. В зале зашумели, а к столу уже шел угрюмый бригадир плотовщиков Андрей Филиппыч. Стал рядом с трибуной, привычно расставив ноги, нахмурился.

— Трофимыча не оправдываю. Нет. Дров, понимаешь ли, много. Наломал, значит, без надобности. Солярка, значит, и матрос этот. Так. Опять же — сено. Вот главный вопрос! Моя скотина или колхозная — она все одно по несознательности жрать просит. А корма где?

— Не о кормах же у нас вопрос, Андрей Филиппыч, — сказал Пахомов. — Давай ближе к теме.

— К теме?.. — Плотовщик вздохнул, потоптался. — К теме, что ж, все ясно. Не оправдываю. Нет. Только вопрос: для кого Трофимыч старался? Для себя?..

Зал неожиданно рассмеялся.

— То-то вот и есть. Осудим мы его, конечно. И правильно. А только так скажу: если мне, не дай бог, нужна какая припрет, так я не к тебе, парень, побегу, хотя ты тут и рвал на грудях тельняшку. Я к Трофимычу побегу, понимаешь ли...

Последние слова потонули в аплодисментах. Сергей уже не поднимал глаз.

— Да жук он, Прасолов этот!.. — кричали из зала.

— Ну, не скажи: похитрее: правду-матку резал — аж кровь хлестала!..

— Гнать его, сукинова сына, товарищи!..

— Врете! — вдруг выкрикнула Еленка, вскочив. — Врете вы все потому, что струсил! Вам правду в лицо сказали, а вы, тараканы несчастные, гнать за это, да? Друг за дружку стоите, друг дружку покрываете, а как чужой кто, так — вон, да? Вон?!

Она рванулась к выходу, не сдерживая слез. В президиуме поднялся директор.

— Это все — нервы, — негромко сказал он. — А вот — документы. Два письма: копии адресованы в обком и в газету «Водник». И вот что сказано в этих письмах. Первое: обман с горючим и приписки моточасов капитаном Бурлаковым. Второе: о несчастье с Федором Никифоровым. Говорится, что несчастье это произошло потому, что капитан Бурлаков не справился с катером из-за... больной ноги. Поэтому автор письма требует привлечь Бурлакова к суду...

— Кем подписано? — крикнул Вася. — Кто подписал?

— Письма анонимные.

— А анонимные — так в галльон их!..

— Тихо! — крикнул Пахомов. — Тут не орать, тут думать надо, товарищи дорогие!..

После долгих споров обоим — и Бурлакову и Прасолову — записали по выговору, и Сергей при людях с трудом сдержал радость.

— Ну, все, Еленка, теперь — полный ход, — взволнованно говорил он вечером в кубрике. — Завтра пойду к Федорову: пусть ставит на катер только нас с тобой. Кровь из носу, а должны вдвоем справиться. Должны!

— А Иван как же?

— А Иван пусть на берегу кантуется, с ним дело кончено. Пусть слесарит или в складе кладовщиком. Тут закон, Еленка, один: не сумел удержаться — падай, покуда не зацепишься.

— Хороший он человек... — вздохнула Еленка.

— Хороший человек — это еще не профессия.

Он обнял ее. Еленка посмотрела прямо в глаза тревожным взглядом, сказала тихо:

— Не надо. Иван войдет..

— Да не придет он, не жди! Он небось опять к старикам подался. И вообще забудь о нем. Забудь все. Вдвоем мы теперь. Вдвоем, понятно?

Наутро Ивана вызвали в район. Он долго ходил по инстанциям, писал объяснительные, признавал, что Прасолов говорил правду, и тут же упорно отрицал свою вину. Его пытались убеждать, разъясняли, потом махнули рукой. Велели работать, замаливать грех: с этим Иван не спорил.

С попутной машиной вернулся домой и, как было приказано, пришел прямо к директору. Долго не принимали: он курил в коридоре. Наконец пригласили в кабинет.

— А, товарищ Бурлаков. Присаживайтесь.— Директор подал руку.— Ну, какие дела?

Иван коротко рассказал. Директор кивал, не глядя. Потом спросил — вдруг, не дослушав:

— Как считаете, Прасолов справится с катером?

— Вообще-то...— Иван замолчал. Он понял вопрос, понял, что стояло за ним, понял все и сказал: — Справится, Юрий Иваныч.

— А в плавсоставе служить вам больше нельзя.— Директор вздохнул и впервые глянул на Ивана.— Извините, нельзя.

— Юрий Иваныч...— Иван встал, качнулся, уцепился за спинку стула.— Юрий Иваныч, я никогда не просил... И выполнял всегда. Благодарности имею...

— Нельзя, товарищ Бурлаков,— с ноткой раздражения сказал директор.— Я тоже подчиняюсь законам. Вот так. Идите в отдел кадров, там что-нибудь подберут. Я дал указание. До свидания. Идите.

Иван шел в отдел кадров, ни с кем не здороваясь, глядя сквозь людей, а серую праздничную кепку нес в руке, забыв надеть при выходе из кабинета. Так он и вошел к начальнику.

— Здоров,— сказал Николай Николаич.— Садись. Кури.

Он ни о чем не спрашивал. Иван курил медленно, долго разглядывал огонек папиросы, стряхивал пепел в огнеупорную ладонь. Николай Николаич терпеливо ждал.

— Уволили,— растерянно сказал Иван.

— Знаю,— подтвердил начальник.— Обижаться на это смысла нет: по состоянию здоровья тебя давно на берег списать надо.

— Берег...— Иван горько усмехнулся, прошел к окну, высыпал пепел.— Где он, мой берег, Николай Николаич?..

— Привыкнешь. Трофимыч. Ой, к чему человек привыкнуть может, это даже вообразить себе невозможно!..

— И к тому, что дома нет, тоже привыкнуть можно?

— Смотря что домом считать. Был катер домом, будет — мастерская. Или ты, может, куда еще хочешь?

— Все равно.

— Ну, коли все равно, так слушай меня. Пойдешь мастером по топливной аппаратуре. Работа чистая, тонкая. Вдумчивая работа, как раз для тебя. При мастерской каптерка имеется. Я с начальством договорился: будешь там жить. Поставишь коечку, столик...

— Хватит с меня исключений. Как все желаю. Как все.

— В общежитии сплошнякам одна сезонная молодежь. Они, подлещы, по летнему времени в три утра спать ложатся. Там ты враз очуришься, это я тебе точно говорю.

— Нет уж, Николаич, давай как все,— упрямылся Иван.

— Нет места в общежитии, все, точка! — вспылл начальник.— Ему как лучше хотят, а он свое. Ишь какой ты обидчивый, Иван!..

— Обидчивый?..— Иван серьезно посмотрел на него, снова полез за папиросами.— Нет, Николай Николаич, на себя, на жизнь свою обижаться — это пустое. А больше мне не на кого обижаться. Да, не на кого. Все правильно. Пашу уволил?

— Уволил,— вздохнул Николай Николаич.— Эх, признал бы ты свою вину на собрании!.. Признал бы вину, и все было бы как надо.

— Какую вину? — строго спросил Иван.— Разве ж можно людям в беде не помочь? Подлецом надо быть, чтоб не помочь.

— Эх, Иван! — Начальник стукнул кулаком о стол и выругался.— Говорил же я тебе, предупреждал. Ну, да что прожитое вспоминать...

Помолчали. Иван спросил, не глядя:

— Со стариками-то как решили?

— Не решали еще. Колхозу сообщили: бригадира ихнего видел. Радуетя: сенцо-то задарма получил...

В цеху Ивану понравилось: каждая вещь знала место, чувствовался порядок. Да и народ в большинстве был пожилой, степенный: на регулировку топливных насосов мальчишек не поставишь. Встретили Ивана как старого знакомого. Начальник цеха показал что к чему, познакомил с бригадой, определил к месту.

— А жить будешь здесь, Трофимыч.— Он открыл дверь в углу, пропустил вперед Ивана.— Здесь у нас тихо: в одну смену работаем.

Комнатка была маленькой, метров шесть. В углу стоял столик, табуретка и голая железная койка. Окно, пол, даже стены были тщательно вымыты, а подоконник и рама окрашены заново: его ждали, о нем думали, и горячая волна благодарности ударила вдруг Ивану в голову, закружила, и он поспешно сел.

— Ну, спасибо тебе...

Но в комнатке никого уже не было: начальник ушел по своим делам...

Так вот, значит, какое оно, это последнее его жилье. Ему не было тягостно от этих мыслей. Самое главное — приют этот последний теперь был у него. А значит, были и люди, которым еще нужен он, Иван Бураков, значит, рано еще списывать его со счетов, значит, нужно и можно жить....

Он договорился с начальником, что переедет сегодня же, а завтра с утра заступит на смену. Теперь следовало пойти на катер за вещами, и — странное дело! — он уже не боялся этого.

На выходе он столкнулся с Михалычем. Оба обрадовались встрече, долго жали руки, улыбались друг другу.

— Ах, Иван Трофимыч, родимый ты мой, все знаю, все!.. — чистил Михалыч, держа Ивана за руку.— Аккурат вчера узнал, утром вчера. Прихожу на работу, а мне говорят: уделай каптерочку под жилье. Для Ивана Трофимыча, мол...

— Так это ты уделал, Михалыч?

— Да пустое это, пустое. Нюрку, старшенькую свою, вызвал: она у меня проворная. Ты на катер, что ли? Может, помочь?

— Какая там помощь, Михалыч. Пожитков — всего ничего.

— Ну, наживешь еще. А уж вечерком к нам пожалуй, Иван Трофимыч, не обидь. Ждем тебя. Харчишек жена сготовила, посидим, побеседуем. Уважь, Трофимыч.

Отказывать Иван не умел: согласился. Обрадованный Михалыч ушел, а Иван направился к причалам. Идти пришлось долго, потому что встречные останавливали его на каждом шагу, расспрашивая, что было в районе и как он теперь устроился.

Еще издали Иван увидел свой катер, и что-то дрогнуло в нем. Оживление, вызванное новым жильем и встречами, спало, печаль с новой силой овладела им, и шел он теперь медленно, и никого уже не видел вокруг, кроме своего катера.

Катер стоял на старом месте, у затопленной баржи. Людей не было видно, но когда Иван подошел ближе, то разглядел худую сутулую фигуру на носу. Он остановился, всматриваясь, и тут только заметил, что надписи «Волгарь» больше нет, а вместо нее стоит прежняя цифра «17». И художник — теперь Иван узнал его — закрашивает на ведрах буквы и пишет по трафарету ту же цифру «17»...

С ремонтом управились быстро: Сергей не вылезал из цеха, работал за двоих, исхудал, измотался, но Семнадцатый вступил в строй куда раньше намеченного срока.

— Ну, теперь повертимся! — радостно говорил Сергей. — Теперь, девочка, конец сонному царству!

Вертеться действительно приходилось, но Сергей был отличным организатором. Каждый вечер он надолго уходил в диспетчерскую, обзванивал участки, всеми правдами и неправдами добивался удобных нарядов и загодя составлял график. К минимуму сократил простои, беспощадно строчил акты за малейшее опоздание, не стеснялся звонить и самому директору. Нажил врагов, но в первую же декаду вдвое перевыполнил план.

Случалось, что на руле стояла Еленка. Сергей настойчиво учил ее, втолковывал правила, знакомил с двигателем. Вначале Еленка боялась штурвала, от страха делалась бестолковой, но Сергей был неумолим:

— Полегонечку, девочка, полегонечку!

Теперь он все чаще называл ее девочкой. Еленке не нравилось это новое обращение: в нем не было ни ласки, ни тепла, и внутренне она чувствовала, что это — просто привычка, что таких «девочек» у Сергея было хоть пруд пруди. Но не умела с ним спорить, боялась насмешек, со страхом вспоминала его сухие, жесткие глаза, что глянули на нее в то воскресенье, когда ездили на острова. Она хотела мира, тихой семейной радости. Ей казалось, что в этом и заключается счастье, и когда Лида в упор спросила, счастлива ли она, Еленка, не задумываясь, ответила:

— Очень!

— А жениться думает ли?

— Некогда сейчас, — отвернувшись, сказала Еленка. — Вдвоем ведь работаем. И комнаты пока не дают. Вот, когда дадут...

— Он так сказал?

— Сказал, — соврала Еленка и покраснела.

Они встретились у магазина. Еленка поздоровалась, хотела шмыгнуть мимо, но Лиду так некстати завела этот разговор.

— Нет, ты не думай, он хороший, — поспешно добавила Еленка, испугавшись, что Лида правильно истолкует ее смущение. — Только трудно ему сейчас.

Лида, странно усмехнувшись, промолчала, и Еленка, краснея и запинаясь, стала неуклюже переводить разговор: спросила, нашел ли Вася мотор.

— Нашел, — сказала Лида. — Глубоко только: три метра с половиной. Катер нужен: с лодки его не подымешь.

— Так сходим!..— Еленка очень обрадовалась.— Хоть завтра сходим туда на нашем...

Лида поблагодарила, но Еленка, загоровшись, обещала любую помощь, и Лидуха заулыбалась. Расстались почти как прежде, договорившись, что завтра после работы Сергей подгонит Семнадцатый к топля-коподъёмнику.

— Никуда не пойдем! — резко перебил ее Сергей, когда она сказала ему о встрече.

— Как же можно?.. — растерялась Еленка.— Вася ведь к нам тогда шел, из-за нас ведь все. И обещала я: ждут...

— Подождут и перестанут,— отрезал Сергей.— Пусть оформляет через диспетчерскую: дадут наряд — пойду.

— Нет, завтра пойдем!.. — крикнула Еленка.— Люди помочь просят, а ты — наряд, диспетчер!.. Пойдем, и все. Как прежде ходили, при Иване Тро...

Она вдруг осеклась, замолчала, опустила голову. Сергей молча курил за столом.

— Вот что, Елена,— сказал он наконец, и Еленка опять увидела его жесткие, словно застекленные глаза.— Заруби на будущее: против меня ни полслова. Я здесь хозяин, я один решаю.

— А я, выходит, никто?

— А ты знай свое место! — крикнул он.— И цени его, пока я выводов не сделал!..

Скандалами, жалобами и беспощадными актами за малейший простой Сергей все-таки добился своего: катер работал теперь по строгому часовому графику. И снова на всех летучках все чаще и чаще поминали Семнадцатый, но никто уже не называл его Ивановым. Разве что неисправимые консерваторы из старых капитанов, да и то как-то походя, словно стесняясь. Но и Сергеевым катером тоже никто не называл.

— Не любят нас, Сережа,— с горечью сказала Еленка.— Бабенки меня совсем привечать перестали, а мужики усмеваются.

— Нам с ними не детей крестить,— отмахнулся Сергей.— Доплаваем навигацию, снимут выговор, сыграем свадьбу, а там поглядим. Может, и подадимся отсюда: в Сибири рек много...

Он говорил о Сибири, о тамошних заработках, а Еленка ничего не соображала. Она глядела на него во все глаза, и лицо его двоилось, расплывалось перед нею, потому что слезы мешали смотреть.

Вот так он впервые сказал о свадьбе. И именно потому, что сказал вскользь, среди других дел, Еленка поняла, что это серьезно. Она удержала себя, не кинулась на шею, а, спрятав слезы, стала обстоятельно обсуждать предполагаемую жизнь в Сибири.

Она научилась угадывать его желания и хватать на лету то, что он только собирался сказать. Сергей смело нагружал ее работой, научил водить катер, посылал в диспетчерскую за нарядами или в контору с рапортчиками. Вначале она очень не любила эти поручения, стеснялась, но постепенно страх перед людьми прошел, она стала держаться свободно, и Сергей не шутя утверждал, что через год сделает из нее помощника капитана.

— Главное, людей не бойся,— поучал он.— Пусть лучше они тебя боятся.— Он вздохнул.— Наряд на завтра хороший был, да сорвался, из графика нас вышибли. Я в контору схожу, а ты побудь: плотник должен прийти.

Плотник пришел к концу смены. Еленка услышала чужие шаги, насторожилась, но он окликнул:

— Хозяин!

Поднялась в рубку, увидела сквозь стекло Михалыча и задержалась: опять судьба сталкивала ее с той, прошедшей жизнью, о которой она часто думала, но о которой так хотела забыть.

— Здравствуйте,— сказала она, выходя на палубу.

— Здоров.— Он мельком глянул, размечая прямоугольник.— А хозяин где?

— В контору ушел.

— А-а.

Он не обращал на нее внимания, продолжая обмерять толстые брусья и доски. Обмерив, достал лучковую пилу, приспособился пилить, уперев брус в носовой люк.

— Что это вы строите?

Михалыч задержал пилу, странно, боком глянул на Еленку.

— Что строите, спрашиваю?

— Постамент,— сказал он, снова начиная пилить.— Гроб на него поставят.

— Гроб?.. Какой гроб? Зачем?

— За тем, что человек здесь работал. Здесь работал, здесь и последний путь должен...

Хватаясь руками за железную стену рубки, Еленка медленно сползала на палубу. Михалыч бросился, подхватил, с тревогой глядя на ее белое, как молоко, лицо.

— Ну, чего ты, чего, а?.. Ах ты господи...

— Он?..

— Да не он, не он, господи! Думал, знаешь ты... Федор Никифоров помер вчера. Враз помер — как лежал, так и вытянулся... Ну, вставай, вставай, чего сомлела?

Еленка молча отстранила Михалыча, цепляясь за рубку, пошла к дверям. В дверях остановилась:

— А я подумала...

— Жив он покуда,— строго сказал Михалыч.

Утром Еленка надела синее шерстяное платье. Сергей ничего не сказал, но, позавтракав, тоже переоделся и повязал галстук.

После завтрака они долго мыкались по своему печально праздничному суденышку. Катер одиноко притулился у баржи: соседи с зарей ушли в рейсы. Еленка поминутно спрашивала:

— Не пора?

— К десяти велено.

Она бесцельно слонялась по катеру. Спускалась в кубрик, вновь поднималась на палубу. Сергей молча курил на моторном люке.

— Не пора?..— вздохнула Еленка.

— Оркестра не слышно.

— А будет оркестр-то?

— Обещали.

— Это хорошо, это по-человечески...— Еленка походила вдоль борта, удивилась.— А люди хоть бы что. Работают.

— Да,— Сергей вздохнул.— А у нас — простой.

— Как ты можешь так...

— Только без слез,— поморщился Сергей.— Сама же заметила, что люди работают. А мы что, не люди?

— Не знаю, кто мы,— помолчав, сказала Еленка.— Когда ты такое говоришь, то мне кажется: нет, не люди.

Где-то вдали пропела труба, грохнул барабан. Еленка замолчала, подавшись вперед, вслушиваясь. Сергей прошел в рубку, завел двигатель, высунулся:

— Отдай чалку!..

Семнадцатый, мелко подрагивая, пошел к пассажирской пристани...

Скорбное шествие медленно приближалось. Играл оркестр, но звуки его то и дело перекрывались иступленными женскими криками.

Впереди два мальчика несли крышку. Крышка была тяжелой, Вовка положил ее на плечи и шел вслепую, нащупывая ногами дорогу. Он не заметил поворота к пристани, и Пронин руками направил его в нужную сторону, Сергей взял у мальчишек крышку и прислонил ее к рубке.

Четверо мужчин на полотенцах несли гроб. Иван, позвякивая орденами, припадал на хроющую ногу, и от этого голова Федора болталась из стороны в сторону. За гробом шли Паша и сестра покойного.

Музыка смолкла. Провожающие и оркестранты устраивались на катере, негромко переговариваясь.

— Где пионеры? Пионеры не приходили? — волновался Пронин.

— Отчаливать? — спросил Сергей.

— Погоди, Прасолов. Еще маленько погоди.

Естественный ход похорон нарушился. Люди переминались с ноги на ногу, шушукались, музыканты брякали трубами. Наконец крепкогрудая вожатая привела десяток ребятишек. Пронин оживился, деятельно объяснял, как стоять в почетном карауле, когда сменяться. Дети слушали плохо, со страхом поглядывая на белое костистое лицо Федора.

— Детишек-то напрасно сюда, — сказал Иван. — Не годится им на мертвяков глядеть.

— Положено так, — с неудовольствием ответил Пронин. — Прасолов, отчаливай.

Сергей завел двигатель. Пронин побежал на корму, шепнул музыкантам. Тяжко ударили тарелки. Пронин вытащил платок, помахал.

Замерло движение на реке. А как только Семнадцатый отвалил от пристани, торжественно взревели пароходные гудки. И опять заголосоила сестра, заплакали бабы, а гудки все ревели и ревели, провожая в последний путь помощника капитана Федора Никифорова.

Кладбище было на той стороне, и гудки ревели, пока катер не пересек реку. Сергей причалил к дощатой пристани, заглушил мотор, вышел из рубки. Крышку с ребятишками уже ссадили на берег, но никто больше не высаживался, потому что мужчины еще не переправили гроб. Возле него сменилась последняя четверка перепуганных детей, Пронин дал команду, и Сергей шагнул вперед, берясь за тот край полотенца, который прежде держал Иван.

— Не надо, — сказал Иван. — Оставь.

— Тяжело тебе: в гору.

— Ничего. — Иван перекинул через плечо полотенце. — Взяли.

На кладбище гроб опустили рядом с могилой, провожающие столпились вокруг, перемешались, тесня друг друга, и Еленка оказалась в самой гуще. Пронин открыл митинг, говорил, по счастью, коротко и не по бумажке. Потом выступал еще кто-то — Еленка не слышала, — и вперед вышел Иван. Он долго мял в руках кепку, глядя в лицо Федора, а кругом стало вдруг так тихо, что Еленка испугалась. Она начала уже прорываться вперед, когда Иван сказал:

— Девять навигаций плавал я с Федором Семенычем. И льдом нас затирало, и на мель мы садились, и мерзли, и мокли, и тонули — все было. При мне у него и дети родились, и дом он поставил, и покалечился тоже при мне...

— Не при тебе, а из-за тебя!..— выкрикнул одинокий голос, и Еленка узнала Степаныча.

По толпе пробежал гул. Пронин и Вася метнулись к Степанычу, а Паша со стоном выдохнула:

— Не надо, не надо!.. Просила ведь вас, господи!..

— Верно,— тихо сказал Иван.— Только судить меня он один мог, а больше никто. Мы с ним душа в душу жили, душа в душу. И если было что не так, если виноват я, то он и решал и судил. Вот так. Никого больше меж нами не было и не надо. Прощай, Федор Семеныч, прощай, друг, и прости меня.

Он с трудом опустился на колени, коснулся губами белого лба, встал и, ни на кого не глядя, пошел прямо на толпу. Люди раздались, пропуская его, и опять сомкнулись в одно целое. Пронин махнул рукой, оркестр заиграл марш. Заплакали, заголосили бабы, затолкались, пробираясь к гробу, а потом, перекрывая плач, резко и деловито застучал молоток. Еленка закрыла лицо руками, шагнула прочь от этого страшного последнего стука, уткнулась лбом в чей-то жесткий пиджак и замерла. Тяжелая рука осторожно обняла ее плечи и держала так, словно защищая, загораживая от всех бед и напастей. Она приподняла голову: это был Иван.

На обратном пути шли быстро, без музыки и гудков. Оркестранты толпились на корме, курили, переговаривались. Два раза там вспыхнул было смех, но Иван прошел, устыдил: больше не смеялись.

Паша бродила по катеру, тихо приглашала помянуть Федора. Сергей отказался, но Еленку отпустил: сообразил, что вышло бы совсем неудобно. Ссадил всех у пассажирской пристани.

В доме уже был накрыт стол: Лида оставалась за хозяйку. Первой, как положено, помянули Федора, выпили в торжественном молчании, а потом разошлись, заговорили. Еленка хотела было уйти, но в дверях столкнулась с Иваном.

— Ты куда это?

— На катер, Иван Трофимыч.

— Успеешь еще.

Он сразу прошел к столу: нес из погреба заливное. Еленка постояла, подумала и вернулась.

Он не глядел на нее, разговаривал коротко, но уйти она уже не могла: хотелось объяснить, как больно за стариков, за Федора, как перепугалась она вчера, когда пришел Михалыч. Ей вдруг показалось, что после этого объяснения все станет на свои места, и жизнь опять потечет мирно, привычно и спокойно.

Но поговорить так и не успела, потому что в комнату вошел Сергей. Тихо поздоровался, потоптался у порога, окликнул:

— Еленка!..

— К столу прошу, Сергей Павлыч.— Паша уже тянула его за рукав.— К столу...

— Нет, нет, что вы,— отговаривался он.— Я ведь за Еленкой только: баржу со скотом на утро нарядили...

— Нет уж, уважьте, Сергей Павлыч. В память мужа моего, Федора Семеновича...

— Ну разве что за добрую память.— Сергей нехотя прошел, взял стакан, сказал громко: — Земля чтоб пухом ему.

Выпил, хотел уйти, но тут гости вернулись к столу, оттиснули в угол. С ним никто не разговаривал, но сначала Сергей растерялся, выпил еще, а потом вылезать было уже неудобно. Слушал, что говорят, помалкивал, ел.

— Как движок после ремонта? Тянет?

Иван спросил вдруг, походя, вроде из вежливости, чтобы не молчал гость за общим столом. Сергей вздрогнул, поспешно проглотил кусок.

— Тянет. Нормально, в общем. Ну, в пятом цилиндре выработка большая, а так ничего. Конечно, масло жрет по-прежнему, даже больше. Но я на это специальные рапортчики пишу и у главного механика заверяю. Чтоб потом собак не вешали...

Он замолчал, поняв, что оправдывается, как нашкодивший мальчишка. Заметил, что шум за столом утих, что все слушают сейчас только его. Слушают недобро и серьезно. Нахмурился, потянулся за бутылкой, но Вася перехватил эту бутылку и налил всем, а ему плеснул, что осталось.

— Да уж про рапортчики мы наслышаны,— усмехнулся бригадир плотовщиков.— Хорошо наслышаны, понимаешь ли.

Два этих незначительных события — подчеркнутое невнимание Василия и насмешливое презрение плотовщика — сразу успокоили Сергея. Место виноватого, унижительного состояния заняла привычная агрессивная злоба. Сергей с облегчением закурил, не притрагиваясь больше к стакану.

— Работать надо,— резко сказал он.— Не вкалывать по старинке, как привыкли, а организовывать ее. Планировать. Газеты-то читаете или только селедку в них заворачиваете? НОТ, слышали? Научная организация труда. И здесь надо беспощадно. Без всяких там сватьев, братьев и добрых знакомых. Не умеешь, устарел, недопонимаешь — значит, отойди и не мешай.

— Работать, стало быть, не умеем? Не умеем, стало быть? — спросил Михалыч.

— Он нас учить приехал,— усмехнулся Вася.— По собственному желанию из города Саратова.

Иван молчал. Слушал спокойно, покуривал, не глядя на Сергея. А Сергей очень хотел, чтобы он заговорил. Чтобы высказался, заспорил, чтобы выложил обиды. Вот тогда бы он прижал его доводами, уничтожил, высмеял, заставил бы замолчать. Но Иван только слушал.

И Еленка слушала. Сидела напротив, ловя каждое слово, пыталась понять, разобраться. Сергей все время видел ее, чувствовал ее напряжение и поэтому тянул, всеми силами тянул Ивана на спор.

— Учиться никому не вредно,— еще резче продолжал он.— Вы тут добренькие очень: свояк свояка видит издалека. А работа этого не любит. Работа злость любит.

Он повторялся, талдычил одно и то же, понимал это, злился, но новые аргументы упорно не лезли в голову. И замолчать уже было нельзя, потому что чересчур уж невозмутимым, чересчур спокойным и уверенным был Иван.

— Вы что, не видите, какой бой идет? По всей стране — сражение. За новое отношение к труду. Деловое отношение,— он очень обрадовался, что нашел наконец нужное слово.— Деловое! И деловые люди сегодня все должны определять. А деловому человеку нежности всякие ни к чему. И пусть поначалу жестоко, пусть слабенькие там всякие, пусть страдают...

— А зачем? — негромко спросил Иван.

— Зачем? А затем, что вы, как кандалы на ногах, у нас. Висите, путаете, темпы снижаете...

— Чего — темпы? — все так же негромко, спокойно допытывался Иван.

— Чего? Построения коммунизма, вот чего!..

— Так ведь коммунизм — это не павильон на выставке,— сказал Иван.

От неожиданности Сергей не нашелся что сказать, да так и остался с открытым ртом.

— Правильно! — радостно крикнул Вася.— Точно вы ему врезали, Иван Трофимыч!

— Чтобы радостно всем,— зачастил Михалыч.— Чтоб справедливость, чтоб уважение было!

— И чтобы без таких, как ты! — вдруг с ненавистью выкрикнул Вася.— На порог таких не пустим!

— Да, парень, опять ты не в ту сторону тельняшку рванул,— с усмешкой сказал плотовщик.— Играешь по-крупному, к банку, понимаешь ли, рвешься, а сам как был, так и остался: весь мокрый и рупь в руке.

За столом дружно рассмеялись. Даже сидевший поодаль Степаныч пронзительно захихикал:

— Рупь в руке! Точно про него! Ну, точно! Он ведь, это, ко мне бегал, мужики, да! Просил, значит, чтоб я не жаловался. Рупь в руке!..

Отсмеялись. Иван сказал тихо:

— Ты прости нас, Паша. Забылись.

— Ничего. Он веселье любил...

Сергей, путаясь и злясь, пытался что-то сказать — уже не слушали. Плотовщик встал, заглушил басом:

— Одно могу сказать тебе, парень: ступай-ка ты к Николай Николаичу, пока, понимаешь ли, не поздно. И просись отсюда... по собственному желанию.

И стал прощаться с хозяйкой. Сергей крикнул Еленке:

— Пошли!

Еленка молча затрясла головой, отвернулась. Сергей растерянно топтался у дверей:

— Ну, что ты? Ну, кому говорю?..

— А она — не хочет,— сказала Лида, загородив Еленку.— Не жена еще, не командуй.

— А ты на нее рапортчку напиши! — крикнул Вася.

Сергей вышел, остервенело хлопнув дверью.

— Явилась?

Было два часа ночи, но Сергей так и не ложился. Табачный дым слоями стоял в кубрике, консервная банка, заменявшая пепельницу, была полна окурков.

— Я уж думал в милицию...

Он увидел ее глаза и замолчал. Спрятал улыбочку, наигранную веселость, сказал заботливо:

— Ложись, девочка. Часа три еще поспать успеешь. Ложись.

Еленка молча прошла в свой угол. Сергей начал стелить постель, но тишина становилась уже невыносимой, и он сказал весело:

— Дали мне сегодня прикурить, правда?

Он вдруг замолчал: раскрыв на диване чемодан, Еленка спокойно, неторопливо укладывала вещи. Расправляла каждую складочку, оглаживала швы.

— Ты куда?

Она окинула его долгим взглядом, снова склонилась к чемодану. Он шагнул, хотел захлопнуть крышку, но она не позволила.

— Да ты что? — тихо спросил он.

Еленка молча продолжала укладываться. Заглядывала в шкафчики, вынимала вещи, уложила свою кружку.

— Ты что, вправду? Да отвечай же, когда спрашивают!..

— Не кричи.

— Да ты... ты... Дура ты! — Он бросился к ней, обнял. — Ишь чего удумала. Брось ты это, брось. Тяжело? Ну, уедем отсюда. Завтра уедем, слышишь? Подаю заявление. Не могу без тебя, честно говорю.

Он целовал ее, а она стояла как каменная, опустив руки.

— Вот и распишемся завтра, — бормотал он. — Распишемся и сразу уедем...

Она спокойно отстранила его, и он сразу замолчал. Закурил, отвернулся. Еленка неторопливо закрыла чемодан, долгим, словно вдруг повзрослевшим взглядом окинула до последней царапинки знакомый кубрик и, взяв вещи, пошла к трапу. Сергей бросился было наперерез, но она так глянула, что он попятился.

Темная, по-осеннему неприветливая ночь стояла над рекой, когда Еленка вышла на палубу. Только светились фонари на плавучих кранах да вверх по реке уходила цепочка бакенов. Еленка вздохнула и, плотно прикрыв дверь рубки, пошла к сходням.

С грохотом распахнув железную дверь, Сергей выбежал на палубу. Огляделся, крикнул:

— Еленка!..

Всхлипнули сходни да плеснула вода за крутым бортом.



ЕФИМ ДОРОШ

★

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Деревенский дневник. 1967

В Райгород я приехал в этот раз не прямым путем, а сделал изрядный крюк, чтобы посмотреть Залесье, куда чуть ли не каждое лето приглашал меня съездить с ним Николай Семенович, но я все не мог собраться. Сейчас, когда вот уже три года моего друга нет в живых, я решил побывать в заштатном райцентре не столько из интереса к этому старинному торговому селу, сколько ради памяти Николая Семеновича.

А тут еще случилось, что в те же места ехал один мой знакомый, родом из-под Залесья, который и село обещал показать, и приглашал ночевать в расположенной рядом лесной деревеньке, где жила его тетка.

Ехали мы по преимуществу хвойным лесом, откуда, когда мы останавливались и выходили из машины, тянуло сухим, горячим смолистым духом. Лес почти всюду был мелкий, однако встречались и большие старые ели, иногда сосны. Трава в лесу стояла редкая, сгоревшая, отдельными былинками, под ногами потрескивали шишки, пересохшие сучки.

В полях из стороны в сторону ходила рожь, пестревшая васильками. Здесь было ветрено, однако так же жарко, как и в лесу. Встречались деревни и села с ободранными церквями той провинциальной архитектуры начала и середины девятнадцатого века, которую я назвал бы кустодиевской, потому что поэтичность ее впервые открыл Кустодиев.

Залесье обозначилось издали темной башней неизвестного назначения, торчавшей над постепенно выходившими из-за горизонта широко расползшимися домиками с редкими купами деревьев между ними.

Башня оказалась колокольней — высокой, в стиле ампир, с колоннами и фронтончиками, все уменьшающимися кверху. Согласно с модой конца прошлого века колокольня была обшита железом, теперь уже ржавым, в иных местах содранным. Глава колокольни, должно быть завершенная шпилем, была начисто снесена, из кирпичного свода росли березки.

Под стать колокольне была и церковь — большая, с просевшим сферическим куполом, судя по всему, не раз перестраивавшаяся для каких-то хозяйственных нужд, частью не то разобранный, не то сохранивший остатки недостроенной пристройки. Вокруг церкви топорщился репейник, внутри поблескивало битое стекло и воняло заброшенным отхожим местом.

«Пятнадцать лет спустя» — заключительная часть «Деревенского дневника» Ефима Дороша, печатавшегося на протяжении многих лет главным образом в нашем журнале. См. «Новый мир», № 7, 1958; № 7, 1961; № 10, 1962; № 6, 1964; № 1, 1965; №№ 1 и 2, 1969.

Площадь перед церковью была вся освещена солнцем, и не было на ней ни души. Возле пыльного сквера был врыт столб с голубой табличкой, на которой белела буква «Р», означающая, что здесь разрешена стоянка автомашин. Каменные лавки по краям площади чернели проемами открытых дверей, за которыми угадывались тишина и прохлада. Впрочем, иные из лавок, должно быть за ненадобностью, были упразднены, судя по пыльным стеклам, в них помещались склады здешнего совхоза.

Мы свернули в зеленую улицу, спускавшуюся к блестящему в ее конце пруду. На другом берегу пруда теснились по косоугру серебристые металлические решетки, деревянные кресты и обелиски кладбища.

По одну сторону улицы, чуть ли не во всю ее длину, стояли среди старых лип деревянные, земской архитектуры здания больницы, а по другую — обветшалый домик с запущенным палисадником, парадным крыльцом под навесом и заглохшим садом за вывалившимся наружу забором, — не мещанский, а какой-то, я бы сказал, уездно-интеллигентский, в котором, по словам моего спутника, доживает век земский доктор.

В других улицах, таких же зеленых и тихих, машина наша вспугивала дремавших на солнце кур, поспешно поднимавшихся и бежавших прочь.

На площади, куда мы вернулись, я обнаружил еще двухэтажный, недавней постройки кирпичный дом с широким, приплюснутым подобием фронтона, выкрашенный в красный цвет, впрочем слинявший. Должно быть, в доме предполагалось разместить районные учреждения. На нем не было ни одной вывески, и нельзя было определить, кто его теперь занимает.

Из села был вынут некогда механизм торговли, приводившийся в движение окрестным сельским хозяйством. Жизнедеятельность его в течение ряда лет поддерживалась работой учреждений. Теперь, когда и это вынули, село являло собою сонный вид.

Погромыхая кузовом, проехал запыленный автобус.

Помятое такси остановилось посреди площади, высадило приехавшую в отпуск семью с чемоданами и эмалированными ведрами под грибы и варенье. Возле квасного ларька, в котором сидела толстая баба в белом, загрязнившимся на груди халате, довольный собою малый, достав из кармана бутылку, разливал по кружкам вермут — себе и старику с ржаной буханкой под мышкой. Чокнувшись, они выпили и стали запивать квасом.

Попросили и мы себе квасу.

Спутник мой предложил ехать в Омшарово, откуда он и был родом.

Омшарово стояло на горе, внизу которой простирался клочковатый, местами зажелтевший луг и текла речка. Мой спутник сказал, что купался здесь мальчишкой. Речка теперь вся заросла, только недалеко от моста, в некоем расширении, блестела среди сусака и стрелолиста вода.

От воды, покачиваясь под коромыслом с полными ведрами, поднималась в гору молодая женщина, худощавая, с несколько поблекшим лицом. Мой спутник окликнул ее, спросил, не дочь ли она таких-то, и назвал по имени. Женщина ответила утвердительно. Тогда он сказал, гордясь своей памятью, что узнал ее сразу, и снова спросил, узнала ли она его. Женщина застенчиво проговорила: «Миша» — и тут же поправилась: «Михаил».

Она сказала, отвечая на вопросы моего спутника, что мать жива, а отец года три как помер, что нет, она не замужем, спросила, ну, а он

как, и он ответил, самодовольно посмеиваясь: знаешь, как москвичи — в Третьяковке по году не бывают, в Дворец спорта еле вырвутся, только и радости, что телевизор да «спидола». Затем, показав за реку, он поинтересовался, куда девалась манихинская колокольня — все-таки памятник! Она объяснила, что церковь закрыли, так как народу ничего не осталось, колокольню же разобрали на кирпич, и с некоторой отчужденностью, пожалуй, даже с вызовом добавила, что она-де дома молится.

Я подумал, что этим заявлением она словно бы хочет уравнивать себя со своим сверстником, показать, что и у нее, кроме обычного круга материальных интересов, есть еще и другие — духовные, не менее значительные, нежели те, какими, по ее представлениям, тот жил в городе.

Мой спутник повел меня посмотреть место, где некогда стоял дом его отца. Пока мы шли вдоль белешего на солнце бульжного шоссе, пролежавшего среди двух порядков изб с заросшими бурьяном пустырями между ними, он рассказывал, как это случилось, что отец оставил деревню.

Отец был шубником, рассказывал он, крестьянства не любил, хозяйство вела мать. Как у каждого мастера, у него водились деньги, и однажды, всем на удивление, он купил рысака. Когда подошла коллективизация, на отца донесли, что он кулак, на рысаке раскатывает. Отец, испугавшись, сбежал в Москву, выучился на шофера, потом даже наркомма возил.

Последнее мой спутник сообщил с удовлетворением.

Мы постояли над заросшими буграми и ямами, как бы включенными в некий невидимый прямоугольник. По углам его и между ними торчали среди пустыря и лопухов полусгнившие столбы, так называемые «стулья», тридцать с лишним лет тому назад служившие опорой всему дому.

Из соседнего дома вышла пожилая женщина, приветливо поздоровалась, стала спрашивать моего спутника, надолго ли он да как живет, стала рассказывать, словно не видела его все эти годы, что вот уже четырнадцать лет вдовует, что муж умер на операционном столе, ему только сорок сравнялось, а мой спутник, будто она этого не знала, стал говорить, каким работником был ее муж, на все руки мастер, не пил, не курил, да вот поди ж ты — от язвы помер!

Женщина продолжала рассказывать, что ей уже пятьдесят четыре, что зарабатывает она хорошо, когда шестьдесят, когда меньше; и корову держит, и овечек, и куры у нее, хвастала она своей хозяйственностью, и вон сколько картошки насадила, и луку, и моркови, и огурцов...

Она пригласила взглянуть на огород за исправной изгородью, и я залюбовался бороздами высоко окученной, обильно цветущей картошки, чисто прополотыми, без единой травинки между ними, грядками овощей.

Я поинтересовался, как она управляет с продажей всего этого добра, да ведь еще молоко у нее и мясо, а до ближайшего рынка довольно далеко, на что женщина ответила, что летом внуки у нее живут, иногда и сыновья с женами, если на курорт не поедут, зимой же она отправляет им с кем-либо из соседей или кто из них сам приедет, картошку, и овощи, и мясо, и творог, еще и валенки отдаст скатать.

И грибов-то она им засушит и насолит, и брусники намочит...

Мой спутник спросил, как живут сыновья, и она сказала, что хорошо, старшие, вишь, женаты, младший же после армии, не заезжая домой, прямо к ним поехал, на хорошее место поступил, только вот не женится никак, хотя получает подходяще, и вино стал попивать. Мой спутник принял было осуждать его, но женщина вступилась за сына. Не так чтобы сильно он пил, сказала она, с себя не пропивает, на нем

все хорошее, с товарищами пьет, говорит: пока неженатый, надо погулять.

Так мы разговаривали с ней, и она, рассказывая, как хотела сосватать сыну невесту и тот стал смеяться, сказал: искала бы себе жениха,— а на что он ей, мужик, она сама управляет, и в войну обходилась без мужа, и теперь вот уже четырнадцать лет,— она перемежала все это приглашениями зайти в избу, уверяла, что самовар у нее поспеет мигом, и можно было понять, что живется ей одиноко, скучно.

Но нам надо было ехать, и мы распрощались.

Мы ехали лесом, сухой глинистой дорогой, казавшейся розовой в стоявшем здесь зеленом сумраке. По временам лес расступался, открывал окруженные стеной берез и осин небольшие поля ржи либо овса, пожни с белевшими среди них платочками ворошивших сено баб. Наконец, за расступившимися деревьями открылась тихая, в десяток изб, деревенька.

Тетку моего спутника мы застали в постели, в полутемной от близкого леса горнице большого пустынного дома. Накануне она пошла было в лес за сеном, ее застала гроза, да еще с градом, и она сегодня даже не вставала — соседка и корову спустила, и овец выгнала. Все это она рассказала нам, вскочив с постели и сунув ноги в валенки.

Затем она подхватила самовар, кинулась из избы, вернулась, тяжело опустила его у печки, разожгла лучину, мгновенно пославшую в прогорелую трубу стремительно замелькавшее пламя, и вскоре дом наполнился шумом поспевающего самовара, звяканьем собираемой на стол посуды.

После чая мы отправились с моим спутником погулять, прошли опушкой леса, и я все дивился обилию голубики, пока не сообразил, что в деревне мало рьбят, так как молодежь поужжала, бабам же не до ягод.

Мы вышли в поле, встретили возвращавшихся с пожни баб, узнавших и весело окликнувших моего спутника, и хотя были они все немолодые, умаявшиеся на работе, а спутник мой годился им в сыновья, разговор они с ним завели озорной, потешаясь над тем, как он смущался.

Спать меня положили на полу в клетке, куда из сеней вел высокий приступок. В волоковое оконце долго светила вечерняя заря, и я разглядывал подвешенные к потолку кузовки и плетушки, висевшие по стенам косы, серпы, грабли, сдвинутые в углы кадки и бадейки,— смотрел и ловил себя на том, что называю все это крестьянское именье выморочным, хотя и хозяйка еще жива, и где-то у нее живут сын и дочь.

Утром, собравшись ехать, я узнал, что до Райгорода можно добратъся, не заезжая в Залесье: шоссе здесь совсем рядом. Правда, дорога к нему непроезжая, но сейчас сухо, утильщик вон недавно проехал.

И верно, спустя какой-нибудь час, огибая кусты и деревья, хлеставшие ветками, вымачивая еловыми лапами черневшие среди травы рытвины, я достиг накатанного проселка, за поворотом которого открылась преградившая ему путь несколько приподнятая жесткая полоса асфальта.

Я выехал на шоссе, по которому в летучем блеске стекла и никеля, предупреждающе сигналиа, мчались машины, и ощутил вдруг себя вовлеченным в иную жизнь, движущуюся иными скоростями и в иных ритмах.

При въезде в Райгород я оставляю асфальт. Некоторое время, поскрипывая и переваливаясь с боку на бок, машина катится по неровному и пыльному булыжнику. И вот уже со стесненным тревогой и радостью сердцем, словно возвращаясь в дом, где родился и вырос, я въезжаю в распахнутые Дарьей Васильевной и Михаилом Васильевичем ворота.

* * *

Я еду в Ужбол. Усевшись в автобус, я вспоминаю, что впервые побывал в этом селе, так много значившем для меня впоследствии, пятнадцать лет назад, почти день в день. В Райгород я тогда приехал поздним июльским вечером, после только что прошедшего дождя. Не найдя на вокзале человека, который должен был меня встретить, я тронулся пешком по длинной сумеречной улице, описание которой, по случайному совпадению чуть ли не в тот же самый час летнего вечера, много лет спустя прочитал у одного замечательного русского писателя.

«Летние долгие сумерки... — вспоминаю я не то рассказ знаменитого писателя, не то мои собственные тогдашние впечатления.— Вдали все еще брезжит свет зари, но город давно пуст, безлюден,— один караульщик с колотушкой в руке медленно бредет по длинной пыльной улице. Тепло, тихо, грустно... И несказанно прекрасны очертания церкви над сумраком земли, на чуть зеленоватом далеком закатном небе».

Кроме караульщика и пыли, все было точно таким.

Помнится, я долго стоял, залюбовавшись открывшейся картиной.

В конце улицы, над приземистой аркадой гостиного двора, слегка освещенной изнутри тусклым светом витрин, смутно белели теснившиеся одна к другой церкви и поблескивали, отражая зарю, крутые бока луженых куполов с едва мерцавшими над ними золотыми крестами.

Утром, после того как из райкома долго звонили во все учреждения, справляясь, нет ли попутной машины в сторону Ужбола, я трясясь в кузове исполкомовской полуторки, в кабине которой сидел председатель райплана, сперва по разбитой, с остатками асфальта, пыльной, так называемой автомобильной дороге, а потом, когда мы свернули, по чисто промытому вчерашним дождем старому земскому булыжнику.

В последующие годы, уже не корреспондентом газеты, как в тот первый мой приезд, а частным лицом, проживая то в Ужболе, то в Райгороде, я обычно проделывал весь этот путь пешком, по тропинке вдоль шоссе, иной раз в обществе баб, поспешавших на базар с молоком либо ягодами или неторопливо возвращавшихся с базара.

Из года в год все выше и тенистее становились тополя, между которыми вилаь в траве тропинка, в иных местах мягкая, потная; поднято было, спрофилировано и залито гудроном шоссе, по которому, с треском разрывая воздух, все больше и больше проносилось машин.

Теперь вот и в Ужбол пошел автобус. Я поглядываю в окно на площадь перед несказанно прекрасными церквями, которыми некогда любовался знаменитый писатель. В первый мой приезд, да и долгие годы спустя здесь останавливались машины, чаще всего грузовые, следующие со стороны Москвы или областного центра,— и, боже мой, сколько же народу кидалось им навстречу с мешками, в которых болтались пустые бидоны, с корзинами, чемоданами. Каждый еще на ходу спрашивал, куда идет машина, цепляясь за высокие ее борта, норовил вскочить, томимый древней боязнью расстояния. И сейчас здесь стоят машины. Длинные комфортабельные «икарусы», совершающие дальние рейсы, останавливаются посреди площади. Сельские автобусы — поменьше и поскромнее — стоят перед белыми табличками с большой красной буквой «А», прикрепленными к стенам чуть ли не всех зданий, выходящих на площадь.

Посадивший меня «безо время» шофер объяснил это свое движение души тем обстоятельством, что иначе, как здесь выговаривают, «бабушки» затолкают, и мне приходит на мысль, что среди набившихся в автобус женщин с пустыми корзинами и бидонами могут быть и давнишние мои попутчицы, что и меня, надо полагать, называют «дедушкой».

Последней втискивается в автобус и остается стоять у дверей крупная, широкая в кости, белокурая девушка в синем с белым, полосатом платье, стриженная, завитая, с подбритыми, наведенными черным бровями, ясноглазая, чуть скуластая, с вспотевшим розовым лицом.

Она глядит так покойно и такая у нее почти детская доверчивая улыбка — хотя стоять ей, прижатой к металлической стойке-поручню, с потрескивающими у ног чьими-то корзинами, очень неудобно, — что я безотчетно любуюсь ее молодым здоровьем, доброжелательностью, пока вдруг к этому моему чувству не примешивается некое воспоминание, точнее сказать, сквозь черты рослой молодой женщины как бы начинает проступать смутно улавливаемый мною облик маленькой худенькой девочки — белоголовой, скуластенькой, со смыслеными, то и дело потупляющимися от смущения глазками, в длинном испачканном платьишке.

Галька!

Однако прошло столько лет, и сходство между той деревенской девочкой — мне почему-то запомнилось, в самую жару обувавшей тяжелые башмаки, а в дождь бегавшей разутой, — сходство между тем забросышем, росшей без отца дочерью телятницы Шурки Вирикиной и этой не то чтобы выхоленной, просто здоровой, сияющей своей чистотой и открытостью женщиной было таким неуловимым, призрачным, мгновенно исчезающим, что я и в мыслях не держал спросить ее, не Галька ли она Вирикина.

Мне было достаточно того, что я вспомнил те давние годы в Ужболе, милую, вызывавшую во мне щемящую жалость Гальку, и темноволосую, голубоглазую красавицу Нину Якимову, счастливую своим, для деревни чудаковатым, на диво заботливым отцом, и другую Нину, внешность которой не удержалась в моей памяти, вытесненная, должно быть, обликом ее степенного и рассудительного деда Павла Ивановича Сурикова, — мне было этого достаточно, и я был счастлив тем, что вспомнил всех подружек моей старшей дочери и еще каких-то совсем уж маленьких, водившихся с меньшей дочерью, всех их, собиравшихся у нашего дома, особенно в те часы, когда хозяйка, Наталья Кузьминична, придя с поля, принималась вырезать им из огурцов бадейки, ведра, чашки, корыта...

И вдруг из того давнего времени раздается застенчивый голос:

— А Наташа почему не приехала?

— Галька!

Я забрасываю ее вопросами, и Галька отвечает, что работает в областном городе, замужем, теперь вот гостит у матери, пока декретный отпуск не кончился, а Нина Якимова фармацевтом в Павловске, другая Нина еще учится, Павел Иванович совсем плох, забываться стал.

И опять о себе, что муж хороший, живут хорошо...

Вскинувшиеся вдруг «бабушки» принялись протискиваться вперед, к выходу, сокрушая все вокруг переброшенными через плечо на полотенецке бидонами и корзинами, и нас с Галькой оттеснили друг от друга.

Ужбол, представляется мне, стал зеленее. Травой заросла некогда выбитая не хуже тока земля перед домом Натальи Кузьминичны, где девчата отплясывали елецкого. И перед бывшим клубом, лет шесть назад перестроенным в обыкновенную избу, все заросло травой. Зазеленели все те места, где с булыжного шоссе съезжали к избам машины.

Есть и еще нечто в облике села, кроме раскустившей повсеместно муравки, — например, отсутствие некоего центра, где бы ожидал хозяина пропыленный «газик» и покуривали сидящие без дела мужики, куда бы

кто-либо поспешал и откуда озабоченный уходил,— есть и еще приметы, едва уловимые, правда позволяющие с уверенностью сказать, что село утратило свое руководящее в производственном процессе положение.

Случилось это еще в тот год, когда последний председатель колхоза перевел контору из Ужбола в Урскол. Однако то обстоятельство, что до Урскола километра четыре, что попасть туда из города и оттуда в город можно только через Ужбол,— это столь выгодное по отношению к соседу местоположение упраздненной колхозной столицы позволяло ее обитателям постоянно знать, кто из начальства проехал в колхоз, находится ли в конторе проживающий в городе председатель, что привезли, что везут в поставку. Ревность, с какой следили в Ужболе за всем, что происходило в занявшем первенствующее положение соседнем селе, создавала иллюзию, будто и Ужбол стоит в центре совершающихся в колхозе событий.

Но однажды весной, когда уже отселились,— все это три года назад мне рассказывала Сонька,— председатель, приехав из города, собрал колхозников и объявил, что колхоз, к которому присоединили еще три, стал совхозом, а он, председатель, его директором, и добавил: хотите не хотите, а дело сделано, вопрос решенный.

На счету колхоза оставались деньги, и бывший председатель, по совету председателя райисполкома, чтобы не отдавать их государству, купил полный комплект инструментов для духового оркестра, ознаменовав трубным гласом возникновение гигантского, в тридцать сел, хозяйства.

Дирекция совхоза обосновалась в Рыбном, куда добраться можно было только лишь с оказией, дважды пересаживаясь, проехав два километра до Московского шоссе, затем до Рыбнинской поворотки километров девять, и там еще семь либо восемь. Впрочем, ужбольцы туда и не ездили. Не ездили они и к управляющему отделением Ромке Глебушкину, обосновавшемуся в Медведях, откуда за ним каждое утро приходила машина, возившая его и на обед и с обеда... Рассказывая обо всем этом, ужбольцы говорили, что и в Рыбное и в Медведи ездить им непочто. С них достаточно было бригадира, которым поначалу стал Ваня Суриков, сын Павла Ивановича, до седых волос сохранивший уменьшительное это имя.

Так вот и остался Ужбол за штатом.

Наталья Кузьминична, по обыкновению встретившая меня несколько растерянно, словно мы с ней незнакомы или видались бог знает когда, так что она сразу и не сообразит, кто это перед ней, застенчиво улыбается, негромко восклицает: «Приехали!» — и, как это было и в прошлый мой приезд, зимой, не то спрашивает, не то сообщает: «Сильно похудала я».

Она рассказывает, что всю весну пролежала в больнице, так что и усадьбу не сажала, ребята уж без нее что сумели, то и посадили: одному ведь из города приезжать, а другому и того дальше, из Козьмодемьян.

Я уже знаю, что Андрей, младший сын Наталья Кузьминичны, работавший в Райгороде и поэтому остававшийся жить дома, после недавнего разукрупнения района, к слову сказать укрупненного всего лишь пять лет назад, переехал в Козьмодемьяны, где он работает, как не без гордости говорит Наталья Кузьминична, главным инженером над всеми колхозами.

Наталья Кузьминична жалуется, что и есть ей ничего нельзя, и тяжести поднимать, летом-то еще ладно, печь не топить, да и Виктор из города прибежит, день велик, а зимой не только воды, и дров надо принести.

Я говорю, что на зиму надо ей к кому-нибудь из сыновей переезжать.

Но она возражает, что если уехать, то все померзнет, нечего будет и посадить весной,— это уж всему конец, и дому и хозяйству.

Я не отваживаюсь сказать, что ни дом, ни хозяйство ей не нужны.

Да это и не так, если иметь в виду не одну лишь материальную сторону, потому что и дом, глядящий пятью своими окнами на улицу и двумя — на соседние дома, его передняя изба с изразчатой печью, смежная с нею горница, мост, летник, подызбица; и усадьба с вишенником, картошкой, с грядами лука, огурцов, помидор; и весь существующий тысячу лет Ужбол — все это составляет духовную суть жизни Натальи Кузьминичны.

Сколько раз, словно она при этом была, хотя речь шла о событии, случившемся лет за двадцать пять до ее замужества, рассказывала мне Наталья Кузьминична, как свекор, когда строил дом, поднял бревно, надорвался и вскоре помер. Она любила рассказывать, как при свекрови все теснились в зимнике, а изба с горницей была как музей, где только на пашу сидели с гостями,— это уж после смерти мужа, когда свекровь состарилась и она сама стала хозяйкой, перешли жить в переднюю избу.

С домом связаны воспоминания о многих людях — о квартировавшем здесь Андрее Владимировиче, например, которого Наталья Кузьминична сперва согласилась пустить в горницу, но когда тот пришел с вещами, сказала, что передумала, и на его недоуменный вопрос, куда же он пойдет на ночь глядя, возразила: «А куда хочешь!», однако смилостивилась и оставила жить; или о стоявших однажды осенью солдатах, приезжавших копать картошку, среди которых был не то Хасан, не то Гасан, мошенник не хуже Андрея, служившего в ту пору в армии. То, что Наталья Кузьминична все это до сих пор помнит, объясняется не бедностью впечатлениями, как может показаться, но душевным ее богатством.

И про усадьбу она рассказывает не только в тех случаях, когда что-либо уродило или не уродило, хотя ради лишней десятки, перекинув через плечо две связанные корзины с помидорами, пересаживаясь с попутной машины в городской автобус, потом в поезд и с поезда снова в автобус, ездила, бывало, километров за шестьдесят в областной город.

Про усадьбу она еще любит рассказывать, как нашла в малине выводок ежей, принесла в подоле домой, а девчонки посадили их в подызбицу и ежи разбежались; или как шла она однажды на полдни с моей меньшей дочкой, и та запуталась в траве, упала, плачет, а трава в том году на усадьбе была такая высокая, что девчонки и не видать.

Она и сейчас вспоминает это происшествие, узнав, что заблудившаяся в траве тринадцать лет назад девочка поступает в институт, удивляется и одновременно сокрушается быстротечностью времени. Была ведь и она здоровая, рассуждает она, хоть и работала за два узла ржи, да вот сломалась, и принимается жаловаться на то, что те, кто дотянул до совхоза, получают тридцать рублей пенсии, а она всего тринадцать.

Темный румянец Натальи Кузьминичны кажется горячечным на резко обозначенных скулах, глаза блестят, словно у нее и впрямь жар; она представляется мне не столько состарившейся, сколько больной. Я не найдусь, что сказать ей, чтобы убедить в необходимости оставить Ужбол, который ведь для нее не просто местожительство, как вдруг, с присущей ей детской оживленностью, улыбнувшись, она спрашивает, не достану ли я в Москве синей водички — голову мыть, и рассказывает, что была в городе в бане, увидела, как одна женщина этой синей водичкой мыла голову, и попросила попробовать — уж такая она мылкая, такая от нее вода мягкая, но только купить здесь нигде не купишь.

По обыкновению, после Натальи Кузьминичны я отправляюсь к Соньке. Не дай бог нарушить издавна заведенный порядок и переменить очередность визитов. Сама Наталья Кузьминична замкнется и ничего не скажет, зато уж каждая из ее приятельниц сочтет необходимым забежать и полюбопытствовать: была ли она дома и правда ли, что приезжали москвичи?

Сонька еще не пришла с фермы. Мать ее, тетка Лизавета, говорит, что она скоро придет, и объясняет, что доярки в совхозе выходят к восьми и работают до двенадцати, после чего до двух обед, а потом работают до шести, и никто не опаздывает, не то что в колхозе, где одна к восьми выйдет, другая к девяти, а третья говорит, что вовсе не выйдет: ей стирать нужно... И выходной у всех, и отпуск две недели.

Тетка Лизавета рассказывает, что живут они слава богу, Сонька получает когда сто, а когда и больше — с кормами, вишь, плохо, коровы дают мало, так и то меньше шестидесяти не выходит. И телевизор они купили, и стиральную машину, и диван, чтобы ей, Лизавете, спать было где, потому что лежанку они сломали, спать-от и негде стало.

Она угощает меня молоком, и я спрашиваю, больше для разговора, нежели всерьез, так как ответ знаю наперед, не собираются ли они с Сонькой купить корову, на что тетка Лизавета возражает, что непочто: молока с фермы дают сколько хочешь да еще двух козочек они держат.

Я вспоминаю, как три года назад, когда я примерно об эту же пору приехал в Райгород, в тот же день, возвращаясь с рынка, к Дарье Васильевне зашла Сонька, увидев меня, стала, как водится, спрашивать про того, про другого из моих близких, отчего не приезжают, да скоро ли соберутся, однако я чувствовал, что ей не терпится что-то рассказать мне и только приличия побуждают ее сперва расспросить гостя.

Не выдержав, она вдруг проговорила:

— А я корову купила!

И стала рассказывать, как осенью, в октябре, заменяла больную доярку — ее ведь всюду суют, она безотказная — и услышала, как зоотехник говорил, что скоро будут телок продавать, поскольку план по поголовью перевыполнен и на зиму такое количество голов оставлять незачем.

Ей и запало на мысль купить телку.

Сказала она об этом матери, а та возражает: да что ты, да нам и не купить ее — денег нет и не прокормить, съест она нас. Но ей очень хотелось иметь корову, у нее ведь никогда не было коровы, когда-то еще до войны мать держала корову, так она, Сонька, маленькая тогда была.

Стала она прикидывать. Девяносто рублей у нее есть — правда, она костюм собралась шить, материал уже купила, осталось за приклад и шитво в ателье заплатить, ну да наплевать, обойдется старым костюмом. Еще у нее есть три козы — рублей девяносто можно выручить. Да два поросенка кормится. Хоть и не время, одного, какой побольше, можно зарезать и мясо продать. Еще в кассе взаимопомощи можно сколько-нибудь взять.

Так она все рассудила, еле утра дождалась.

Прибежала на ферму, спрашивает зоотехника: правда ли, что коров будут продавать? Правда, говорит. А когда? Может, говорит, завтра.

Стала она, рассказывала Сонька, приглядываться к коровам.

В это время делили стельных телок между двумя доярками — те набирали себе по группе. И вот одну телку некоторая не берет. А телка важная, большая, хорошая, только вымя маленькое, потому и не берут.

Сонька рассказывала, как ходила вокруг красавицы коровы и переживала: а ну-ка ее какая из доярок возьмет! Слушала, как доярки ее ха-

ют, и опять переживала: может, и вправду нехороша корова. А корова все больше ей нравилась, и было жалко, что такую красавицу сдадут на мясо.

И вдруг она решилась, спросила зоотехника, можно она эту корову возьмет. Пожалуйста, отвечает зоотехник, только хватит ли у тебя денег — корова большая, а продавать будем живым весом. У нее же всех денег триста восемь рублей. Прикинула она, должно хватить. Вешайте, говорит. Взвесили. Корова потянула в аккурат на триста три рубля.

Помнится, рассказывая все это, Сонька самой интонацией передавала то состояние озабоченности, надежды, колебаний, тревоги, решимости, сомнений и радости, в каком попеременно перебивалась, покупая корову.

Когда же она стала рассказывать, как привела ее домой — а уже холодно было, — как огородила на дворе стайку и поставила корову, в голосе ее слышалось ликование, счастье. Она так и сказала, что была сама не своя от счастья, потом добавила, что и тревожилась почему-то.

Утром она сразу же пошла к корове. Батюшки, отелилась корова! Только и было забот, что обмыть теленка... И не видели, как отелилась.

Взяли теленка в избу, огородили ему место, да изба-то у них — не повернешься, пришлось перевести во двор. Окутали они с матерью стайку, утеплили, так и перезимовала телочка во дворе. Всю зиму были с молоком: корова ведь в ноябре отелилась, искусственница она. И с мясом были — второго поросенка зарезали. Получилось не по-материному: не съела их корова. Сама себя оправдала и еще молоко оставалось.

Одно только тревожило Соньку: теперь ведь у них совхоз...

В ответ на мой недоуменный и вопрошающий взгляд она и рассказала мне про собрание, на котором им объявили, что они уже больше не колхозники, и про купленный на колхозные деньги духовой оркестр.

Спустя некоторое время я случайно встретил Соньку возле мясокомбината. Она тащила за привязанную к рогам веревку едва поспевавшую за нею телочку. Мы остановились, и Сонька рассказала мне, что хотела было сдать телочку на мясокомбинат, но там не принимают, много скота пригнали, а зарезать и продать мясом — дня три проканителишься.

Я спросил, что это ей вздумалось продавать теленка среди лета, продержала бы до осени, но Сонька объяснила, что в стадо телочку не берут.

Тем временем телочка, уставившись на нас безмятежным взглядом, пустила пахучую струю, забрызгав Сонькины туфли. Сонька спохватилась, сказала, что ей нужно в кафе, может, они возьмут телочку.

В то лето, когда я бывал в Ужболе, Сонька постоянно угощала меня молоком, причем всякий раз с удовольствием слушала, как я его хвалю. Корова продолжала оставаться для нее нечаянной радостью, к которой, как это бывает в детстве, не можешь, да и не хочешь привыкнуть.

А потом я узнал, что осенью, прослышав, что совхоз будто и пасти не разрешит, и покоситься не даст, Сонька взяла и продала корову. Вскоре она приехала в Москву с товаром, рассказала, что еще хорошо продала, теперь многие продают и цены упали, стала спрашивать, где ей купить стиральную машину, похвасталась, что собирается купить телевизор.

Эти покупки, как и другие, подобные им, были внове, особенно для тетки Лизаветы, не уставшей ахать и удивляться, — разве имела она или ее дети такой вот портфель или велосипед, не говоря о телевизоре и стиральной машине! — эти покупки доставляли удовольствие, но не вызывали чувств, подобных тем, какими сопровождалась покупка коровы.

Должно быть, потому, что рассказ об этих приобретениях звучал бы похвалой, Сонька и не распространялась о них, тогда как о корове в свое время рассказывала часто, всякий раз с новыми подробностями.

Я спрашиваю тетку Лизавету, много ли в Ужболе коров, она принимается считать, сбивается со счета, снова считает, наконец говорит, что двадцать пять. Мне становится интересно, сколько же их было в те годы, когда я здесь постоянно жил летом — в пятьдесят четвертом, пятьдесят пятом, пятьдесят шестом. Помнится, стадо тогда занимало чуть ли не всю улицу. Как это ни странно, тогдашних жителей села и обстоятельства их жизни тетка Лизавета помнит куда лучше, чем нынешних: сейчас ведь из леснины понаехали, замечает она. Подумав несколько, тетка Лизавета говорит, что в те годы, о которых я спрашиваю, коров было около ста или за девяносто, иной год больше, иной меньше, потому что кто-нибудь обязательно стельную телку оставлял.

Соньки все нет и нет, и я покуда выхожу посмотреть недавно отстроенный дом ее соседей Суриковых. Дом сложен из серого силикатного кирпича, с высокой подызбицей, двускатной шиферной крышей и примыкающим сзади деревянным двором с кирпичными же столбами, еще не достроенным — осталось вставить в пазы выбранные из старого дома, обрезанные и зачищенные бревна, чем как раз и занимаются Иван Павлович с сыном.

Иван Павлович поседел, говорит о себе, что он уже дед.

Об отце он рассказывает, что тот ко всему безразличен, только иногда, будто очнувшись, с беспокойством спрашивает: и чего это вы строитесь затеяли и откуда у вас деньги? — словно не он хозяин деньгам.

Это единственная семья во всем Ужболе, где девяностолетний отец, путающий день с ночью, после молочного принимающийся есть соленое, не только что всерьез, а свято почитается полновластным хозяином. До сих пор все поступающие в дом деньги хранятся в том же потаенном и каждому в семье известном месте, куда бог весть когда начал их класть отец, и каждая трата совершается сообразно с установленными им правилами.

В подобных отношениях нет и тени нарочитости, как это бывает в иных интеллигентных семьях, просто здесь привыкли, что отец, когда бывают гости, сидит на своем постоянном месте, хотя случается, что он вдруг забудет, где находится, и станет собираться домой, и если предстоит какая-нибудь покупка или другой денежный расход, то сын либо сноха обязательно скажут, что берут столько-то денег для того-то и того-то.

Должно быть, привыкнув к тому, что каждый, кто видит впервые его новый дом, спрашивает, для чего он так высоко вывел подызбицу, или же, напротив, ради удовольствия рассказать, как умно он все обладил, Иван Павлович объясняет мне, что под жильем у него будет котельная и баня.

Мне это нравится, однако я высказываю опасение, что в доме заведется сырость. Тетка Лизавета, вышедшая вслед за мной, говорит, что вся деревня считает — сыро будет. Иван Павлович возражает, рассказывает, как у него будет устроен сток воды, вентиляция. Тут я вспоминаю, что в древних царских хоромах Московского Кремля мыленка помещалась если не в одном ярусе со спальными покоем, то здесь же в подклете.

Я спрашиваю Ивана Павловича, не лучше ли, раз уж его дом мало чем отличается от городского, строить в деревне многоэтажные дома, что и делается уже в некоторых местах, — с водопроводом, газом, ванной...

Иван Павлович решительно возражает.

Газ и водопровод, говорит он, могут быть и в многоквартирном доме.

Он говорит, что деревня должна быть деревней, у деревенского человека должна быть животи́на какая-нибудь, усадьба, чтобы вышел из дому и тут же — земля. Помнится, нечто подобное писал мне в одну из газетных кампаний против личного хозяйства не то майор, не то подполковник, родом крестьянин. Он писал, что точно так же, как у хорошего слесаря дети с малых лет привыкают дома к молотку и тискам, так и крестьянские дети, переступив порог, научаются чувствовать ногами живую землю, обонять запахи животных, различать их голоса и повадку. Я говорю об этом Ивану Павловичу, и он, согласившись, замечает, что, привыкнув в течение чуть ли не пятидесяти лет видеть по утрам, какая роса на траве, как стелется дым, как ведут себя куры, он может почти без ошибки определить, каков будет день, а в деревне это даже шоферу нужно.

Крестьянин должен оставаться крестьянином, безразлично, ездит ли он на лошади или на автомобиле, пашет землю сохой или тракторным плугом, доит коров и стрижет овец вручную или с помощью электричества.

Построились в Ужболе не одни Суриковы. Повсюду среди бревенчатых домов, по преимуществу серых от времени, хотя встречаются и обшитые вагонкой, покрашенные масляной краской, резко выделяются светло-серые домики из силикатного кирпича под шиферными крышами в два ската.

Это архитектура двух или трех прямых линий, ни солнце, ни дождь, ни движение облаков не способны отозваться в глухом материале ее плоскостей, она выключена из природы. В таком доме не только тепло и холод вырабатываются машиной, но и песня и зрелище — одни и те же одновременно во многих домах. Мне приходит на мысль, что здесь конец крестьянскому искусству, которое начинается с вырубания на конце окоренного бревна, связанного с поперечным бревном таким же вырубом, откуды и пятистенка, и пятиглавый собор.

Живые горизонталы рубленой стены, пересекаемые вертикалями округлых торцов, с тою же естественностью соотносятся с русской природой, с какою крестьянин, выглянув поутру в окошко, говорит: «Ободняет!»

Нужны были тысячелетия постоянного общения с природой, чтобы одним словом определить наступление нового дня, нужно было чувствовать язык и его созвучия, как мастер чувствует материал, чтобы сказать о предстоящих заботах: «Лови Петра с утра — ободняет, так завоняет».

Мне вспоминается знакомый литератор, человек неглупый и просвещенный, сказавший однажды, что деревня со всеми этими ее «ободняло», «поветь», «прясло» и прочей патриархальщиной — реакционный пережиток. Учеными подсчитано, продолжал он, что при современном развитии науки и техники достаточно десяти, даже восьми процентов населения, чтобы произвести стране количество продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Однако даже и такое количество работников трудно удержать в деревне, потому что никто не хочет жить в условиях хуже городских, заключил мой литератор, поэтому вместо трехсот — трехсот пятидесяти нынешних деревень каждого из районов Средней России следует построить тридцать пять, сорок крупных благоустроенных поселков.

Я подивился легкости, с какою это все говорилось.

Он принялся рассуждать об экономии строительных материалов, если строить многоэтажные дома, о сокращении расходов на строительство водопроводной и канализационной сети, электрических и газовых линий, если население будет сосредоточено в немногих населенных пунктах,

наконец, о возможности в таком случае проложить к этим населенным пунктам дороги с улучшенным покрытием, а я тем временем размышлял о том, что ни одна из подобных выгод, ни все они, вместе взятые, не могут служить побудительной причиной уничтожения множества столетиями складывавшихся сельских поселений и постройки взамен нескольких новых.

Слово «деревня» упоминается в письменных источниках уже в четырнадцатом веке, а слово «село» встречается на первых страницах летописей. В течение столетий их существования смысл этих слов менялся.

Деревней еще в шестнадцатом веке называли не самое селение, состоявшее обычно в то время из одного — трех дворов, а участок земли, точнее сказать, комплекс угодий: пашенной земли, покосов, леса... «Купить деревню» означало приобретение такого комплекса земель различного назначения, который в целом составлял деревню. В этом сказывалась мысль, что деревня есть хозяйственное целое, особое хозяйство.

Таково было, по-видимому, древнейшее значение слова «деревня», заметил Степан Борисович Веселовский, в книге которого «Село и деревня Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв.» я нашел приведенные здесь сведения.

Следовательно, «земля» и «деревня» почти синонимы.

А село с древнейших времен было населенным владением, княжеским или боярским, в котором, кроме главного селения с владельческим двором, могло быть множество мелких — деревень. Село было административно-хозяйственным центром княжеского и боярского владения, в котором вокруг владельческого двора стали возникать дворы господских холопов.

В семнадцатом веке в понятие «деревня» входили уже крестьянские дворы, о чем свидетельствуют купчие того времени, совершаемые не только на землю, но и на крестьян с их дворами. Да и сами деревенские поселения стали крупнее, утратили первоначальный тип отдельного пашенного хозяйства с отдельным двором или двумя-тремя дворами, появившимися в результате деления основного двора. Процесс укрупнения селений и ликвидации мелких деревень-хуторов начался задолго до этого.

Примерно с четырнадцатого — пятнадцатого веков начинает меняться и характер села, приближаясь к тому типу, какой в иных своих чертах мы помним еще и мне. Сперва, кроме холопов, стали поселяться вокруг господского двора так называемые сироты, как именовались в Древней Руси некоторые из крестьян, затем, чуть ли не с четырнадцатого века, постепенно входит в обычай ставить в селе приходскую церковь. После устройства приходской церкви, говорится у Веселовского, селу оставалось стянуть крестьян из мелких деревень в свою околицу, и тогда, наконец, оно приобрело тот вид и то значение, которые имело в семнадцатом — девятнадцатом веках. Остается сказать, что церковь, даже если она упразднена или вовсе сломана, для людей моего поколения все еще служит единственным признаком, по которому можно отличить село от деревни.

Больше всего изменилось в течение веков понятие «погост».

Почти каждый, кому знакомо это слово, скажет, что погост — это кладбище; некоторые еще вспомнят, что сравнительно недавно в средней полосе, то есть на территории бывшей Руси княжеских уделов, погостом называли и бесприходный храм при сельском кладбище, чаще всего расположенном особняком от окрестных селений. Однако здесь же, например, под Ростовом Великим, мне встретилось брошенное поселение — Благовещенский погост, от которого остались развалины церкви и нескольких домов, где лет сорок назад обитал церковный причт и помеща-

лась школа. Такого рода погосты были нередки в Ростовском уезде, в иных из них поселялись и крестьяне и торговцы, от других, запустевших еще в прошлом веке, осталось слово «погост» в названии какого-либо урочища, и все они были сельскими приходами. По дороге на Ростов есть деревня Погост, без какого-либо признака церкви, что заставляет предположить существование на ее месте постоянного двора, где оставались «гостить» проезжие, а вообще-то говоря — купцы, по-древнерусски — «гости».

Веселовский приводит употребляемое в бывшей Смоленской губернии, в значении большой дороги, слово «гостинец». Он говорит о погостах как правительственных подразделениях уезда, упраздненных в 1775 году.

Погосты, возникшие еще во времена великой княгини Ольги, были местом, куда население определенной округи привозило приезжавшему сюда князю дани и оброки, искало суда, где, возможно, князь и его дружинники торговали с приезжими купцами, поэтому естественно, что после принятия христианства здесь ставились церкви и поселялся причт, устраивались кладбища, если они не существовали уже в языческие времена.

Однако только на новгородском Севере, как писал Веселовский в начале тридцатых годов, слово «погост» употребляется в различных значениях, охватывающих все признаки погоста Киевской Руси: погост — сельский приход, группа деревень одного прихода, волость, постоянный двор, этап сухого или водного пути, который делают без отдыха. Во всех же других местах первоначальное значение этого слова, изменяясь с течением времени, расщепилось, если можно так выразиться, на составные части.

Задавшись вопросом, почему погосты, будучи административно-податными, судебными и торговыми центрами, центрами церковных приходов и мирского самоуправления, вместе с тем не стали населенными пунктами, Веселовский говорит, что население вообще не селилось в крупных селениях.

В одном из попутных замечаний он утверждает, что там, где крестьяне пользовались наибольшей свободой выбора, они предпочитали селиться мелкими деревнями. Объяснение этому я нашел в словах Веселовского о том, что следствием заселения и освоения земель мелкими деревнями было то, что деревенские участки были очень разнообразны по площади земли. Хозяйственный комплекс деревенских владений образовывался в зависимости от рельефа и свойств почвы, условий водоснабжения, местных ресурсов вообще, то есть от ландшафта местности, как говорят географы.

Отсюда можно заключить, что ни один из тех институтов, который, к удовольствию или неудовольствию сельского населения, обслуживал его, следовательно, был ему необходим, при выборе места жительства не мог сравниться с тем значением, какое имела земля — «ландшафт местности».

И хотя крестьянин и его труд претерпели значительные изменения с тех пор, как погосты были своего рода культурными центрами, хотя современный крупный сельский поселок, агрогород, как писали лет двадцать назад, что наводило на мысль о социальных мечтаниях великих утопистов, способен увлечь действительные, насущно необходимые нужды крестьянина, все же земля, и только земля, должна решать, где ему жить.

Укрупнение сельских поселений совершается по планам, разработанным соответствующими инстанциями, но еще в большей мере — сти-

хийно: обитатели мелких деревень, бросая родовые гнезда, переезжают в крупные поселки, на центральные усадьбы колхозов и совхозов, особенно последних, где и школа, и магазин, и медпункт, и кино, а что до работы, то больше всего нужны люди на фермах, которые обычно здесь и находятся.

Вспомнившийся мне сейчас литератор, подозревая, должно быть, что идея сселения мелких деревень в крупные поселки может показаться мне волюнтаристской, возникшей в городских кабинетах, как это случалось уже в отношении деревни, поспешил сообщить, что в его родных местах за последние годы население небольших деревенок сократилось на три четверти, тогда как в больших селах оно увеличилось на одну треть.

Помнится, нечто похожее я прочитал в одной из тех так называемых писательских статей, авторы которых, с энтузиазмом ратующие за все новое, иной раз прямо противоположное тому, за что они ратовали всего лишь год назад, представляются мне принадлежащими к тому сорту людей, какие, переезжая на новую квартиру, поспешно обзаводятся сплошь новой мебелью, нисколько не сожалея о тех вещах, среди которых долго жили, что можно бы оправдать в очень молодом человеке, свободном от воспоминаний, в человеке же зрелом выдает лишенного памяти мещанина.

Мне представляется, что экономист или социолог, рассуждая о преимуществах крупных сельских поселков перед мелкими, не обязан брать во внимание то обстоятельство, что с этих деревенок и погостов начиналась Россия, однако было бы безнравственным, если бы писатель, пускай он и считает естественным их исчезновение, не испытывал при этом печали, как безнравственно не скорбеть и не печаловаться о дожившем до предела дней старом человеке, при всей естественности его смерти.

И нельзя не думать об истлевающих в брошенной земле костях, принадлежавших тем, кто некогда дал жизнь ушедшим на новые места людям.

Впрочем, нравственная сторона дела определяется взглядами размышляющего о нем человека, его душевным складом, тогда как целесообразность — выгодой, в данном случае не одних лишь непосредственных участников, то есть тех, кто переехал в большое село, но всего общества...

Всякий раз, приезжая в Москву, Сонька среди прочих новостей рассказывает, что вот такой-то уехал из села и такой-то, причем почти всегда в областной город, когда же я спрашиваю, что случилось с домом, она отвечает, что дом продали. Мне интересно узнать, кто купил дом, и Сонька, как само собой разумеющееся, говорит: «А из леснины» — то есть из той части района, где до сих пор на многие километры протянулись леса с озерами и болотами, среди которых незадолго до войны кем-то будто бы найдено было деревянное, обитое железом изображение медведя, которому некогда поклонялись на всем пространстве от здешних мест до Белого озера. Я всегда спрашиваю, какие причины побуждают людей уезжать из лесных деревенок, и Сонька каждый раз объясняет, что там же глушь, до автобуса километров пять, шесть пешком топай, а в Ужболе автобус, город рядом, и резоны эти, судя по тому, как она говорит, представляются ей настолько бесспорными, что я не отваживаюсь продолжать разговор, хотя здесь, казалось бы, он только и начинается.

Я мог бы рассказать, как в здешних местах, где чуть ли не тысячу лет пахут землю, гуляючи осенью в лесу, вдруг ощутил под ногами, под слоем опавших листьев, как бы поперечные складки или рубцы, по которым росли березы, и догадался, что лес вырос на заброшенной пашне.

А позапрошлым летом в Вологодской области мне случилось побывать на некоем брошенном лет тридцать назад погосте — расположенном в стороне от сельских поселений кладбище с церковью и домами причта, и я подивился тому, что каменные церковные ворота с оградой стояли посреди непроходимого, заросшего крупными сочными растениями болота.

Я понял, что там, где некогда была наезженная грунтовая дорога, где по церковному двору и между могилами пролегалы протоптанные многими поколениями людей тропинки, едва только человек ушел из этих мест — выступила наружу подпочвенная вода, выросли тростники, сусак, осока.

В обоих случаях я сперва подумал о том подвиге, какой совершил русский землепашец, обживая в течение веков поросшие лесом и заболоченные пространства Северо-Восточной Руси и Заволжья, однако тут же меня охватила тревога за будущее земель, население которых оставляет их, отправляясь на поиски не только сытой, но еще и удобной жизни.

Я хорошо знаю, что в северо-восточных, северных и северо-западных районах России, как только человек оставит землю, пускай он пахал ее до этого столетиями, она зарастет лесом, заболотится, и никто не убедит меня, будто бы можно, поселившись вдалеке от пашни, оставаться хозяином ей, если не иметь в виду отхожее земледелие, встречавшееся у нас в древности. Однако при этом я допускаю, что тому или иному уровню развития техники соответствует определенное расстояние, на какое человек может отдалиться от «ландшафта местности», которым кормится.

Но современный колхозник, не говоря уж о рабочем совхоза, состоит в столь отдаленных и не прямых связях с землей, что сокращение удобных площадей в хозяйстве не сразу и не катастрофически скажется на его достатке, а когда скажется, то побудит переехать в какой-либо промышленный центр, в совхоз на благодатные земли, самый же непредприимчивый удовольствуется усадьбой.

Однако если не нужда, не хлеб насущный, то что же еще может заставить вольного в своем выборе крестьянина жить в условиях, значительно худших, чем городские? А они хуже даже в таком сравнительно благоустроенном селе, как Ужбол, от которого до города километров шесть по автомобильной дороге, а до Москвы — двести, причем автобусы ходят.

Сколько бы ни ратовали иные литераторы за русскую печь — а есть и такие, взгляды которых противоположны взглядам моего знакомого, — сколько бы ни доказывали они, что и для тепла, и для приготовления пищи нет ничего удобнее и экономичнее, крестьянин предпочитает ей водяное отопление, а если можно достать баллоны, то и газовую плиту.

Я высоко ставлю материальную культуру русской деревни, и не то что печь, даже соху и лапти не считаю признаком отсталости, но только в какое время и при каких обстоятельствах: ведь и паровой двигатель уступил место электричеству и двигателю внутреннего сгорания, если же не считаться с этим, легко попасть в положение того барина, какой полагал, что одевается по-русски, мужики же принимали его за персиянина.

Достаточно вообразить исторически сложившуюся карту деревенской России, достаточно помнить, что, при всех социально-экономических и технических изменениях, в сельскохозяйственном производстве, как и тысячу лет назад, основа всему земля, чтобы, решая коренную для стра-

ны задачу, исходить из естественного сочетания того нового, что принесла с собой современная цивилизация, с национальными особенностями.

Мне думается, что если бы существующие проселки профилировать, покрыть твердым покрытием и обезопасить от действия грунтовых вод, причем все это незамедлительно, а затем постепенно, имея для этого типовые проекты, учитывающие местные особенности, застроить деревенские поселения современными домами с водопроводом и канализацией, с электричеством, газом, центральным отоплением и телефоном,— все это есть в подмосковных дачных поселках, но почему-то отсутствует в расположенных неподалеку деревеньках, хотя в них люди живут не временно и не ради отдыха, но постоянно и для работы,— мне думается, что если хозяевам этих многоквартирных в три, четыре комнаты домов дать дешевый и прочный автомобиль или мотоцикл, которые в наш технический век для огромного большинства могут служить не только средством передвижения, но одновременно источником радости, то в деревне будет жить столько людей, сколько требуется для рационального ведения хозяйства.

Что же до культурного и бытового обслуживания этих сравнительно небольших, по-современному устроенных поселков, то владельцу автомобиля не составит труда проехать километров десять — пятнадцать по благоустроенной, расчищаемой зимой дороге в некий центр, чтобы сделать покупки, заказать костюм, посмотреть фильм или спектакль, показаться врачу, посидеть в кафе, в ресторане, наконец просто людей посмотреть и себя показать, ездят же ради всего этого жители больших городов за столько же примерно километров, а детей в школу и из школы будут возить специальные автобусы.

Правда, проектировщики укрупненных сельских поселений с многоэтажными домами, наслышан я, приводят тот же резон, что и мой литератор, противник деревенской патриархальщины,— дешевизна и быстрота мгновенного преобразования расползшихся по косогорам деревенок в регулярные, одиноко возвышающиеся среди полей и перелесков «чудогорода», однако, подсчитывая сэкономленный при этом кирпич, кровельный материал, электропровод, трубы и прочее, эти люди не берут во внимание, сколько хлеба, овощей, мяса и молока способна дать, пускай не мгновенно, в перспективе, обречаемая на бесплодие земля «бесперспективных» селений.

Мне приходит на мысль еще и то, что такое вот произведение архитектуры, как этот двухэтажный кирпичный барак с деревянными верандами в торцовой его части, у которого я остановился, дивясь его убожеству и несообразности,— а бывают еще и трехэтажные, даже четырехэтажные, почему-то с плоскими крышами, скорее уместные на Юге или на Востоке, нежели на Севере с его обложными дождями и обильными снегопадами,— что застроенные подобными домами далеко отстоящие один от другого поселки разрушат мягкие очертания российской равнины, тогда как небольшие домики постоянно находящиеся в поле зрения деревень, отличающиеся от избы только лишь объемами своими, возможно, материалом да еще фаянсово-никелевым комфортом, сообщат некие новые черты отечественному пейзажу, не лишая его при этом национального своеобразия.

Перед домом протянулись сооруженные из всякого подручного материала так называемые «сарайки» и торчит несколько в стороне дощатая, о двух отделениях постройка, назначение которой выдают непроясляющие, по-видимому, подтеки и мешающийся с их зловонием запах хлорной извести.

Ни деревца, ни грядки нет вокруг. На выбитой, запачканной курами земле поблескивают втоптаные в нее стеклышки, белые, голубые черепки.

Я оглянулся назад, на протянувшееся под гору село.

Отсюда, с расстояния, оно снова приобрело ту общность; какая, когда я шел селом, казалось мне, уже исчезает. Жесткость линий кирпичных и шлакобетонных домиков, их светло-серый или резко-белый цвет смягчены были расстоянием, они почти сливались с деревянными избами, и я подумал, что точно так же, если взять расстояние историческое, среди курных, под соломой избенок с волоковыми оконцами глядели топившиеся по-белому, крытые тесом избы с бычьими пузырями в оконницах.

Особенности тех новых изб распространялись на все прочие, пускай не повторявшие их в точности, и по прошествии времени складывалось новое единообразие, новая общность, черты которой нисколько не противостояли предыдущей, представлялись такими же коренными, национальными.

Затем появлялись крылечки с точеными столбиками и стекло в оставшихся небольшими окошках, наличники и причелины, украшенные глухой резьбой, железные крыши и водостоки в кружевном железе, кружево сквозной деревянной резьбы, застекленные сплошь крыльца... С каждым таким новшеством деревенская общность распадалась, однако крестьянская переимчивость и стремление быть «как все» постепенно восстанавливали ее; она всякий раз становилась другой, оставаясь при этом национальной.

Успокоительные эти мысли побуждают задуматься и над тем, что бытие обитателя маленького поселения, связывающее его с природой, кладет свою печать на все, поступающее сюда извне, сообщает мягкость сухим и жестким линиям, окрашивает в чистые, яркие цвета предметы, казалось бы, с такой окраской не соотносящиеся, в чем легко удостовериться, проехав по средней России, где в небольшом городке или в деревне можно встретить шлакобетонный домик, выкрашенный голубой масляной краской, блистающую малиновым лаком ребристую шиферную крышу, фронтон с исполинским сердцевидным вырезом, а уж телевизоры в подобных домиках убирают не хуже икон — тюлевыми занавесками, бумажными розанами.

Провинция обминает и перерабатывает все то, что приходит извне.

Способна ли она переделать на свой манер и этот дом с его двухэтажными верандами из плохо оструганного теса, застекленными мелкими зеленоватыми стеклышками, с его прямыми козырьками над щелястыми дверьми, с его невысокой, в два отлогих ската крышей, — способна ли она сообщить нечто от своей непосредственности этой таре для жилья?

Из дома выходит Сонька. Она удивляется мне, спрашивает, перебивая себя ахами да охами, давно ли приехал да почему один, затем, отвечая на мои вопросы, объясняет, что дом этот построен для животноводов, так как на ферме работать некому: свои не хотят, берут приезжих.

Она и сама заявила, что последний год работает. И здоровье нарушено, и мать стала старая, и за Колькой глаз нужен. Всех денег все равно не заработаешь, слава богу — ремонт дому сделали, из вещей кое-что купили. А с коровами этими ни усадьбу прополоть, ни тетрадки у Кольки проверить. Да, вишь, не отпускают, сулягся на тот год в Сочи послать.

А в дом этот она ходила — скотник здесь живет.

Сонька рассмеялась, и с той доброжелательностью, с какою у нас говорят о пьяных, причем даже женщины, если только это не муж и не отец, сказала, что скотник так набрался за день — и где они его пьют на ферме! — пришлось домой предоставить, неровен час в навозе утонул бы.

Она стала рассказывать, как этот самый малый однажды тонул.

Случилось это ней в феврале, ней в марте, но только до женского дня, еще не начинали навоз возить, и лежало его возле фермы — цельный кавказский хребет. Как-то под вечер, перед самой дойкой, прибегает подружка, с которой они вдвоем дежурили, и говорит испуганным голосом, что кто-то за фермой ревит, да таково страшно, вроде из-под земли.

Побежали они к подружьиным коровам, откуда та слышала голос, — ничего не слышать. Стоят, прислушиваются, рассуждают: не помстилось ли девке? Как вдруг заревит, и уж без останова, будто нечистый кого тащит.

— Натоха! — вспомнили они скотника. — Куда он подевался?

Он же навоз выгребал. Повезет вагонетку — и причаститься бегает.

Выбежали наружу — вагонетка у края рельса висит. А под ней гора, под горой прорва, и не подойти — склизко. Ясно-понятно, Натоха с этой горы и сверзился, у него, кричамши, голоса уже нет, один рык звериный.

Посунулись они, посунулись, глянули вниз — вон он, сердечный, навозную ванну принимает. Подружка сбегала за веревкой, кричит Натохе: «Протягай руки!» — и с одного раза захлестнула петлю. Стали тащить, да где там! Петля ему запястья стянула, режет... Он пуще прежнего ревит.

Подружка перекинула веревку через вагонетку, а Сонька сбегала за досками, покидала с краю ямы, встала потверже. Взяла она тесину, стала окапывать Натоху, под задницу его подпихивать, а подружка тянет.

Выволокли борова.

Сшибли с него брансбоем самую гущину, а уж туалет супруге оставили.

Слушая Соньку, я представил себе, какова «спираль воздуха» в комнатах этого дома, для чего не обязательно тонуть в навозе, достаточно вернуться с фермы в эту тесноту, где ни моста, как именуют в Ужболе сени, ни крытого двора, ни всего прочего простора, каким окружает свое жилье самостоятельный крестьянин, где можно посушиться, почиститься.

Но Натоха и ему подобные едва ли крестьяне, кем бы ни писались они, потому что, только лишившись корней, потеряв представление о том, что такое сосед, улица, мир, которые в десятом колене будут помнить, как человек тонул в навозе, можно допустить себя до такого позора.

Сонька рассказывает, как ей работается, говорит, что заработок мал, хотя в сравнении с прежними годами в колхозе он подходящий, когда семьдесят в месяц, когда семьдесят пять — коровы мало доят. А даю мало из-за того, что корма плохие. С Опорного — это еще Андрей Владимирович, спасибо ему, осушал да сеял — много накопили, и сено хорошее, но его забрали в Козищево, где овцы, а им привезли «трубку» с озерины.

Вообще план по молоку совхоз выполняет главным образом за счет Медведской фермы, у них и пастбища хорошие, — а какие пастбища в Ужболе!

На землях вокруг озера, где теперь три мановением руки созданных совхоза, уже на моей памяти было десятка полтора колхозов, до этого

трижды укрупнявшихся, а деревень и сел входит в них множество. И хотя каждому колхозу, было время, вменялось в обязанность производить и зерно, и картофель, и овощи, иметь все мыслимые фермы, вплоть до «птице» и «коне», однако сложившаяся в течение столетий специализация в главных своих чертах сохранялась. То ли потому, что живы были специалисты, знавшие местные особенности, то ли по другой причине, колхозам вокруг озера, сверх прочего, планировали все, что было в здешних традициях. Да и сами председатели, разумеется, самостоятельные хозяева, что называется, с молоком матери впитали, что лук, чеснок, морковь, огурцы, зеленый горошек упускать нельзя, этим отцы и деды жили, а чтобы уважить начальство — надо соблюдать «многоотраслевой принцип».

Сонька приглашает посмотреть усадьбу — «товары».

Это бывает каждое лето, сегодня, должно быть, в пятнадцатый раз, хотя усадьба одна и та же, и растет на ней все то же, разве что иной год лучше уродит лук, в другой — картошка или огурцы не зададутся.

Я знаю наперед, как Сонька, проходя мимо, нарвет пригоршню вишен, как она, тоже мимоходом, наберет малины; углядев на диво аккуратный, весь в игольчатых пупырышках огурец, деликатно оботрет его и протянет мне, держа стоймя; или, рассказывая, например, что козлятам, едва коза объягнется, рубят головы и выбрасывают, потому что молока много запрашивают, она одновременно, одной рукой, как-то по-особенному перебирая пальцами, подрует куст скороспелого картофеля, пересчитает клубни и покажет на вытянутой ладони, — все это я наперед знаю, все это вошло в обычай и оттого, должно быть, доставляет покойную радость.

Это — коренная жизнь, которая состоит из повторения одного и того же, хотя и меняющегося, и этим самым связываются поколения, складываются традиции.

Чай, по обыкновению, я пью у Натальи Кузьминичны.

Сонька знает это и уже не предлагает мне чаю, даже ради соблюдения «этикета», как бывало в прежние годы, не обижается, замечает, словно это само собою разумеется, что придет следом, только переоденется, и в словах ее угадывается еще и другой смысл, некая общая наша тайна, как это случается между давно и хорошо знающими друг друга людьми.

Покамест Наталья Кузьминична наставляет самовар, я брожу по дому.

Отсюда начался для меня Райгород.

Я захожу в горницу, рубленые стены которой, цвета пчелиного воска, и собранный из широких досок, заподлицо с матицами, потолок тепло розовеют от предвечернего солнца, — так и при Петре, и при Грозном, и при Владимире Святославиче розовели вокруг человека сосновые стены.

Из этой горницы, где солнечным, сырым после дождя вечером пятнадцать лет назад Андрей Владимирович, мелиоратор, рассказывал мне об озере Кайово и его котловине, которые видны были нам поверх домов на противоположной стороне улицы, я будто впервые увидел Россию, причем сразу от Рюрика и до наших дней, хотя, казалось мне, знал ее хорошо.

Здесь, а позднее в Райгороде в уездном домике неподалеку от озера и в древней кремлевской башне я жил в течение двенадцати лет, нажил верных друзей и столь же постоянных недругов, и теперь, близко к

шестидесяти годам, понимаю, что то была счастливейшая пора моей жизни.

Слышно, как скрипит, поднимая подвешенный к притолоке груз, входная дверь,— Сонька, должно быть, пришла. Я иду в избу. На узком столе, снова занявшем свое место в красном углу, кипит самовар, пахивая жаркими углями. Здесь все как было. Только горка, стоявшая ребром к стене, выгораживая угол с окошком напротив печи, как вынесли ее после женитьбы Андрея, переменившего всю мебелировку, так и осталась на мосту. И еще лавок нет. Переезжая в Козьмодемьяны, молодые оставили свои фанерованные дубом стулья, не подходившие к полированному столу.

Сонька достает из-под передника бутылку «столичной» — с недавних пор у нее всегда стоит такая бутылка, припасенная для хороших гостей.

Наталья Кузьминична ставит пузатенькие рюмочки с полустершейся надписью: «Кушай», я разливаю водку, и мы выпиваем «со свиданьем!».

* * *

Утром, как всегда в Райгороде, из-за перегородки слышится голос Михаила Васильевича, обычно начинающего день какой-либо сентенцией. «На деле бог разума прибавит!» — говорит он, и я представляю себе стоящую перед ним Дарью Васильевну с кусками мяса в руках, робко ожидающую указаний: щи варить или суп и какой кусок на что употребить.

Покамест я завтракаю, старик говорит, имея в виду решение горсовета сломать соседние деревянные дома и построить на их месте каменный: «Бездумное веление, как в церкви поют», затем выговаривает Дарье Васильевне, переварившей яйца: «Бестолковое старание — хуже лезания».

Знаменитые часы Михаила Васильевича вызванивают третью четверть.

— Восемь! — говорит он, и когда я замечаю, что еще только без четверти, меланхолически машет рукой: — Мне поезда не отправлять.

По давней привычке, иду прогуляться на озеро.

Как всегда в этот утренний час, к Дмитриевскому монастырю, где детсад, катят на велосипедах отцы, у которых спереди, на раме, сидит малец. Поспешают матери, волоча за руку сонных, спотыкающихся детей.

Озеро у монастыря чистое, еще не заросло. Весь берег в желтой тресте — в разодранном и перепутавшемся тростнике, вынесенном сюда по весне льдинами, в которые он вмерз, и оставленном здесь. Среди этого переплетения лежат толстые оранжевые корневища в светлых пятнах, показывающих, откуда шли побеги, в длинных и тонких корнях с одной стороны.

К воде гонит гусей знакомый малый — охотник и рыбак по призванию, а по профессии — не знаю кто: в каждый мой приезд он на новом месте.

Он принимается рассказывать, до чего же умная птица гусь.

Прежде он держал уток — охотился, и всегда у него утки были. Однако утки — глупые, уйдут на озеро и не вернуться, к соседям сколько раз уходили... И кур он держал — тоже возни с ними. В огород уйдут, раскопают там все, не оберешься хлопот... Курица — самая глупая птица!

А гуси — тем скажешь: нельзя,— они и не ходят.

Гуси у него из 'яиц' выведенные. Положил четыре яйца под курицу. Вывелись гусята. Двое слабеньких получилось. У них — это... как его...

Он никак не может подобрать слово поделикатнее, чтобы объяснить, в чем порок гусят, даже руками помогает себе, наконец вспомнил — задки! У них на задках пуха не было. Наседка попалась маленькая, не прогрела как следует эти два яичка, вот и получились голенькие задки. Со всем слабые гусята!.. А двое вот этих — гусак и гусыня — нормальные.

Покамест он рассказывает, гусак направляется к воде, зовет гусыню.

Гусыня мешкает, идет, останавливаясь в нерешительности, малый отгоняет ее от воды подальше, а гусак следует своим путем, продолжает звать гусыню. Малый говорит ему: ну, иди, иди. Все равно к ней вернешься. Гусак уже в воду вошел, постоял, покричал и вернулся к гусыне.

Я прощаюсь с малым, — отсюда мне видно, как вверху, перед монастырем, подошедший автобус делает круг. «До свиданьица!» — говорит малый.

На автобусной остановке, наискосок от нашего дома, две старухи, тощая и рыхлая, обсуждают, совсем ли здесь закончили работу или еще что сделают, кроме обложенной бетонными брусками щебеночной площадки.

Тощая старуха говорит, что сделали площадку, чтобы не в грязь высаживаться, не в грязи ожидать, и больше ничего делать не станут. Рыхлая возражает:

— Навес сделают!

— А вот и не сделают, — заявляет тощая, — окна в доме загородит.

— Ну, тогда ожидальную скамейку, — несмело замечает рыхлая.

— Скамейку куда ни шло, — подумав, соглашается тощая.

В автобусе, пока мы садились, шофер с кондукторшей, большой, костистой, загорелой женщиной, обсуждали загородное происшествие. Нынче утром шла вдоль шоссе школьная экскурсия. Один из мальчиков, играя мячом, закинул его на шоссе, побежал за ним и попал под автобус. Кондукторша возмущается учительницей, школьниками, сочувствует шоферу.

Рыхлая старуха, вздохнув, говорит, что внук ее нисколько не слушается. Мать смертным боем его бьет, ее он боится, а бабушку ни вот столько. Идет она с ним куда-либо, он вырывается, бежит, разве его удержишь. Кабы отец!

— Плохо держим, — говорит осуждающе кондукторша.

Можно понять, что она имеет в виду не одних детей, но и отцов.

Возле гостиного я выхожу. Приземистые, кривоватые его аркады свежо покрашены в желтое с белым. Вывески всюду новые, на стекле. Сквозь витрины в глубине аркад поблескивает новое из белых металлических труб, стекла, цветного пластика и прессованных плит оборудование.

В продовольственном магазине, где на красном пластике прилавка, за стеклянными, в металлических стойках, щитками лежат рядами утки, румяная, вся из округлостей, толстая женщина спрашивает мясника, будет ли говядина. Мясник, торопясь куда-то, на ходу отвечает, что к вечеру будет свинина. Женщина не то чтобы переспросила, а сказала как-то так, что он, уже в дверях «подсобки», куда шел, вынужден был повторить: «Свинина будет». А когда он повторил, она сказала игриво: «Я сама свинина, мне бы телятинки». Но мясник ее кокетства не принял.

А в соседнем «уцененном» магазине, куда я забрел, полупустом и пахнущем затхлостью, покупательница спрашивает, есть ли у них «танкетки», продавщица отвечает, что есть, только неважные: «Ни шагу назад!»

Неподалеку от этого магазина, перед «Кулинарией», стоят две старухи: одна — невысокая ростом, румяная, благообразная, собирается уже уходить, другая — ростом повыше, жилистая, прокуренная, плохо одетая, по-видимому, только что подошла. Благообразная, уже прощаясь, должно быть повторяя, умильно говорит: «Зайди, милая, зайди. Пензия же. Возьми сто грамм. Я вот взяла — до того хорошо. Сейчас пойду обедать».

Перед магазином напротив, откуда гремят спортивные марши, обрываются, перемежаясь томными, с придыханиями песенками о том, как хорошо у костра или в палатке, причем создается впечатление, что это образ жизни всего населения страны, всем стихиям предпочитающего пургу, — перед магазином напротив, обняв разных размеров картонные коробки с изображениями рюмок, счастливые обладатели радиол и современного идола — телевизора, бережно опускают новопкупку на сидение «газика» или в застланную соломой телегу.

Я иду мимо торговых рядов, занявших собою две главные, скрещивающиеся магистрали и параллельные им улицы, — так называемый «центр». Здания здесь все двухэтажные, восемнадцатого и первых трех четвертей девятнадцатого века, с аркадами под вторым этажом, большей частью, выгоды ради, заложенными еще в начале нашего столетия, с такими же аркадами, протянувшимися в виде галереи вдоль первого этажа и оставленными открытыми, с расшитыми во время перестроек полукруглыми окнами вторых этажей, с обрубленными капителями колонн, с железными, окованными переплетающимися брусками дверями и ставнями, с лепными рогами изобилия между окон, заказанными книгоцием-лавочником, и пятиконечными звездами на фронтонах, выложенными из кирпича по приказу воителя двадцатых годов, с портиками, к которым сзади пристроены стены. Чуть ли не два столетия провинциальной русской архитектуры представлены здесь, и турист пришел бы в ужас от того, как это все выглядит, для меня же это милая сердцу не одна лишь каменная, но и социальная летопись. Только бы это не ломали, стыдясь «некультурности», как мещанин стыдится не по моде одетого родственника. А придет время, все это будет отресгаврировано, под аркадами станут торговать сувенирами, кустодиевские тройки будут мчать туристов, музеем станет живая жизнь...

Но не встретимся мы здесь с моим другом Петром Николаевичем, старым райкомовским шофером, который — вот он, по обыкновению небритый, ничуть не изменившийся, — радостно улыбаясь, поспешает мне навстречу.

В последние годы мой приезд в Райгород несколько раз вызван был необходимостью участвовать в записи на пленку колокольного звона, и он говорит, как же это так, приехал, мол, а колокола не звонили. Он осведомляется, был ли я в «детском саду», и я догадываюсь, что речь о райкоме, новое здание которого, все в больших квадратных окнах, и впрямь смахивает на детский сад. Впрочем, некоторый сарказм, слышавшийся мне в вопросе, можно объяснить еще и тем, что новый секретарь — бывший комсомольский работник, первым делом распорядился перевести вечного райкомовского шофера в автоколонну — тихо ездит!

Я сажусь в новенький, вагончиком, автобус, с недавних пор курсирующий по кольцевому маршруту от центра, крайними улочками, с ездой на вокзал, и прозванный скорым на слово райгородцем — «спутник».

Где-то на переломе маршрута, когда автобус следует уже к центру, входит мужчина лет под тридцать, с бидончиком, а за ним — женщина того же возраста, здороваются, женщина спрашивает: «За молоком?» — мужчина отвечает: «Нет, за вином», и женщина принимает это за шутку. Но и мужчина, и кое-кто из пассажиров возражают, что нет — за вином, теперь всюду разливное вино — и в «Кулинарии», и в «Лакомке», и в кафе.

Мужчина говорит, что давеча в «Лакомке» брал, там по рублю семьдесят, ничего — понравилось, а теперь хочет в «Кулинарии» попробовать.

Тут и кондукторша вступает в разговор, осведомляется, сколько же градусов в этом вине. Восемнадцать, говорят, отвечает мужчина, но он думает: раз разливное, то шестнадцать будет... Конечно, шестнадцать, говорит другая женщина, они небось женили его. И еще мужчина, как само собою разумеющееся, ему хорошо известное, подтверждает: женили!

Меж тем первый мужчина, словно задетый этим, чтобы доказать, что вино стоящее, крепкое, говорит, что они тут взяли ведро по рублю сорок за литр, и было их девять человек, так не помнят, как домой дошли.

К этим его словам, заинтересовавшись уже всерьез, пассажиры относятся со всей необходимой деловитостью, принимаются считать, сколько же вышло на брата, если взяли ведро, да на девять человек, да по рублю сорок за литр. Давешний мужчина, со знанием дела утверждавший, что вино женили, заявляет: «В ведре десять литров». Кондукторша множит рубль сорок на десять, полученную сумму делит на девять — количество выпивавших, и все с удовлетворением говорит, что ничего, подходяще.

Я выхожу вместе со всеми у торговых рядов, где сиделся.

Такие поездки — одно из любимых моих здешних развлечений.

Мужчина с бидончиком, поспешая в «Кулинарию», предлагает женщине, сядившей с ним в автобус, сходить нынче в кино. Та отвечает, что нет, не хочется, и не то чтобы спрашивает, скорее утверждает: «С Нюркой пьешь!» Мужчина смеется, убегает мелкой побегжкой, поманивая бидончиком.

Можно еще зайти на почту, точнее на «переговорную».

Миловидная, заметно поблекшая женщина, пятнадцать лет назад пришедшая сюда девчонкой, приветливо улыбается, говорит:

— Опять приехали!

Затем, словно это вчера случилось и мы еще с ней об этом не говорили, сообщает со вздохом:

— А приятель ваш, старичок, помер! — И о Сергее Сергеевиче, архитекторе, замечает, что он уехал и вот не едет.

Наши посещения переговорной были ведь ее молодостью!

Но об этом не хочется вспоминать — о томительных и тревожных минутах ожидания, о радости или печали после состоявшегося разговора, о том, как мы уходили отсюда, объединенные общей неудачей, если по какой-либо причине отсутствовала связь, как успокаивали того, к кому почему-то не явились по вызову или у кого молчал домашний телефон.

А вот и стол с автографами досужливых или скучающих посетителей.

Среди росчерков и женских профилей я нахожу то, что искал — стихийно возникающую по временам переписку какой-нибудь стайки молодежи. «Я люблю Вовку Юшина». — «Любовь — это бурное море с хорошим пловцом. Жека Иванова». — «Жизнь — это счастье, да?» — «Поживешь, увидишь. Валя Ющенко».

Боже мой, я же знал этих девушек и юношей совсем детьми.

А теперь пришел и их черед.

Рядом с почтой — парикмахерская.

Когда я подхожу, уборщица вывешивает табличку: «Закрито на обед».

Она несколько поторопилась, так как до обеда еще минут пятнадцать, и я прошу впустить меня. Однако она неумолима, как закон. Открывает дверь кассирша, предлагает сесть, говорит, что сейчас меня обслужат.

Уборщица ругается: эдак и в магазин не сбегаешь!

Горбатенький мастер, худошавый и седоватый, ровным, не без резонерства тоном объясняет уборщице, что рабочее время еще не вышло, выговаривает ей, зачем она волнуется, говорит, что рабочего человека надо любить, уважать его надо...

— Мы все рабочие,— рассуждает он,— ты, уборщица, и я, мастер, и клиент... А если у тебя дома неприятности, сдержись, не вымещай на людях, мало ли что у кого дома случается. Придешь после работы домой — и лавируй... А здесь — работа!

— Я вот вас обслужу,— обращается он ко мне.— Что прикажете, то и сделаю. А навязывать вам ничего не буду — может, вам не по средствам! Но если вы идете в гости, я вам посоветую поодеколониться, чтобы от вас хорошо пахло, это уж обязательно, если идете в гости, для вежливости. Другой, бывает, не знает, так это обязанность мастера.

Признаться, сперва меня раздражает ровный, несколько скрипучий голос мастера, выдающий его уверенность в правоте своих слов, однако, вслушавшись в смысл этих слов, я и к тону, каким он выговаривает их, отношусь по-другому. Говорит тихий, честный человек, живущий, можно предположить, нелегко, но исповедующий известные принципы, пусть не очень широкие, однако в силу его убежденности позволяющие ему твердо стоять на ногах,— он прав, его не сшибешь, он маленький, но он прав.

Закончив работу и оглядев меня, мастер говорит со вздохом, что возраст мой волосом себя оказывает, и, попросив разрешение, пощелкивая ножницами, едва касается ими моих бровей, ноздрей, кончиков ушей.

После парикмахерской, расширяя поле обзора, поднимаюсь на крепостной вал, звездчатый от хорошо сохранившихся бастионов, охватывающий центр с торговыми рядами, собор и несколько сдвинутый к озеру кремль.

Жарко!

Среди высоких некошенных трав во множестве парят синие стрекозы, перелетывают изумрудные мухи, кружит и жужжит мошкара, пчелы работают. Травы стоят крупные, колосистые, в обильном цвету — костер, канареечник, пырей, ежа,— они как бы в истоме, пресыщены питающими их туками.

А бастионы уже выкошены, вынесенные вперед, хотя и несколько оплывшие за три с лишним столетия, они отчетливо рисуются на заболоченной луговине — остатках древнего рва — прямыми контурами своих четвероугольников, расширяющихся книзу, и наклонными вовне плоскостями.

За бывшим рынком, переведенным отсюда в недавно отреставрированный Мытный двор хорошего провинциального «ампира», в укромном зеленом уголке под крепостным валом готовится к пиршесву компания человек в восемь. Они сидят, подкорчив ноги, вокруг вина и закусок, расставленных в траве, а один из них, то и дело поглядывая на поднимаемую им бутылку, к которой прижат согнутый большой палец, по-братски разливает вино в стаканы и кружки, взятые, надо полагать, в соседнем доме.

Увидев меня, ребята не смущаются, но и безразличия не выказывают, напротив, весело, не без озорства приглашают: давайте подсаживайтесь!

Я иду валами, а слева, то показывая одни лишь главы над крышами домов, а то и кусок стены с варовыми щелями или башню под островерхим шатром в разрыве между строениями, неотступно следует за мной кремль.

Но вот он открывается с высокого вала весь впереди меня.

Каждая часть кремля отлично разработана, живет как бы наособицу, но все они связаны воедино, причудливо и вместе с тем гармонично. Вот собрались вместе три островерхие башни — средняя четырехугольная с четырехскатным шатром и боковые круглые с круглыми же шатрами. Они служат известным обрамлением церкви Спаса-на-сенях, которая, вся белая, как бы в золотой митре, с золочеными деревянными подзорами на треугольных завершениях стен, возвышается над кремлевской стеной с этими башнями. Все это образует некий выступ, сбоку которого, несколько в глубине, соединенный с кремлем переходом, стоит пятиглавый Григорий Богослов — казалось бы, его следовало сломать и продолжить стену, подчиняясь прямолинейности замысла, но тогда пропало бы дорогое каменное сооружение и одновременно исчез бы неожиданный художественный эффект. Старинные мастера были по-хозяйски расчетливы, не теряя в искусстве.

Я отхожу несколько назад, заранее радуясь тому, что увижу, и все три башни собираются вдруг вместе, их островерхие шатры тесно торчат.

Затем открывается другой своей стороной Григорий Богослов — невысокий, с пятью свободно расставленными зелеными главами, которым вторит поднятое высоко над кремлевской стеной собранное вместе пятиглавие Иоанна Богослова. Храм этот, посвященный евангелисту, как бы расширяет и разрабатывает мотив соседнего скромного храма, поставленного в память жившего три с лишним столетия спустя скорее поэта, нежели епископа, подчеркивая иерархическое различие между двумя богословами.

С этого места вала, поверх стен, охвативших пространство кремля, видны пучки пятиглавий и четыре вытянувшиеся в ряд главы звонницы, — барабаны их то выше, то ниже, стоят они то теснее, то реже, маковицы над ними то пучинистые, репкой, то острые, луковкой, а на соборе — исполинские, круглящиеся, и все это серебряное, зеленое, золотое...

Я перехожу с места на место — и все перемещается, каждый раз иное сочетание зданий и архитектурных подробностей, иной зрительный эффект.

Домой я возвращаюсь пешком.

Я люблю это неспешное возвращение боковыми улочками, когда обитатели этих по преимуществу одноэтажных домиков, отработав на фабрике, в учреждении или в каких-либо мастерских, наскоро поев, пока еще жарко и поливать огороды нельзя, ворошат сено перед домом на улице, везут с озера тресту в огромных, словно из-под матраца, мешках, либо еще что, прикрытое рядом, припасают воду для поливки, причем меня всегда восхищает великое разнообразие тележек и тачек — то с одним, от мотороллера, колесом, то с двумя велосипедными или даже автомобильными, то с четырьмя чугунными, небольшими, бог весть из-под чего.

Жара сваливает, и начинается час поливки.

Вся земля с трех сторон Дмитриевского монастыря и на выходящих

к нему улочках раскопана, разделана грядками, только что политая, она черна, и на этой ее черноте отчетливо видны в неярком свете летней северной ночи торчащие отдельными пучками перья лука, кудрявые кустики картофеля посреди холмиков земли, метелочки протянувшейся поперечными рядками моркови, пластающиеся листочки огурцов.

Весь город занят сейчас земляной работой, и земля, обильно политая вечером, прогретая в течение дня, ежечасно гонит и гонит всякое полезное произрастание — все выше, все ближе к поре плодоношения.

Перед сном — тихое говорение на лавочках у ворот.

А в городском саду, под радиолу, в слепящем свете подвешенной над деревянной площадкой сильной лампы, девушки, час назад еще босые, с мокрыми от поливки подолами, теперь же все на «шпильках», в сквозистых блузках и порхающих юбочках, в красных, золотых, палевых, седых и розовых высоких прическах маркиз — самозабвенно кружат и кружат в танце.

Полвека тому назад, оплакивая исчезающую поэзию русской провинции, в ту пору только что открытую по преимуществу художниками, тогда как многие писатели видели в ней одно лишь невежество и дикость, хотя почти все из провинции вышли, искусствовед и художник Г. Лукомский писал:

«Конечно, нет уж тех нот то бесшабашной, то богоспасаемой и молитвенно-смиренной России. Но есть гостинодворская с аркадами, крутосклонная с златоверхими храмами, с заборами, охватывающими вишневые садики, с беседками в городских садах и палисадниках, заросших бузиной и смородиной,— провинциальная Россия!.. Нет раздолья съестного, хмельного, трактирного быта нет, нет троек, бубенцов, нет многого, что, как красивая характерная колоритная сцена, просилось на полотно; и скоро, скоро уйдет навсегда все это от мира... Но есть все-таки самовар, есть семечек лушение, есть говор, судачение на скамеечках у калиточки, есть вывески глазастые, заманчивые, есть пастухи, есть — бы т...»

Помнится, когда я впервые прочитал это, мне почудилась в словах влюбленного в русскую провинцию открывателя ее художественной характеристики только меланхолическая иеремиада, и я вспомнил мудрое речение Дмитрия Ростовского: «Всякому свой век не нравен, мимошедшие лета ублажаем». Да и почему бы этому веку, пронесшемуся революционным вихрем по стране, разрушившему не одни лишь трактиры, но и многие златоверхие храмы,— думал я по прочтении статьи Лукомского,— почему бы ему прийтись по нраву художнику, суть жизни которого состояла в разыскании и защите отечественной старины, по преимуществу провинциальной.

Но в иеремиаде, как я понимаю сейчас, содержалось и упование.

«Есть — бы т...» — писал Лукомский. А быт и бытие, иначе сказать, существование, пребывание вживе, жизнь,— слова одного корня.

* * *

Шестой час утра — сырой и серый. Над озером, если взглянуть влево от монастыря, белеет кремль с тусклым в такой час серебром и золотом глав и крестов над лишенной тенью и потому легкой, воздушной громадой.

Озеро тихое, гладкое, едва розовеющее на востоке.

По берегу желтеются в траве мелкие цветочки.

Утки выводят утят на прогулку. В заливчиках сидят чайки. Они сидят на воде, задрав хвост; птица вся белая, только головка с шеей черные. В таком положении чайки чем-то напоминают мне уток. Странно, почему эти птицы в начале века олицетворяли собою поэтичность. И кричат-то они неприятно, пронзительно. Сидят и кричат и вдруг взлетают из осоки, из рогоза, словно сами себя подняли этим криком, а вокруг них неумело летают детеныши; полетают некоторое время и плюхаются на воду.

Из-за угловой башни, словно не было этих трех лет, старушка выгоняет овечек. Она такая же горбатенькая и ветхая, в тряпичных чунках на нетвердых ногах, в перекрутившихся просторных чулках. И овца с двумя ярочками будто те же самые, что в отношении последних было бы чудом, и такие же они стриженные, как три года тому назад об эту пору.

Я и удивился и обрадовался.

Помнится, в то утро, как и сейчас, овцу старуха держала на веревке, а ягнята паслись свободно, пощипывали траву, скакали, кидались вдруг в сторону, затем в другую. Трава местами повалилась, была затоптана, и я еще подумал: святое дело делает старуха, паса здесь овечек.

И тут как раз послышался некий архангельский глас:

— Не пасите здесь скотину. В табун надо гнать или держать дома.

Слова эти принадлежали вышедшему из-за башни пожилому, кряжистому краснолицему мужчине в сапогах, в черной суконной кепке и в суконной же, защитного цвета гимнастерке — коменданту или просто пенсионеру.

Старушка не расслышала, переспросила: «Чего?» Мужчина начальнически повторил, что здесь скотину выпастить запрещается, на то есть табун. Но старушка, то ли из-за глухоты, то ли потому, что не могла соотносить начальнических слов, их грозного тона, со своими овечками, снова ничего не поняла, подошла поближе, кротко переспросила: «Чего?»

Мужчина словно бы оскорбился, взревел, однако по уставу — на «вы».

— Если будете выпастить скотину, загоним на общий двор!

Ни в тот мой приезд, ни в последующие я старушку больше не видел.

Я не помню, чтобы в тот год издано было какое-либо административное распоряжение, запрещающее пасти скот, даже крупный рогатый, в таких местах, как прибрежная полоса озера возле монастыря, где мальчишки жгут костры, выжигая проплешины, где мотоциклисты, меняя масло, заливают им граву, где участники «тройственных союзов» оставляют битые бутылки, где после иного хозяйственного мужичка, выломавшего на ремонт печки несколько кирпичин из старинной монастырской ограды, торчат в траве осколки, а все это, вместе взятое, губительно и неотвратимо сказывается на растительном сообществе, благоприютствуя чернобыльнику, лопухам и крапиве, — в то лето было другое, было запрещено прогонять стадо городом, а плестись со своей коровенкой или козками в некоторых случаях через весь город, причем дважды, утром и вечером, не у каждого доставало сил и времени, что и побудило многих отказаться от скотины.

И еще оказывалось так называемое моральное воздействие, начавшееся, впрочем, лет за пять до искоренения моей старушки с овечками.

Помнится, году в пятьдесят девятом Николай Семенович, державший корову, поскольку молоко, и сметана, и творог, особенно же воскрес-

ная ватрушка с творогом, были не только любимы им, но в иные годы составляли чуть ли не единственное гастрономическое удовольствие, отправившись, побуждаемый к этому Петровной, домоправительницей, женщиной в равной мере преданной и властной, в большое подгороднее село, где, говорили, можно было купить сено, так как село это оказалось в пределах областного города, расширившего свои границы, держать скотину кому-либо из его жителей запрещалось, и все они распродавали сенные запасы.

Вернулся Николай Семенович домой не только без сена, но и чрезвычайно рассерженный, раскричался, что пора с этим кончать, он агроном, преподаватель техникума, а не спекулянт, и распорядился корову незамедлительно продать, что и было выполнено присмирившей Петровной, впервые за тридцать лет увидевшей почитаемого ею кроткого хозяина в гневе.

К тому времени в городе из тысячи коров осталось двести.

А сейчас, по прошествии еще восьми лет, только восемь.

Без малого тысяча коров пошла под нож из-за административного рвения людей, о которых говорят, что они и лоб расшибут, коли заставишь их богу молиться, да еще из-за торопящихся всюду поспеть первыми доброхотов, с которых ведь и не спросишь, поскольку они ни за что не отвечают, и нигде их не сыщешь, потому что ущерб, причиненный ими народу, обнаруживается тогда, когда они усердствуют уже по другому поводу.

Я как-то спросил Александра Ивановича Кривдова, нашего соседа, человека в городе известного и всеми уважаемого, знатока и любителя природы, десятилетиями создававшего на заболоченном участке возле дома культурную почву и вырастившего прекрасный плодовый сад, читал ли он хотя бы одно постановление, прямо запрещающее у них в городе иметь коров, однако, сколько он ни вспоминал, ничего определенно не вспомнил.

Запрещать, сказал он, вроде не запрещали, но осуждали крепко, писали в газете, что коровы объедают зелень, ну и срамили, у кого коровы.

Старушка, пасущая по берегу озера своих овечек, к великой радости моей, выстояла в единоборстве с краснолицым Голиафом в суконной, защитного цвета гимнастерке и хромовых сапогах, мне думается, только лишь потому, что овечки ей и навозцу настоят на грядочку, и шерсти она с них нарядет на носки да на варежки, и мясца продаст по осени — то есть нужды своей ради, и еще, быть может, потому, что, не читая произведений местных фельетонистов, не ведала за собой никакого греха.

* * *

В ту последнюю весну наших с Николаем Семеновичем встреч мы много гуляли с ним по городу, ездили по окрестным местам, прогулки продолжались и летом, а поздней осенью, не веря случившемуся, я шел с ночного поезда с какими-то случайными попутчиками, и всем нам, оказалось, нужен был дом Николая Семеновича, потому что все это были неизвестные мне его друзья, родственники, ученики. Мы вошли в заваленную шубами кухню, а оттуда — в так знакомую, будто опустевшую, с венками вдоль стен странно преобразившуюся комнату, наискосок которой, что уже одним этим больно отозвалось в сердце, протянулся тот самый стол, за которым в течение стольких лет мы сживали, и на столе, в гробу, — Николай Семенович.

Я сижу на скамеечке перед могилой Николая Семеновича, на которой, множеством сиреневых, красных, лиловых и розовых мотыльков, пе-

релегивших и через ограду, пестреют цветы душистого горошка, и мне вспоминается не день похорон, на редкость морозный для ноября, не все удлинявшееся, пока мы шли городом, траурное шествие, в голове которого все четыре километра до кладбища покачивался на плечах открытый гроб, и не поминки в тесно заставленной столами квартире, куда все заходили и откуда, помянув псковника, тихо выходили различных сословий и состояний люди, как написали бы в старину,— мне вспоминается апрель того же года и наша с Николаем Семеновичем поездка в Сарское городище.

Был пятый час очень теплого солнечного дня.

Небо на северо-востоке, за озером, стояло сизое, в сплошной туче, и когда мы селись в машину, два раза сверкнули белые, прямолинейные, пробежавшие сверху вниз молнии и дважды глухо ударил гром.

Но дождь так и не собрался.

Машину мы оставили на шоссе и стали спускаться в долину реки.

С шоссе виден был ее изгиб, крутой, обрывистый, красноватый берег с протянувшимися над рекой избами и пятиглавой церковкой. Река делает здесь петли, поворачивает, уходит под железнодорожный мост. Она блестела в этот предвечерний час, и старицы ее блестили на зеленоватой земле.

За железной дорогой торчали изжелта-зеленые после зимы сосенки, и, если взглядеться, светлелись среди них приземистые карликовые осинки.

Это и было Сарское городище.

Преодолев ямины, буераки, перейдя через железную дорогу, мы поднялись к городищу и вошли в него со стороны, которая не была защищена рекой, через «горло» петли, какую образовала в этом месте Сара.

Внутри этой петли, повторяя ее, высился земляной вал.

Я оглянулся вокруг, на опоясавшие городище зеленоватые склоны, от гребня которых сразу же начиналось небо, и хотя понимал, что за семьсот с лишним лет вал оплыл, а пространство земли внутри него, тоже в яминах, оставленных археологами или добытчиками гравия, заросшее травой и мелкими деревцами, поднялось настолько, что обзор отсюда был совсем иной, нежели в ту давнюю пору, все же я не мог не вспомнить, что в самом начале тринадцатого века войска некоего князя «поидоша по Волзе вниз», «пометаша возы, накони полезоша», отправились к Переяславлю «воюючи», и «быша на Городище на реце Сарре у святой Марины...».

Я помнил, что в летописи назывался апрель.

В тот же вечер дома, полистав Лаврентьевскую летопись, я установил, что было это «апреля 9, на Велик день», подсчитал, какая разница была тогда в календарях, и вышло, что мы с Николаем Семеновичем побывали в Сарском городище спустя семьсот пятьдесят восемь лет и три дня.

Мы поднялись на вал.

Желтовато-серая весенняя земля простиралась вокруг.

По всему горизонту желтели голые холмы, кое-где поросшие сосняком или ельничком. Машины, по временам блистая отразившимся в них солнцем, бежали далеко на шоссе. Долго шел длинный товарный состав.

Я переместил взгляд на то, что было ближе.

Река петляла по всей видимой плоскости земли и, когда мы пошли по валу, показывала то нагорный, то полевой берег. В одном месте во впадинах крутого берега неровными узкими полосами серел снег. На низменном берегу зеленоватые прутья ивняка были тесно унизаны серы-

ми длинными шелковистыми сережками. Река бежала быстро, вода ее была еще желтая, огибая городище, она блестела то в одном, то в другом месте.

Сильно пахло свежестью — водой, землей, молодыми побегами...

Так было и на пасху семьсот пятьдесят восемь лет тому назад.

Николай Семенович помалкивал, что было на него не похоже, и если бы я не знал его так хорошо, то мог бы подумать, что ему недужится. Вдруг он проговорил, показав на реку и на всюду блестевшие старицы: — Весной, во время разлива, река вспоминает свое прошлое.

Тюю же весной или в самом начале лета, гуляючи, мы зашли с Николаем Семеновичем в бывший митрополичий сад, примыкающий к кремлю со стороны озера. День стоял жаркий и тихий. В саду, хотя и рядом с озером, было еще жарче и тише. Воздух здесь был влажный, тепличный — от сыроватой ли земли, от множества ли сочных растений. Ослепительно белели, отражая солнце, стены и башни кремля. Яблони стояли в обильном цвету, только объемностью своих крон отделяясь от плоских белых стен.

Прямоугольное пространство сада, с одной стороны ограниченное стеной кремля, а с трех других — кирпичной оградой, в две трети ниже кремлевской, было как бы наполнено недвижимым запахом яблоневого цвета.

Только поскрипывание жестяных флюгарок-прапорцев на шатрах башен и на дымоходах кремлевских зданий выдавало слабый ток воздуха сверху.

Николай Семенович рассказывал, что сад этот здесь уже третий.

Первый был насажен в семнадцатом веке при владыке, построившем кремль, и с переводом кафедры в губернский город в конце восемнадцатого века пришел в запустение, заглох, как, впрочем, и все остальное.

Во второй раз, уже в девятнадцатом веке, сад насадил соборный причет, владевший им до революции, даже несколько позже, однако, с упразднением собора, оставшись без хозяина, и этот сад пребывал в запустении, покамест городские власти не устроили здесь детский парк. Засохшие деревья вырубали, поставили беседки, качели, устроили разного рода игры и аттракционы, однако замечено было, что дети сюда не ходят.

Выяснилось, что здесь очень жарко.

— Это ведь южная сторона, да еще кремль отражает солнечные лучи — его кирпичные стены, при владыке-строителе, как и теперь, после реставрации, побеленные,— продолжал рассказывать Николай Семенович.— И кирпичная ограда закрывает ток воздуха со стороны озера, причем высота ее так рассчитана, чтобы одновременно не закрыть доступ солнцу.

Русские садовники семнадцатого века все это учли, определяя место под митрополичий сад. Они создали здесь микроклимат. Примерно это Воронежская область или север Ростовской, полагал Николай Семенович.

Детский парк перевели отсюда, а здесь, по мысли Николая Семеновича, сельскохозяйственный техникум, где он тогда работал, насадил сад.

Это и был третий, впрочем, потом поделенный между служащими музея.

Я и сейчас помню, словно это было вчера, а не три года тому назад, как под синим небом, среди лопухов, овальные листья которых огромностью своею напоминали тропические растения, стояли в жарком и влажном воздухе в виду белых башен и стен короткоствольные корена-

стые яблони, простершие во все стороны утыканые крупными цветами ветки, соединяя настоящее с давно прошедшим, однако не исчезнувшим.

Обе вспомнившиеся мне встречи я приношу на могилу друга.

* * *

Иван Федосеевич, в то лето уже третий год пребывавший на пенсии, приехав однажды из областного города, где он поселился, объявил, не успев поздороваться, как говорится, с порога, словно это была чрезвычайная новость, что в колхозах района перевели огурцы и помидоры, начинают переводить лук и картошку...

Признаться, я посчитал это некоторым преувеличением, следствием ревности человека, ушедшего от дел, пускай и добровольно, потому что сокращение площадей под овощами, картофелем и луком, как и падение их урожайности, началось давно, о чем мы часто толковали с моим другом еще в бытность его председателем колхоза, он же говорил об этом так, будто только что совершено было преступление и виновники его найдены.

Впрочем, тою же осенью, проездом на курорт, зашел ко мне в Москве Кирилл Федорович, бывший председатель колхоза «Россия», у которого, по моим представлениям, не было оснований откровенничать со мной, и вот, разговорившись, он рассказал, что паточный завод, в сырьевом отделе которого он работает агрономом, в тридцать восьмом году заготавливал столько картофеля, сколько сейчас едва ли производит вся область.

А сравнительно недавно, просматривая свои записи, я обнаружил, что до революции луком здесь было занято, округло, две с половиной тысячи десятин, году в сороковом, тоже несколько округляя цифру, тысяча сто гектаров, в сорок седьмом году — семьсот, сейчас — четыреста пятьдесят.

Затем мне встретилась газета, в которой пространно опровергалось утверждение столичного литератора, побывавшего в здешних местах, будто в районе озера Кайово, издавна славившемся производством овощей, цикория и зеленого горошка, производство этих культур пришло в упадок, причем газета, чтобы уличить литератора в недобросовестности, привела цифры дореволюционных сборов горошка и нынешних, из чего следовало, что сейчас его производят в неизмеримое число раз больше, нежели прежде.

Я несколько не усомнился в точности и той и другой цифры.

Тут был лишь тот фокус, если употребить это деликатное слово, что в старое время горошек продавали сушеным, а сейчас его сдают сырым.

Непосвященный человек мог посчитать литератора клеветником.

Обо всем этом я размышлял по пути в областной город.

Иван Федосеевич, которого я предупредил о приезде, ожидал меня, припас местного изготовления виски, которое с некоторых пор он считает единственным достойным серьезного человека напитком, причем упорно именует его в женском роде «виска» и выпивает не больше рюмки.

После чая он попросил свозить его на могилу матери.

Незадолго до смерти мать Ивана Федосеевича поселилась у старшего его сына в большом селе на московской дороге, куда, случись ей умереть зимой или осенью, легко будет приехать хоронить ее всем родственникам, поскольку и автобусы ходят, и попутные машины, и откуда совсем близко до расположенного невдалеке села с действующей церковью.

Это ее намерение Иван Федосеевич одобрил.

Будучи не то что атеистом, пришедшим к отрицанию бога путем размышлений, а самым разнастоящим безбожником формации двадцатых

годов, какой, не тратя время на праздные, по его мнению, мысли, раз и навсегда решил, что бога нет, потому что его не может быть, Иван Федосеевич, как всякий истинный крестьянин, чтит обычай и уважал традиции, почему, например, звал в гости если не на октябрьскую, то в престольный праздник, который воспринимался им, как и многими крестьянами, скорее как праздник деревенский, семейный, нежели религиозный, а уж старого человека, вроде матери, полагал естественным хоронить с попом.

Этим последним он напоминал мне одного моего знакомого, бывшего крестьянина, тоже коммуниста двадцатых годов, который, услышав, как его одноподруженцы и сверстники, московские интеллигенты, потешались над подругой их молодости, некогда отличавшейся чрезмерной доступностью, а в пожилых годах взявшей за правило отпевать всех покойников в округе, поскольку здесь не осталось ни одной церкви, — услышав скабрзные шуточки о раскаявшейся грешнице, неожиданно для всех расвирипел, прокричал застрявшие в памяти еще с уроков закона божьего слова о грешнице и камне, каковой пускай кинет в нее тот, кто тут безгрешен, затем, успокоившись, свойственным ему докторальным тоном старого пропагандиста проговорил:

— Лошадь падет — ее захлестнут веревкой и уволочут; умрет военный — его хоронят с оркестром и отдают салют, иному даже орудийный; коммунисту или просто заслуженному товарищу положены речи и музыка; а старушке — поп или хотя бы какая-нибудь бабка.

Быть может, потому, что едем мы на могилу его матери, Иван Федосеевич вспоминает детство, как жили они в доме деда, еще не отделенные.

— Дед наш, — рассказывает он, — был богатый мужик. И была у него дочка, тетка моя, очень любила книжки читать. Она все гуляла с учителем, как оказалось, социал-демократом, а его взяли и увезли в черной карете. После этого никто уж девку за себя не брал, все отвернулись. А тут приехал из Питера на побывку кривой Коська, совсем бедный парнишка. Дед его позвал, поговорил с ним и выдал за него дочь. Купил он ему дом в городе, вписал его в мещане, дал немного деньжонок. Коська, теперь уже Костянтин, а вскорости и Костянтин Авдокеич, ваше степенство, открыл в рядах лавку игрушек и спортивного инвентаря, сказать по-сегодняшнему, а потом и мастерскую дома, где делали лыжи, санки... Спустя время открыл он еще и лавчонку в соборной ограде, где торговал книгами и календарями, и газетный киоск напротив гимназии, — тогда это была бойкая улица, с вокзала и на вокзал ездили, это теперь все автобусы да машинами и в Москву и в областной город... Держал еще Костянтин Авдокеич, то есть дядя, мальчишек-газетчиков. Газеты были, — перечисляет Иван Федосеевич, — «Новое время», «Русское слово», «Копейка», «Утро России», — и говорит, что дед погорел, а вскорости и помер, семья обеднела, и дядя Костянтин, почитая их своими благодетелями, взял его жить к себе, почему он все так хорошо помнит.

— У дяди были круглые рекламные тумбы, на которые наклеивались афиши. Бывало, придет в город труппа, и принесут дяде афиши или текст, чтобы он заказал в типографии: мол, такого-то числа в местном офицерском собрании имеет быть... Тут уж я варю клейстер, запрягая мерина — был у нас серый мерин, — и еду клеить. Бабы деревенские собираются, глазют: что такое? А я кричу: война, бабоньки! Генерал Куропаткин... Богатым и почтенным людям афишу относил на квартиру: городскому голове, воинскому начальнику... У городского головы выносили гривенник. Держал дядя еще и карусели, и перевоз на озере держал, и лодочную станцию с парусной яхтой... А зимой — каток с военной музыкой. Зимой же, бывало, по базарным дням запряжем мерина, —

продолжает рассказывать Иван Федосеевич, — и едем в большие торговые села книжками горговать. Был у нас такой ящик, две доски у него сверху чуть подлиннее, а в концах их дырки сделанные, куда, по приезде на место, вставлялись шесты, на которые навешивался навес, с одной стороны наполовину откинутый, так что получалось у нас вроде прилавка. Разложим книжки, дядя велит мне кричать: у тебя-де голос сильный, — а без крику книжку ведь не продашь! — добавляет уж от себя Иван Федосеевич. — Сам дядя зябкий был — поторгуюм, а он скажет: «Торгуй, Ваня, торгуй, а я пойду в трактир чайку попить», — он знал, что копейки его не возьму.

Последнее Иван Федосеевич говорит не без гордости.

Мы сворачиваем с шоссе и вскоре останавливаемся возле несколько обветшалой, с посеревшей от времени штукатуркой, ампирной церкви с большой, во весь фронтон, писанной на жести иконой над входным портиком.

Я спрашиваю по привычке: какая церковь?

Иван Федосеевич не совсем твердо отвечает: Введенская...

Выйдя из машины, он живо подбегает к церковному портику и тоном мальчишки, отгадавшего загадку, с некоторым торжеством говорит: вон и на картинке введенье — бабка Христа дочку в церкву ведет.

Он спрашивает, известно ли мне, отчего Ивана Богослова рисуют с перстами на устах, и, так как я ничего сказать не могу, снисходительно объясняет, что Иван Богослов хотел сообщить людям, когда будет конец света, а бог ему и скажи: «Иван Богослов, не двоесловь, закуси перст».

— Это мать рассказывала, — добавляет он.

Кладбище позади церкви, на крутом берегу реки, таком высоком, что ее и не видать, пока не подойдешь ближе. По всему низменному берегу, сколько видит глаз, покойно стоят под вечеряющим небом некошенные хлеба. Лучшего места для вечного упокоения старой крестьянки не сыщешь.

Мне вспоминается один из давних моих приездов к Ивану Федосеевичу.

Дом оказался на замке, однако я зачем-то посмотрел в окно и увидел его мать, праздно, в несколько напряженной позе, как мне вообразилось, сидящую на диване, что было странно среди бела дня, потому что старуха всегда была чем-либо занята — то перебирала проросшую картошку, то полола гряды, то обрезала лук, а зимой пряла шерсть или вязала носки, и все это буквально согнутая пополам: у нее давно уже после падения или ушиба был поврежден позвоночник. Я постучался, и она вышла ко мне через нежилую, запиравшуюся на зиму, половину дома. Она сказала, что Иван Федосеевич болен, приходил врач, сказал, что грипп, не велел никого пускать: говори, мол, что дома нет. Поэтому, подумал я, и сидела она с такой напряженностью, готовая кинуться на защиту сына.

Она сказала, что меня, конечно, пустит... да Иван спит.

— Может, грамотку оставишь, — подумав, предложила она.

Мы стоим с Иваном Федосеевичем у могильной ограды, внутри которой словно бы оставлено место еще для одной могилы. Он пробует, не осел ли за зиму какой-либо из угловых столбиков, не перекосилась ли решетка, затем с удовлетворением говорит, что и себе приготовил здесь место.

Элегичность моих размышлений прерывает голос Ивана Федосеевича, должно быть уже второй раз толкующего мне о чем-то, я переспрашиваю нерасслышанные слова, и он говорит, что статью надо хорошую написать.

Я не возьму в толк, о чем это он.

Тогда, осердясь на мою непонятливость, с обычным в подобных случаях восклицанием: «От ты, боже мой!», он рассказывает, что на этот год району дали план по луку три тысячи тонн, а один его колхоз давал две тысячи: пятьсот заводу в Ржищах, пятьсот райпотребсоюзу, и еще тысячу на Урал отправлял. До войны же тридцать тысяч производил район.

И заявляет, что едет в Москву — в министерство...

* * *

Возвращаюсь я в Райгород под вечер, с набевавшими вдруг тучками.

Под ними, кажется мне, еще просторнее стала вокруг земля. Перед самым городом, справа, за сизой дымкой,— чуть розовеет; там садится солнце. А все остальное небо становится иссиня-серым, аспидным, плотным...

Вокруг гремит, молнии сверкают, где-то рядом бродит гроза.

А в городе льет тихий теплый вечерний дождик.

* * *

Эта поездка моя в Райгород, надеюсь, не последняя. И все же в чем-то она итоговая, подводящая черту под пятнадцатую годами моей жизни и одновременно освобождающая от некоего обета. «Ныне отпускаеши» — звучат во мне исполненные удовлетворения и печали разрешительные слова.

Я благодарен судьбе, что она дала мне увидеть, как движется жизнь. И если сравнить то, что было здесь пятнадцать лет назад, с сегодняшним днем, можно сказать — человек стал жить лучше.



И. ИСАКОВ

★

КАСПИЙ, 1920 ГОД*

Из дневника командира «Деятельного»

Парламентер

В жизни часто случается так, что одно и то же событие, происшедшее на глазах многих людей, воспринимается ими не всегда одинаково... Это явление зависит от многих объективных и субъективных факторов, из которых немалую роль играет то обстоятельство, насколько неожиданно возникло и как быстротечно протекало наблюдаемое событие.

Так же часто в жизни случается, что первое впечатление об изменении в окружающей нас среде, особенно если событие протекает внезапно, врезается в память в том виде, в каком оно представилось (зафиксировалось) в сознании в первый момент наблюдения или обнаружения. Позже, когда свидетельства других очевидцев, достоверные документы и даже беспристрастные фотоснимки удостоверяют, что фактически это событие протекало немного иначе, очень трудно, а иногда даже невозможно отказаться от первого впечатления, и оно продолжает жить в памяти даже вопреки объективным доказательствам противного.

Вот одну из особенностей восприятия наблюдаемого и своеобразной аберрации зрительной памяти можно проиллюстрировать на примере с флагом английского парламентаря.

В 9 часов 55 минут утра из-за головы энзелийского мола внезапно выскочил новый катер и был тоже принят за торпедный. Прежде чем кто-либо смог отчетливо рассмотреть его в бинокль, всем бросилось в глаза белое пятно, принятое за бурун.

Только счастливый шанс спас английского парламентаря от залпа 75-мм орудий. Готовность пушек и людей была, можно сказать, «нулевая» в связи с тем, что после предыдущей атаки торпедного катера комендоры все время держали на прицеле выход из порта, тем более что других объектов для стрельбы пока им не было указано. Помимо этого, наводя прицельные трубы на оконечность мола, наводчики автоматически могли рассматривать все, что попадало в поле зрения оптических прицелов, что делалось за молом, в глубине гавани. А это интересовало всех.

Счастливый шанс англичанина заключался в том, что штурман Арвид Буш, поймавший его в бинокль раньше других, произнес громко два слова: «Белый флаг».

Продолжение фразы Буша: «...очевидно, идет сдаваться», сказанное по молодости лет и незнанию истории, никого не заинтересовало, но на-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 7, 8 с. г.

жать замыкатель «ревуна» после такой реплики, конечно, было невозможно. Еще через минуту выяснилось, что это не торпедный, а рейдовый катер под полосатым тентом от солнца и идет он не тридцати- или сорокаузловым ходом, а от силы десяти — двенадцати, и что на переднем флагштоке у него большой белый флаг, который вместе с трепыхающимся тентом и был принят за пенный бурун.

Недаром говорят, что у кого-то «глаза велики». Страх не страх, но напряженная готовность к подвоху врага даже в период перемирия сделала свое дело. К счастью, все кончилось благополучно.

Поскольку «Деятельный» находился ближе всех к молу, катер с парламентарем направился к нему.

Вот тут-то и начинается проблема субъективности зрительной памяти.

К. И. Самойлов, отличный советский адмирал, достойный во всех отношениях человек, очень правдиво (за исключением отдельных частных) описавший Энзелийскую операцию в своей книге «На канонерской лодке «Ленин»¹, утверждает, что катер парламентаря имел впереди вместо флага прикрепленный белый китель.

Б. П. Гаврилов, бывший главарт и один из флагманов флотилии, выдержанный командир, пользующийся громадным авторитетом, благодаря большому опыту и длительности службы, в своих воспоминаниях пишет: «...из гавани выскочил быстроходный катер с громадным белым флагом размером с простыню...»².

Наряду с этими свидетельствами в трех письмах, посланных на протяжении пяти лет, в течение которых собирались воспоминания участников, В. А. Снежинский утверждает и продолжает утверждать по сей день, что: «...на носовом флагштоке катера развевались дамские панталоны...»³.

Никакие ссылки на Самойлова, Гаврилова и других не помогают. Объясняя происшедшее явной спешкой, в условиях которой, очевидно, снаряжали парламентаря, и ссылаясь на других товарищей с «Деятельного», также увидевших эту принадлежность дамского туалета, тов. Снежинский совершенно серьезно не считает возможным отказаться от своей версии.

Остается сказать, что в моем дневнике упомянуто о «куске белой материи в качестве парламентарского флага». В те годы способность замечать вокруг корабля все обычное и особенно необычное, без чего невозможно формирование хотя бы посредственного капитана, была развита у меня довольно сильно, поэтому утверждаю, что, если бы англичанин шел с панталонами вместо гюйса, этот факт наверное оставил бы след в записках командира «Деятельного».

Конечно, для истории эта деталь не имеет никакого значения. Однако она небезынтересна как показатель одного из симптомов падения авторитета противника по мере выяснения его растерянности, ошибок и слабостей, явившихся следствием главным образом того, что он был застигнут врасплох.

Ведь наши товарищи готовились к ожесточенной схватке, имели очень тяжелые задачи — лезть с 75-мм пушками под огонь шестидюймовок; маневрировать в районе, считавшемся опасным из-за мин, не имея тральщиков; кожановцам пришлось высаживаться, можно сказать, «повзводно», если не «поотделенно», на берег, на котором противник располагал усиленной бригадой из трех английских и двух индусских

¹ К. И. Самойлов. На канонерской лодке «Ленин». Редиздат Морведа. Л. 1924, стр. 11.

² Краткая рукопись воспоминаний Б. П. Гаврилова.

³ Три письма В. А. Снежинского в адрес автора (из числа пятнадцати других, с воспоминаниями о Волге, Астрахани и Каспии) за 1950, 1958 и 1959 годы.

батальонов общей численностью до двух тысяч человек. В то же время те же товарищи видели неудачный взлет самолета, неудачную атаку торпедного катера, «бледный» залп одной из батарей, переползание растерянных «томми» обратно к Казьяну, и, наконец, они узнали о просьбе английского командования о прекращении огня.

Вот почему церемония встречи парламентаря могла зафиксироваться в сознании некоторых товарищей в непочтительном для врага виде, причем совершенно искренне, ибо его уже не уважали... При иных обстоятельствах боя версия с простыней, кителем и другими частями туалета как со знаком слишком поспешных сборов не могла бы возникнуть и закрепиться в памяти участников.

Когда катер явно повернул в направлении мостика «Деятельного», то неожиданно для всех, стоящих на нем, всегда невозмутимый начдив, до этого момента абсолютно спокойный, вдруг заволновался и, поспешно спускаясь с мостика, предложил:

— Передаю вам временное командование группой!.. Поскорее переправьте его к командующему, а меня, ради бога, увольте от встречи!.. Меня здесь нет!

Теперь наступила моя очередь смущаться. Было досадно из-за своего внешнего вида¹. Но помимо того, смутила первая мысль, которая пришла в голову: «Как объясняться с парламентарем? На каком языке?» Весьма сомнительные знания школьных лет, позволявшие во время плавания на Дальнем Востоке болтать на интернациональном портовом жаргоне, давно улетучились из головы из-за полного отсутствия практики с 1915 года.

Но... мы недооценили гибкость и опыт колонизаторов. Не успел катер поравняться с мостиком, как типичный офицер британской пехоты (рыжеватый, худой, подтянутый, в «хаки», с голыми коленками), приложив руку к козырьку, почти без акцента крикнул:

— Прошу разрешения подойти к борту.

Тем самым он показал знание не только русского языка, но и морского хорошего тона. Первое делало честь Интеллидженс сервис, а второе — традиционному воспитанию островитян, у которых даже армейцы знают морские обычаи.

Мне пришлось, сойдя с мостика к трапу, выслушать официальное представление капитана королевских войск Джона Крачлея, явившегося «от имени командира 39-й пехотной бригады, бригадного генерала Батмэн-Чемпэйна, для переговоров с командующим Красным Флотом». Не отходя от трапа, я написал в тетрадь семафоров донесение и приказал передать его прожектором на «Либкнехт», приступив к нудной миссии — развлекать посланца, пока не придет ответ от комфлота.

Нетрудно было начать с комплимента в связи с отличным знанием Крачлеем русского языка.

— О, я имел удовольствие несколько лет прослужить клерком на английском предприятии в Юзовке!— И дальше последовали сладкие и восторженные выражения, адресованные «этой чудесной стране». Поскольку он жил в царской России, то нетрудно было догадаться, к кому и чему относились приятные воспоминания англичанина.

Через десять — пятнадцать минут беседы можно было убедиться, что перед вами не обычный строевой офицер, а человек даже без выправки, но с относительно широким общим и специальным образова-

¹ Небритый и измятый, так как спал на мостике урывками, на сигнальных флагах.

нием¹. Капитан был явно озабочен, хотя пытался усиленно это скрыть. Он непрерывно шарил глазами по кораблю, но больше посматривал по сторонам, фиксируя боевой порядок эскадры, пытаясь во всем разобраться, все запомнить. Поскольку он впервые был на большевистском корабле (о чем так и заявил), то, не скрывая любопытства, рассматривал внешний вид командиров и матросов, стараясь в то же время оценивать их взаимоотношения.

Интересно отметить, что хотя никто никого специально не предупреждал, но верхняя команда как-то сама подтянулась; товарищи начали при обращении козырять, приказание выполнять бегом, отвечая громким «есть!» (мол, знай наших, тоже службу понимаем!).

Но, несмотря на внешнее благополучие в начале дипломатического приема, через несколько минут произошел первый неприятный казус. Не желая пускать гостя на мостик, я в то же время не мог пригласить его вниз, где отсиживался Чириков, так что весь разговор продолжался на шкафуте, у трапа. Не предупрежденный сигнальным старшиной (моя вина!), не подозревавший о лингвистических талантах гостя, лихо сбежал с мостика и, откызырнув, доложил: «Так что приказано задержать возможно дольше, а затем направить на «Карла Либкнехта!»»

Пришлось пуститься в импровизацию на тему о том, что, очевидно, комфлот не хочет допустить, чтобы парламентар мог попасть в зону огня.

Но несостоятельность подобной версии была тотчас разбита сообразительным бывшим донецким клерком:

— Во-первых, мы с берега не стреляем, поэтому на флагманском корабле безопасно так же, как и у вас! А во-вторых, главная цель моей миссии заключается именно в том, чтобы добиться прекращения огня с вашей стороны! Поэтому я настаиваю на свидании с командующим!

Провалившись в качестве дипломата, я решил направить англичанина «по этапу». Флагманский корабль за последние минуты еще больше удалился на ост, в сторону высадки, и наиболее близким к нам кораблем оказался крейсер «Роза Люксембург».

И тут произошел второй казус.

Пока мы стояли у трапа в ожидании ответа с флагманского корабля, английский катер сдали под корму и поставили на бакштов. Находившиеся по расписанию на юте (а отмены боевой тревоги не было) сгрудились на самой корме. От нас не было видно, что там происходит. Когда же, продолжая разговаривать, мы прошли кормовой мостик, а товарищи предупредительно расступились, то Крачлей позеленел, увидев в руках улыбающегося индуса-рулевого небольшой красный флажок, аккуратно прибитый к маленькому деревку.

У капитана хватило выдержки не устроить истерику, но несколько слов, сказанных им внешне спокойно на хинди или каком-то другом языке, заставили вытянувшегося индуса посереть, а флажок выпал из его руки и тихо свалился за борт катера, к великому возмущению наблюдавших за этой сценой.

Не ожидая реакции, Крачлей прыгнул в катер, который тотчас отвалил и пошел по моей рекомендации в направлении к крейсеру «Роза Люксембург», где его могли развлекать первоклассным французским языком, которым в совершенстве владел главарт. Как потом оказалось, на это обстоятельство Крачлей обратил особое внимание и упорно спрашивал Б. П. Гаврилова, где и когда он изучил этот язык. Но выпол-

¹ Должности своей Крачлей не раскрывал. В одной из статей В. А. Кукеля он называется начальником разведки. Это бесспорно так, причем я полагаю, что он являлся начразведотом высшего штаба и попал в Энзели вместе с бригадиром из Решта.

нение миссии парламентаря не продвинулось ни на шаг. Повторилась та же процедура запроса флагманского корабля и ожидания указаний. Все же, очевидно, совместно с Гавриловым мы выполнили задание, так как вскоре затем последовало разрешение направить его на «Карла Либкнехта», причем комфлот сам пошел как бы навстречу, приблизившись к меридиану Казьяна. Когда же Крачлей поднялся на борт миноносца, последний круто развернулся и опять пошел на ост.

Перемирие в форме томительной паузы продолжалось.

Иранское солнце (недаром оно на государственном флаге!) начинало серьезно давать о себе знать.

Пологая зыбь от норд-оста стала более ощутимой. Корабли очень лениво переваливались с борта на борт.

Но штиль был настолько полный, что поверхность моря была как бы маслянистой и под солнцем слепила глаза.

Следующий раздел можно было бы назвать «Разложение колониальных войск посредством агитации». Но, к сожалению, мы на «Деятельном» к этой задаче абсолютно не были подготовлены. И если некоторые индусские солдаты действительно вышли из повиновения своим колониальным начальникам (а это подтверждалось появлением перебежчиков и другими фактами), то причиной тому служила не наивная агитация наших товарищей, а результат воздействия более серьезных факторов и в первую очередь — победы над англичанами и их капитуляция.

Когда «Либкнехт», приняв на борт парламентаря, дал ход, то английский катер оказался один среди вражеской эскадры, вдали от порта и, очевидно, не успев получить какие-либо указания. Старшина-индус не рискнул возвращаться в гавань без офицера, поэтому после некоторого колебания направился к «Деятельному» и, подойдя вплотную, попросился жестами на бакштов, к своим «старым друзьям». Кое-кто из наших прибалтийских моряков (кажется, Гертнер) знал английский морской жаргон, с помощью которого и усиленной жестикуляцией в течение более двух часов товарищи пытались подружиться с индусами, а заодно и прощупать их настроения. Но, к сожалению, чем более возвышенные и отвлеченные идеи хотелось внушить индусам, тем больше не хватало слов, жестов и даже пальцев.

Характерно, что маленький катер с экипажем всего в три человека являлся как бы миниатюрным сколком с грандиозной колониальной системы.

Три ранга (старшина, капрал, рядовой) и три разных народности были легко различимы. Но можно ручаться, что они, кроме того, представляли три разные касты и различные религии. Маленький ковчег, в котором социальная дистанция от статного старшины до моториста была еще большей, чем между «цивилизованным» рулевым и английским капитаном. И этот подбор был не случайным и сделан не сегодня, для выхода с парламентарем. Подобные сочетания — результат длительного опыта колонизаторов, вся история которых по управлению Индией является историей подавления восстаний и научила мешать сплочению, разъединять, — вот в чем был смысл подбора.

Когда один из наших моряков, вскрыв банку флотских консервов и прикрыв ее большой горбушкой вкусного хлеба, протянул, улыбаясь, старшине, то последний даже отвернулся. Это было принято за своеобразную церемонию деликатности. Мало ли у кого какие обычаи.

Тогда добрая душа моряка заставила его свеситься за борт и поставить банку на корму катера. Индус сделал вид, что ничего не видит. Но как только из-под тента медленно потянулась черная рука моториста, старшина поддел банку носком желтого ботинка, и все угощение поле-

тело в море. При этом на его лице была мина величайшей брезгливости. Черная рука исчезла мгновенно.

Негодование наших товарищей было настолько велико, что пришлось вмешаться командиру: убедить, что индус—мусульманин, что он принял мясо за свиное, и наговорить еще что-то о секте неприкасаемых и много другой ерунды, лишь бы утихомирить страсти и не очень показывать полное свое незнание этих людей.

Важно то, что «воспитание», полученное индусами от колонизаторов, и специфический подбор команды катера сделали свое дело. Флажки они взяли как сувениры, как игрушки и, очевидно, перед приемом «сахиба» на борт выкинули их в воду. Никакого контакта не получилось. Единственно, что должны были понять индусы, что большевики с ними не воюют и им зла не желают.

Но важнее было то, что позже, когда созрели для этого объективные условия, не помогло британцам ни многообразие каст и религий, ни рекордный процент неграмотности населения, ни изощренная система тонкого обмана, натравливания друг на друга, так же как не помогли танки, самолеты и карательные экспедиции против непокорных племен.

Наивная попытка агитации товарищей с «Деятельного», конечно, не могла иметь успеха. Но можно быть уверенными, что оба индусских батальона, вернувшись на родину, были неплохими агитаторами, рассказывая о бегстве англичан из Баку, о восстановлении советской власти в Азербайджане и о капитуляции войск его величества в Энзели. И этим способствовали развитию общего процесса борьбы за независимость Индии.

Пауза

Томительная пауза продолжалась.

Дали обед команде — «не отходя с боевых постов». Это когда вторые номера и подручные разносят бачки к пушкам, в погреба, кочегарки и машины.

Дольше, хлопотно, но зато в любой момент можно открыть огонь или дать реверс машинам.

Настроение поднялось.

Несмотря на боевую готовность — курение, разговор, шутки.

Прошло больше пяти часов после первого залпа, а мы не знаем, что будет через минуту.

Возможно, англичане прекратят сопротивление, но возможно, что за время перемирия они, оправившись от «побудки», подготовили какой-либо сюрприз. Ведь теперь они знают состав наших сил, знают, что задержалась высадка десанта, что у Кепречала была только демонстрация, что кавдивизион подтянется не раньше вечера, что с моря к нам не подходят никакие дополнительные силы... и многое другое из того, что можно было увидеть и подсчитать за пять часов наблюдения с берега. Поэтому не исключено, что они откроют огонь из неотгаданных еще батарей и всей бригадой атакуют высаженную часть десанта, угрожая в то же время ударить ему в тыл со стороны Решта.

Сейчас полдень, но высажено еще только около половины кожановцев!

Неопределенность изводит.

Но оказывается, на войне нужен не только порыв, напор, концентрация воли и энергии для атаки, но иногда надо иметь выдержку и терпение для той же цели, для достижения успеха.

Давно истекли два часа, условленных как время перемирия. Хотя момент его начала и конца юридически не оформлялся, но исходя из фактического времени переговоров, можно считать, что ориентировочно боевые действия должны были прекратиться в 8 часов 30 минут, в крайнем случае в 9 часов 00 минут.

Если исходить из этой предпосылки, то формально перемирие должно было окончиться в 10 часов 30 минут или в 11 часов 00 минут. Между тем наступил полдень, и пока нигде огонь не возобновлялся.

Общая обстановка определялась к этому времени следующим положением на различных участках:

английский парламентар, капитан Крачлей, находился на флагманском миноносце «Карл Либкнехт»; никакого ответа не последовало; мотивировалось это обстоятельство тем, что не поступило указаний из Тегерана или Багдада;

десантные подразделения продолжали медленно высаживаться; один поток усиливал главные силы Кожанова, обращенные фронтом к Казьяну;

второй поток высаживающихся шел на усиление заслона в сторону Решта;

Гаврилов с группой своих кораблей держался под машинами против Казьяна, готовый в любой момент открыть огонь;

группа Чирикова продолжала держаться в одной-двух милях от входа в порт, ведя наблюдение за гаванью и лиманом;

наконец, кавдивизион продолжал безостановочно двигаться по прибрежной дороге на юг, нарочито не портя линии связи, предоставляя возможность персидским чиновникам или английским агентам доносить о своем движении.

Во вражеском стане происходили на первый взгляд малозаметные, но очень существенные изменения.

Выход английского катера с белым флагом, который наблюдался всеми в городе, Казьяне и в порту, очевидно, был понят различными группами людей по-своему.

Во всяком случае мы стали замечать признаки некоторого оживления. Кое-где показались люди. В лимане появились одиночные киржимы. Над некоторыми зданиями и на судах стали подниматься флаги.

Вот эти одиночные признаки постепенно стали умножаться, и приблизительно к полдню можно было наблюдать следующую картину:

набережная и коренная часть мола стала заполняться народом;

на большинстве судов подняты национальные русские флаги (трехцветные); но, кроме того, на некоторых еще и флаги расцветивания!

Но, пожалуй, самым значительным из наблюдаемого надо было считать увеличение движения по лиману киржимов, шлюпок, катеров и двух маленьких пароходиков, которые постепенно слились в сплошной поток— по трассе из порта в направлении на юго-восток. Из-за мола, землечерпалки на фарватере, камышовых зарослей и казьянского парка все эти плавучие средства сразу же скрывались из видимости. Но карта безошибочно говорила, что этот поток устремлен в устье реки Пир-Базар и ведет кратчайшим путем к Решту.

Происходит поспешная эвакуация белых, полубелых и всех английских приспешников, которых не устраивала встреча с большевиками.

Так Энзели переправлял всех наших врагов в Решт по кратчайшему пути.

Трасса была вне дальности пушек «Деятельного». Чириков, напомнив о перемирии, категорически запретил подойти к молу и расстроить огнем планомерность этой эвакуации.

Комфлот был далеко, да еще на борту у него был парламентар.

Позже мы убедились, что эвакуация не была планомерной и даже не эвакуацией, а паническим бегством, или, по терминологии белых, «драпом».

Но все же он состоялся беспрепятственно, хотя и налегке.

Это обстоятельство объясняет то, что мы не захватили почти ни одного пленного.

Окончание перемирия

Когда около 12 часов 40 минут со стороны пляжа у Хуммама послышался орудийный выстрел, а затем редкие залпы более крупного калибра, все почувствовали своеобразное ощущение облегчения.

Бой так бой! Все же лучше, чем это елозание на месте и полная неопределенность.

Однако для нашей группы и группы Гаврилова обстановка не прояснилась. Берег молчал, никто не атаковывал из гавани.

Народ на молу и пристанях сначала шарахнулся, но видя, что мы огня не открываем, выжидаяще остановился, прижимаясь к строениям.

Флаги на белогвардейских судах не спускались. Усилилось движение по лиману на Решт. Но начдив не разрешил приблизиться к молу и открыть огонь по удиравшим. По-своему он был прав — при этом неизбежно пострадали бы некоторые персы и их имущество. Кроме того, среди уезжающих могли быть местные жители, решившие переждать исход событий где-либо подальше от наших пушек.

Опять полная готовность и ни одного выстрела.

Позже мы узнали, что англичане явно затягивали ответ. Кто это делал — генерал Чемпэйн или его высшее начальство? — сказать трудно. Но если двух часов для переговоров с Тегераном или Багдадом было мало, то к полудню истекло уже более пяти часов с момента первого залпа, о чем энзелийский штаб бесспорно донес до команды.

Кроме того, с крейсеров и канлодок стали наблюдать накапливание людей и машин в восточной части казьянского парка.

На что рассчитывали англичане — сказать трудно, поскольку они так и не опубликовали документов об этой операции. Возможно, что дело было до банальности обыденно и что не было никакой хитрости, а верховный комиссар Великобритании на Ближнем Востоке не захотел брать на себя ответственность за капитуляцию британских войск и просто отмалчивался, предоставив командиру бригады и его прямому начальнику командиру 13-й дивизии¹ выпутываться самим из этого крайне тяжелого положения.

Так или иначе, но советскому командованию было абсолютно невыгодно затянуть вопрос о капитуляции врага до темноты, что автоматически повлекло бы перенесение его на следующий день. За ночь могли исчезнуть как люди, так и предметы, в захвате которых мы были заинтересованы.

Не подлежало сомнению, что ночная атака торпедных катеров имела бы гораздо больше шансов на успех, чем утренняя попытка.

Наконец, с каждым часом по направлению на Решт уплывали сотни, если не тысячи белогвардейцев.

Поскольку к полудню уже высадилась почти половина кожановцев, все мы, стоявшие на мостике «Деятельного», внутренне одобрили решение командования.

¹ Он же «командующий британскими силами в Северо-Западной Персии», со штабом в Казвине или Тегеране.

У всех, как говорится, чесались руки, но... пришлось терпеливо выжидать, слушая методичный артиллерийский огонь, доносившийся с востока.

Комиссар поднялся на мостик и рассказал, что очень волнуется индус, старшина катера, все время посматривающий в ту сторону, куда ушел «Либкнехт» с его капитаном. Характерно, что два других члена экипажа оставались совершенно равнодушными к судьбе своего белого властелина.

Добился разрешения начдива отправить катер в порт. Дело в том, что в случае необходимости дать ход все равно бакштов придется отдать или обрубить. На просьбу индуса разрешить идти в район высадки ответил категорическим запретом. Там бой, и катер могут принять за торпедный. Чтобы не сбежал, полпути его провожал «Дерзкий».

Чуть не повторился эпизод с встречей торпедного катера. Это и был настоящий боевой катер, но, выйдя из-за оконечности мола, он сразу пошел вдоль восточного берега. Затем, прежде чем мы определили элементы его движения, показался большой всплеск, и катер, развернувшись на пятке, скрылся опять за молотом.

Значительно позже, к концу дня, когда были захвачены все трофейные корабли, включая и «матку» английских катеров—пароход «Кама»¹, удалось узнать, что этот торпедный катер выходил не с целью атаки. Он сбросил в море свою торпеду и большой ящик с бортовыми пулеметами, взрывателями и другими приборами от катеров и торпед, чтобы обезценить наши трофеи. Топить это добро на глазах у всего порта, да еще на малых глубинах хитрые враги не захотели.

Никого из участников этой «операции» мы, конечно, не застали — после своего выхода за мол они бежали в Решт. Взорвать или поджечь самые катера они не рискнули: настроение моряков, решивших сдать советской флотилии, это исключало. А рисковать собой не захотел ни один из белогвардейцев, оказавшийся в Энзели 18 мая 1920 года.

Новое перемирие

Вялый огонь в районе Хуммам — Казьян (восточная окраина) постепенно стал затихать и затем прекратился.

Это взмолился бригадный генерал войск его величества, обещая незамедлительно дать ответ.

Комфлот согласился продлить перемирие до 20 часов по местному времени, но на этот раз никто уже не сомневался в окончательном исходе дела. Однако чтобы избежать лишних жертв, надо было, чтобы английская сторона официально признала готовность принять все советские условия. Генерал же или колебался, или чего-то выжидал.

Заданный срок окончания перемирия, который приходился на сумерки, ничем разумным объяснить нельзя. Не берусь высказывать окончательное суждение — я не присутствовал при принятии решения и не знаю доводов, — но по-прежнему думаю, что над комфлотом продолжал тяготеть все тот же факт медленности выгрузки десанта. Действительно, под вечер была закончена высадка всех бойцов и выгрузка значительного количества грузов с так называемых «судов снабжения». Но никто

¹ В период первой мировой войны плавучие базы специального назначения как в документах, так и в литературе назывались «авиаматки», «матки подлодок» и т. д. Позже научная классификация привела к дифференциации на «плавбазы», «авиатранспорта» и т. д.

никогда не возвращался к вопросу о сроке второго перемирия — англичане капитулировали задолго до его наступления.

Итак, десант продолжал высаживаться главным образом при помощи неутомимого «Володарского».

Все пушки молчали.

На берегу уже никто ни от кого не прятался. Пожалуй, можно было наблюдать элементы «братания» наших моряков с «тэмми», хотя английские офицеры грозили своими стеками, не рискуя подходить вплотную.

Расцвелись все белые суда.

Поток на Решт через лиман стал менее плотным. Очевидно, главная масса схлынула.

Первыми признаками благополучного окончания операции явились еще большее нарастание толпы на молу и своеобразный визит энзелийского губернатора.

Полагаю, что история международных отношений еще не зафиксировала такого оригинального визита.

Из-за мола медленно выполз рейдовый буксир с высокой трубой и, переваливаясь на зыби с борта на борт, направился к крейсеру «Роза Люксембург». Очевидно, выбор направления определен сравнительно большими размерами советского корабля и флагом (Гаврилова) на фор-стеннге. Однако сообразив, как потом выяснилось, что до крейсера идти значительно дальше, чем к «Деятельному», буксир повернул к нам.

Помимо национального флага на гафеле, на стеннге развевался огромный желтый штандарт с усатым львом и солнцем за его спиной, занимая почти половину высоты мачты и лениво заполаскивая своим полотнищем от качки и хода корабля.

Сомнений не оставалось: приближалось высокое начальство с высокой миссией.

Зато свое собственное начальство (Чириков) опять поспешно скрылось в кают-компанию.

На корме очень старенького и на редкость грязного и промасленного буксира, видно наспех, была расчищена площадка, устланная хорошим ковром, на который поставили массивное кабинетное кресло с высокой спинкой.

Восседал на этом своеобразном троне тучный перс с животом необъятных размеров, в черном костюме и шапочке, с золотой цепью на животе и с огромными перстнями почти на каждом пальце. Вокруг кресла — почтительная свита. Слева из-за спины протягивалась как будто сама собой чаша с лимоном, а справа так же почтительно — тазик для слюны.

Чуть впереди, у борта, стоял толмач, балансируя на качке, чтобы не упасть во время глубоких поклонов. При каждой фразе, сказанной губернатором или командиром миноносца, он изгибался вдвое от почтительности, но говорил по-русски так плохо, что почти невозможно было понять те три-четыре слова, которыми он оперировал.

На визитера жалко было смотреть... Он, очевидно, не выносил никакой качки и в это губительное путешествие, наверное, пустился только потому, что многочасовое ожидание разгрома его резиденции артиллерийскими снарядами с неизбежными в последующем «большевистскими зверствами» было еще страшнее и невыносимее.

Начальник гарнизона (явная синекура, ибо с приходом оккупантов у него было не больше одной караульной роты), пользовавшийся пра-

вами генерал-губернатора, слыл открытым англофилом и удрал в Решт после первого утреннего залпа, чем показал недюжинные способности в умении оценивать обстановку. Про него говорили, что он трепетал при имени Кучук-хана, отлично ладил с англичанами и грабил народ не по чину. Он сам был заранее уверен, что советское командование не проявит должного уважения к его званию. Гражданский губернатор, которого мы имели честь видеть, представлявший интересы местной компрадорской и торговой буржуазии, был более гибким политиком, но вряд ли его отношение к большевикам значительно отличалось от мнений и чувств его военного коллеги. Можно предполагать, что он просто не успел удрать, и теперь — под нажимом купеческих старейшин и консулов — ему пришлось пуститься в это героическое и вдвойне опасное плавание.

Шкипер-перс, давая то «малый вперед», то «малый назад» и перекачивая штурвал с борта на борт, удерживал корму своего буксира против мостика миноносца, что ему вполне удавалось. Несмотря на это, у него был напуганный и несчастный вид, возможно потому, что шкипер был бессилен против зыби. Из-за нее буксир раскачивался как хотел и даже периодически взлетал на уровень нашего планшера или же проваливался ниже обнажавшейся ватерлинии «Деятельного». В эти моменты мы должны были казаться губернатору возносящимися на небо, а он сам, зажмурив глаза, в который раз ожидал безвозвратного низвержения в пучину.

Но аллах велик! Он создал море, и он же создал губернаторов. В его власти и дать и взять. Инш-алла! Будь прокляты большевики, ради которых приходится переносить такие муки. Это в тысячу раз тяжелее и унижительнее, чем стоять часами в приемной у английского майора — коменданта Энзели. История говорит, что один из властителей приказал высечь непокорное море. Но сейчас можно было ручаться, что, вернувшись на берег, этот властитель прикажет высечь всех тех, кто был свидетелем непокорности Каспийского моря.

Бросался в глаза трепет, с которым прислушивались подчиненные его превосходительства к каждому его слову (или стону). Страх перед ним помогал чинам свиты переносить и даже не замечать качку. Боюсь, что капитану попадет больше других — буксир раскачивался совершенно непочтительно.

Страдал губернатор совершенно очевидно.

Пятнисто-зеленый, вцепившись толстыми пальцами в подлокотник, он боялся смотреть по сторонам и, упершись остекленевшим взором в основание дымовой трубы, попеременно испускал длинные струи слюны (в подставляемый тазик), облизывал лимон (подаваемый из-под другого локтя), после чего изрекал короткую фразу, выждав момент, когда корма буксира шла вверх. Когда же ют проваливался в подошву между двух гребней зыби, у его превосходительства в предсмертной тоске округлялись выпуклые глаза, и мы все деликатно отворачивались, чтобы не видеть момента его мученической кончины.

Попытка переправить губернатора к «Карлу Либкнехту» или хотя бы к «Розе Люксембург» была категорически отвергнута.

С интервалами, синхронными с периодом колебания поверхности моря, мы слышали в очень произвольном переводе и в очень витиеватой форме много пустопорожних фраз, продиктованных традиционной восточной вежливостью. Но если отбросить повороты и пустоты, то прерывистую речь губернатора можно свести к следующим трем фразам:

«...его превосходительство глубоко взволнован и непомерно рад... больше того — он исключительно счастлив видеть в Энзели доблестных посланцев великого северного соседа...»

...его переполняют (тазик!) самые искренние и самые сладостные (лимон!) чувства... от счастья этой встречи...

...поэтому его превосходительство хотел бы узнать, когда дорогие гости... уйдут обратно (тазик и затем лимон!)... к берегам своей великой и благословенной страны?»

Заверив визитера относительно отсутствия у меня полномочий выступать за командующего, ответил, что, предполагая, все окончится к взаимному удовлетворению. Мы пришли за русским имуществом, с персами не воюем. И приветы и вопрос будут тотчас переданы советскому командованию.

Беспомощно, как ребенок, зажмурившись на развороте буксира, вконец обессилевший губернатор отбыл обратно в порт.

Капитуляция

Еще через некоторое время, несмотря на то что срок перемирия далеко не истек, получили радио-«клером» от флагмана: «Англичане капитулировали. Поздравляю победой».

Это произошло относительно неожиданно и не совсем понятно.

Как, на каких условиях?

Узнаем в свое время, а пока объявили готовность № 2 и впервые отошли от пушек и с других постов, оставив соответствующую смену. К великой радости механика и его духов, разрешил выключить одновременно два котла. Кой-кого из машинистов и кочегаров поднимали наверх с признаками теплового удара.

Чириков уговорил Сергея Авдонкина сходить на истребители в порт и забрать лоцманов: никто из нас не знал правил входа. Сережа всех развеселил. Он возвратился минут через сорок, стоя на носу в английском пробковом шлеме «здравствуй-прощай» (два козырька — спереди и сзади), и был принят издали за нового парламентаря.

Бесспорно, Чемпэйн еще в период первого перемирия решил, что ему придется ретироваться, и оттягивал сдачу из двух соображений. Первое—надо было получить прямое разрешение на уход из Энзели либо от комдива-13, либо от верховного комиссара Великобритании. Но оба молчали или давали советы, которые снимали с них ответственность за последствия (мы можем только предполагать, так как точных сведений не имеем). Второе — надо было добиться от советского командующего таких условий капитуляции, которые можно было бы потом представить в виде «добровольного оставления Энзели». А это значит — уйти с оружием в руках и в полном составе, не оставив пленных. К счастью, большевики на это пошли. А что касается белогвардейцев, их флота, имущества и т. д., то британцу было на это наплевать, лишь бы спасти свою шкуру и (относительно) репутацию. Конец колебаниям пришел от Хуммама.

Чемпэйну не могло нравиться то, что развернутый на подступах к Казьяну 9-й Ворчестерский батальон начал контакты («братание») с «красной морской пехотой». Последовало приказание сменить его 7-м Норс-Стаффордским батальоном, который еще не соприкасался с нашими матросами.

Кожановцы, увидя цепи новых солдат, выходящих из Казьяна, залегли и открыли огонь. Стаффордцы тоже залегли и открыли огонь, а что касается ворчестерцев, то те, оказавшись между двух огней, шархнулись и просто побежали, пригибаясь к земле

«Володарский» успел сбить один пулемет, а «Австралия» даже не смогла сделать залпа, как на шоссе выскочил на «фордике» парламентар

с белым флагом. На счастье, все произошло на глазах у комфлота и у Крачлея. Порядок был быстро восстановлен, однако наши десантники, преследуя удиравших, захватили не менее полукилометра на подходах к Казьяну. Генерал решил больше не испытывать судьбу и дал радио в адрес Крачлея с предложением кончать все переговоры на уже договоренных условиях.

Комфлот потребовал четырех заложников из числа офицеров и комиссию для сдачи трофеев. Согласие было тотчас получено. Не знаю, как хитрые англичане добились того, что ни один пункт соглашения не был зафиксирован на бумаге. Но дело было сделано.

Танкерный флот был дороже протокола.

Конечно, все рады такому удачному окончанию операции, но никакого общего и громкого ликования не видно. Причина не только в том, что финал операции прошел тихо и в стороне от нас, но главным образом в исключительном напряжении и утомлении. Хотя боевую тревогу дали в точке развертывания, никто не спал с ночи и все стали на боевые посты задолго до рассвета.

Решающую роль сыграл психологический фактор. Если бы заранее знать, что победа придет так относительно легко, сохранилось бы больше сил и сейчас гремело бы «ура» и танцы под баян. Но с 7 утра до 17 часов все работали у пушек и механизмов в непрерывном ожидании артиллерийских залпов с берега, атак торпедных катеров, возможного подрыва на минах и т. д. Можно ждать час-два... и больше. Но через четыре-пять часов появляется утомление, а через девять-десять часов наступает не только сильное утомление, но и апатия.

Эти же десять часов напряжения подтвердили, как высока была дисциплина и политическая сознательность наших моряков.

Утомление было настолько сильным, что как-то по инерции в голове вертелись «очередные» мысли:

надо почистить пушки; потом труднее будет сдирать нагар;

как придется входить в порт? с лоцманом или рискнуть без? и т. д.

и т. п.

А ведь по сути дела внутри должно было все петь и кричать:

задача, поставленная Москвой, выполнена!

главное в том, что белый флот не потоплен и, очевидно, возьмем его в полной исправности!

англичане с позором изгнаны!

белых как организованной силы на Каспии не существует!

войне на этом театре — конец!

Но пока не прошел шум в ушах от стрельбы, пока не кончил изнывать от жары и утомления, пока не восстановилась способность остро воспринимать окружающее, все эти мысли как будто возникали в голове другого человека, стоящего рядом.

Когда «Либкнехт», предшествуемый истребителем, проходил мимо нас в гавань, то при сближении с «Деятельным» комфлот поздравил С. А. Чирикова с победой и поручил ему наблюдение за порядком на рейде.

В поле нашего обзора все было нормально, и мы двинулись на восток посмотреть, как идут дела у Кожанова. Оказалось, что высадка бойцов по существу закончена, шлюпки, снующие между транспортом и пляжем, перевозят остатки какого-то снаряжения. Но зато на берегу открылась незабываемая картина.

Ветераны-кожановцы, участники боя, так вспоминают этот эпизод

отступления английских войск на Решт: «...по шоссе тянулся бесконечный поток вражеских частей. Ехали на машинах, на лошадях, на ослах...»¹.

Этот поток как бы процеживался сквозь своеобразное сито, так как по обе стороны дороги были развернуты пулеметные, а за ними стрелковые взводы кожановцев.

Осликов не помню, хотя они состояли «на вооружении» английской бригады, но зато хорошо запомнилось, как позади замыкающего батальона индусов в тюрбанах самым последним эшелонном шла вереница санитарных «фордиков». Благодаря белому парусиновому навесу (фурго-ну) с красными крестами они резко выделялись на фоне пыльного шоссе и окружающих желтых песков. Но доверчивые советские моряки, наблюдавшие за выходом капитулировавших джентльменов, не подозревали, что под красным крестом вывозятся не раненые (оставленные в лазарете Казьяна), а замки от орудий береговых батарей.

Через несколько минут, оставив заслон на дороге, головной отряд из состава десанта без единого выстрела двинулся в направлении Казьяна и стал исчезать в его садах и рощах.

С «Австралии», стоявшей ближе всех к берегу, нам сказали, что первым двинулся в Решт бригадный генерал со своим штабом, не пожелавший лично встречаться с большевистским командованием.

Если заглянуть в документы того дня, то можно найти следующую лаконичную фразу:

«Вечером английский генерал Чемпэйн ввиду безнадежности своего положения заявил, что он решил эвакуировать Энзели и просил пропустить его войска в Решт».

Разрешение было дано.

Тем самым английские войска, уходя с личным вооружением и находящимся на колесах (полевые пушки, автомобили и повозки разного назначения), оставляли нам не только «имущество России», но и свои береговые батареи, боезапас, а также склады с оружием, снаряжением и прочим имуществом, которые становились нашим военным трофеем.

Случаи подобного окончания боевых действий известны из военной истории и называются почетной капитуляцией, когда побежденный отпускается из осажденного лагеря или крепости со знаменем и личным оружием.

Откровенно говоря, в этой процедуре не так уж много почетного для тех, кому приходится оставлять на поле боя и свое или награбленное добро. Но за ошибки надо платить. Теперь пришла очередь для колонизаторов расплачиваться за свои непомерные аппетиты, за презрение к поработанным народам (азербайджанцам, персам) и за недооценку сил Советской России и ее исторической роли. Но, верные своим традициям вероломства, англичане не сумели удержаться на позициях почетной капитуляции.

Соглашения, подобные заключенному в Энзели, не всегда оформляются документами, но это не исключает необходимости обязательного выполнения их условий для обеих сторон. Нарушение такого соглашения обманным путем является бесчестным нарушением данного слова. Между тем британское командование под прикрытием международного символического знака Красного Креста в лазаретных автомашинах вместо своих раненых, подброшенных нам, тайно вывезло замки от виккерсовских пушек с береговых батарей (и частично снятых с кораблей), чтобы оставляемые трофеи сделать для большевиков бесполезным стальным ломом. Но затем, когда обман был обнаружен, комендант Казьяна,

¹ «Вспоминая былые походы». Сборник. Горьковское книжное издательство. 1959, стр. 216.

в звании майора, попросил разрешения вывезти приобретенную им в Энзели ванну и рояль в обмен на подлежащие возвращению орудийные замки. Предложение, недостойное базарного торговца, не то чтобы офицера, так как и у лавочников есть своя купеческая этика.

Таким поступком почетная капитуляция была самими англичанами превращена в позорную капитуляцию.

Вот, очевидно, еще одна из причин, почему «эвакуация Энзели в 1920 году» не нашла своего места в истории британской армии.

Впрочем, замки мы все равно получили бы — штаб комфлота догадался взять в качестве заложников четырех британских офицеров (включая Крачлея). Очевидно, этим объясняется тот факт, что выделенная генералом комиссия по передаче имущества работала очень быстро и действительно помогла нашей трофейной комиссии.

Правда, был еще один случай попытки скрыть от нас хранилище автомобильного и авиационного горючего и смазочных масел, оборудованное в большом подземном складе (блиндаже) на окраине Казьяна, в котором бензин хранился в больших жестяных бидонах (экспортная продукция Нобеля и других бакинских фирм). Но еще 19 мая утром один шофер-индус, узнав о наших затруднениях, показал этот склад. После этого флотилия могла насытить не только свои потребности, но и начать открытую продажу бензина персам, чтобы получить оборотные средства на расплату с рабочими, грузившими трофейное имущество, и на другие надобности.

Это сокрытие склада, очевидно, было индивидуальным проявлением инициативы, так как в остальном англичане, признав свое поражение, стремились возможно скорей покончить с Энзели, убраться подальше и... забыть о нем. Этим же объясняется поспешный отъезд Чемпэйна и отсутствие каких-либо официальных документов о капитуляции. Громадные белогвардейские трофеи и несчетное имущество его величества были сданы на словах, а приняты односторонними актами нашей комиссии.

Англичане хотели, чтобы не осталось следов поражения, и формально они этого добились.

Правда, были сведущие люди, которые уверяли, что такая поспешность объяснялась тем, что в связи с нашим занятием Энзели активизировались действия дажгалийцев. Поэтому была угроза нападения Кучухана на Решт и блокирования дороги на Казвин.

Возможно. Но мне было абсолютно не до этого — верный своим привычкам, комфлот назначил командира «Деятельного» заместителем председателя трофейной комиссии, не освобождая от командования миноносцем.

Так же как в Петровске, моими помощниками стали командиры и моряки «Деятельного». И опять ни они, ни я не имели опыта в этом хлопотливом и сложном деле. Пришлось импровизировать и учиться на ходу.

Прежде чем перейти к оценке итогов Энзелийской операции, необходимо кратко изложенное описание того, как она представлялась с мостика одного из миноносцев, дополнить некоторыми сведениями и впечатлениями, почерпнутыми позднее.

Влияние случайных факторов

В ходе и исходе военных действий случайные факторы часто играют значительную роль. Степень влияния случайных факторов, которые обычно воспринимаются как неожиданные, определяется не только тем,

насколько враждующие были бдительны, или, как говорится, настороже. Важно, насколько были убеждены бойцы обеих сторон в своей идейной правоте и насколько они оказались морально стойкими. Физическая закалка и наличие здоровой нервной системы и психики также играют положительную роль для противодействия случайным и неожиданным факторам или для их нейтрализации, но, пожалуй, решающую роль может сыграть наличие хорошо организованной и гибкой системы управления. Последняя позволяет возможно раньше узнать о появлении (или проявлении) неожиданного, случайного фактора и быстро оценить его и принять необходимые контрмеры.

Отсутствие или недостаточность перечисленных качеств может привести к растерянности перед случайным и неблагоприятным событием (явлением или фактом).

В общем виде случайностью является объективное стечение обстоятельств, которое не могло быть своевременно предвидено или предусмотрено, почему его проявление так часто воспринимается как неожиданное и незакономерное. Чем реже происходит подобный случай, тем больше шансов, что он будет неожидан, непредусмотрен.

Степень воздействия элементов случайности может быть совершенно незначительной и даже остаться вовсе незамеченной, но иногда может повлиять очень сильно на ход событий. Все зависит от характера самой случайности, ее соответствия совершающемуся процессу, в сферу влияния которого эта случайность начинает включаться, и от того, насколько подготовлены окружающие, чтобы заметить, осмыслить и учесть в последующих своих действиях этот новый, случайный фактор.

Естественно, что случайности могут быть благоприятными для одной из сторон и, наоборот, такими, влияние которых неблагоприятно для нас, но помогает осуществлению намерений противника.

Случайный факт, как правило, является относительно редким, необычным фактором, вернее — еще не распознанным. В противном случае, при сравнительно частом появлении данного фактора, вероятность его повторения возрастает, выясняется закономерность его появления, и тем самым он перестает быть случайностью. В тех условиях, когда изучаемые факторы многократны и могут быть выражены числами, они становятся объектом математического анализа вероятности ожидания (теории вероятности).

Изучение исторических работ, касающихся исследования причин успехов или поражений в различных войнах, операциях или сражениях, показывает, что буржуазная историография опирается на установившуюся традицию преувеличения роли и влияния случайных факторов. Это является одним из следствий идеалистической философии, отвергающей объективные закономерности в явлениях природы и общества.

Тем более эта тенденция господствует в мемуарной литературе, которая насыщена примерами самореабилитации за счет ссылок на случайные факторы, якобы помешавшие осуществлению «гениальных» намерений и планов.

Возвращаясь к Энзелийской операции, интересно напомнить такие примеры воздействия случайных факторов.

1. Разность во времени на два часа, которую штаб флотилии не учитывал (забыл, вернее, не знал о ней), помогла нам потому, что «побудка» англичан произошла задолго до того, как обычно делался утренний подъем в лагере и на батареях.

2. Первый снаряд 130-мм, попавший в помещение штаба, также был в значительной мере случайным, о чем было уже рассказано.

Но когда мы осмотрелись на берегу после операции, то дополнительно выяснили еще два случайных фактора, бесспорно сыгравших свою роль.

3. Комбриг Чемпэйн только накануне прибыл из Решта в Энзели с частью своего штаба для инспектирования гарнизона и хода строительства батарей. Мы этого не знали. Когда за его подписью пришла первая радиограмма, то в штабе считали, что все идет нормально и что начальник отвечает как старший.

На самом деле события протекали так.

Случайно в эту ночь застрявший в Энзели генерал в 7 часов 19 минут был разбужен разрывами снарядов в Казьяне.

В 7 часов 25 минут ему доложили первые впечатления о том, что делается на взморье и что помещение штаба разбито.

В 7 часов 30 минут Чемпэйн узнал, что огонь ведется на фронте от Кивру до Кечелала. А еще через 30 минут, когда он привел себя в порядок и, дав все указания, выехал в направлении на Решт, то своими глазами увидел разбитый «фордик» на шоссе, отползающих «томми», транспорта, готовые высадку, и тральщик, нащупывающий подходы к пляжу против Хуммама.

Отбывая, командир 39-й бригады, конечно, дал указания начальнику гарнизона «отразить врага!»... «держаться до последнего»... «что он сам немедленно выступит из Решта с подкреплениями» и многое другое в том же духе.

Сам ли генерал догадался возвратиться или настояли офицеры штаба — не ясно и не важно. Но важно то, что когда он возвратился в Казьян и временно организовал свой КП в одном из низеньких складов, стоявших «в тени» разгромленного штабного здания, — в этот момент ему доложили, что связь по проводам с Рештом прервана, причем не случайно, а «красной морской пехотой».

Оставался связной самолет и... путь на катере через Пир-Базар. Но к чести генерала надо сказать, что как только на его имя была получена ультимативная радиограмма, он не счел для себя возможным ударить по тому пути, по которому уже, давая друг друга, бежали белогвардейцы. На него смотрели подчиненные.

Надо было отвечать... и Чемпэйн вступил в игру, затеяв нарочито длительные переговоры с большевистским командованием.

Он сразу понял, что первый раунд им проигран, когда после нашей удачной демонстрации началась фактическая высадка кожановского десанта. А что она не была обеспечена высадочными плавсредствами и протянется до вечера, генерал не знал и, конечно, предположить не мог.

Итак, присутствие Чемпэйна в Энзели явилось случайным совпадением. Он мог приехать на инспекцию на два дня раньше или наметить ее на два дня позже. Больше того, можно утверждать, что если бы он ожидал атаку Энзели на рассвете 18 мая, то наверное бы не поехал, а занялся бы проблемой управления контроперацией с учетом сил в Реште, Казвине и других пунктах, причем по-своему был бы прав.

Что же дало это случайное совпадение?

Весь военный исторический опыт подсказывает, что чем дальше находится старший начальник от места боя, тем тверже ставит он задачи, тем большего упорства добивается от войск и тем реже соглашается на капитуляцию. Особенно это характерно для нравов колониальных войск.

Вот почему можно утверждать, что эта случайность помогла нам одержать победу с такими малыми потерями.

С момента, когда Чемпэйн понял, что ему придется претерпеть участь своей бригады, все его стремления были направлены на то, чтобы

возможно с меньшими потерями и позором вывернуться из этой мрачной истории. И надо сказать, это ему в значительной мере удалось¹.

4. Последний пример влияния случайного фактора.

Главарт Гаврилов, принимая трофеи, определил, что для окончания строительства двух (трехорудийных) шестидюймовых батарей англичанам оставалось полтора суток. Боезапас был уже подвезен.

Что батареи есть или строятся, мы читали в разведсводках. Но степень их готовности и боеспособности не знали. Коммодор Д. Т. Норрис, командовавший Каспийским флотом в 1918—1919 годах, уезжая в Тегеран (в качестве главы морской миссии), оставил в Энзели до пятидесяти моряков королевского флота. Познакомиться с ними из-за их мобильности не удалось, но поскольку все 120- и 150-миллиметровые пушки были морских образцов, присланных Адмиралтейством, надо полагать, береговые батареи получили бы квалифицированную прислугу, имевшую опыт стрельбы по морским целям.

Полтора суток — элемент случайный и благоприятный для нас. Если бы операция началась 20 или 21 мая, мы все равно победили бы, но число жертв было бы значительно больше.

Вопросы о потерях

Некоторые товарищи, только что пришедшие из Астрахани, уже через пять дней, в Баку, спрашивали нас: «Что это за операция и бой, если всего два десятка раненых и убитых?»

Конечно, статистика потерь является одним из показателей напряженности, упорства боя или операции. Но нельзя только цифрами потерь определять значимость боя или операции, а тем более ее итоги.

История знает много жестоких кровопролитий — но без толку; упорных боев с громадными потерями, не давших реальных результатов ни одной из сторон.

С давних времен (можно вспомнить хотя бы Цезаря) считалось, что тот полководец выше, кто умеет добиться победы малой кровью. То, что было непреложным для национальных, а тем более для революционных войн, когда бойца уважали, ценили и любили, стало расцениваться иначе с тех пор, как империализм научился мобилизовать «пушечное мясо» обманными лозунгами или принудительно.

В кайзеровской и гитлеровской армиях были генералы, «знаменитые» тем, что могли положить несколько дивизий ради какой-либо «высоты 210» на карте, не имевшей такого значения, чтобы ради захвата ее жертвовать десятками тысяч солдат.

Да, под Энзели с нашей стороны было один-два убитых и больше десятка раненых, из числа кожанцев. Точных списков не сохранилось, но я утверждаю, что раненых среди десантников было больше. 19 мая лично видел группу более десяти человек с забинтованными головами и подвязанными руками. Их прислали ко мне для отправки в Баку на трофейных кораблях, но они категорически отказались грузиться и разбрелись по своим подразделениям. Подъем настроения у всех бойцов был так велик, что ранения скрывались.

Что касается англичан, то цифры их потерь тоже занижены, но по другим мотивам.

¹ Остается упомянуть о самолете. Когда линии связи были перерезаны, решено было послать в Решт связной самолет, но готовили его слишком поспешно, на взлете отказал мотор, и самолет с трудом уцелел, сев на рисовое поле. Это тоже явилось одним из реальных следствий «энзелийской побудки».

Когда в санитарных фурах вывозились орудийные замки, то последние были под койками, а на койках для маскировки лежали действительно раненые и трупы убитых. Кроме того, в Казьяне англичане «подбросили» нам около двух десятков раненых, оставленных в лагерьном «околотке» (лазарете). Поскольку Чемпэйн изобразил все события как... «добровольный уход английских войск из Энзели, по договоренности с советским командованием», то никаких раненых или убитых не должно было быть.

Чтобы покончить с этим вопросом, остается напомнить Бакинскую операцию XI армии.

С момента форсирования рубежа реки Самур и до занятия Баку армия потеряла приблизительно столько же, сколько и флотилия под Энзели. Но кто станет измерять количеством потерь значение Бакинской операции, сыгравшей (вместе с восстанием) огромную роль не только для войны в Закавказье, а и для всей РСФСР?

И если бы рейд бронепоездов тов. Ефремова, этого подлинного героя, не проводился так дерзко и стремительно, XI армия все равно вошла бы в Баку победительницей, но только несколько дней спустя и ценой тысяч убитых и раненых.

Аплодисменты

Когда миноносцы медленно входили по фарватеру внутрь лимана, громадная толпа энзелийцев, стоявшая сплошной стеной вдоль мола и причальных стенок, помахивала приветливо маленькими красными флажками (наспех состряпанными из материи и бумаги) и горячо аплодировала пришельцам.

Думаю, что для условий военного времени такая форма приветствия победителей не совсем обычна.

Это был своеобразный знак признательности за то, что мы изгнали англичан. Возможно, что кое-кто из бедноты понимал наступление новых времен для успеха борьбы Кучук-хана. Но, грешным делом, подозреваю, что больше всего аплодисменты относились к благополучному (для горожан) окончанию боя и даже войны и... сидению в подвалах.

Несостоявшаяся атака

Когда все уходило с рейда, Н. Ю. Озаровскому пришлось по сигналу комфлота остаться с крейсером «Роза Люксембург» — «для наблюдения за порядком».

Много времени спустя мы узнали подлинный смысл этого сигнала.

Случилось так, что к началу операции в распоряжении штаба оказалась в полной готовности одна из тех рыбниц, скрытно вооруженных торпедой (укрепленной под днищем, по проекту инженера Бржезинского), которые еще в 1919 году посылались из Астрахани в тыл врага. В данном случае рыбница была в хорошем техническом состоянии и имела испытанный экипаж, который прорвался в Баку до прихода XI армии и флотилии, но не нашел здесь объектов для атаки, поскольку бело-английский флот уже был в Персии.

Командование флотилии, не исключавшее возможности морского боя под Энзели, скрытно от всех (даже от участников операции) послало рыбницу к Энзели с расчетом подхода к порту на рассвете 18 мая. Задача — утопить дозорный корабль белых или одно из других больших судов, если они успеют развернуться на внешнем рейде.

Очевидно, тот самый штиль, который без приключений привел флотилию к Энзели, заставил зайти рыбницу где-то по пути. Теперь штаб боялся, что экипаж рыбницы, не знавший о конце операции (радиоприемника они не имели), может атаковать один из советских кораблей или из тех трофейных, которые скоро пойдут в Баку.

Перехватил ли Озаровский рыбницу или нет, не знаю. Важно, что все обошлось благополучно¹.

Но не менее важно отметить, как оценивал обстановку и противника штаб и насколько численно мы были слабее, что даже такая рыбница учитывалась в качестве реальной помощи, если бы враг принял бой в море или оказал сильное сопротивление в Энзели.

Морские трофеи

Б. П. Гаврилов, в новом качестве председателя трофейной комиссии, подошел к наружному борту «Деятельного», когда мы еще закрепляли швартовы.

Тут же договорились, что я как его заместитель беру на себя все, что на воде (суда, плавсредства), а он, помимо общего руководства, будет заниматься всем «добром» на берегу (батареи, склады, казармы, машины и т. д.).

Передал в распоряжение трофейной комиссии В. Ф. Трибуца², как более подготовленного, а сам, оставив миноносец на Снежинского с боцманской командой и расчетами двух пушек, бросился бегом вдоль по стенке к кораблям бывшего «флота его величества». Мы все еще опасались, как бы кто-нибудь не устроил диверсию.

Десять вспомогательных крейсеров и девять военных транспортов и «маток», бывшие некогда лучшими судами танкерного и сухогрузного (товарно-пассажирского) флота Каспийского моря, не считая многих «шхун»³, стояли в порту кормой к стене, на якорях и на приколе у острова Миан-Магалэ.

К счастью, ни один из кораблей не был поврежден. Но это не от благородства убежавших, а результат все той же «побудки». Если англичане проспали первый залп, то белые не ломали голову над тем, как спасти престиж войск его величества. Они просто побежали.

У всех судов нелепый вид: подняты флаги расцветивания, а шлюпбалки вывалены за борт, и тали стравлены до воды — признаки панического бегства. И так на каждом шагу.

Никаких штабных документов не оказалось, и никто их нам не передавал. Судовые бумаги тоже были в беспорядке, а на некоторых оказались уничтоженными.

Путаница с учетом кораблей еще усложнялась тем, что часть из них неоднократно переименовывалась и меняла свое назначение. Были двойники, два «Опыта», три «Усейнова» и другие, были неизвестные суда, а кое-каких, значащихся в сводках и в списках, не оказалось в натуре.

¹ Вообще о судьбе большинства рыбниц ничего не известно, хотя товарищи с «Деятельного» знают, что на одной из них погибли два коммуниста — комиссар миноносца Костин и электрик, захваченные и казненные белыми в Петровске. Из-за неизбежной конспирации о деятельности торпедных рыбниц сохранилось очень мало документов. Однако кое-что имеется. Вот исключительно благодарная тема для морского историка — исследовать их деятельность и подвиги и рассказать нашему народу.

² Впоследствии адмирал Владимир Филиппович Трибуц.

³ По местной терминологии, самоходные стальные наливные суда водоизмещением до полутора-двух тысяч тонн в документах назывались «шхунами», очевидно, для снижения налоговых ставок и портовых сборов, а возможно, из-за хитростей страхового дела.

Прошло сорок лет, но я беру на себя смелость утверждать, что до сего дня нет окончательной ясности с перечнем всех плавучих единиц Каспийского моря, с показанием их судьбы как у нас, так и у белых¹.

Но один вопрос прояснился окончательно.

Вспомогательного крейсера «Горчаков» (или «Князь Горчаков») в живых не оказалось, чем подтвердилось то, что мы узнали впервые от морских офицеров, застрывших в Баку.

Действительно, «Горчаков» (однотипный с «Князем Пожарским») вышел в последние дни марта 1920 года в операцию против нас на 12-футовом рейде. «Горчаков» ночью отстал от группы «Пожарского», и с тех пор никто никогда его не видел и не был подобран ни один человек. Последнее понятно: подрыв и гибель на нашей mine «Пожарского» нагнали такой страх на белых, что торпедные катера, перегруженные спасенными с заградителя, никакими поисками заниматься не могли.

Причину гибели никто не знает. Погода была тихая. Может быть, это дело одной из наших героических рыбниц? Может быть, диверсионный взрыв?

Лично я, как минер, склонен думать, что «Горчаков» подорвался и затем взорвался на одной из советских мин, поставленных осенью 1919 года².

Этот факт гибели неприятельского крейсера остался абсолютно незамеченным нашей разведкой. А между тем гибель не одного, а двух кораблей в течение одних суток, бесспорно, должна была сильно подорвать моральное состояние белогвардейцев, тем более когда они убедились, что опоздали с развертыванием, а половина их минного запаса потеряна с «Пожарским».

Первые отправки в Баку

Кое-кто из авторов потом писал, что на следующий же день, вслед за занятием Энзели, весь бывший белогвардейский флот с оставшимися на нем экипажами чуть не с музыкой тронулся в Баку.

На самом деле это протекало не совсем так.

Главная трудность заключалась в личном составе. На судах осталась сравнительно небольшая часть команды и буквально единицы из администрации. Это были моряки торгового флота, мобилизованные англичанами в 1918 году, переданные затем белым (в 1919 году) и имевшие семьи в Баку или Петровске. Они встретили нас настороженно, но скоро «отошли» и не скрывали своей радости.

Бражеская агитация запугала многих, и часть моряков совершенно напрасно тоже бежала в Решт. Что же касается офицеров, юнкеров, кадетов и даже гимназистов, которыми заполняли редуемые команды, особенно после Петровска и Баку, то эти совершенно сознательно бросились в глубь чужой страны во главе с капитаном 2-го ранга Бушеном, который после дезертирства контр-адмирала Сергеева считал себя «командующим Добровольческим флотом на Каспийском море».

Скатертью дорога! Очевидно, они не знали, что часть их друзей уже служит своей родине в рядах РККФ, честным трудом стараясь исправить свои ошибки.

¹ В этом отношении больше других сделал своими исследованиями кандидат наук С. Ф. Эдлинский, работник Морфлота СССР.

² Этому соображению частично отвечает и предполагаемый район катастрофы: к северу от острова Чечень до широты острова Тюлений, куда должны были сноситься или перемещаться с льдинами мины, поставленные на фланге армии и на подходах к 12-футовому рейду.

Прежде всего я заставил выйти или вывести на буксире все трофейные суда на внешний рейд. Благо погода была сносная. Надо было оторвать от города, куда по привычке, укоренившейся при белых, кое-кто «сплавлял» инструмент, белье и другой инвентарь. А с берега надо было пресечь поток спиртных напитков, что тоже было уже установившейся традицией.

Бегло, на глаз определив состояние судна, выделив из оставшихся старшин, посадив своего коменданта (с «Деятельного») и добавив нехватку машинистов и кочегаров, выделенных с эскадры, мы начали отправлять суда в Баку с вечера 19 мая.

Кое-кто пошел на буксире у более надежного собрата.

А на остальные пришлось распределить морячков, специально присланных из Баку на третьи сутки.

Гаврилов настаивал, чтобы трофейные суда грузили трофейным имуществом для доставки в Баку, и он по-своему был прав. Поэтому кое-кого вводили в порт, грузили на палубы или в трюмы, после этого опять выводили на рейд для формирования своеобразных конвоев.

Конечно, никакого строя или «совместного плавания» не было. Но на каждые четыре или пять судов, растянувшихся на десять—двадцать миль, назначался один крейсер или миноносец, который и присматривал за порядком, учитывая нехватку штурманов и машинной команды.

К счастью для меня, «Деятельный» был отозван в Баку на третьи или четвертые сутки, и я с удовольствием передал свои обязанности командиру «Дельного» Бетковскому, пришедшему в Энзели 19 мая.

Церковные ценности

Что не все из оставшихся на борту были святыми, доказывает такой случай.

Обходя на катере свое хозяйство, стоявшее на якорях, мы заметили, что на одном из транспортов не спущен трап, нет вахтенного и никто даже не выглядывает за борт. После крепких слов сопровождающего меня Гридина очень неохотно был сброшен штормтрап.

Пять или шесть «расхристанных» морячков, оказавшихся на палубе, были полупьяными. Но хуже было то, что мы прервали дележку церковной утвари (иконы, кадила, кресты, книги в окладах и т. д.), вываливавшейся из вскрытого топором ящика и наспех прикрытого брезентом при нашем появлении.

После громкого заявления, что они «борются с религией, уничтожая предметы культа», и после наглого предложения войти в долю мне впервые в эту кампанию пришлось потянуться за наганом.

Спасибо Гридину, а также мотористу и рулевому катера, стоявшего под бортом с выключенным мотором. Борцы с религией забыли о катере при анализе соотношения сил.

На что они могли рассчитывать? Ни на что.

Это было затмение мозгов у людей, которые в полдень с непокрытой головой пили водку, не закусывая, на верхней палубе, находясь на параллели 37 градусов 30 минут. Я южанин и знаю, что в таких условиях пить раньше захода солнца не рекомендуется, поэтому все преимущества были на моей стороне.

(Кстати, о судьбе этих ценностей, которые оказались в нескольких ящиках. По приходе в Баку доложил. Получил приказание передать все местной православной епископии, что и было выполнено.)

Комендор «Деятельного» Владимир Гридин не побоялся остаться

один на борту с воинствующими атеистами, которые через полчаса уже были менее воинственными и заколачивали ящики с церковным серебром. После этого, получив всего только трех-четырех наших моряков, Гридин в качестве и коменданта и капитана довел транспорт благополучно до Баку.

Когда командующий с начальником штаба обходил прибывающие из Энзели суда, которые они там не имели случая осмотреть, то на палубе «Эдисона»¹ произошла трогательная сцена.

А. В. Кукель, не дав коменданту закончить рапорт комфлоту, вдруг вскрикнул:

— Гридин!

— Так точно... Гридин!

Тогда начальник штаба, обняв и расцеловав его, стал объяснять комфлоту свое неуставное поведение:

— Понимаете... это Гридин с «Керчи». Ведь и вы, Федор Федорович, видели нашу печальную работу в Новороссийске? Так вот, Гридин был заместителем председателя судебного комитета! Жили и работали душа в душу. Отчаянный человек! И кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь, после Энзелийской операции?

Посмотрев на золотую надпись на бескозырке («Деятельный»), комфлот, обращаясь ко мне, спросил:

— Это, значит, он у вас `служит? Ну как?.. Не бузит?

Пришлось заверить, что комендор с «Керчи» хоть и крепкий орешек, но моряк и комендор первоклассный.

Улыбающийся комфлот закончил эту оценку брошенным в воздух:

— Представить к награде!

— Есть! — ответили начштаб и я одновременно.

Атаманский значок

Еще вечером 18 мая, бегло осматривая трофейные корабли и уставившись на них свой караул, я с группой попал на палубу вражеского флагмана.

На «Президенте Крюгере», на котором месяцами жил первый оккупант Баку английский генерал Денстервиль со своим штабом, в «директорском салоне» мы с Гридиным нашли еще теплую брошенную койку с альковом, шикарным бельем и полковничьим кителём с серебряными аксельбантами генерального штаба, с «Владимиром» в петлице.

Хозяин каюты так спешил, что не успел прихватить ничего, кроме пистолета и бумажника.

Китель он бросил сознательно, так как пижамная куртка, очевидно, должна была отныне маскировать его далеко не легкое прошлое.

Но самым примечательным в салоне оказался «атаманский значок», который в качестве священной реликвии был прикреплен наискось на переборке.

К бамбуковому древку с кожаной петлей для стремени и золотым копьевидным наконечником² было прибито небольшое квадратное полотнище из темно-красного (бордо) бархата, с вытканым золотом по краям орнаментом. Полотнище было толстое и твердое, как лист жести, с маленькими кисточками по углам.

¹ У автора в записках показан транспорт «Эльбрус», но В. Ф. Гридин утверждает, что это ошибка, — он был комендантом «Эдисона», о чем у него сохранился документ.

² Очевидно, для хранения в каюте древко было немного укорочено.

Посередине стоял на задних лапах грозный медведь, тоже вытканый золотом, вместе с надписью, сделанной славянской вязью: «Никто не тронет меня безнаказанно».

Сопровождающий нас кругероковский боцман почтительно доложил, что в каюте последнее время жил адъютант Бичерахова, а «значок — собственный его превосходительства, а оставлен был обратно на хранение».

Очевидно, отбывая в Париж, Бичерахов догадался, что там ему атаманский значок не пригодится.

Видя трепет боцмана, Гридин не выдержал и... как он выразился, «подергал за бороду медведя!».

— Авось на этот раз... обойдется безнаказанно! — с задором сказал Владимир Гридин и с грустным раздумьем прибавил: — А сколько душ он... загубил безнаказанно!..

Оценка операции

Вряд ли было бы целесообразно излагать личные выводы и оценки автора — он является одним из участников операции, а следовательно, ему трудно будет избежать некоторой доли субъективности в своих суждениях. Надо полагать, что больше пользы даст опубликование некоторых документов и выписок из них, относящихся к оценке Энзелийской операции. При этом если использовать разнообразные советские источники и дополнить их английскими, то можно рассчитывать на достаточную объективность общего впечатления от результатов этой своеобразной операции, приведшей к окончанию интервенции и ликвидации добровольческих сил на Каспийском море.

Прежде всего надо напомнить похвалу такого высокого органа нашей государственной власти, каким был Совет Труда и Оборона Республики (сокращенно СТО), возглавляемый В. И. Лениным.

Уже через двое суток после окончания операции — 21 мая — СТО, ставя ближайшую и самую главную задачу Каспийской флотилии, так оценил итоги ее деятельности:

«После того, как Вы блистательно справились с возложенной боевой задачей, Совет Труда и Оборона временно поручает Вам важную для социалистической республики задачу, именно вывоз нефти из Баку на Астрахань...»

Эта выписка из протокола пленарного заседания СТО говорит не только об исключительно высокой оценке завершающей операции, но одновременно она указывает, насколько важна была в то время для государства проблема снабжения нефтью советской промышленности и транспорта.

Следующим по значимости отзывом об изменении обстановки, которое произошло в результате Энзелийской операции, надо считать передовую статью «Правды», специально посвященную этому событию и опубликованную утром следующего дня (22 мая 1920 года) под характерным заголовком: «К а с п и й с к о е м о р е — с о в е т с к о е м о р е».

Яркая и боевая передовица центрального органа РКП(б) начиналась фразой: «Разбойник всегда остается разбойником... Так было и с русскими белогвардейцами...»

И после краткого описания грабежа, учиненного белыми на Кавказе, и бегства их в Иран «Правда», из дипломатических соображений не упоминая о тех, кто помогал им и прикрывал своим оружием, продолжала:

«...Но белогвардейские разбойники просчитались. Наш Красный флот нашел их в Энзели... Теперь они не могут грабить и топить наши

пароходы в Каспийском море. Разбой на этом море уничтожен. Каспийское море превращается в «честное советское море».

Своей передовой статьей «Правда» извещала советский народ о том, что захват «всего флота и всего награбленного» и установление безопасности мореплавания явились главным итогом Энзелийской операции. Вот почему так убедительно звучала концовка: «Наш Красный флот не отстает в своей доблести от нашей Красной Армии»¹.

В этот день не только каспийцы, но и все моряки Балтики, Азовского моря и других речных и озерных флотилий с радостью и удовлетворением читали эту оценку их заслуг, так как сопоставление с Красной Армией было сделано в тот момент, когда ее полки и дивизии героически и самоотверженно сражались с полчищами, организованными Антантой для так называемого третьего похода на Советскую Россию.

Командующий морскими силами А. В. Немитц, который давал директивные указания на эту операцию, после получения первых донесений об ее окончании лаконично, но точно оценил действия флотилии:

«Поздравляю с победоносным окончанием военной кампании на Каспийском море. Доблестный Красный флот блестяще выполнил возложенную на него Советской Республикой боевую задачу первостепенной важности. 21 мая 1920 г. Коморси Немитц. Комиссар Гайлис».

Революционный Военный Совет Республики не спешил. Свои выводы он сделал не под впечатлением первых реляций или восторженных телеграмм из Баку, а после доставки фельдъегерями отчетных документов как флотилии, так и армейского командования и Азербайджанского ревкома. На основе изучения всех материалов только 7 июня в Москве был подписан итоговый приказ № 1016, когда плоды энзелийской победы в виде восемнадцати больших судов, не считая трофейных грузов на них, средних и малых шхун и шаланд, стояли на бакинском рейде.

Уже на следующий день в Баку, когда был получен текст приказа (по телеграфу), мы читали и перечитывали с волнением:

«...За проявленную боевую доблесть, энергию и преданность делу защиты интересов пролетариата Революционный Военный Совет Республики постановил:

а) передать всем командирам, комиссарам и всему личному составу флотилии товарищеский привет и благодарность...

...в) наградить Каспийскую флотилию Почетным Знаменем...»².

Можно сказать, что с каждым последующим днем значимость победы Каспийской флотилии все возрастала, потому что реальные последствия разгрома осиногo гнезда в Энзели вполне ощутимо выражались в ежедневно возраставшем количестве вывозимой из Баку нефти, острую потребность в которой продолжали испытывать промышленность и транспорт РСФСР. Вот почему в отчете, представленном Морведом VIII Всероссийскому съезду Советов в декабре 1920 года, вновь были изложены подробности относительно Энзелийской операции и дана следующая оценка ее итогов:

¹ Интересно отметить, что в том же № 110 «Правды» в оперативной сводке под рубрикой «Кавказский фронт» впервые было объявлено о занятии 18 мая города Энзели десантом наших моряков и показаны трофеи. Таким образом, передовая статья как бы комментировала последние сообщения с фронта и в то же время учитывала оценку Энзелийской операции, сделанную накануне Советом Труда и Обороны.

² Приказ РВСР № 1016 от 7 июня 1920 года, Москва. Подписан заместителем председателя РВСР Э. Склянским и главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики С. Каменевым.

«...Этим последним актом Каспийская флотилия блестяще закончила возложенную на нее задачу овладения господством на Каспийском море, дав возможность стране свободно вывозить нефть — этот могучий двигатель промышленности».

Если наши официальные органы печати и официальные публикации деликатно обходили вопрос об участии англичан в Энзелийской операции, то Лариса Рейснер не пощадила интервентов:

«18 мая 1920 года регулярные войска Великобритании впервые на Востоке были побиты в открытом бою и отступили, едва выкупившись из позорного плена...»¹. Возможно, что она не знала о пленении турками английского генерала Таунсенда в апреле 1916 года в Кут-эль-Амаре и о скандальной попытке его выкупить из плена, и потому немного ошибалась в статистике британских поражений. Но, очевидно, Лариса Рейснер не ошибалась в том, что в Багдадской операции не было энзелийской концовки: «...Уходя, они в хвосте обоза вытаскивали какие-то ванны (частное имущество майора), рояли и вообще культурные принадлежности...»

Были и такие своеобразные сообщения, опубликованные хотя и в морском журнале, но в явно кавалерийском стиле: «18 мая 1920 г. лихим ударом был взят порт Энзели, а вместе с ним и весь судовый состав белогвардейского и английского флота»².

В положительном духе дают оценку позднейшие советские авторы, изучавшие итоги операции на основе анализа исторических документов и свидетельств современников. К ним могут быть отнесены А. К. Селяничев, Р. Н. Мордвинов, А. Б. Кадишев, А. А. Маковский и Б. М. Радченко и многие другие.

Мы сознательно опускаем оценки и выводы непосредственных участников операции, даже вполне правдивые, на наш взгляд (Н. Ю. Озаровский, К. И. Самойлов, В. А. Кукель и многие другие), чтобы исключить возможность упреков в субъективизме подобных суждений. Это тем более целесообразно, что некоторые из рассказчиков либо позабыли многие факты, либо немного погрешили перед истиной. К числу последних относится прежде всего сам комфлот Ф. Ф. Раскольников, свидетельства которого надо принимать очень осторожно и с большими коррективами.

Его заслуг нельзя отрицать как в руководстве по проведению всей кампании 1920 года, так и при проведении заключительной операции. Но если оставить в стороне восторженные и немного экзальтированные донесения в Москву, то надо сказать, что позже в ответах и особенно в воспоминаниях он был очень нескромен и полностью извратил «авторство» Энзелийской операции. Серьезнейшее государственное решение, в принятии которого, как видно из документов, принимали участие гг. Склянский, Каменев, Чичерин и Немитц (то есть быть или не быть операции, высаживать ли десант на персидскую территорию или нет и т. д.), Раскольников приписал персонально только себе, скрыв от всех директивную телеграмму коморси Немитца, полученную в Баку еще 1 мая.

Есть все основания утверждать, что никто из перечисленных товарищей, обсуждавших проект директивы на проведение Энзелийской операции, не рискнул взять на себя окончательное решение, и оно было санкционировано В. И. Лениным. Хотя пока еще не найдены экземпляры документов с его пометками, но Владимиру Ильичу дважды представля-

¹ Лариса Рейснер. Собрание сочинений, т. 1. ГИЗ. М.—Л. 1928, стр. 119—120.

² Взято из краткой статьи, опубликованной в № 4 журнала «Морской сборник» за 1928 год, подписанной псевдонимом Израфель. Последний дает повод предполагать, что статья принадлежит перу Израйля Разгона, который перешел во флот после службы в конном корпусе т. Жлобы в качестве комиссара корпуса.

лись письменные доклады с просьбой утвердить основные положения намечаемого плана, вторые оттиски которых сохранились, так же как и директивные указания, данные комфлоту.

Раскольников воспользовался тем обстоятельством, что по предложению наркоминдела Чичерина комфлоту было приказано заявить персидским властям, что он действует по своему личному усмотрению, помимо Москвы. Но Раскольников пошел дальше и приписал себе не только инициативу в замысле и проведении операции, но и все действия флагманов, штаба и даже управления огнем отдельных кораблей.

Поскольку все же в его документах и рассказах есть некоторые интересные детали, их нельзя исключать из обихода наших исследователей.

В заключение надо хотя бы очень кратко показать реакцию врагов всех мастей на последствия, происшедшие после финала в Энзели.

Как реагировали белые на операцию?

Участники разбежались. Оценивать поражение было некому. Врангелю, которому формально подчинялись «все части Юга России», или его историкам и публицистам меньше всего было на руку писать об еще одном поражении, почему и ликвидация добровольческих сил на Каспийском море не попала в реяции.

Что касается английской оценки Энзелийской операции, то самым красноречивым является м о л ч а н и е о н е й.

Нельзя сказать, что вообще отсутствует литература о событиях на Каспии, в Баку или в Персии. Помимо официальной истории, выпущенной в Лондоне, на английском языке издано значительное количество воспоминаний непосредственных участников или свидетелей политических и военных коллизий в период с 1918 по 1920—1921 год включительно (генералы Денстервиль, Раулинсон, Томсон и многие другие). Но паразитично то, что начиная с весны 1920 года память начинает изменять всем английским историкам и мемуаристам. Скороговоркой упоминается о том, что якобы... «в конце 1919 и начале 1920 года в связи с изменившейся обстановкой британские войска б ы л и о т о з в а н ы из Баку, а затем из Персии...».

Это старая традиция английской военной историографии (и не только военной) — детально расписывать победы и умалчивать о поражениях.

Если можно было бы привести хоть пару мелких примеров героизма или военного искусства англичан, то их бы не забыли в Лондоне, а раздули бы в эффектные эпизоды. Но так как ничего подобного не было, а детальное изучение могло бы привлечь внимание не только к капитуляции, но и к истории с орудийными замками, роялем, ванной и т. д., то на моменте ухода из Баку британскими официальными историками была поставлена точка.

Однако буржуазная общественность Англии и особенно ее «деловые круги» не могли не обеспокоиться ходом дел на Ближнем Востоке. Главный рупор хозяев колониальной империи солидный «Таймс» еще в июне 1920 года писал, вернее, кричал: «...Страна (Персия) открыта большевизму, весь английский престиж теперь поставлен на карту. Захват персидского порта Энзели является громадной угрозой, которая может заронить искру по всему Среднему Востоку...» И после обвинений правительства его величества в близорукости и нерешительности «Таймс» продолжает: «Помещение в порту Энзели одной или двух бригад, которые, конечно, бессильны сопротивляться большевистскому нашествию, не только не могло иметь никакого политического или военного значения, но и наоборот, могло лишь причинить ущерб английскому престижу, ибо быстрое отступление энзелийских войск в глазах Среднего Востока явится лишь свидетельством английского бессилия...»

Нельзя отказать редакторам «Таймс» в способности правильно оценивать обстановку.

На приведенных коротких выписках оценка деятельности Каспийской флотилии не кончается. Что родина и партия помнят заслуги моряков и что высокая оценка их дел имеет замечательную историческую преемственность, показывает следующее.

За двенадцать дней до оформления акта безоговорочной капитуляции фашистской Германии, подписанного в поверженном Берлине, Президиум Верховного Совета СССР издал специальный указ, подписанный Калининым (27 апреля 1945 года), которым Каспийская военная флотилия награждалась орденом Красного Знамени «за боевые заслуги перед Родиной в период гражданской войны и в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны...».

Так возникли и сохранились две взаимосвязанные исторические линии, которые непреложно живут до наших дней.

С первых дней Великой Октябрьской социалистической революции партия создала и непрерывно пестовала военную флотилию на Каспийском море, возложив на нее задачу защиты интересов Советского Союза на этом театре как в военное, так и в мирное время.

Военные моряки-каспийцы, сознавая всю важность и ответственность тех задач, ради которых была создана флотилия, не жалея сил, старались оправдать это доверие, учась, работая и воюя так, как этому учит партия.

Эти две линии последовательно сливаются: доверия, внимания, помощи и оценки заслуг — сверху, и преданности, полной отдачи в работе, готовности к величайшему напряжению и самопожертвованию — снизу.

1960 г.

АМЕРИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ ПРОТЕСТА

«Поэзия протеста» — так определяет состояние современной американской поэзии американский поэт, критик и издатель У. Лоуэнфелс, выпустивший антологию современной американской поэзии под заглавием «Где Вьетнам?».

В антологии представлено семьдесят семь поэтов. Озаглавлена она по стихотворению Лоуренса Ферлингетти — одного из наиболее значительных и популярных поэтов современной Америки. Книжки его стихов «Картины потерянного мира», «Тайный смысл вещей», «Кони-Айленд сознания» широко известны за пределами Соединенных Штатов. Большой известностью пользуются и стихи Денизы Левертов, которая вместе с Л. Ферлингетти в конце 1967 года была арестована в Окленде у дверей призывного пункта во время демонстрации против войны во Вьетнаме.

Серьезный общественный резонанс вызвал сборник стихов Грегори Корсо «Да здравствует человек».

Стихотворение Дадли Рэндола «Дорога на юг» опубликовано в сборнике «Стихи—антисстихи» (1968), изданном издательством «Бродсайд пресс» (Детройт), выпускающим произведения негритянской литературы Америки.

Стихотворение Дон Л. Ли «Письмо черному солдату» взято из сборника его стихотворений «Гордость черных» («Бродсайд пресс», 1968).

Стихотворение Гвендолен Брукс «Сначала — в бой. Потом играй на скрипке» входит в антологию «Поэзия черных» («Бродсайд пресс», 1969). Гвендолен Брукс — негритянская поэтесса, хороша известная читателям США. Особенно популярна ее поэма «Бунт», написанная после убийства Мартина Люгера Кинга и посвященная его памяти.

ЛЕСЛИ ВУЛФ ХЕДЛИ

★

Глядя на вьетнамскую марку

Я в детстве собирал марки,
их радуга была мне визой
в любые пределы, прерии:
Мадагаскар, Алжир, Индокитай, Босния, Герцеговина.
Страны —
больше, чем просто страны,
люди —
больше, чем просто люди.

Век старел от политики,
и марки впивались нам в пальцы,
как безумные бабочки:

Данциг, Польша, Украина,
и письмо со штемпелем «Республика Испания»
(до того, как brave немцы
двинулись против людей и стран).

Мы молоды были. Верили в чудо.
Но дни уползали раненым зверем.

Теперь марширует Америка,
менее доблестная и бравая в своем «кампф».
Будет ли жить вьетнамская марка
или исчезнет Вьетнам с карты человечества?

И может ли коллекционер похвастать,
что выменял марку, где мать с ребенком
сеет рис под американскими бомбами,
на марку, прославлявшую вермахт?

От этих марок вспыхнут альбомы...

Перевел Валерий Минушин.

ФЕЛИКС ПОЛЛАК

★

Монолог «героя»

Я не хотел идти.
Заставили.

Я не хотел умирать.
Назвали желтым.

Я попытался сбежать.
Меня судил трибунал.

Я отказался стрелять.
Назвали слабым.

Приказали в атаку идти.
Меня скосила шрапнель.

От боли я завопил.
Меня отправили в тыл.

В тылу я подох.
Над могилой салютовали.

Пометили крестиком имя мое
И могилу — крестом.

На родине речи произносили.
Я не смел их во лжи уличить.

Сказали, что жизни я не жалел.
А я за нее боролся.

на узких дорогах
 бетонного континента,
 установленного успокоительными рекламами,
 иллюстрирующими слабоумные иллюзии счастья.
 На этой картине меньше повозок,
 но больше калек
 в пестрых машинах,
 у них какие-то странные лицензии
 и двигатели,
 что пожирают Америку.

Перевел Петр Вегин.

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

★

Пятидневный дождь

Висит белье на дереве лимонном
 под дождем,
 и трава длинна и сочна.

Последовательность нарушена, упругость
 апельсинно-горького солнечного света
 стерта.

Дождь светел,
 яркие лохмотья
 висят над жесткою листвою.

Носи пурпурное! Срывай зеленые лимоны
 с ветвей! Я не хочу забывать,
 кто я и что во мне успело выгореть,
 я вешаю чистое, мягкое, пустое платье.

Перевел Петр Вегин.

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

★

Возвращение

Возвращенье домой, в укромный курортный городок,
 где уже облысели и предались бизнесу
 те, с кем я когда-то играл,
 но собаки меня еще узнают по запаху...
 Этот мертвый город встает передо мной
 после двадцатипятилетнего миража.

Долгое время я по волнам проносился.
 о буруны разбивался,
 до дна нырял и скользил
 мимо зеленых блуждающих огоньков
 нервной воды, и встретился я
 с усталостью и светом мира.

Мертвее главной улицы этого города нет ничего.
Здесь отмирает древний вяз и холодеет
от цемента цветом в деготь, на нем не рождается
ни листка, ни листка до зимы не задержится, не опадет.

Но мне помнится его пышность.
Как все было просто тогда,
в час доверчивости
и юного лета, когда
эта улица едва затенена,
и здесь на алтаре покорности
тебя я встретил,
жажду в хрупкой плоти.

Это было в пору первого возмужания,
наследие моих мгновений жизни,
жертва каждого ответвления —
все зеленее, все зеленее становилась листва,
но слишком мало давала приюта.

И теперь, при моем возвращении,
облезлые вязы стоят вдоль улицы прямо, как пальмы.

Теперь на фут я выше стал, чем прежде,
и на ботинках пыль мне не видна.

Но иногда я чувствую, как, стекленея,
вращаются мои мысли,
отыскивая лица без имен иль имена без лиц,
и я на каждом шагу
их удивляю. Они приподнимают головы свои
лысые, как у птенцов,
с ушами, обвисшими, как у собак.

Перевел Петр Вегин.

ГРЕГОРИ КОРСО



Мне не нужна доброта

Я знал странных сестер Милосердия,
что увечных целуют, ходят за стариками,
утешают конфеткой безумных!
Я видел — черны и печальны, в сумерках
они возят калек возле моря.

Я знал тучных епископов Всепрощения,
хрупкую седовласую леди,
соседа — священника,
знаменитого поэта...

Я знал их всех!
Я видел — черны и печальны, в сумерках
они расклеивают свои индульгенции
на застывших столбах отчаяния!

Перевел Валерий Минушин.

ДОН Л. ЛИ

★

Письмо черному солдату

Твои черные братья на родине не хотят
Отправляются на эту войну. Они говорят:
— Никогда партизаны Вьетконга
Не швыряли в нас кличкой «ниггер»,—
Черномазая сволочь, «ниггер».
Когда целится черный солдат,
Восклицают вьетнамцы:
— Мы «ниггеры» тоже,
Почему ты стреляешь?

Перевел Ю. Школенко.

ДАДЛИ РЭНДОЛ

★

Дорога на юг

Черный берег, граница ада,
Железный мост, ветхий вагон.
Кондуктор хрипло белого солдата
Из вагона для черных гонит вон.
К предкам народа, который — мой,
К дому, где жалок даже уют,
К стенам, свидетелям стольких войн,
Я выбираю дорогу на юг.

К земле, где песни, как жалобы нищих,
Где почва красна, как свежий шрам,
Где хлыст как будто по-прежнему свищет
Над моими отцами. О, там, там, там —
Кровь моя там. И еще не поздно
Драться за право, которого не дают,
Право на край, гордый, как звезды.
Я выбираю дорогу на юг.

Тьма кромешная, горы, горы,
Между ними — стрелы церковей.
Бей и пой, колокольный город,
Дым человеческих тел развей!
Костры линчевателей белеют, как вехи,
Лижут кудри, как хлопок, и вьют.
Все горит во мне, человеку,
Я выбираю дорогу на юг.

Земля, где гибли отцы, плодородна,
Реками беды с холмов текут.
К предкам народа, потомок народа,
Я выбираю дорогу на юг.

Перевел Ю. Школенко.

ГВЕНДОЛЕН БРУКС

★

Сначала — в бой. Потом играй на скрипке

Сначала — в бой. Потом играй на скрипке,
Потом — по струнам с легким колдовством,
И паузу звучащую — потом,
Знак — в звук потом, потом хлопки, улыбки.
Да, научись играть, не скрежетать,
Смычок умеет бить, как струйка меда,
Смычком не только можно тыкать в морду.
Да, научись сейчас, не надо ждать.
Но бой — сначала, ненависть — сначала,
Гармония пусть будет за спиной,
Сначала — в бой, иди сначала в бой,
И, может быть, не все еще пропало,
И можно цивилизовать пространство
И скрипке собственной сказать: «Ну, здравствуй!»

Перевел Ю. Школенко.



ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ,
Герой Советского Союза

★

МОИ ПОЗЫВНЫЕ — РАЕМ

ПАПА, МАМА, РОДСТВЕННИКИ И Я

*Чем занимались мои предки. Где я родился. К нам едет тетя Гульда.
Домик на Боярах. Общественная жизнь под абажуром с висюльками.
Домашние спектакли. Поездки за границу. Звонок полицмейстеру.
Специальная комиссия. Мы переезжаем в Москву.*

Аристократы кичились древностью своих родов. Специалисты по родословным, копаясь в старых бумагах, рисовали, а иногда и подрисовывали в угоду клиентам сложную крону развесистых генеалогических деревьев. Эти времена прошли. Современный человек, охваченный стремительным темпом жизни XX века, как правило, почти ничего не знает о своих предках. В лучшем случае ему известны годы рождения отца и матери, на дедушек и бабушек эрудиции уже не хватает, а прадеды проступают в воображении какими-то едва осязаемыми контурами. Вопрос же о еще более далеких предках сегодня удивительно редко возникает у человека. Не исключено, что они участвовали в крестовых походах, пересекали океаны, совершали преступления. Мы не знаем, были ли они воинами или священниками, крепостными или золотоискателями...

О крупных исторических сдвигах мы узнаем из книг. О событиях семейной летописи до нас не доходит и сотой доли того, что рассказывают книги.

Мои предки пришли в Россию из Германии. Еще в екатерининские времена для наблюдения за отарами овец на Украине из Тюрингии выписали ветеринара Кренкеля. В XIX веке в Харькове трудился другой мой предок, пекарь Кренкель. Там же, в Харькове, 28 апреля 1863 года родился мой отец. Когда же совершился переезд в Прибалтику, где родился я, не знаю.

Деда моего звали Эрнст, отца — Теодор. Так уж повелось в семье: два имени — Эрнст и Теодор. Я — Эрнст, а мой сын — опять Теодор.

Дед был акцизным чиновником. Женился на Вильгельмине Грюнберг. В приданое за ней дали большой дом и фруктовый сад с малинником, старинной липовой аллеей и множеством цветов.

Бабушку помню маленькой толстенькой старушкой с одутловатым белым лицом. Одевалась она всегда во все черное. На голове было какое-то хитрое сооружение вроде чепчика из черного тюля, на руках черные митенки, плечи покрыты черной тальмой. Ее излюбленное место было у окна, в углу большой комнаты. Она дремала там в старинном кресле с боковушками, откуда хорошо видела всех входящих в дом. Ноги не доставали до пола, и потому ставилась специальная маленькая скамеечка.

Любимое занятие бабушки — раскладывание пасьянсов, которых она знала превеликое множество. Две колоды карт хранились в бисерной коробочке. При-

касаться к этой коробочке мне запрещалось под угрозой всех кар, земных и небесных.

Иногда старушка выходила гулять в сад. Это происходило очень редко и сопровождалось бесчисленными волнениями. Отодвигались столы, стулья. Кто-то шел спереди, кто-то сзади, двое с боков. Передвигалась она медленно, едва перебирая ногами. Когда водворялась на свое место, все вздыхали с облегчением. Умерла в глубокой старости от водянки.

Отец мой родился на две недели раньше срока. Прележав две недели в вате, едва выжил. Счастливая бабушка дала зарок посвятить сына богу. Так отец попал в Дерптский университет (город Юрьев, ныне Тарту) на богословский факультет и готовился стать пастором. Дело подвигалось. Оставалось два года учебы. В захудалых церковках в виде практики уже были первые воскресные проповеди. И вдруг отец внезапно огорчил мою бабушку. Он перешел с богословского на филологический факультет. Стал изучать греческий, латынь и санскрит.

После кончины деда денег на завершение образования не хватило. Отец поехал в Псков и сдал экстерном экзамены на звание учителя немецкого языка с правом преподавания в казенных гимназиях, во всех классах.

Через некоторое время его пригласили преподавать в имение какого-то крупного помещика в Лифляндии. Там он познакомился с молодой преподавательницей Марией Яковлевной Кестнер и вскоре, в 1896 году, женился на ней. Это была моя мать.

Если родословную отца я почти не знаю, то генеалогическое древо семьи Кестнер известно мне начиная с 1510 года, когда мой предок Филипп Кестнер ткал полотно в городке Вальтерсгаузене (Тюрингия). Из соображений гуманности не буду обрушивать на голову читателя все подробности семейной хроники, составленной каким-то пастором на основании архивных материалов по заказу моего дяди Фридриха Кестнера.

Среди представителей русско-балтийской ветви Кестнеров, обосновавшейся в нынешней Прибалтике, были ремесленники и мясники, виноделы и купцы, акцизные чиновники и лесничие, аптекари, пасторы, учителя...

Имела эта семья и своих знаменитостей, упрочивших славу рода. Поговаривали, что какой-то Кестнер женился даже на настоящей графине. Другой сородич прославился тем, что неподалеку от города Лимы нашел в перуанских Кордильерах какие-то гигантские кактусы. Третий Кестнер упоминается как выдающийся ученый, прочитавший в Вене доклад об уходе за кожей лица. Шарлотта Кестнер состояла в приятельских отношениях с Гёте. Гёте посвятил ей несколько дружеских стихотворений, подарил закладку для книг, ставшую семейной реликвией, и описал ее в «Страданиях молодого Вертера», даже сохранив фамилию Кестнер.

Отец начал казенную службу в Сарапуле, затем переехал в Баку, из Баку в Белосток. Чуть забегая вперед, замечу, что он дослужился до статского советника (в те годы чины и ордена давались, как правило, за выслугу лет) и имел три ордена: Анны третьей степени, Станислава первой и второй степени.

Мое появление на свет сопровождалось некоторыми движениями в мире многочисленных родственников, о чем неоднократно, с обилием подробностей рассказывал мне отец. На помощь матери из Тарту вызвали сестру отца, тетю Гульду. Это была моя любимая тетка, чудная женщина с истинно ангельским характером, хотя из-за природного недостатка зубов улыбка у нее выглядела так, словно она взяла в рот что-то кислое. Даже рассердившись, что случалось крайне редко, тетя Гульда смеялась.

Тетя была ласкова и добра. Вечно кому-то помогала. Всегда возилась с какими-то запаршивевшими щенятами и котятами. Тетя Гульда, как «скорая помощь», выезжала по первому телеграфному вызову на помощь родственникам. Она являлась на похороны и по случаю рождения ребенка. Везде брала бразды правления в свои руки. Везде ее благодарили и любили. По рассказам отца,

очень живым и непосредственным, я представляю себе ее приезд по случаю моего рождения так, словно сам присутствовал при этой встрече.

Даже лошади заулыбались, когда в первых числах января 1904 года тетьа Гульда в зимней дорожной пелерине цвета пыли и поблекшей травы, которую носили женщины нескольких поколений, вылезла из вагона третьего класса на перрон станции Белосток. На голове у нее возвышалось какое-то невообразимое сооружение, долженствующее изображать шляпу. На шнурке, перекинутом через шею, — муфта из плюша, сбоку на ремне — сафьяновая сумка, по голубой крышке которой вышиты бисером алые розы. В одной руке тетка держала корзинку с домашней снедью, в другой — дорожную подушку в полотняном чехле.

С трудом сторговавшись с извозчиком (тетка была не сильна в русском языке), она покатила на окраину Белостока, называвшуюся «Бояры». Мы снимали там у ветхой генеральши небольшой домик с большим садом. Поселилась наша семья так далеко потому, что квартиры в Боярах были куда дешевле, чем в центре города.

Если приезд тети Гульды известен мне лишь по рассказам, то Бояры я помню отлично. Подъезжать к нашему дому приходилось между двумя глухими заборами. Но это было бы не страшно, если бы пространство между этими заборами не заполняла лужа, известная на весь Белосток, достойная соперница знаменитой миргородской лужи, описанной Гоголем. Эта лужа замерзала лишь в морозы. Что же касается жары, то она была ей совершенно нипочем. Лужа не высыхала даже в самое засушливое лето, исполняя обязанности своеобразного рубежа в извозчицких тарифах. Когда нанимали извозчика на Бояры, он всегда спрашивал: до лужи или за лужу? «За лужу» стоило на пятак дороже.

Лужа играла не последнюю роль в нашей детской жизни. Когда извозчик, боязливо оглядывавшийся на глухие заборы, прилагал все усилия, чтобы вырваться со своей пролеткой, завязшей по ступицы колес, на противоположный берег, на заборах появлялись мы, мальчишки. С криками команчей, ставших на тропу войны, открывали мы бомбардировку. Камни летели в лужу, обдавая извозчика и седока каскадами грязи. Взбешенный седок шел жаловаться. Мать порола меня линейкой, которая и по сей день украшает мой письменный стол.

На отменях лужи всегда можно было найти что-нибудь интересное: продырявленную кастрюлю, заржавевшие консервные банки и даже (мечта жизни)дохлую кошку.

Кошку торжественно хоронили. Процессия мальчишек и девчонок провожала ее в последний, скорбный путь, стараясь двигаться подальше от окон, чтобы не попадаться на глаза взрослым. Увы, во все времена взрослые не в силах понять прелестей детских игр.

Со временем мы переехали с Бояр поближе к училищу. Новая квартира была рядом с городским садом, у реки Белой. Впрочем, Белой эту речку можно было назвать лишь из уважения к ее прошлому. От того, что спускали в нее кожаные заводы и многочисленные мануфактурные фабрики, вода была такой густой, что почти не текла.

Отца в городе знали, и был он «персоной грата». Выходя из дома, он останавливался и ждал, когда подъедет конка. И хотя от нашего дома до остановки было далеко, конка всегда останавливалась прямо у наших ворот. Кондуктор приветствовал отца. Обращаясь к нему по имени и отчеству, спрашивал, собирается ли он ехать в город.

— Да, поеду, — отвечал отец, — только жена сейчас подойдет!

Лошади махали хвостами. Отец вел светский разговор с кондуктором о погоде. Пассажиры терпеливо ждали.

Как в каждом маленьком городе, в Белостоке было принято часто ходить в гости и принимать гостей. Общественная жизнь текла вокруг семейного стола под керосиновой лампой с большим абажуром и висюльками из бисера. Угощение подавалось скромное, но не в нем была суть. Люди собирались, чтобы отдохнуть. Мать аккомпанировала на фисгармонии священнику, прекрасно испол-

нявшему украинские песни. Приходил к нам и сын одного из местных фабрикантов, обладатель архимодных жилетов и тоненьких, как иголки, усов. Закадычным другом отца стал местный пастор.

Плодовит этот пастор был, как кролик. Дом его кишел детьми, а жена, маленькая худенькая женщина, держала этот крольчатник в страхе божьем.

По субботам, как и в других домах Белостока, у пастора был банный день. Вся семья мылась в одной воде, по очереди. Сначала купали самых маленьких. Последним влезал сам пастор. Как высшее проявление дружеских чувств отцу предлагалось «покупаться» после всех. Честь была велика, но, разумеется, отец благодарил и отказывался.

Во время визитов гости обсуждали самые различные проблемы — от самых далеких до очень близких. И землетрясение в Мессине, и дела в Триполи, и, разумеется, свои белостокские события, которые всем собравшимся казались не менее значительными.

Уже давно замечено, что если для физиков и математиков бег времени точен и размерен, то для каждого из нас время течет по-разному. В молодости — медленнее, в старости — быстрее. В больших городах всегда стремительнее, чем в маленьких провинциальных местечках. При безделье куда тише, чем в напряженной работе...

Я вспомнил об этом потому, что неторопливость провинциального Белостока оделила меня детством человека XIX века (хотя, как уже говорилось, я родился почти через четыре года после того, как XX век вступил в свои права).

Одна из причин популярности моего отца среди жителей города — попытка расширить общественную жизнь и вывести ее из-под абажура керосиновой лампы.

Он стал инициатором, режиссером и душой любительских детских спектаклей. Исполнителями были ученики всех классов. За много месяцев до спектакля о нем уже говорил весь город. Мамаши вступали с ним в бой — каждая хлопотала для своего птенца роль позаметнее, повыигрышнее. Спектакль репетировали, рисовали декорации, шили костюмы...

Наконец наступал великий день. Местные дамы с утра трудились над изготовлением несметного числа бутербродов. И зрители, и юные актеры собирались в школе, в актовом зале. Собирались как можно раньше, боясь опоздать и, естественно, увеличивая сутолоку. Духовой оркестр из учеников увеселял публику громоподобными звуками вальса и других танцев. Распорядители с голубыми бантами на плече пытались обуздать шумную непокорную стихию.

Когда спектакль заканчивался, один из его участников читал со сцены поздравительный адрес и под гром аплодисментов вручал его отцу. Обычно адрес печатали золотыми буквами на меловой бумаге и вкладывали в роскошный бювар. На следующий день местная пресса, не щадя красок и превосходных степеней, описывала чудеса минувшего вечера. Отец был счастлив, счастлив выполнением своего общественного долга.

Разумеется, спектакли были наивными, больших актерских талантов от исполнителей не требовали. Главное достоинство их заключалось в том, что они занимали многих ребят. А какое удовольствие доставлял их родственникам сам процесс «узнавания» под самодельным гримом исполнителей!

В одном из таких спектаклей, где дело происходило в игрушечном магазине, участвовал и я. Исполнял роль трубочиста. На мне был прилегающий блестящий костюм из черного сатина, отцовский цилиндр, маленькая черная лестница, веревка с грузом и метелка. С этой ролью куклы я справился вполне, тем более что мои обязанности ограничивались лишь пребыванием на сцене, и не более.

Близость Белостока от границы порождала контрабанду. Все можно было не только достать, но даже и заказать. Отцу, например, контрабандисты доставляли определенный сорт сигар, которые он любил. Стоили эти сигары, естественно, гораздо дешевле, чем в табачной лавке. Отец любил рассказывать анекдот, распространенный в те годы в Белостоке, о заказах контрабандистам: любитель

собак просит привезти ему из-за границы две таксы. Долго торгуются. Контрабандист исчезает. Любитель такс предвкушает получение покупки — и вдруг в дверь всовывается голова контрабандиста:

— Простите, а что такое такса?

Отец любил путешествовать. Зимой тщательно разрабатывались планы летних поездок. Иногда это были и зарубежные вояжи. Два раза вместе с нами, детьми, и нянькой уезжали за границу. Временный паспорт для такой поездки оформлялся очень быстро и стоил всего лишь три рубля.

Попав в Германию, при виде первого шуцмана — полицейского в остроколючей каске, исполненного сознанием своей значительности, я спросил отца:

— Уж не кайзер ли это?

Из путешествия запомнилась мне смена караула в Берлине. Солдаты выбрасывали ноги чуть ли не на высоту плеча, показавшуюся мне в первый миг совершенно недостижимой для обычного человека. Обед проходил в кабачке, который я запомнил на всю жизнь, хотя с тех пор прошло уже более полувека. Только большое воображение могло придумать такой антураж для «семейного кабачка», как называлось заведение. Кабачок был оформлен под средневековье. Вместо стульев — бочонки. В углу — страшные и не во всем понятные орудия пыток: топор, плаха, дыба и еще что-то другое, от чего у меня на коже проступили мурашки и сразу же пропал аппетит.

Вернувшись домой, отец наделял сувенирами и рассказами о поездке всех друзей. Таких рассказов хватало на много вечеров... С большим юмором, с обилием подробностей отец вкусно рассказывал о заграничных приключениях.

Провинциально-неторопливая жизнь Белостока была далека от идиллической. В некоторых отношениях этот город имел мрачную славу: если уж начиналась полоса еврейских погромов, без Белостока не обходилось.

Антисемитизм всегда вызывал отвращение у моих родителей. Естественно, что гонения на евреев, опасности, которым они подвергались, вызывали у отца и матери сочувствие к преследуемым и желание защитить их от погромщиков.

Помню, как в 1906 году во время погрома через забор нашего сада перелез еврей, за которым гналась группа хулиганов. Напуганный до смерти, он умолял мою мать спасти его. Все обошлось благополучно. Мать спрятала его. И еще долгие годы этот человек приходил к нам в дом с благодарностью.

То же самое, только в больших масштабах, делал и мой отец. Он был инспектором коммерческого училища, а во время отсутствия директора заменял его. Училище — красивое, с колоннадой, здание екатерининской постройки — помещалось на одной из центральных улиц. Как-то рано утром прибегает сторож с тревожной вестью — погром!

Послав сторожа за извозчиком, отец стал облачаться в форму. Он надел сюртук с тремя орденами. Треугольную шляпу. Вооружился шпагой. Она была явно неполноценная и входила в форму лишь как дань традициям. Вместе с ножнами эта тонюсенькая шпага протыкалась через специальную дырку в левом кармане сюртука. К тому же моими стараниями она давно уже была сломана. Но поскольку отец не собирался вытаскивать ее из ножен, шпага имела вполне презентабельный вид. Для его целей это и было главным. «Оружие» словно ставило точку, превращая вполне штатского учителя в лицо сугубо официальное.

Улицы были пустынно. Опасаясь погромщиков, жители предпочитали отсиживаться по домам. Поминутно поторапливая извозчика, отец добрался до училища.

Начиная от вестибюля, все классы и широкие коридоры были забиты не только ребятишками всех классов, но и их родственниками чуть ли не до седьмого колена.

Плачущие женщины, библейские старики в ермолках, лапсердаках, с белыми, как лунь, пейсами, растерянные, перепуганные дети. Все это выглядело печально и тревожно.

Что делать? Ведь разнесут все на свете и массовое побоище неминуемо. Выход найден.

— Барышня, соедините меня, пожалуйста, с господином полицмейстером. Барышня соединила.

— Канцелярия полицмейстера слушает.

Отец встречался с полицмейстером на всяких вечерах и был с ним знаком. Конечно, и полицмейстер хорошо знал отца.

— Передайте, что звонил Кренкель. Тут в училище большое скопление учеников и их родственников. Убедительно прошу прислать официальную охрану, то ли полицейских, то ли солдат, чтобы не случилось беды.

Ответа не последовало. Кто-то поспеел в микрофон и положил трубку. Через несколько минут второй звонок. Снова сопение, и трубка опять положена. На третий звонок последовал ответ. Голос официального чиновника из официального учреждения Российской империи, четко произнося слова, сказал:

— Мы ваше жидовское училище сейчас на воздух поднимем!

Услыхав звук отбоя, повесил трубку и отец. Но что же делать дальше?

Совсем недалеко, в конце квартала, за солидной оградой находился спиртоводочный завод, или, как его обычно называли, — монополька. Еще рано утром там появилась команда солдат, ставших на его охрану. Такие ценные объекты нельзя было подвергать опасности разграбления.

К счастью, офицер, которого отец попросил о помощи, оказался честным, хорошим человеком. Без всяких околичностей он приказал двум солдатам стать у дверей училища и охранять его.

Во всю ширину улицы двигались погромщики. Впереди два степенных бородача несли царский портрет, увитый трехцветной лентой государственного флага. Нестройное пение «Боже, царя храни» перемешивалось с дикими криками, угрозами и матерной бранью. Звенели разбитые окна, но стоящие на посту солдаты произвели впечатление. Толпа прошла мимо. Потолквшись у монопольки, погромщики совсем исчезли. Дети, женщины и старики были спасены.

Погромы весьма нелестно для России освещались в зарубежной печати. Царское правительство вынуждено было провести следствие, хотя бы показное, для успокоения умов. В город прибыла «высокая» правительственная комиссия.

Как очевидец событий был вызван на заседание этой комиссии и мой отец. Огромный темный зал, блестящий паркет, стол, покрытый зеленым сукном. За столом — большой сановный чин в штанах с золотыми лампасами, в мундире, со множеством неизвестных обычных смертным орденов. Рядом — военные и благообразные штатские господа. Все это под сенью огромного, во весь рост, портрета государя императора.

Отец по простоте душевной рассказал все очень подробно. Сообщил о разговоре с канцелярией полицмейстера. Выразил свое возмущение. Упомянул фамилию офицера, поблагодарив его за спасение училища.

Неизвестно, чем кончилось это следствие для офицера, а отцу посоветовали «по состоянию здоровья» покинуть государственную службу.

ПО ТУ СТОРОНУ СЕМНАДЦАТОГО ГОДА

Дом в Орликовом переулке. Редисочные плантации в банках из-под копчущек. Мамина муфта. Посылки из Юрьева. Оазис ломовых извозчиков. Мелочная лавка. Волшебное парикмахерское царство. Великий немой. Мясники и интеллигенты. Игра в перышки. Пожар. Тетя Кюнель. Мой богатый дядя. Поход в баню. Аврал на пасху.

В 1910 году мы переехали из Белостока в Москву и поселились в Орликовом переулке, во втором или третьем доме направо, считая от Садовой.

В то время Орликов переулочек выглядел совершенно иначе. Там, где сейчас находится огромное здание Министерства сельского хозяйства, стояли маленькие

домишки. На углу мясная лавка, рядом трактир. Дома одноэтажные, невзрачные, как на окраинах провинциальных городов. Переулок, да и сама Садовая вымощены булыжником. Днем и ночью от бесконечных верениц ломовых подвод, едущих к вокзалам, стоял несмолкающий грохот...

Район никак нельзя было считать респектабельным. Выбор квартиры здесь, как и выбор домика на Боярах в Белостоке, определялся ее стоимостью. Как и в Белостоке, хозяйкой двухэтажного дома оказалась старая генеральша, которая жила тут же, внизу. Первый этаж кирпичный, ярко-розового цвета, второй — рубленый, из бревен, покрашенных в темно-зеленый цвет. Смелое, хотя и весьма неожиданное сочетание красок.

Мы разместились во втором этаже. Имелось подобие гостиной, затем малюсенькая столовая, оклеенные дешевенькими обоями, и такой же скромный кабинет отца, в котором стояла лампа с тяжелой медной ножкой и зеленым, прозрачного стекла, резервуаром для керосина. Из гостиной вверх в две мансардные комнаты вела крутая и очень узкая лестница. Налево — спальня родителей, направо помещались сестра и я. Комнатки были крошечными, а потолки настолько низкими, что их легко удавалось достать рукой. Двери дощатые, со щелями. Отопление голландское.

Вход в нашу квартиру шел через крутую деревянную лестницу, которая начиналась прямо со двора. Дверь закрывалась огромным железным крючком. В кухне висел колокольчик, от которого вниз к дверям тянулась проволока. Ни канализации, ни водопровода дом, разумеется, не имел. Водовоз на кляче ежедневно привозил воду. Ведро воды стоило полкопейки. Перед входом в квартиру, одновременно черным и парадным, стояла дубовая кадка с водой.

Однажды мать, вынося ведро с водой сверху, споткнулась и опрокинула его. Через многочисленные щели в полу вода хлынула на голову домовладелице. Последовал неприятный разговор и сугубая осторожность при мытье полов.

Первое время переезд в Москву приносил маме сплошные огорчения. Квартира, по сравнению с белостокской, убогая. Знакомых, с которыми можно отвести душу, нет. Все непривычно и неуютно. Но делать было нечего, и оставалось одно — привыкать, пускать корни на новом месте. Ревмя ревела и сестра, вспоминая своих подруг и уютный Белосток.

Моя сестра старше меня на пять с половиной лет. Она родилась 24 июня, а я 24 декабря. В пору нашего переезда в Москву ей исполнилось двенадцать лет, и родители сразу же определили ее в женское коммерческое училище на Новой Басманной. Ходила она в форменном темно-зеленом платье с черным передником и белым воротничком.

В этом же училище преподавал немецкий язык отец. Домой он приносил груды ученических тетрадей, стопками возвышавшихся на его письменном столе. Осторожно, чтобы не мешать, я подходил к отцу, тихонько садился сбоку и с уважением смотрел, как он черкает в тетрадях красным карандашом.

Лицо отца снизу мягко освещалось лампой. Он много курил и обычно сам набивал папиросы. Не отрываясь от тетрадей и не глядя на меня, спрашивал: — Ну что?

Я подходил поближе, и он меня ласкал. У него были рыжие, жесткие усы, которые так приятно щекотали и пахли табаком.

Отец на несколько минут прерывал работу, отвечал на мои вопросы, что-нибудь рассказывал или рисовал мне картинку, а затем снова принимался за свои бесконечные тетрадки...

Как во всякой приличной семье, командовала в доме мама. Все делалось с ее ведома, и последнее слово всегда оставалось за ней. Не могу сказать, что отца это угнетало. Обычно он соглашался со всеми замечаниями и предложениями мамы. Отец был добрым и ласковым человеком. Таким он и запомнился мне.

Дни папиных получек всегда были радостным событием для нас, детей. Мы смотрели во двор, где появлялась его фигура с кульками в руках. Мы знали: в этих кулках обязательно будут конфеты и другие вкусные вещи.

Зимой окна в гостиной и столовой замерзали и покрывались толстым слоем льда. На подоконник ставилась лампа, и лед постепенно стаявал. Приятным занятием было откалывать ногтем кусочки льда и гонять их по мокрому стеклу. В погоне за более толстыми кусочками я однажды пустил в ход столовый нож. Дело кончилось неприятностью — проткнул стекло, после чего ускорять таяние льда мне категорически запретили.

Зимой излюбленное занятие — цепляться сзади за сани, конечно, с оглядкой, чтобы, упаси боже, не увидела мама. Или обследовать каждый сугроб на улице. Домой появлялся мокрый, наполняя комнату густым запахом конского навоза.

Летом игры происходили в небольшом, но уютном старинном дворике, какие любят изображать художники. Двор зарос травой, лопухом и ромашкой. Посреди стоял старый, бездействующий колодец. Подходить к этому колодцу нам строго запрещалось, и потому он выглядел в наших глазах особенно таинственным и привлекательным.

Вместе с приятелем, золотушным, худым, длинным мальчиком, сыном нашего дворника, мы, каждый в меру своих талантов, выдумывали страшные истории и рассказывали их друг другу до тех пор, пока сами не начинали верить собственным выдумкам. В этих историях фигурировали сброшенные в наш колодец трупы, подземные ходы, клады.

И рассказывать и слушать такие истории было очень приятно, и я не заставлял себя ждать, когда мой приятель начинал гундосить под окном:

— Анис! Анис!

«Анис» в его транскрипции означало «Эрнст». Выговорить мое имя иначе он не мог. Буква «р» и недостаточное количество гласных были для моего компаньона по играм непреодолимой преградой.

Весной отец торжественно сажал редиску в две-три маленькие коробки от копчущек. Затем под карнизом, где всегда сидели голуби, собирали в бутылки помет, разбалтывали его с водой, и это шло на поливку редисочных плантаций. Сбор помета отец сопровождал просветительными рассказами о том, что в Америке есть места, где высятся целые скалы помета, только там это не помет, а гуано.

Не помню случая, чтобы редиска хотя бы в малой степени походила на настоящую. Наша редиска получалась длинной и не толще нормальной спички. Но это не смущало отца. Он приглашал гостей на званый вечер, предупреждая, что «гвоздем» его будет собственноручно выращенная редиска. Гости получали по две спички-редиски.

Водка в нашем доме как-то не водилась: отец предпочитал пиво, особенно Трехгорного завода. Оно продавалось в высоких бутылках с гранями, сужавшимися кверху.

Ели мы дома сытно, но без разносолов, — на них не хватало средств. Бюджет был довольно хлипкий. И хотя все расходы скрупулезно записывались, это не помогало.

Мать любила ходить по магазинам, даже ничего не покупая. Но иногда она нарушала твердое правило. Обычно это происходило в четверг. Четверг был волнующий день. Именно в этот день во всех мануфактурных магазинах продавались остатки шелков, бархата и прочей милой дамскому сердцу дребедени.

Совершив такую покупку, мать гордая возвращалась домой. Отец, несмотря на явное нарушение экономии, должен был выражать — и выражал — свои восторги по поводу поразительной дешевизны ее замечательных приобретений.

Большим событием, к которому вся семья долго готовилась, стала покупка муфты. Мать по несколько раз обошла все наиболее известные меховые магазины. Вечерами мы выслушивали ее обстоятельные доклады о ценах, фасонах и качестве всех имевшихся в Москве муфт. Деньги откладывались в продолжение половины зимы. Только и разговору было, что о муфте. Наконец наступил долгожданный день. В семье все притихло — мама ушла за муфтой.

Муфта была удачной подделкой под дорогой мех, как говорится, «недорогая, но миленькая». Мне разрешалось ее только слегка гладить. В плохую погоду муфта не выводилась. Даже мысль об этом казалась кощунственной. Если на муфту попадало несколько снежинок, вся семья волновалась.

Помню московскую конку. Как-то раз поехали с матерью в город. У Цветного бульвара была остановка — тут пристегивали дополнительных лошадей, чтобы одолеть горку по направлению к Сретенке.

Когда мне исполнилось семь лет, меня отдали в детский сад на Мясницкой улице. Первый раз в детский сад меня привела мама. Все мамы вошли в класс со своими детьми. Ребят усадили за парты, а мамаш попросили удалиться. Многие заревели. Был близок к слезам и я. Но вскоре все перезнакомились, и детский сад стал не таким страшным, как в первый день. Начиналась новая полоса жизни.

Зимой приходилось вставать рано. Было темно. В холодных комнатах горели керосиновые лампы. Умывание ледяной водой было неприятной процедурой и сводилось главным образом к смачиванию носа и ближайших к нему частей лица.

Мать тем временем готовила бутерброды, наливала нам с сестрой чай с молоком, отцу кофе. Проводив всех троих, она отправлялась по хозяйственным делам и закупкам.

Ко дню рождения кого-либо из нашей семьи и к другим праздникам всегда приходила посылка от теток из Юрьева. Особенно обильными и интересными были рождественские посылки. Каждый сверток аккуратно завернут в бумагу и перевязан ленточкой. На наклейке с именем получателя каллиграфическим почерком тети Гульды написаны всякие праздничные поздравления. К каждому пакету привязана маленькая елочная веточка.

В рождественской посылке обязательно имелся мороженный гусь, домашние пряники, орехи. Я получал коробки с оловянными солдатиками, отец носки — собственноручной вязки тетки Алисы...

На квартире в Орликовом переулке мы прожили два года и переехали в переулок Добрая Слободка, дом № 24 (теперь этот переулок называется улица Чапыгина).

Как и Орликов переулок, Добрая Слободка не могла претендовать на фешенебельность и аристократизм. На углу переулка и Садовой-Черногрозской стояла монополюшка — магнит для ломовых извозчиков, ездивших по булыжной Садовой. Ломовики останавливались, привязывали лошадей, зная, что тут всегда найдется и выпить и закусить. Торговки продавали из ведер огурцы, селедку и капусту. Тут же у лоточников можно было купить за три копейки два горячих пирожка. Пироги, чтобы не остывали, закрывались подобием попоны тошнотворного вида, и никого не смущало, что лицо лоточника порою могло служить иллюстрацией учебника по венерическим болезням.

В винной лавке обращал на себя внимание каменный изразцовый пол и железная решетка с очень маленьким окошечком, за которой, как зверь в клетке, сидел продавец. Касса, вернее ящик с деньгами, тоже помещалась за решеткой, предусмотрительно отдаленная от окошечка.

На полках загадочно поблескивали сотни «мерзавчиков». И всего-то цена шесть копеек. Пять копеек — содержимое, копейка — посуда.

Весь низ дома покрывала рябь красных отметок. Происхождение их было вполне определенное: бутылку горлышком прижимали к стене и лихим движением освобождали от сургуча, оставляя красный след на стене. Затем — удар рукой по донышку, и живительная влага тут же на улице лилась в горло.

У ломовиков за пазухой всегда было несколько пустых «мерзавчиков» от предыдущих остановок около монополек. Эти пустые бутылки ходили на уровне свободно конвертируемой валюты и принимались в уплату всеми торговками. На нашу мальчишечью долю от этих возлияний оставались пробки, которые мы собирали в водосточной канаве. Пробки в наших играх тоже были валютой.

Мы жили в третьем доме от угла, рядом с мелочной лавкой, неотъемлемым атрибутом каждого переулочка старой Москвы. В этой лавочке продавалось все, начиная от керосина и кончая марками и почтовой бумагой. Конечно, все было низкого качества и не первой свежести, но если приходили неожиданные гости, то кухарка бежала туда за черствыми французскими булками и копченой колбасой, поседевшей от старости.

Иногда отец и мать давали мне одну или две копейки. Приходилось думать, как истратить такую сумму денег с наибольшим вкусовым эффектом. За копейку можно было купить стакан подсолнухов или две ириски. Можно было купить два черствых мятных пряника или две конфеты. Летом деньги, конечно, тратились на мороженое. На копейку давали один шарик. Бумажка от мороженого не только облизывалась, но тщательно еще жевалась.

Лавчонка была маленькая, темная. Ароматы разнообразной снеди забивались оглушающим запахом керосина. Красовались всякого рода рекламы кондитеров и табачных фабрикантов, знаменитые гильзы «катык» с головой то ли бедуина, то ли эфиопа на коробке.

Лавочник всегда настораживался, когда мы гурьбой в пять человек являлись для закупки семечек на одну копейку. Но коммерция имеет свои законы, и нас обслуживали так же, как и любого другого покупателя.

За углом, за монопошкой, размещалась парикмахерская: бритве десять копеек, стрижка пятнадцать. Туда я ходил всегда с отцом. Тут было сплошное благолепие. В витрине загадочно улыбались восковые господа с чудными усами и проборами. Сразу после того, как замирал звякнувший на входных дверях колокольчик, тебя охватывал теплый, душистый воздух. От шипения газовых горелок, блеска зеркал и позвякивания в полном безмолвии ножниц начинало клонить ко сну.

Мастера в белых накрахмаленных халатах казались неземными существами: так они были изящны, ловки и красивы. Как-то даже неудобно было их, таких чудесных и возвышенных людей, утруждать стрижкой своей лохматой головы. Если даже сильно щипало, все равно терпел молча.

В 1911—1912 годах, вплоть до революции, на Земляном валу действовал рынок. Площадь его ограничивалась с двух сторон двумя огромными домами. В одном из них — напротив Гороховской улицы — помещалось городское училище. В другом — напротив Доброй Слободки — второразрядная гостиница «Фантазия».

Кухня гостиницы была в подвале. Окна ее закрывались железными сетками. Днем и ночью гудели мощные вытяжные вентиляторы. В холодные зимние дни здесь толпились нищие и оборванцы: и тепло и пахнет вкусно. Этот гудящий дом казался мне большим военным кораблем во время боя.

По узким проездам мимо домов протискивались трамваи и обозы. Часто возникали заторы, сопровождавшиеся шумными спорами: ломовики пускали в ход мат, вагоновожатые отвечали трамвайными звонками.

В самом начале Покровки, во втором доме налево, помещался писчебумажный магазин «Одесса». Глаза разбегались от множества интересных вещей. В магазине густо пахло клеем и ремнями от ранцев. Продавались листы с вырезными игрушками, переводные картинки, перышки всех сортов и видов, тетради, ранцы, карандаши, пластилин для лепки, разноцветная бумага.

Напротив «Одессы», во втором этаже углового дома, выходившего на Покровку и на Садовую-Черногрязскую, я познакомился с Великим немым. Там располагался небольшой кинотеатр. После революции его называли «Спартак», а в ту далекую пору он носил имя другого римлянина — императора Нерона, известного в истории негодяя. Большим достоинством маленького кинотеатра было то, что цены на первые ряды были весьма доступны.

Первые ряды — длинные деревянные скамейки — хозяин кинотеатра «Нерон» обил кровельным железом. Это было сделано, чтобы мальчишки, занимавшие самые дешевые передние места, не ковыряли сиденья перочинными ножами.

Помню, что уже в 1910 году я видел в «Нероне» цветные фильмы. Запомнился зеленый пруд, затянутый тиной, зеленый до ядовитости. На берегу пруда девица в розовой кофточке ломала руки. У нее в недалеком прошлом явно произошли какие-то неприятности, от которых она торопилась уйти, нырнув в этот зеленый пруд. Давно забыл причину неприятностей, одолевших бедную девицу, но отлично помню другое. В зависимости от переживаний ее розовая кофточка то тускнела, то разгоралась ярким красным цветом. Объясняется все очень просто — тогда каждый кадрик раскрашивался вручную.

Прошло несколько лет. Фильмы изменились, но они по-прежнему еще не были явлениями настоящего искусства. Помню, как поразил мое воображение фильм «Тройка червей». В нем было много автомобилей и еще больше выстрелов. С одного автомобиля стреляли по шинам другого, а попали в бак, располагавшийся между передними и задними колесами. Страшнейший взрыв! Кадры крупно снятых колес, летевших по воздуху, и сейчас у меня перед глазами...

В те времена на экране фигурировали Макс Линдер, Поксон и Глупышкин. Глупышкин карабкался на дома, срывался с карнизов, попадал под трамвай, опрокидывал торговцев на базаре. Чем больше было битья посуды и окон, тем восторженнее принимали кинофильм зрители.

Существовала серия отечественных кинодрам. Она так и называлась «Русская золотая серия». Главные исполнители — Мозжухин и Лисенко. Обязательными в этих лентах были рысаки, цыганский хор, яхты и вечерние туалеты. Непременно хотя бы одно убийство, а на худой конец самоубийство — из ревности или просто так, по глупости.

Картины этой серии носили названия «Молчи, грусть, молчи», «Пара гнедых», «У камина» и т. д.

В кинематографе я всегда старался остаться на второй сеанс, пытаюсь обмануть бдительную билетершу, но иногда в дверях появлялся отец и уводил меня домой.

Наш дом был деревянным, плохоньким. Во дворе, во флигелях, жили разносчики яблок, портнихи и мелкие чиновники. Не переводились и коечные жильцы, которые за три—пять рублей в месяц ютились в комнатах за ситцевыми занавесками.

При въезде в ворота нашего дома, чтобы они не пострадали от телег, были врыты две здоровенные каменные тумбы. Такие тумбы стояли тогда у ворот по всей Москве. Они служили желанным местом для лиц, расположенных к общественной жизни и к созерцательности. Ворота походили на крепостные. Все железные части добротные, кованые, рассчитанные на века.

Наша квартира размещалась во втором этаже. Под нами жила семья мясников. Лавка их была недалеко, за углом.

Строгий старик в купеческом кафтане, с волосами, стриженными «под горшок», и в картузе держал в повиновении всю семью. Жена его, забитая старуха, одевалась в ситцевые платья старого русского покроя, голову покрывала повойником и славилась своей стряпней. Два великовозрастных сына гнушались ремеслом отца, но не гнушались его деньгами. Один из этих раскормленных лоботрясов на левой руке всегда носил черную перчатку: однажды, приучаясь к ремеслу, он отрубил себе пальцы.

Мясники презрительно относились к нашей семье. Это было естественным проявлением чувств купца к захиревшей интеллигенции.

В первом этаже — пост, иконы, водка и пироги. Во втором — стопки учебных тетрадей, энциклопедия, скудные обеды и изобилие музыки. Запахи пирогов и кулебяк часто волновали семью бедного учителя.

Квартира состояла из четырех комнат, темной передней, темного коридора и полутемной кухни. Отопление голландское, вода имелась, но электрического света не было. Над обеденным столом висело сооружение из меди с большим стеклянным абажуром. Теоретически лампу можно было опускать и поднимать

благодаря противовесу с охотничьей дробью, но всегда наверху что-то заедало, и поэтому трогать ее не рекомендовалось.

Большим событием явилась замена керосиновой горелки на керосинокалильную. Надевался колпачок из тончайшей сеточки, лампа разжигалась несколькими каплями денатурата — и вся семья восторгалась ярким мертвенно-белым светом.

На кухне стояла русская печь, топили ее редко, в основном накануне больших праздников. Тогда здесь пахло кардамоном, гвоздикой, шафраном. Меня и сестру в такие дни отсюда было невозможно прогнать. Мы деятельно помогали матери. В награду нам отдавали на вылизывание миски из-под гоголь-моголя или сладкого теста. С детства и до сего времени я очень люблю есть сырое тесто.

Кухонька была маленькая. Окно выходило на черную лестницу, со стенами, обитыми железом. Кухарка спала в маленьком куточке за печкой, за ситцевой занавеской. Кухарки иногда менялись. Запомнилась мне одна — сухонькая, маленькая старушка Дарья. Она носила повойник, соблюдала все посты. Во время поста угощала меня какой-то особенной, очень вкусной кисло-сладкой похлебкой, состоящей в основном из дрожжей. Дарья умела рассказывать страшные сказки.

Хорошо было сидеть за кухонным столом, покрытым клеенкой, и слушать эти незатейливые сказки. От маленькой лампы, висевшей на стене, пахло немножко керосином, от печки — дровами. По печке изредка пробегали тараканы и, шевеля усами, исчезали в своих щелях. Когда рассказ становился очень уж жутким, я боялся поднять глаза и взглянуть на темное окно — вдруг там появится какая-нибудь ужасная рожа. После таких рассказов страшно было идти через темную переднюю в жилые комнаты.

Накануне великого поста в Москве бывал так называемый постный базар. Это происходило у Устьинского моста. В палатках торговали мороженой рыбой, всеми видами баранок, бубликов и сушек, клюквой, сушеными и солеными грибами.

Дарья всегда делала запасы на время поста, и я лакоился у нее всем этим.

Зимой ходил гулять с матерью по бульвару Чистых Прудов. Там для детей устраивалась ледяная высокая горка, но у меня санок не было. Я ревел белугой и требовал санки. Реветь и ждать пришлось долго.

Летом играли в бабки, лапту и перышки. Современным детям, оснащенным новейшей техникой в виде самопишущих и шариковых ручек, неведом тот пестрый и разнообразный мир ученических перышек, который так памятен людям моего поколения. Перышки выпускались десятками типов, с двухзначными и трехзначными номерами — от мягких или тоненьких до широких лопаточек рондо, позволявших писать с немыслимой сегодня витиеватостью. Не знают современные дети и азарта игр, связанных с перышками, игр, в которые можно было играть не только на переменах, но и на уроках, с соседом по парте, замаскировавшись спиной впереди сидящего. Вооружившись перышком, надо было одним движением перевернуть перышко другого игрока «на спину» — и оно тотчас же переходило в твою собственность. Карманы были всегда полны перьями всех фасонов и видов.

Много хлопот выпало моим близким, когда я заболел не то скарлатиной, не то дифтеритом. Сестра этой болезнью не болела. После семейного совета ей вместе с отцом пришлось переселиться в паршивенькие мебелирашки «Волга». Сестра ревмя редела — моя болезнь совпала с рождественскими школьными канникулами. Срывались и гости, и подруги, и елка.

За мной ухаживала мама. Когда мама и кухарка уходили из дома, я, раздетый, босиком шел в комнату, где стояла елка, чтобы рассмотреть елочные украшения и подарки, присланные тетками из Юрьева.

Ясно, что вставать и бродить по комнатам мне строго запрещалось. С трудом, опираясь о стены, шатаясь от слабости, я добирался обратно до кровати. Приходила мама, и у меня хватало хитрости просить ее подробно рассказать о подарках, которых я якобы не видал.

Когда я выздоровел, приехали какие-то страшные дяденьки в белых хала-

тах с особым ведром. Они заклеили окна и двери бумажными полосками и что-то жгли в этом ведре. Во всей квартире долго стоял противный резкий запах.

Зимой по воскресеньям отправлялись в Сокольники кататься на лыжах. Готовили и упаковывали бутерброды. Тепло одетые, мы на шестом номере трамвая подкатывали прямо к Сокольническому кругу.

Под залог верхней одежды получали лыжи и отправлялись в глубь Сокольников — к Богородску, к лабиринту, к Чертову мосту.

Вдоволь набегавшись на лыжах и съев промерзшие бутерброды, от которых в зубах ломило, мы в сумерки возвращались домой. Нас уже ждали с обедом. Несмотря на усталость, после обеда громоздились на трамвай № 31 и ехали на Арбатскую площадь в кинотеатр «Художественный». В нем фильмы шли первым экраном.

Отец был очень веселым человеком, любил пошутить и частенько подтрунивал над нами. Однажды, я уж и не помню, что он сказал, но шутка мне не понравилась, и я замахнулся на отца...

Ай, что тут было! Отец меня ни разу в жизни не порол, это было делом моей мамы. С особенным рвением принялась она тут же за экзекуцию. Я, вероятно, орал так, что слышно было на улице. Напрасно было цепляться ногами за стулья, столы и косяки дверей. Меня нещадно выпороли. Родительская власть утверждала себя на моих ягодицах.

Потом я униженно просил прощения и, всхлипывая, должен был еще выслушать страшное нравоучение о том, что у тех, кто поднимал руку на родителей, после смерти из могилы вырастает рука. И не поймешь, что неприятней — порка или такие мрачные перспективы.

Мать давала уроки немецкого языка в богатых домах. Я часто провожал ее до трамвайной остановки на углу Покровки и Садовой и вместе с ней дожидался трамвая. Наступала минута горькой разлуки. Мать уже на площадке, смотрит на меня и ласково прощается, а я плачу:

— Мама, мне скучно без тебя, не уезжай!

Мама, конечно, огорчалась, а я, захлебываясь слезами, пытался догнать трамвай. Наконец, видя тщетность этой попытки, я останавливался и уныло брел домой. Да, плохо, когда уезжает мама...

Однажды, услышав разговор родителей о трудностях жизни и искренно желая помочь им, я предложил: буду рисовать картинки и продавать их на углу. Для осуществления этого плана мне выдали гривенник на акварельные краски и кисточки. Была перепорчена вся бумага в доме, но повысить уровень нашего благосостояния не удалось.

Еще в Белостоке мать брала уроки пения и даже выступала на благотворительных вечерах. В столовой стояло пианино и маленькая фисгармония. Мать часто пела украинские песни и, конечно, все модные романсы и песенки: вальс «Осенний сон», «Осенние скрипки». Новинкой 1912 года было и аргентинское танго. Его везде играли, пели, напевали и насвистывали. Появился даже модный цвет танго. Блузки — танго, чулки — танго, конфеты — танго, не изобрели разве что только котлет танго.

У отца была сослуживица по женскому коммерческому училищу — Ольга Федоровна Кюнель. Ольга Федоровна, или «тетя Кюнель», как мы ее звали, была у нас частой гостьей. Мы ее любили: она была веселой и всегда приносила что-нибудь вкусное: конфеты, пирожное, торт или фрукты.

В те времена мода была на полных женщин. В оценке качеств невест тех времен не последнюю роль играл их чистый вес. С этой точки зрения тетя Кюнель была сверхмодной женщиной. Она поражала всех своими мощными формами и походила на настоящую валькирию.

В журналах в угоду моде печаталось много реклам различных средств для развития бюста. Некоторые объявления были украшены соответствующими иллюстрациями — «до и после употребления». «До» — худая, как щепка, несчастная на вид женщина. «После» — необъятный бюст и довольная физиономия с кокет-

ливым взглядом: дескать, знай наших. Так вот бюст тети Кюнель был явно как «после употребления».

Приходя к нам, тетя Кюнель нежно прижимала мою голову к бюсту. Я задышался и чувствовал себя так, словно с головой окунулся в квашню с тестом. Но принесенные конфеты примиряли и с этим неприятным обстоятельством.

Второй нашей постоянной гостьей была Сашетт. Так все ее и звали — просто Сашетт. Она тоже была учительницей. В отличие от тети Кюнель — маленького росточка и сухонькая. Годы шли, а Сашетт неизменно сохраняла вид вечной старой девы. Всегда веселая, она очень следила за своей внешностью и нарядами.

Сашетт обычно приезжала на извозчике. Зимой на санках. Иногда и нас, детей, она катала по вечерней зимней Москве на санках. Было много снега, в переулках горели керосиновые фонари, а на главных улицах шипели и мигали электрические фонари с угольными электродами. Возвращались, топя по деревянной скрипящей лестнице, в нашу маленькую уютную столовую с модными тюлевыми занавесками, гарнитуром резной столовой мебели из светлого ореха, с шипящей керосинокалильной лампой.

Обстановка столовой была подарена друзьями отца в день его свадьбы. Она путешествовала с моими родителями из Юрьева в Баку, из Баку в Белосток, из Белостока в Москву и просуществовала до 1924 года. В 1924 году, когда наша семья стала распадаться (отец умер, сестра уехала, я отправился на свою первую зимовку в Арктику) и матери пришлось из отдельной квартиры перебраться в одну комнату, все, за исключением часов с боем, подаренных с пожеланием, чтобы они отбивали только счастливые времена, было продано.

Но все это произошло через много лет, а до этого под нашей лампой с бюрзовыми висюльками было проведено много счастливых минут.

Большим событием стала покупка письменного стола для отца. Родители долго ходили, выискивали и приценились. Наконец стол куплен, привезен и водворен на место. Дешевый, то, что сейчас называется «ширпотреб», но обтянутый полагающимся в таких случаях зеленым сукном, он выглядел вполне представительно. Так как вместе с родителями мы прочувствовали все разговоры, сомнения и соображения, предшествовавшие его покупке, стол вызывал у нас глубокое почтение. Опасение, как бы не задеть его во время детских игр, не оставляло нас ни на минуту.

Вскоре верхняя доска рассохлась, и сукно лопнуло. Священный страх перед столом стал уменьшаться. Затем кухарка опрокинула чернильницу. Скандал по этому поводу продолжался несколько дней, но ореол стола померк. Трещина и пятно сделали свое дело, мы стали с ним запанибрата, опять можно было спокойно двигаться и дышать. Мне запомнилась эта история — свидетельство того, сколь тягостно соприкосновение с безупречным.

В угловой комнате жил один из семи братьев моей матери, дядя Гуго. Дядя жил на полном пансионе и, видимо, щедро платил, так как его пожелания были для всех, и в первую очередь для кухарки, законом.

Дядя Гуго был закоренелым холостяком. Жгучий брюнет, с бледным цветом лица, он не возбуждал детских симпатий; да и не умел с нами ладить.

Работа в качестве главного бухгалтера фирмы Феттер и Гингель в Варсонофьевском переулке, торговавшей всякими металлическими изделиями, хорошо оплачивалась и позволяла ему жить вполне безбедно.

В комнате у него было интересно. Там всегда имелись образцы всех товаров его фирмы: столярный и плотничий инструмент, ножи, вилки, ложки, всякого рода замки, ружья, револьверы, металлическая посуда, сервизы из польского серебра, бритвы и т. д. Некоторые из этих вещей сохранились у меня до сих пор.

Особое внимание мой богатый родственник уделял своей одежде и внешности. Темные и светлые костюмы, сшитые по последней моде, в идеальном порядке висели в шкафу на специальных патентованных вешалках. Десятки галстуков, красивых шелковых платочков для грудного кармашка, обувь всех цветов и фасонов — все это было в мужском арсенале дяди.

Волосы он причесывал на косо́й пробор и так обильно мазал бриолином, что голова блестела, как черный монолитный шар. На том месте, где он обычно сидел за столом, от дядино́го затылка на темно-бордовых обоях образовалась жирное пятно. Когда наш дом пошел на слом, я прибежал смотреть на его разборку и видел это пятно на обоях.

В качестве головного убора, как все денди своего времени, дядя Гуго признавал только котелок. Когда в темной передней никого не было, я украдкой брал дядин котелок, гладил его и заглядывал внутрь. Внутренний ободок котелка (самого лучшего и обязательно заграничной марки) был из нежнейшей светло-желтой кожи, обивка (назвать ее будничным словом «подкладка» язык не поворачивается) — из искрящегося, белого, как фирновый снег, шелка. В центре донышка — фабричные марки: короны, британские львы, какие-то сказочно-заманчивые гербы. Обязательно надо было понюхать: хороший бриолин и хороший одекolon давали приятный букет. Во время своих изысканий я всегда был на чеку, чтобы не быть пойманным врасплох. Услышав шаги, клал котелок обратно и встречал вошедшего с невинным видом.

Дядя пил коньяки только заграничных марок, душился только заграничными духами, носил лайковые и замшевые перчатки по последнему воплю моды и вообще казался нам неземным существом. В наших глазах он был просто набобом. Но этот набоб болел туберкулезом и закончил свое земное существование в 1915 году в полном одиночестве, среди чужих людей, в легочном санатории в Финляндии.

Большим событием было субботнее посещение бани. Баня была недалеко, за три дома от нас. Она и сейчас еще существует.

Вместе с отцом шли в первый разряд. Сразу же, начиная с вешалки, нас встречала оранжерейная атмосфера. Пахло сырыми простынями, паром, мылом и вениками. Коврики и дорожки скрадывали все звуки. На диванах сидели пышущие жаром, распаренные посетители.

Втянутая нога лежала на табуретке, свеча в медном подсвечнике освещала ногу, и старичок в ситцевой длинной рубашке, как жрец, священнодействуя, бритвой старательно скреб мозоль.

Когда открывалась железная, плачущая потом дверь в баню, слышался адский грохот шаек, нечленораздельные выкрики и плеск воды. Покупалось казанское мыло — желтый прямоугольник был охвачен деревянной рамкой — и кокосовая круглая, как блин, мочалка. Эти блины у продавца были нанизаны на палку.

Торжественно отмечали в доме различные праздники. В дни рождений мать извлекала старинный семейный рецепт, написанный выцветшими чернилами на полуистлевшей бумаге, и пекла традиционный крендель. Вокруг кренделя — маленькие свечи, число которых соответствовало исполнившимся годам, посередине большая свеча — предстоящий год.

И все же манипуляции, сопутствовавшие дню рождения, меркли по сравнению с тем, что происходило в нашем доме на пасху. Вот уж был воистину большой аврал. И хотя никто не подавал команды «свитьать всех наверх», вся семья собиралась в кухне, напоминая в эти дни встревоженный муравейник. Трудились не покладая рук.

В кипятке отмачивалась шкурка сладкого миндаля. Сестра не знала, как приступить к очистке: ведь кипяток горячий, пальцами в него не влезешь.

— Дочка, а вот смотри, в северо-западной части Патагонии существует такой способ доставания отмоченного миндаля из кипятка... — И, взяв чайную ложку, отец доставал миндаль.

Всем семейством до одури протирали творог сквозь сито, на терке обдирались цедра лимона, толкли в ступке корицу, мускатный орех. Пахло праздником, все были заняты. У матери от жары на кухне лицо приобретало цвет спелого помидора.

Красить яйца было делом детей. Для лучшего блеска уже покрашенные яйца смазывались шкваркой от грудинки. Часть яиц обкладывалась луковичной шелухой и на ночь заматывалась в тряпочки с крепким уксусом.

Кухарка получала пасху, кулич и яйца отдельно. Свои яства она носила в церковь святить.

В первый день пасхи на дворе все мальчишки были чистенько одеты. Дворник ослеплял своей красной рубашкой с надетым поверх черным жилетом.

Хотя православная и лютеранская пасхи не совпадали и вообще мы слыли за нехристей, но тем не менее появлялись и с черного и с парадного хода вереницы поздравителей: дворник, городовые, почтальоны, трубочист и вообще множество каких-то лиц, которых никто никогда не видел.

Господа (отец и мать) с любезными улыбками принимали поздравления по случаю воскресения Христа. Кучка полтинников и двугривенных, специально приготовленных по случаю такого радостного события, таяла. С часу дня уже начиналось время приема гостей.

Когда праздники проходили, родители с облегчением переводили дыхание.

В ГИМНАЗИИ ДЛЯ БОГАЧЕЙ

Шинель или не шинель? Рысаки и керосиновый бидон. Мои соученики — Соня Гаррель, Анатолий Горюнов, Борис Ливанов. «Царь Эдип» и «Красная Шапочка». За музыкантским столиком в богатом доме. История солдатских ботинок. Мои друзья—книги. Коллекция дореволюционного школьника. Бегство от пристава. Упаковщик посылок и расклейщик афиш.

Родители хотели дать мне хорошее образование, а для этого надо было прежде всего окончить гимназию. Почему-то считалось, что в казенных гимназиях преподают хуже, чем в частных, и меня определили в реформатскую гимназию при швейцарской церкви. Плата там, как и в большинстве частных учебных заведений, была значительно выше, чем в казенных. Вероятно, поэтому они и считались лучшими.

Отдавая меня в реформатскую гимназию, родители руководствовались самыми лучшими намерениями и, конечно, желали мне добра. Им и в голову не приходило, какое множество детских огорчений и неприятных переживаний доставило мне пребывание в этой «лучшей» гимназии.

Теперь, вспоминая свое детство, я понимаю, что неприятности имели классовую подоплеку. Это, быть может, звучит несколько громко, но было именно так, хотя тогда этого не понимали ни отец, ни я. Боюсь, что сведения моего отца о классах ограничивались восемью классами школы, где он преподавал, а также первым, вторым и третьим классами на железной дороге. О всех прочих классах, существовавших в человеческом обществе, отец пребывал в блаженном неведении.

В частных гимназиях форма не была обязательной. Но зачем же тогда становиться гимназистом, если не носить шинели?

К счастью, родители поняли жизненную важность этого вопроса. И наступил наконец тот долгожданный день, когда мы с матерью пошли в магазин готового платья.

Увы! Покупка шинели принесла мне лишь разочарование. Шинель и не шинель...

Из практических соображений была куплена не шинель, а похожая на нее зимняя шуба на вате. А соображения эти были крайне просты — мать купила шубу, потому что она стоила на несколько рублей дешевле, так как была сшита из какой-то мягкой темно-серой материи, совсем не похожей на серое со стальным оттенком, жесткое гимназическое сукно. Я попытался было что-то лепетать, но спорить с матерью было делом безнадежным.

Так восторжествовало известное положение о базисе и надстройке. В нашей семье был неважный базис, отсюда неважной получилась и «надстройка» — мышиного цвета, да еще с какими-то пупырышками. Но шинель была не единственным огорчением.

...Уже была пора идти в школу, но кончился керосин, и я, схватив привычный двадцатифунтовый бидон, обернутый старыми газетами, на рысях помчался в ближайшую лавочку.

На этот раз меня ждал страшный удар. Он настиг меня не из-за угла, а посреди дороги. Навстречу мне на чудном рысаке, со здоровущим кучером на облучке, укрытые медвежьей полостью, промчались в школу мои одноклассники — братья Рабенец, сыновья мануфактурного фабриканта. Они жили в собственном особняке в конце переулка.

Свет померк! Все кончилось! Они меня заметили, и теперь весь класс будет обсуждать злободневную тему: а Кренкель керосин носит. По нравам нашей гимназии это было занятием совершенно неприличным.

С керосиновым бидоном в руках, обливаясь слезами, я рассказал матери о случившемся, но особого сочувствия не встретил и после безрезультатных заявлений, что не пойду в школу, не хочу в школу, все же в зарезанном виде был туда отправлен.

В нашей гимназии было совместное обучение, что в царское время случилось не часто. Находилась гимназия на Маросейке между Армянским и Деятинским переулками, потом переехала в Трехсвятский переулок (сегодня — Большой Вузовский).

Учились в ней преимущественно дети состоятельных родителей — коммерсантов, чиновников, адвокатов, представителей разных фирм. Сын школьного врача Густав Тюрк, сын еще одного учителя и я представляли собой наименее имущую часть класса. Разумеется, отношения с одноклассниками мерялись не только имущественным положением. Далекое не все были детьми миллионеров, не все приезжали в гимназию на рысаках. Среди моих школьных товарищей были славные ребята, а некоторые стали впоследствии людьми известными.

Не так давно, посетив свою бывшую одноклассницу Сою Гаррель, артистку Московского Художественного театра, я вспомнил с ней товарищей нашей юности. Соня — не единственная служительница искусства, вышедшая из стен нашей гимназии. Вот, например, братья Бендель. Младший — наш одноклассник, второй был на класс старше. Именно этот второй и стал впоследствии народным артистом РСФСР А. И. Горюновым, игравшим в Театре имени Вахтангова, а также раскрывшим свое блестящее комедийное дарование в фильмах «Праздник святого Йоргена», «Три товарища», «Вратарь» и других.

К сожалению, я плохо помню Анатолия Горюнова в гимназические годы. И это, вероятно, естественно. Он, как и народный артист СССР Борис Ливанов, был на класс старше, а старшеклассники для нас, как, впрочем, для школьников всех поколений, выглядели уже совсем другими людьми, чьи тумачи по школьной иерархической лестнице мы аккуратно передавали своим младшим товарищам. Но если с Горюновым после школы встретиться не довелось, то Борис Ливанов несколько раз бывал у меня, доставив огромное наслаждение своими рассказами, на которые этот потрясающе интересный человек великий мастер.

Не помню точно, был ли в нашей гимназии драматический кружок, который позволял моим одаренным товарищам как-то развернуть свои актерские способности. Но полагаю, что такой кружок был, так как с интересом гимназистов к театру, которого, сознаюсь, я не проявлял, связано еще одно воспоминание. Дело в том, что отец мой в поисках заработка перерабатывал на школьный лад разные произведения — от «Царя Эдипа» до «Красной Шапочки». Хорошо помню, как время от времени директор приказывал мне:

— Скажи-ка отцу, чтобы он завтра прислал с тобой «Красную Шапочку»!

На следующий день, кроме тяжелого ранца, я пер в школу перекинутые

через плечо связки этой проклятой «Красной Шапочки». Впрочем, если это способствовало первым шагам к сцене моих товарищей, ставших знаменитыми актерами, то я больше не жалею об этом.

К началу моей учебы в гимназии относится и история, которую я сейчас расскажу. Она произошла в 1913 году. Мне было тогда девять лет.

В погожий день, рано утром, моя мать почему-то обратила особое внимание на мое утреннее умывание. Были осмотрены и уши, и шея, и ногти. В дальнейшем все прояснилось — мы идем встречать царя! Это, конечно, здорово интересно. По такому случаю можно было и помыться, тем более — кто его знает? — может быть, царь заинтересуется моими ушами и шеей.

И вот мы стоим с матерью на тротуаре на Тверской улице напротив Английского клуба (ныне Музей революции). Царь прибывал на Белорусский вокзал и должен был проследовать по Тверской в Кремль на празднование трехсотлетия дома Романовых.

Публики было не очень много. Стояли вдоль тротуаров. Важные приставы в парадной форме, в белых перчатках, поглядывая на верхние этажи домов, покрикивали: «Закройте окна». Первый ряд — цепочка дворников в белоснежных фартуках и с надраенными до блеска медными бляхами. Огромные городовые, все усатые (где только их всех набрали?), с огромными револьверами на боку, олицетворяли власть предрежущую.

А вот и кортеж. На дутике (так назывались пролетки на дутых колесах, кстати, это были самые дорогие извозчики) ехал генерал-губернатор. Отличный рысак, лакированная на совесть коляска, на козлах бородатый кучер с иконописным лицом в кучерской шляпе с павлиньими перьями, перевязанный по сипу кафтану ярко-красным кушаком.

Двигались медленно. Раздавалось громкое цоканье копыт по булыжнику Тверской улицы. Губернатор ехал стоя, держа руку все время под козырек.левой рукой он держался за кушак кучера, а лицо все время было обращено к царю.

Царь ехал в просторной открытой шестиместной карете. Он был в форме полковника и сидя, поворачиваясь то налево, то направо, козырял. Рядом сидела царица, вся в белом, в огромной белой же шляпе со страусовыми перьями. Все кричали «ура», и я кричал.

Шестерка белых лошадей, украшенных султанами, вместе с царем исчезла в направлении Кремля. Вечером на Театральной площади была иллюминация. На фронтоне «Метрополя» электрическими лампочками была выведена надпись: «Боже, царя храни».

Как известно, это пожелание не было выполнено.

Много, много лет спустя я посетил купеческий особняк в нынешнем Свердловске — последнее обиталище последнего царя. Самое сильное впечатление произвела на меня узенькая зеленая полоска — хлебная карточка самой плохой категории. В графе «занятие» было написано: «Бывший император».

Одна из первых социальных неприятностей, на которые гимназия как-то не скупилась, связана с Робкой Карнацем, сыном владельца карандашной фабрики, носящей ныне имя Сакко и Ванцетти. Однажды на рождество Робка пригласил в гости одноклассников вместе с классной дамой. Ничего хорошего для меня из этого приглашения не получилось.

Собрались мы в особняке с островерхой крышей, рядом с фабрикой. До недавнего времени он еще стоял на Вальной улице. Теперь его снесли.

Уютная столовая. Потолок тонет в темноте, а лампа под огромным абажуром ярко освещает празднично убранный стол. Милые! Чего там только не было! Несколько тортов с невероятными украшениями, вазы с фруктами, варенье, пастила, орехи, кексы, невиданные по красоте конфеты — все это переливалось всеми цветами радуги.

Но мне не повезло. За круглым столом, на котором возвышалось это великолепие, не хватило мест. Вместе с Густей Тюрком я был посажен за музыкантский столик в углу, в темноте. Мы с Густей были друзьями и, как я уже писал раньше, своего рода незамениками среди отпрысков всяких дельцов и фабрикантов. Своими кулаками я благородно защищал хилого Густю, в дальнейшем почему-то ставшего толстовцем.

Так вот, с будущим толстовцем мы и сели, как изгой, за этот чертов музыкантский стол. Тут было все иначе. Торт дали только одного сорта, да и то по куску без роз. Чай с лимоном не дали, а из кувшина налили остатки какао. Мы мрачно жевали то, что перепало с большого стола, и удивлялись щебетанию нашей классной дамы, живописавшей родителям Робки, какой он чудесный мальчик. Потом всех развезли на хозяйских лошадях, а мы с Густей поехали на трамвае.

Впрочем, музыкантский стол был для меня сладким воспоминанием по сравнению с другой историей, историей с ботинками, надолго запомнившейся и мне, и моим одноклассникам.

У меня было много дядюшек. Они потихонечку один за другим умирали, а их доспехи поступали в мою пользу. Я был рослым пареньком. Некоторые вещигодились даже без перешивки, и я поневоле донашивал модные в клетку пиджаки и полосатые брюки моих усопших родственников. Но если со штанами и пиджаками еще можно было как-то мириться, то обувная проблема достигла для меня воистину шекспировского трагизма. Носил я недоношенные все теми же дядями ботинки: модные и длинные-предлинные. По ширине они ещегодились, но длина их была непомерно велика, и носки некогда щегольских штиблет загибались на моих ногах, как лыжи. Спотыкаться на лестницах и даже на ровном месте от этих задранных носков для меня было делом обычным. Отсюда мечта, красивая голубая мечта — иметь настоящие, купленные специально для меня ботинки.

Что может быть более желанным и привлекательным для мальчишки двенадцати лет, как не самые настоящие солдатские башмаки! Такие башмаки стоили значительно дешевле обычной обуви, и поэтому против их покупки особых возражений со стороны родителей не возникло. Итак, решено: я покупаю себе солдатские башмаки!

Всю неделю меня инструктировали, как нужно примерять ботинки, где держать деньги, как остерегаться жуликов. Эти наставления были вполне уместны, ибо целью похода был знаменитый Сухаревский рынок, или, как его просто называли, Сухаревка.

Рынок начинался у Спасских казарм. Спиной к стене сидели калеки и слепые и, распевая гнусавыми голосами, пытались разжалобить прохожих. А рядом уже шла торговля с рук. Продавалось все, что мог поднять и нести человек средней физической силы, — от веера со страусовыми перьями до продавленного пружинного дивана, современника Наполеона, глядя на который трудно было определить, чего там больше — ржавых пружин или клопов.

Родительские наставления были выполнены, и покупка совершилась. На следующее утро я проснулся с радостной мыслью: «У меня новые солдатские ботинки, сегодня я пойду в них в школу».

День выдался чудесный. Апрельское солнце щедро грело, и безоблачное небо не предвещало ничего плохого. Правда, если положить руку на сердце, ботинки были и великоваты и тяжеловаты, но, несмотря на это, я не чувал под собой ног. Мне казалось, что прохожие любуются моими башмаками и одобряют мой вкус.

Все, что говорилось на первом уроке, прошло мимо моих ушей, так как внимание было полностью направлено под парту, на разглядывание обновки.

Однако дальнейшие события приняли для меня несколько неожиданный оборот. Окна нашего класса хотя и выходили на солнечную сторону, но после зимы еще не открывались. В классе было жарко и душно. Мои ботинки разогрелись и стали излучать пронзительный и неистребимый запах. По всем законам

диффузии он распространялся все дальше и дальше. Скоро воздух во всем классе наполнился ароматом моих башмаков.

Перемена кончилась, и мы опять уселись за парты. В класс вошла учительница немецкого языка Вера Борисовна. Это была нестареющая блондинка с птичьим лицом и лошадиными зубами. Мы ее боялись и поэтому, естественно, недолюбливали. Переступив порог, она поморщилась и, поведя носом, обратилась к нам:

— Чем это пахнет?

Уже сморщенный носик заставил екнуть мое сердце, а от вопроса, имеющего прямое отношение ко мне, внутри что-то оборвалось и пригвоздило меня к месту. Для меня померк свет чудесного весеннего дня, я плохо соображал, лицо и уши у меня горели алым пламенем. Словно сквозь сон я услышал чей-то ответ:

— Это у Кренкеля новые ботинки...

Раздался стук парт, все сели, а я, как пораженный столбняком, продолжал стоять.

— А ну-ка, Кренкель, подойди сюда...

Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем я сдвинулся с места. Путь на Голгофу, наверное, выглядел увеселительной прогулкой по сравнению с тем, что выпало на мою долю. Когда я шагал от своей последней парты до учительской кафедры, насмешливые взгляды моих сверстников жгли, не зная пощады. Мне хотелось спрятать свои ноги, но куда и как? Кончилось мое счастье, башмаки сразу стали ненавистными.

Как ни долг был скорбный путь, но в конце концов я дошел до лобного места. Учительница долго молча и насмешливо разглядывала мои башмаки.

— Так, значит, новые башмаки?.. Сколько же ты за них заплатил?

Вопрос задел самую больную струну.

Я невнятно пролепетал цену, и всем все стало ясно.

Цена была вдвое меньше, чем на ботинки моих одноклассников.

Не помню, как я вернулся на свое место, но историю с ботинками запомнил на всю жизнь.

Целительная сила юности сделала свое дело. Жизнь продолжалась.

Каждый день, приходя из гимназии, я снимал «приличное платье», надевал заплатанную куртку и потертые штаны, превращаясь, по обстоятельствам, то в футболиста, то в страстного читателя, но далеко не всегда в того прилежного мальчишка, каким хотели видеть меня мои родители.

В мою жизнь вошла книга. Я поднимался по традиционным ступеням, по которым шли читатели многих поколений. Ко дню рождения мне дарили бессмертные сказки Андерсена, конечно, Гулливера, Робинзона Крузо...

Я не задерживаюсь на том периоде, когда, ужасаясь, приходилось переживать злоключения Красной Шапочки, братца Иванушки и сестрицы Аленушки. И они, эти славные персонажи, сделали свое доброе дело, оставшись в памяти на всю жизнь.

Следующим этапом было известное чтиво. Именно чтиво, другого названия, пожалуй, и не подберешь. По давности лет не стыдно сознаться в этом увлечении. Да кто из моего поколения не знал Ната Пинкертона, его верного друга Боба Моррисона, Шерлока Холмса (не конандойлевского, а семикопеечного), Ника Картера и знаменитого русского сыщика Путилина!

Одни обложки чего стоили! Раскрытые гробы, скелеты в кандалах, пышногрудые красавицы с двумя револьверами (одного мало!) в руках. Несмотря на «технические» трудности (где прятать эти перлы и как читать?), чтиво поглощалось солидными дозами. Запретный плод, как всегда, сладок.

Шло время, и вкус менялся. На смену пришли авторы, имена которых нельзя даже произносить на одном вздохе с вышеупомянутой «литературой»: Джек Лондон, Майн Рид, Фенimore Купер, Жюль Верн...

Сильные чичности, выведенные в произведениях этих писателей и действо-

вавшие, как правило, в сложных обстоятельствах, были мне по душе. Впрочем, это естественно. Мальчишкам всегда хочется быть сильными, и общество сильных они предпочитают обществу умных. Я им завидовал: ну до чего же у них была интересная жизнь!

Спасибо Борису Варсанофьевичу Игнатьеву, нашему преподавателю географии. Его уроки были для меня оазисом среди прочих гимназических премудростей. Не думал я тогда, елозя не совсем уверенно указкой по карте, под строгим взглядом любимого учителя, что я полюблю Арктику и отдам ей лучшие годы жизни.

Вспоминаю обо всем этом с гордостью. С гордостью думаю: вот какие мы молодцы, мальчишки! Если бы, научившись читать и писать, мы не превращались в исследователей, идущих в мир по самым разным тропинкам, человечество никогда бы не накопило того огромного богатства, которое составляет сегодня арсенал его знаний.

Однако с точки зрения обогащения человечества наши первые гимназические исследования носили не очень продуктивный характер, хотя в них легко обнаружить и черты времени, и, наоборот, классическую вечность, как, например, собирание почтовых марок. Не буду задерживаться на марках, интерес к которым у мальчишеского племени не меркнет, а вот о своих других интересах постараюсь рассказать. Таких коллекционеров, к числу которых я принадлежал, будучи гимназистом, сегодня, пожалуй, не сыщешь, даже если очень захочешь.

Одно из моих (да не только моих) увлечений — сбор номеров автомобилей. От моего дома до гимназии меня отделяли примерно четыре трамвайные остановки. По дороге мне попадалось примерно от двух до семи автомобилей, не более. Я записывал их номера — занятие, которое при сегодняшнем потоке машин было бы просто бессмысленным. Но тогда автомобили встречались в Москве не чаще сиамских котов. Записать номер было безусловной удачей. На большой перемене мы вытаскивали свои записные книжки и очень гордились, когда нам попадался какой-нибудь необычный, ни у кого другого не записанный номер. Обсуждение особенностей машин, номера которых попадали в наши блокноты, было бесспорной пользой такого коллекционирования.

Когда началась первая мировая война, автомобильные номера уступили место другому увлечению. Мы вспыхнули страстью к собиранию плакатов, призывавших подписываться на военный заем. Это были большие, очень красочные листы с изображением Кузьмы Крючкова, богатырей, разных батальных сцен и т. д.

Плакаты расклеивались на заборах и стенах по всей Москве. Зимой их очень легко было оторвать. Клей замерзал, достаточно было подковырнуть один уголок и потом аккуратно потянуть плакат, чтобы клейстер с треском и грохотом лопнул. Лист отрывался и попадал тебе в руки.

Как-то поздно, часов в восемь вечера, когда было уже совсем темно, я возвращался из гимназии. Такого рода возвращения стали для нас привычными, так как в нашей гимназии был развернут госпиталь и мы занимались в здании наших соседей, пускавших нас в свои классы только во вторую смену. Так вот, в темноте я подходил к своему дому. Перед нашим подъездом стоял довольно длинный и, я бы сказал, солидно-фундаментальный забор. На заборе подряд было наклеено большое количество займовых плакатов самого последнего выпуска с абсолютно новым рисунком. Разумеется, такой плакат нужно было обязательно «заиметь», чтобы на следующий день похвастаться в гимназии. Я отколупнул уголок, привычно снял этот огромный лист и даже не стал его складывать, потому что до подъезда оставались какие-то считанные шаги.

С плакатом в руках я завернул за угол строительного забора, где, освещаемые газовым фонарем, были ворота нашего дома. И каков же был мой ужас: около ворот стоял пристав нашего участка и нажимал звонок к дворнику.

— Молодой человек! Это зачем же вы плакаты срываете?

Я пролепетал что-то невнятное.

— Подождите, подождите! — Пристав продолжал нажимать звонок к дворнику.

Пока дворник не откликнулся на начальственный зов, я сообразил, что все решает быстрота. Дворник меня отлично знал, и, если бы он меня увидел, провал был бы полнейший. Отдав себе ясный отчет в происходящем, я ринулся бежать по темному переулку. Пристав закричал что-то вроде «стой, стой!», даже засвистел в свисток, но я «бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла». Благополучно выскочив на Садовую, я обежал квартал и потом, гихонько озираясь, чтобы снова не напороться на пристава, вернулся домой. Весь день я волновался, ожидая продолжения этой истории. Но все обошлось. Пристав так и не разыскал меня, а судьба посмеялась надо мной, и из срывщика плакатов я вскоре стал расклейщиком афиш.

В годы войны я никуда не ездил на летние каникулы, а оставался в Москве и работал во Всероссийском земском союзе. Это были мои первые заработки. Сначала носил «посылки для военнопленных», а потом повысил свою квалификацию и стал упаковщиком этих посылок. Затем вечерами после уроков занимался у частного хозяйчика расклейкой всяких объявлений, плакатов и афиш. Работа была тяжелая. Имелось три цены: первая — за наклейки просто так, с земли, насколько рук хватает. Вторая — за наклеивание с табуретки. Чтобы заплатить третью цену, надо было ходить со стремянкой и со своей картофельной мукой для клейстера. Я научился хорошо разводить клейстер, заваривая его в ближайших чайных и трактирах.

Маршруты составлял мне хозяин по каким-то одному ему известным закономерностям. География этой коммерции так и осталась для меня тайной. Впрочем, я не пытался в нее вникнуть. Моя задача была клеить, и не более. Некоторые из этих маршрутов были просто зверскими. Например, Садовое кольцо. Начав поход рано утром, я почти никогда не успевал закончить его до наступления темноты.

Хозяин проверял нашу работу. Он ходил по городу маршрутами, которые задавал нам, проверяя примерное количество наклеенных плакатов. Поэтому выбросить хотя бы половину, что я бы сделал с полным удовольствием, было невозможно. Груз при этой работе приходилось тащить изрядный: громадные рулоны афиш, стремянка, кисть, ведро с клейстером. Особенно плохо работать было на ветру. Смертельными врагами были дворники.

Этому афишному бизнесу пришел конец в начале 1917 года. Как-то хозяин дал мне ворох маленьких афишек и велел лепить их несколько необычным путем:

— Иди по Бульварному кольцу и расклеивай афишки на каждом трамвайном столбе так, чтобы их можно было читать из окон трамвая.

Афиши были отпечатаны по заказу какого-то частного врача и рекламировали венерологический кабинет весьма сомнительного свойства. Я уже и раньше подумывал о том, что пора закруглять эту деятельность. Объявление венеролога стало последней каплей. Я отмыл руки от клейстера, и афишное дело ушло для меня в невозвратимое прошлое.

Я СТАНОВЛЮСЬ ВЗРОСЛЫМ

Гимназист с папирсой. Большевик или меньшевик? Хлеб, который надо было брать перед едой. Бесплатный трамвай. Осина из Главпрофобра. Отто Шмидт, которого я тогда не знал. Суп «карие глазки». В бойскаутском отряде. «Малолетний преступник». Черное знамя анархии. Конфирмация. Сословие мешочников. Красноармейский паек. Рабочий, миллионер и польщик.

Когда произошла Февральская революция, мне было четырнадцать лет и учился я в пятом классе. Запомнилось мне это событие по разным обстоятельствам, но в основном по разговорам, происходившим в нашем доме.

Не могу сказать, что отец мой был крупным политиком, но порассуждать об этой сложной материи он, как большинство русских интеллигентов, очень любил, черпая факты для размышлений из газет «Раннее утро» и «Русские ведомости». Они были очень разные. «Раннее утро» — газета, так сказать, облегченного типа. Не то чтобы бульварная, но с большим процентом легкомысленности, направленной на то, чтобы сделать ее как можно более «читательной». «Русские ведомости», напротив, считались органом в высшей степени серьезным.

Весьма подробно обсуждалось дома происшедшее в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года убийство Григория Распутина в доме князя Феликса Юсупова. Здесь знаменитый «старец», чья «деятельность» дорого обошлась нашей родине, был убит хозяином дома Феликсом Юсуповым, великим князем Дмитрием Павловичем и известным черносотенным депутатом Государственной думы помещиком Пуришкевичем.

Эта история подняла большой шум. О ней много писали, а еще больше говорили. Часть этих разговоров достигла и нашего дома. Помню, что разговоры эти происходили у нас под большим секретом, а под еще большим секретом читались ходившие в списках тексты речей, произнесенных на каком-то заседании Государственной думы какими-то депутатами. В этих разговорах особенно часто слышались фамилии черносотенцев Пуришкевича и Маркова-второго. Но хотя в нашем доме и пытались следить за политическими событиями, когда произошла Февральская революция, никто в этих делах по существу не разбирался.

Как я прореагировал на революцию? Прежде всего не пошел в гимназию. Решил, что революция — значит, свобода, равенство и братство и учиться уже не обязательно. Я достал большой красный бант и пришил его на гимназическую шинель. Около Земляного вала (сейчас этого дома уже давно нет) ютилась маленькая табачная лавочка. Я купил десяток папирос — назывались они «Дядя Костя» (по имени знаменитого артиста Варламова) — и почувствовал себя совершенно раскрепощенным — шел по улице с красным бантом на груди и курил.

Улицы в этот день были грязные, никто не убирал снег. У нас на Садовой-Черногрязской горел полицейский участок. Я полюбовался этим интересным зрелищем и пошел в центр города на Воскресенскую площадь к Городской думе. В здании которой сейчас находится Музей Ленина.

На площади перед думой кто-то говорил речь. Потом где-то недалеко стали стрелять. Все куда-то шарахнулись. И я шарахнулся. Потом опять стало тихо, и несколько студентов с красными повязками и старыми берданками повели двух довольно сильно помятых городских. Все окружающие бодро выкрикивали разные слова в адрес этих расстрепанных городских. Каждый чувствовал себя немножко победителем.

В эти дни отца особенно часто навещали студенты коммерческого института, где он также преподавал. Отец всегда славился большой общительностью, студенты его любили и потому не раз бывали в нашем доме. Но сейчас, испытывая большую потребность в обмене мыслями и наблюдениями, они буквально не выходили из отцовского кабинета.

Хорошо помню одного из них. Звали его Миша. Это был настоящий сибиряк — косяк сажень в плечах, энергичный, темпераментный. Забыв о моем возрасте, Миша задал мне вопрос, волновавший его в эти дни:

— Ты большевик или меньшевик?

Естественно, что больше — это лучше, чем меньше. Я посмотрел на Мишу и убежденно ответил:

— Большевик!

Миша обрадовался:

— Молодец! И дальше будь таким.

Последние годы войны были наполнены многочисленными трудностями. Хозяйство страны таяло, как тонкая льдинка на солнышке Разруха и голод нарастали с невероятной скоростью. Многие думали, что революция сразу же при-

несет стране иную жизнь, но не тут-то было. Минул февраль, царь отрекся от престола, а жизнь не только оставалась очень трудной, но, напротив, день ото дня становилась все тяжелее.

День мой начинался рано. В пять утра меня поднимали, я шел к булочной и становился в очередь. В кулаке — туго зажатые хлебные карточки. Разжимать кулак не рекомендовалось. В случае потери карточки не возобновлялись. Я стоял с пяти утра до открытия магазина, причем подчас безрезультатно. Когда очередь подходила, иногда объявляли: хлеб кончился. Беда заключалась в том, что на следующий день неотоваренные хлебные талоны уже были недействительны. Считалось, что раз прожил день, то и не надо.

Хлеб тех лет даже трудно назвать хлебом. Это было нечто ужасное, именовавшееся «колобашками». По форме колобашки походили на нынешние десятикопеечные ситники. Но, естественно, муки в них было меньше всего, и потому они напоминали ежей. Из них буквально торчал кое-как размолотый овес. Перед употреблением такой хлеб нужно было чуть ли не брить.

И все-таки колобашки были гораздо приятнее неотоваренных талонов. На несколько часов они кое-как заклеивали кишки. Можно было считать, что свой паек ты получаешь не зря и вроде как бы поел хлеба. О прочих продуктах оставалось только вспоминать. Их добывали разными путями.

Трудности затягивались. В стране происходили большие перемены. Наступило время Великой Октябрьской социалистической революции. Не хочу обманывать читателя, уверяя, что уже тогда понимал ее значение. Я был еще мал, в социальных изменениях разбирался слабо, и мой жизненный горизонт ограничивался главным образом домашними хозяйственными делами, превращавшимися подчас в подлинную борьбу за существование.

Об этой поре, о решавшихся тогда грандиозных задачах написано много книг, хорошо известных читателю. Я же, рассказывая об этой эпохе (а это действительно была эпоха), ограничусь лишь тем, что попало в поле моего зрения.

Мать моя устроилась на работу, уже не помню в качестве кого, в Главпрофобр — Главное управление профессионального образования.

Это учреждение находилось на Поварской (ныне улица Воровского), в самом начале, по правой стороне. Проезд в Москве на трамвае был тогда бесплатным. Платить не нужно, но и ехать трудно. Трамвай ходили не только набитыми изнутри, но и обвешанными снаружи. Чтобы не опоздать на службу, спокойнее и удобнее было передвигаться пешком. Так моя мама и делала. Каждый день от Чистых Прудов до Поварской и обратно она ходила пешком.

Обратная дорога была особенно трудной. Мама шла с рюкзаком, в котором несла ценный груз. Где-то во дворе Главпрофобра она ежедневно получала два полена мокрой-премокрой осины. (Такое по тем временам удавалось далеко не всем, а точнее, очень немногим.) Обстоятельство немаловажное, ибо, кажется, Амундсен сказал, что человек может привыкнуть ко всему, кроме холода. Наша квартира состояла из четырех комнат, из которых законсервировано было три, потому что не было топлива. Посередине четвертой, в которой жила вся семья, стояла, как алтарь доброго Бога Тепла, «буржуйка». Эта весьма популярная в первые годы революции печка из листового железа была выполнена на самом высоком уровне. Изнутри ее выложили кирпичом. Не в пример другим «буржуйкам», наша более или менее — хотя скорее менее, нежели более — держала тепло.

Мамина осина моими стараниями превращалась в щепки, и мы немедленно ставили их на просушку около нашей «буржуйки». Щепки подсыхали, но запах мокрого дерева из комнаты не выветривался. Попросту все время воняло псиной — эти запахи очень похожи. И тем не менее мы были благодарны и Главпрофобру, и маминой предприимчивости. Каждый вечер мы имели пусть маленькую, но все же возможность согреться.

Жизнь — хитрая штука. Она складывает свои сюжеты почище самого изобретательного романиста. Расцепляя мокрые осиновые поленья, слушая мамини

рассказы о ее новой службе, я и не подозревал, как близко находился от человека, которому довелось впоследствии сыграть в моей жизни огромную роль.

Существует документ, подписанный 20 февраля 1920 года Владимиром Ильичем Лениным. Напечатанный на бланке Совета Народных Комиссаров, с традиционным обозначением места: «Москва, Кремль», этот документ свидетельствует, что «предъявитель сего товарищ Отто Юльевич Шмидт Советом Народных Комиссаров утвержден в заседании 19 февраля с./г. заместителем Председателя Главного комитета профессионально-технического образования со включением по должности в состав коллегии Народного [комиссария]та просвещения». Отто Юльевичу Шмидту было тогда двадцать девять лет.

В 1913 году Шмидт окончил Киевский университет по физико-математическому факультету. Его учителем был известный ученый — профессор Граве, впоследствии почетный академик. Профессор высоко оценил способности ученика и оставил его в университете. Однако очень скоро молодой человек переезжает в Петербург. В 1918 году он становится большевиком.

Разумеется, в те времена я не только не был знаком со Шмидтом, но, стыдно сознаться, даже не знал, что он является высшим маминым начальником. Однако я не могу не сказать здесь хотя бы несколько слов о нем, о его деятельности в те годы, так как этому человеку, повторяю, суждено было оказать исключительное влияние на мою жизнь. Я без преувеличения должен назвать Отто Юльевича своим духовным отцом.

Шмидт был незаурядной личностью, и естественно, что, вступив в партию большевиков, он привлек к себе внимание Ленина, называвшего его «задиристым Отто Юльевичем» и посылавшего молодого коммуниста на трудные и ответственные участки: в Наркомпрод, Наркомфин, Наркомпрос. Будучи в Наркомпроде начальником управления по продуктообмену, Шмидт провел воистину титаническую работу. Он руководил также налоговой работой в Наркомфине и был одним из тех, кто готовил в 1921 году обмен денег. В Главпрофобре и Наркомпросе разрабатывал обширную программу подготовки квалифицированных специалистов, в которых так нуждалась страна.

Широкая эрудиция Шмидта, круг его интересов поражают. Я и по сей день удивляюсь, как могли в одной личности ужиться такие многочисленные и в то же время разнообразные интересы. Впоследствии мне много приходилось работать вместе со Шмидтом, многому у него научиться. Читатель не раз встретится с этим замечательным человеком на страницах моих записок. Но все вышесказанное прошу рассматривать только как предисловие к встрече со Шмидтом, о которой речь впереди.

Несмотря на трудности времени, я все продолжал образование. Правда, происходило это несколько своеобразно. Считалось, что образование я получал, но знаний прибавлялось немного. Два года я ходил в единую трудовую школу. Она располагалась совсем близко от дома, в Мало-Харитоньевском переулке, в здании бывшего епархиального училища. В старое время там учились поповские дочки. После революции они разбежались, а поскольку природа не терпит пустоты, в этом здании была организована единая трудовая школа.

Я был крепким, рослым паренком, и мне доверили весьма важное дело — доставку супа. Каждый день к 12 часам я должен был привезти в огромных бидонах суп. Нельзя сказать, что он представлял собой высокое произведение кулинарного искусства. Те, кто читал роман В. Каверина «Два капитана», вероятно, помнят повара, произносившего при пробе одно из двух слов: «отрава» (это означало, что есть можно) и «могила» (значит, суп надо вылить). Хотя по терминологии каверинского повара наш суп был явной отравой, носил он несколько иное название. Суп именовался «карие глазки» и представлял собой мутную воду со скромным числом крупинок пшена. В подтверждение поговорки о том, что в мутной воде хорошо ловить рыбу, счастливицы нет-нет да выуживали из супа голову воблы. В честь этих рыбьих голов, редких, как золотые самородки, и получил наш суп свое поэтическое название.

Ни о какой учебе, конечно, не было речи. Не было ни экзаменов, ни бумаги, ни карандашей. Но «карие глазки» влекли нас, как магнит, и два года мы аккуратно посещали школу.

Голодные и трудные годы, когда ббльшая часть времени и энергии уходила на поиски пропитания, запомнились мне на всю жизнь. Наше бытие во многом определялось датами выдачи пайков и тем, что в эти пайки включалось. Помню, как однажды в Главпрофобр привезли огромную бочку, наполненную тертой свеклой, и стали раздавать эту свеклу сотрудиникам. Ббльшей мерзости я в своей жизни никогда не ел. Но даже из этого натертого месива мы что-то пытались делать. И шпарили, и жарили, и варили, хотя от наших стараний свекла не стала более съедобной.

Однажды мать послала меня на Мясницкую, где в одном подвале давали по полмешка картошки. Ее давали потому, что уже наступил март, картошка оттаяла и наполовину сгнила. Домой я пришел насквозь промокший. Даже после того, как я привел в порядок верхнюю одежду, пятно на память об этой картошке так и осталось на моем пальто.

Всей семьей терли картошку, отмучивали ее в воде, добывая чистую хорошую картофельную муку...

Чтобы рассказать о следующем периоде моей деятельности, придется сначала сделать небольшое отступление.

Еще до революции, занимаясь в гимназии, я состоял в отряде бойскаутов. Как известно, бойскауты — буржуазная детская организация, но руководитель нашего отряда, бухгалтер Бессонов, был славным человеком. Он искренне хотел как-то по-хорошему занять мальчишек.

Отряд состоял из нескольких патрулей. Каждый патруль назывался именем какого-нибудь зверя или птицы. Всем, кто входил в него, полагалось уметь подражать крику этого зверя. Патрули давали ребятам какую-либо полезную специальность — фотографа, сигнальщика, телеграфиста, художника и т. д. Закончив обучение, нужно было выдержать соответствующие экзамены. Только после этого скаут получал право носить на левом рукаве нашивку, подтверждающую, что он специалист в такой-то области. Программа скаутов предусматривала и разные физические занятия. Одним словом, все было организовано очень хорошо.

Так обстояло дело до революции. Казалось бы, после революции про отряд бойскаутов можно было бы только вспоминать. Однако благодаря энергии нашего командира отряд не только продолжал существовать, но и делал полезное для народа дело.

Командир наш выглядел бравым парнем. Он поражал своей изумительной собранностью и подтянутостью. Всегда идеально выбрит (он был на три года старше меня), всегда в начищенных ботинках, в гимнастерке без единой складочки — одним словом, непререкаемый авторитет для любого бойскаута.

Недавно, производя археологические раскопки в культурном слое собственной квартиры, образуящемся, как учит археология, около любого человеческого жилища, я обнаружил маленькую и очень постаревшую фотографию. На ней изображено трое — два рядовых бойскаута (один из них я) и наш командир. И если мы, рядовые, в каких-то застиранных гимнастерках, то командир — во френче, в белой рубашке и аккуратно завязанном галстуке. Собранность, присутствующая ему всю жизнь, так и сквозит с этой плохонькой любительской фотокарточки.

Дисциплину он держал великолепно, никогда не прибегая к приказам и окрикам. Все делалось спокойно, но внушительно; хотя, в общем, он держался с нами, сопляками, весьма демократично.

Впоследствии жизнь не раз сталкивала меня с этим человеком — Владимиром Адольфовичем Шнейдеровым. Он плавал на «Сибирякове», где я был радистом. Сегодня он народный артист РСФСР, известный кинорежиссер, президент клуба кинопутешественников — одной из лучших передач советского теле-

видения. По старой памяти приглашает он участвовать в некоторых передачах этого клуба и меня.

Так вот, именно Володя Шнейдеров с его блестящими организационными способностями устроил так, что нашему отряду в Московском военном округе доверили всю внутригородскую связь.

В общем-то, мы были самыми обыкновенными курьерами, каких немало можно встретить в разных учреждениях и сегодня. И сегодня многие школьники старших классов, студенты вечерних техникумов и институтов совмещают учебу с курьерскими обязанностями. Однако наша банальная по существу служба была обставлена невероятно романтично. Мы получили маленькие французские самокаты «пежо», которые при необходимости можно было сложить и нести за спиной в ранце. Выдали нам и оружие — японские карабины. Правда, патроны были спрятаны от нас за семью замками и карабины мы получили незаряженными, но все выглядело очень эффектно — развозили мы почту на французских самокатах с японскими карабинами за плечами. Мы страшно гордились и тем и другим (ведь то, что карабины не заряжены, никто, кроме нас, не знал) и считали себя маленьким военным подразделением. Тем более что ходили мы в военной форме.

Правда, в этом военном великолепии были и свои неудобства. К солдатским ботинкам, которые мы носили, полагались обмотки, не раз служившие источником мелких неприятностей. Трехметровые черные змеи обмоток отличались одним довольно-таки постоянным неудобством — они разматывались в самых неподходящих местах. Особенно это было неудобно, когда обмотки разматывались на самокате. Они немедленно попадали под велосипедную цепь, и нужно было как-то элегантно соскочить, чтобы не грохнуться тут же на улице, под копыта какого-нибудь ломовика.

Летом наш отряд разбивал свой лагерь в Сокольниках. Здесь мы проводили военные игры. Нам выдавали холостые патроны, и в ночной тишине мы время от времени пугали окрестных дачников бешеной пальбой. Стреляли мы холостыми, но дачники все равно побаивались наших военных упражнений. Кончилось все тем, что после многочисленных жалоб наши военные игры были запрещены.

Из скаутского отряда я скоро выбыл по причине неожиданного и, естественно, не очень приятного знакомства с Уголовным кодексом. Дело было так. Не помню у кого, я то ли купил, то ли выменял настоящий наган, который для меня, как для любого мальчишки, представлялся пределом человеческих мечтаний. Однако долго у меня этот наган не задержался. В результате какого-то сложного обмена он попал в руки если не настоящего, то безусловно начинающего бандита. Подозрительный молодой человек был другом моего приятеля по бойскаутскому отряду.

У этих двух бойких молодых людей возникла бесхитростная, как теперь говорят, «задумка» — они решили ограбить склад писчебумажных принадлежностей. Нацепив фальшивые усы, покупатель моего нагана засунул его в один карман, связку отмычек и карманный фонарь — в другой, за пояс заткнул пистолет «монте-кристо». В таком полукумовбойском-полугангстерском обличье он направился к складу, где был быстренько задержан.

Следствие проводилось весьма решительно. Особенно интересовало следователей оружие. И разумеется, не столь трещотка «монте-кристо», сколь боевой револьвер.

— Где купил наган?

Незадачливый налетчик показал на своего приятеля, а тот без задержек переадресовал следователей в мою квартиру. По этой коротенькой цепочке до меня добрались очень быстро.

В тот же вечер, к ужасу моих родителей, к нам пожаловали с обыском. Другого оружия агент уголовного розыска и дворник не нашли, но зато им удалось обнаружить кучу стреляных гильз и несколько целехоньких боевых патронов. Но все это было бы полбеда, если бы не усы. Эти рыжие усы уже давно

валялись в нашем доме, купленные моим отцом для забавы. Обычная карнавальная игрушка — усы на проволочке. Стоило воткнуть эту проволочку в ноздри — и ты сразу же становишься усачом. Беда заключалась в том, что в таких же усах незадачливый бандит пошел на свою «операцию». Вот почему, обнаружив усы и в нашей квартире, следствие сразу же увидело в этом факте весьма многозначительную связь. Забрали усы, патроны, а вместе с ними заодно забрали и меня.

Повели меня в милицию. Поспал я на каком-то дощатом топчане, а на следующее утро в сопровождении милиционера меня отвели на Рождественский бульвар, в дом 15. Это красивый старинный дом. Всякий раз, когда я теперь проезжаю мимо него на трамвае, я вспоминаю эту историю. Вторую ночь я провел уже здесь, а затем попал в Дом предварительного заключения уголовного розыска, находившийся тогда сразу за Центральным рынком, на Цветном бульваре.

В новой камере было обширное общество — человек пятьдесят—шестьдесят. Самая разнообразная публика. И мужчины и женщины. Если нужно было пойти в уборную, то полагалось стать к дверям и дожидаться, пока наберется еще пять-шесть страдальцев. Только тогда нас под охраной вели в туалет. Ну, точь-в-точь, как водили Швейка, когда жандармский вахмистр принял его за русского шпиона.

Обстановка в камере была спартанская. Спали на полу. Никаких подушек не полагалось. Тюремная камера не дворец. Подушки выглядели бы в ней явным излишеством. В этой же камере я научился делать стаканы из бутылок. Делался такой стакан обычно втроем. Двое, взяв обыкновенную веревку, как бы пилили этой веревкой бутылку. В полном соответствии с законами физики то место бутылки, по которому терла веревка, нагревалось, а на горячее стекло третий капал холодной водой. Бутылка тотчас же распадалась на две части.

Потом меня перевели в другую камеру, где было уже человек пять-шесть. Там меня разыскали родственники. И, о радость, мне принесли в камеру передачу. Увы, радость длилась даже не минуты, а лишь секунды. Кто-то наподдал по моей посылке. Она разлетелась во все стороны. На мою долю осталась лишь картонная коробка, в которую эта посылка была упакована.

А тем временем не торопясь, обстоятельно следствие продвигалось вперед положенной ему дорогой. Первый вопрос, который мне задал следователь:

— Сколько было приводов?

Я знал, что приводы есть в динамо-машине, к станкам, но про уголовные приводы услышал впервые, немедленно задав глупый вопрос:

— А что это такое?

Мне посоветовали не прикидываться. Мол, ничего тебе не поможет. Следователь долго расспрашивал меня: откуда, как и почему. Я все рассказал по-честному, и он, памятуя о том, что мне еще не было шестнадцати лет, передал мою персону в комиссию по делам несовершеннолетних преступников.

Очень благообразный старый человек, совершенно белый, в длинном сюртуке, долго стыдил меня. По тому, как профессионально он это делал, я пришел к заключению, что старик из бывших преподавателей. Затем он вызвал моего отца. Эти два работника воспитания быстро нашли общий язык, и я был выпущен на поруки, просидев около трех недель, но без судимости, что впоследствии облегчало заполнение разного рода анкет.

Для всякого другого такая порция холодного душа была бы, наверное, более чем достаточной. Но мной владела неизъяснимая тяга к оружию. Тяга эта была столь сильна, что я чуть-чуть не совершил другой, прямо скажем, куда более опасной глупости.

На Тверской улице (ныне улица Горького) напротив Алексеевской глазной больницы, на углу переулка, который теперь перекрыт пропиелями гостиницы «Минск», стоял одноэтажный дом. У входа огромная черная вывеска с яркими белыми буквами: «Клуб анархистов-интернационалистов».

Личности, обещанные самыми разными бомбами и револьверами, и демон-

страции под черным флагом с надписью «Анархия — мать порядка», с черепом и скрещенными костями будоражили мое воображение. К тому же я был глубоко убежден, что, запишись я в этот клуб, никто не посмотрит, что мне нет шестнадцати лет и хоть плохонький револьвер, но получу.

К счастью, этого не случилось. Вспоминая эту историю, я часто думаю, что, наверное, есть все же бог пьяных и дураков. Он явился ко мне в строгом образе моего отца. Высмеян я был столь жестоко, что порядок на всю жизнь победил анархию и нездоровый интерес к оружию был начисто утрачен.

Порцию нравоучений я схлопотал солидную. И, произнося очень правильные слова, родители не раз напирали на мое церковное совершеннолетие, на то, что я уже взрослый человек. Да, действительно, в том же 1918 году я прошел обряд конфирмации и с точки зрения лютеранской религии стал совершеннолетним, хотя, честно говоря, не очень-то знал и знаю, какие догмы защищал генерал этой церкви Мартин Лютер.

Латинское слово «конфирмация» означает утверждение молодого человека как христианина. Для того, чтобы пройти этот обряд, надо ходить в церковь и изучать катехизис, где сформулированы основные десять заповедей христианства. Ходил на эти краткосрочные курсы по изучению катехизиса и я.

Мать моя ужасно сокрушалась — на конфирмацию полагалось пойти во всем новом. Ну где уж тут новое! И все же мама постаралась и одну новую вещь нашла. Где-то в семейных закромах удалось обнаружить пару совершенно новых, ни разу не надеванных носков.

В ободранном костюме, стоптанных ботинках, но в новых носках я пошел в Старосадский переулок, в церковь святого Петра и Павла, представляться господу богу. В дальнейшем, как большинство московских церквей, она превратилась в цивильное учреждение. Сначала в ее здании размещалось кино «Арктика», затем мастерская безочкового стереоскопического кино изобретателя Иванова. Сейчас там фабрика «Диафильм».

Все было как полагается. Играл орган. Вместе с группой конфирмантов я шел по центральному проходу к невысокому барьеру, перед которым, став на колени, мы должны были вкусить жидкого кагора, символизировавшего кровь Христову, и закусить маленькой облаткой, похожей на аспириновую, — символ тела Христова.

Девушки были в белых платьях. Молодые люди в черных костюмах, а я в новых носках. Это было очень элегантно.

Так я стал христианином. И замечу, что это высокое звание меня до сих пор не очень обременяет.

* * *

Вскоре после того, как меня выпустили из уголовного розыска и отдали отцу на поруки, со всей остротой встала проблема работы. Надо было куда-то пристраиваться. Этим делом занялся мой зять, вернее будущий зять, так как тогда он был еще только женихом моей сестры. Эрнст Тиммс был симпатичный парень. Латыш по национальности, он служил в латышских частях, так много сделавших для революции. Был демобилизован в связи с открытой формой туберкулеза.

Каким-то образом мой зятек узнал, что требуются сопровождающие для поездов, которые расходились по разным городам нашей страны с посылками пресловутой американской ассоциации помощи голодающим — «АРА».

Мой зятек привел меня на Большую Никитскую в дом, где сейчас находится турецкое посольство. Оба мы были в явно ободранном состоянии и, вероятно, не вызывали своим видом большого доверия. С нами беседовал какой-то американец, словно сошедший с картинки. В спортивном костюме, брюки гольф. Выбритый, чистый, надушенный. А мы, обветшавшие, выглядели рядом с ним людьми другого мира. Контакта не получилось. В сопровождающие продовольственных поездов нас не взяли, и мы пошли в мешочки.

Надо заметить, что в те годы мешочники были чуть ли не сословием. Не могу сказать, что они составляли лучшую часть человечества, но обстоятельства сложились так, что к этой части примкнули и мы с мужем моей сестры. С ним-то я и отправился в вояж по хлебным местам России.

Дома собрали все, что только можно было обменять. Какие-то початые катушки ниток. Какой-то огрызок мыла. Какие-то старые пиджаки. Более или менее нерастрепанные полотенца. В общем, вполне нищенский скарб, с которым мы и поехали.

Существовали тогда поезда, называвшиеся почему-то «Максим». Огромный состав товарных вагонов. Внутри вагона — никаких досок, никаких лавок, ничего. Набивалась туда самая разношерстная публика. Поезд шел без расписания. И куда он полз, тоже не было точно известно. Так, более или менее соображали, в каком направлении, и все. Мы с мужем моей сестры тоже понимали, что движемся куда-то на восток.

Когда наш «Максим» отъехал от Москвы, на станциях стали появляться продукты, о которых мы забыли не только каковы они на вкус, но и как выглядят. Это было сырое молоко, топленое молоко и огурцы. Я наполнился вдоволь молока, нажрался огурцов. Последствия оказались самыми неприятными.

С большим трудом я дожидался остановки поезда. Едва раздавался скрип тормозов и знакомый толчок, первой заботой было выскочить из вагона и стремительно забраться под этот же вагон.

Однажды поезд остановился перед светофором на высокой песчаной насыпи. Я нырнул под вагон. Но паровоз тут же свистнул, и состав тронулся. Перепуганный, я едва выскочил из-под колес. Ноги скользили, уходили вместе с песком. Сердобольные люди протягивали руки, но ухватиться за них было трудно: во-первых, достаточно высоко, во-вторых, я мог протянуть только одну руку, так как другой поддерживал уже расстегнутые штаны. Но с одной рукой ничего не выходило, а поезд начал набирать ход. Тогда, плюнув на стыд, я протянул обе руки. Штаны мгновенно свалились, но меня втащили в вагон, где я довольно долго был мишенью для острот, не доставлявших почему-то мне особого удовольствия.

На остановках наш поезд стоял обычно далеко от станции, на подъездных путях, и ожидал возможности проскочить дальше. Ехали в нем какие-то бабушки, торопившиеся неизвестно куда и неизвестно зачем. Но в основном они тоже были мешочницы.

И старые и молодые, просыпаясь ночью, спрашивали:

— Чего стоим?

— Паровоз меняют!

— А на что меняют?

«На что меняют» было тогда главным вопросом.

Так мы доехали до Симбирска, перевалили Волгу. Куда-то в сторону Бугульмы мы добрались уже в пустом товарном составе, пересев на него в Симбирске. И не то чтобы подчиняясь интуиции, а просто так — остановились, вылезли и пошли. Протопав километров восемь или десять, попали в татарскую деревню.

Кое-как объяснившись, стали разбираться, чья же это территория, кто тут командует? Нам объяснили, что деревня на ничьей земле и пока тут никто не командует.

— В эту сторону, — махнули на восток рукой, — белые, а в противоположную как будто бы красные.

Мы зашли в дом. Половину комнаты занимали полаты. На них лежали одеяла. Полаты были одновременно и столом и постелью. Еда происходила тут же, для этого только надо было сесть по-турецки, подвернуть ноги калачиком. Попали мы к хорошим людям. На полатах появился эмалированный таз с дымящейся отварной кониной. Можно себе представить, как мы наелись! Тут же залегли спать.

Наутро, наменяв, кажется, два пуда муки, подсолнухов, четверть мешка гороха, мы пошли обратно. Проникнув в какой-то товарный состав, добрались до Симбирска, а оттуда уже и до Москвы.

Я был рад, что вернулся домой. Мешочничать мне не понравилось, но проблема поисков хлеба была отнюдь не снята с повестки дня. Нужно было думать о заработке. Отец начал болеть и не работал. Основным кормильцем семьи стал я.

Я поступил помощником электромонтера в инженерное управление. Это инженерное управление ведало всеми казармами. Моим объектом стала казарма войск внутренней охраны на Покровке (теперь этого дома на улице Чернышевского уже нет). Я занимался там поддержанием электропроводки в нужном порядке и считался вольнонаемным красноармейцем. Как таковому, мне был положен красноармейский паек.

Я приносил домой полкотелка разваренной пшеницы. В маленьком фунтике — две или три чайных ложки сахарного песка. Иногда давали даже мороженую конину. Тогда дома наступал настоящий праздник.

Отец мой был очень общительным. Даже в самые трудные годы его неизменно навещали друзья. Шагая в ногу с временем, гости приходили со своим харчем. Один принесет несколько лепешек сахарина. Другой — какие-то изумительные оладьи из картофельной шелухи, и все начинают спрашивать рецепт приготовления. Один раз у нас был даже винегрет. Где-то достали кормовую свеклу. Свекла с кониной была лакомством.

Вскоре я переменил работу, что немало способствовало расширению моего технического диапазона. Один из знакомых моего отца имел на углу Солянки малюсенькую ремонтную мастерскую. Там чинили мясорубки, примусы, кастрюльки, детские коляски. Так я стал подручным механика и еще ближе приобщился к технике.

Техника, с которой я имел дело, отвечала потребности эпохи. Это были железные печурки всевозможных фасонов и стилей. Наша мастерская, маленькая, полутемная, заполненная запахом бензина и керосина, равно как и шумом паяльной лампы, выглядела, если хотите, своеобразным символом времени. На Уралмашзавод она вроде бы не была похожа ни с какой стороны. Но, несмотря на это, не воздать ей дани уважения, не найти место на какой-либо полочке истории, просто невозможно.

После разрухи первой мировой войны страна напоминала человека, одетого в лохмотья. Все обветшало и износилось. Заводы и фабрики работали сначала на войну с Германией, затем на оборону молодой республики. Никто не занимался техникой быта, не до этого тогда было. Но ведь сотни тысяч, даже миллионы людей ежедневно хотели одеваться, обучаться, варить завтрак, обед и ужин. Вот почему не чинить, не паять кастрюли было просто невозможно. Вот почему в те годы мастерских, подобных нашей, было очень много. Они ютились, как поганки, в самых неожиданных местах — в пустующих магазинах, подъездах, подворотнях...

Мой хозяин, хороший, славный человек, был жертвой тогдашнего всеобщего интереса к печкам. Для него, как, впрочем, и для многих, любимой темой разговоров было обсуждение той или иной буржуйно-отопительной системы. Охотничьи рассказы о том, как мало топлива берет та или иная «буржуйка», доставляла ему неизменное наслаждение. Для этого человека печка-«буржуйка» заслонила все на свете. И он спел свою лебединую песню, создав настоящий шедевр. Каркас его «буржуйки», сделанный из железа, был начинен кирпичами. Печка имела настоящую духовку, водогрейную коробку и была даже облицована кафельными плитами. Паломничество друзей и знакомых к этому домашнему комбайну, элегантному, как английский лорд, наполняло сердце моего хозяина неизъяснимой радостью.

В глазах моих родителей человек, создавший столь совершенную печь, выглядел по меньшей мере Джемсом Уаттом или Фултоном. Они не сомневались,

что главные двери в обширный мир техники лежат для меня, конечно, через мастерскую их приятеля, которая почиталась в нашем доме как храм современной техники.

Наша мастерская уютилась в крошечном помещении. Раньше в нем была лавчонка. Входная дверь, витрина, прилавок внутри мастерской и полки по стенам были покрыты обильным слоем копоти от примусов и керосинок, проходивших через наши руки. Дом, в котором мы помещались, от старости врос в землю. Но по тем временам наша мастерская была гигантской — ведь, кроме хозяина, имелась еще одна пара рабочих рук, принадлежавших мне.

Я был одновременно рабочим, миллионером и использиком, как называли крестьян, обрабатывавших участок за половину урожая. Рабочим потому, что делал работу. Миллионером, так как расплата шла на миллионы. Использиком, ибо половину этих миллионов отдавал хозяину.

Миллионов было тогда много, и ходили они на уровне современных пятаков. Прожжешь головку примуса — заказчик выкладывает шесть миллионов. Половину из них, как положено, отдаешь хозяину. Три миллиона заработал. Об этих миллионах в нашей литературе написано немало. Но, чтобы заземлить представление об их возможностях, расскажу, как котировались они на Сухаревке, которая, без преувеличения, была тогда главным московским универмагом.

Носил я свои миллионы исключительно в продовольственный отдел этого универмага, а распорядиться ими можно было в разных вариантах, но на одном и том же уровне. За миллион можно было купить шесть картофельных лепешек, поджаренных на каком-нибудь машинном масле. Выглядели они в высшей степени аппетитно, — подрумяненные, завлекательные. Пахли ароматно. На вкус, правда, похуже, но есть все же было можно. Миллион платили за полдесятка ирисок, которые почему-то назывались кромскими. Есть такой город Кромь, наверное, оттуда их и доставляли на Сухаревку.

В общем, покупательная стоимость миллиона была довольно ограничена. И когда мне уж очень хотелось полакомиться, то действовал я весьма осмотрительно, так как позволить себе мог очень немного. А соблазнов было предостаточно. Торговала Сухаревка, подманивая покупателя, всем, чем могла. Торговка жидкой пшенной кашей держала ее в ведре, под которым стоял примус. Она соблазняла ароматом. Продавец какого-то подозрительного коричневого напитка больше надеялся на завлекательные слова. Он кричал:

— А вот настоящая горячая какава на натуральном сахарине!

Нетрудно догадаться, что миллионы расходились быстрее, чем приходили. Отсюда наша неприязнательность в выборе заказчиков. Мы точили ножи мясорубок. Вставляли днища в проржавевшие керосинки «Грец». Латали кастрюли. Подбирали ключи. Лихо превращали хорошие замки в плохие, так как подходящих болванок для ключей не было. Точили и правили бритвы, в связи с чем руки мои до локтей были прекрасно выбриты. Ведь прежде чем вернуть бритву клиенту, ее надо было как следует испробовать.

Нам не приносили в ремонт паровозов, но я не сомневался, что если бы и нашелся клиент с такой машинкой, мой хозяин не отказался бы. Паровоз так паровоз. Конечно, для его ремонта необходимо депо, но что делать, когда жизнь подсказывает иное.

Гул моторов не заполнял нашу мастерскую. Приводные ремни, маслянно поблескивая, не шуршали в ее стенах. Все это объясняется лишь тем, что ни моторов, ни ремней у нас не было. Техническим потолком был точильный камень с ножным приводом от сломанной зингеровской швейной машинки.

Клиенты наши жили рядом. Это были главным образом женщины из соседних домов, смотревшие на нас как на волшебников, когда мы врачевали ту рухлядь, которую они нам притаскивали. Кое-что из этой рухляди я помню даже теперь, спустя почти полвека. Не забуду одну чадолюбивую мамашу, появляющуюся каждые три дня с детской коляской, плававшей, вероятно, еще в Ноевом ковчеге. Заказ всегда был неизменным: сделать новые спицы и новую нарезку

колесных втулок. Металл был плохой. Резьба не держалась. Заказу этому, казалось, не было конца, как и многословным жалобам на низкое качество ремонта, на которые хозяйка коляски, прямо скажем, не скупилась.

И все же формула «клиент всегда прав» торжествовала в нашем заведении, как в лучших предприятиях Европы и Америки. Хозяин был общительным человеком, обладавшим к тому же завидным терпением. Он внимательно выслушивал клиентов, которые, не щадя времени и красок, многословно повествовали о потрясающих подробностях и обстоятельствах, при которых затерялся ключ от дверей или прохудилась кастрюля.

Радостно и приветливо встречал он и нашу вторую постоянную клиентку. Старушка всегда приходила с одной и той же кастрюлей, в которой варила кашу. Никакие уговоры, никакие самые популярные объяснения того, что в запаянной кастрюле можно кипятить воду, варить суп, но ни при каких обстоятельствах нельзя варить кашу, не помогали. Старушка посещала нас аккуратно через два дня на третий.

Каждый маленький хозяин всегда мечтает о фантастически большом заказе. И вот мы однажды этот заказ получили. Нам предложили сделать проводку в церкви на Воронцовом поле.

Нарушая все божеские законы, мы по воскресеньям, с кувалдами и металлическими клиньями в руках, пробивали полутораметровые старинные стены, изрыгая потоки хулы по поводу хорошего качества строительных работ, выполненных несколько сот лет назад. Церковь была большая и неоплеченная. Но, штурмуя ее почти крепостные стены, мы согревались довольно быстро.

Однажды, поставив огромной высоты раздвижную лестницу, я под потолком занимался проводкой, протягивая шнур к большой центральной люстре. Я отлично понимал, что палата с такой высоты не рекомендуется. Однако лестница внезапно поехала, а затем и грохнулась. Послышался мелодичный звон посыпавшихся хрустальных подвесок. Выбирая между хрусталем и жизнью, я предпочел последнюю и водрузился на люстре.

И мной были в горячке сказаны не те слова, которые бывают угодны богу. И заказчики наши остались от этого не в восторге. Только святые угодники, написанные на стенах, молча внимали неуместным в храме мирским разговорам.

Так продолжалось изо дня в день. Менялись кастрюли, бритвы, керосинки, а глубокого вторжения в мир техники, на которое рассчитывали мои родители, явно не последовало. Каждый день я топал по Покровскому бульвару, украшенному зеленым металлическим писсуаром, который помнят московские старожилы. (Несколько лет назад мы увидели такое же сооружение в кинофильме «Скандал в Клошмерле».) Затем мой путь шел по Подколокольному переулку, мимо Хитрова рынка.

Знаменитая московская клоака доживала свои последние годы. И все же не в диковинку были типы самого мрачного свойства, провожавшие тебя недобрым взглядом. Но вскоре эта дорога для меня кончилась. Тропа, вымощенная прогоревшими примусами, горелками и детскими колясками, показалась мне чересчур тернистой, и, отчаявшись пробиться к успеху, я повернул свой жизненный путь совсем в другую сторону.

У ВОРОТ В МИР РАДИО

Заманчивое объявление. Шуховская радиобашня. Курсы на Гороховской улице. Первый ученик и первый провал. Громкоговорители на площадях Москвы. Солист дядя Миша. На автомобиле в погоню за радиоволнами. Нэповская Москва. Траурные дни. Новости из эфира. Червонцы и полтинники. Метрическая система.

Обстоятельством, заставившим меня совершить весьма крутой жизненный поворот, стало объявление, призывавшее поступить на курсы радиотелеграфистов. Однажды в 1921 году, возвращаясь из мастерской, я обнаружил его на

стене. Наверное, в этот момент я более всего походил на героя толстовской «Аэлиты» красноармейца Гусева, собравшегося по объявлению лететь на Марс.

Мои представления о радиотехнике (немногим большие, чем у Гусева о межпланетных путешествиях) ограничивались главным образом несколькими страницами из физики Краевича, классического курса русских дореволюционных средних учебных заведений. И о Попове, и о Маркони, и о Герце я знал ничуть не больше, чем о Ньюtone или Галилее, поминавшихся в этой пухлой и, к слову сказать, совсем не плохо написанной книге.

Я долго читал и перечитывал объявление. Мимо шли люди. Никого, кроме меня, этот листок не привлек, а я стоял и думал. К тому времени мне чертовски надоело чинить кастрюли. Загадочный мир радиоволн, да в придачу еще усиленное питание для тех, кто в этот мир проникнет, — все это было совсем не плохим вариантом дальнейшего жизненного устройства.

Но все же, чтобы быть честным, замечу: кроме усиленного питания, сыгравшего не последнюю роль в принятом решении, желание войти в мир радио подогревалось и некоторыми другими причинами. Одна из них — строительство в 1920 году на Шаболовке знаменитой шуховской радиомачты, вскоре ставшей символом нашей отечественной радиосвязи.

В те времена Москва почти ничего не строила, а скорее даже разрушала — в «буржуйках» сгорали остатки заборов. А тут вдруг стройка, да еще такая необычная. Из запасов военного ведомства строители башни получили десять тысяч пудов железа. Башня росла как своеобразный призрак — высокая, бесплотная, прозрачная и очень таинственная. Эта таинственность была многообещающей — ведь если страна позволила себе роскошь строить, значит речь идет о деле большой важности. Отсюда и ореол романтики, которым была в моих глазах окружена башня.

Про шуховскую башню было тогда много разговоров, казавшихся просто фантастическими. А вот откуда взялись радиокурсы, это стало известно мне уже позднее. Возникновение этих курсов тесно связано с огромным интересом к радио Владимира Ильича Ленина.

Не буду повторять широко известных сведений о том, как В. И. Ленин пользовался радиотелеграфом, как ценил радио. Ограничусь лишь напоминанием: после переезда Советского правительства в Москву, Ходынская радиостанция приняла первую радиограмму, адресованную Владимиру Ильичу. Радиостанцию из военного ведомства передали в Наркомпочтель. Радио стало средством гражданской связи.

И вот для гражданской связи, дела очень важного, понадобились люди. Профсоюз радиоспециалистов объединял тогда всего 2500 человек. Не приходится доказывать, что этого было мало. Так возникли организованные этим профсоюзом радиокурсы, зов которых я прочитал на листке объявления.

Семейный совет заседал недолго. Взвесив все за и против, дружно решили, что хуже не будет. С родительским благословением я и направился на Гороховскую улицу, 16, ныне улицу Казакова, и не подозревая, что вхожу в тот мир сигналов, который на всю жизнь станет моим миром.

Без особых формальностей меня записали в число слушателей. Народ собрался разный. Кроме таких же недоучившихся гимназистов, оказались и люди бывалые — инвалиды, участники мировой и гражданской войн. Занимались добросовестно. Времени терять зря не хотели ни слушатели, ни педагоги, а так как радиосвязь была еще молода, то сама собой по ходу занятий перед нами открывалась история того дела, которому предстояло служить.

Эту историю демонстрировала прежде всего наша аппаратура — громоздкие, в высшей степени нескладные ящики, при помощи которых и происходил процесс обучения. Передняя эбонитовая панель такого приемника имела толщину около двух пальцев. Под эбонит были загнаны огромные медные или латунные контакты. Для настройки приемника приходилось поворачивать ручки. Было это

Наш важнейший предмет — азбуку морзе преподавал нам товарищ Булгаков, симпатичнейший мужчина средних лет, имевший к тому времени большой опыт практической работы. Он был в числе очень немногих радистов, успевших уже к тому времени перезимовать в Арктике. Мы очень любили этого преподавателя, рассказывавшего нам всякие интересные истории. Пожалуй, эти истории и дали мне первые сведения о настоящей Арктике. Не той, про которую пишут в романах, а той, которая все время рядом с нами в холодных северных широтах.

Конечно, мы слушали Булгакова развесив уши. Он перезимовал на станции Югорский Шар. О своей зимовке говорил просто, как о работе, как о будничной жизни. Отсюда возникало ощущение полной достоверности его рассказов. Оказывается, что почта туда не ходит. Жены пишут в Архангельск почтовые открытки, там они попадают на радиостанцию, знаменитую Исакогорку, которая и передает дальше на север эти короткие домашние сообщения.

Но не нужно думать, что радиосвязь, в которой мы практиковались, протекала только от одного стола учебного класса до другого. Имели мы свою практическую радиостанцию, с которой держали учебную связь. Одна станция была на курсах, на Гороховской улице, вторая — в Новом Иерусалиме. Это недалеко от Москвы, и сейчас этот городок называется Истра. В годы войны фашисты безжалостно разрушили стоявший там прекрасный архитектурный памятник — Новоиерусалимский монастырь.

Тренировались мы на прием сообщений РОСТА, которые передавала Ходынская радиостанция. В определенные часы Ходынка начинала передавать азбукой морзе «Всем, всем, всем!». Это были сведения, которые на следующий день печатались во всех газетах, принимавших эти сообщения. Таким образом, прием «Вестника РОСТА» был нашим практическим занятием.

Через год был выпуск. Я отличился. Принимал быстрее всех — сто пятьдесят букв в минуту — и на правах первого ученика был направлен на Люберецкую приемную станцию. Если сейчас ехать на поезде, то сразу за Люберцами по левую сторону виден большой каменный дом и огромное количество антенн и радиомачт, а в мое время там стояло два засыпных барака и одна радиомачта.

Назначением этой радиостанции был прием сообщений прессы всех стран. Полученные сведения передавались в дальнейшем в редакции наших центральных газет.

Пришел я туда, на свое первое джурство, но прежде чем допустить меня к работе, заведующий радиостанцией, нелюдимый и черный, как таракан, товарищ, решил проверить возможности своего нового сотрудника. Он сел за приемник какой-то допотопной конструкции, примерно того же почтенного возраста, как и те, на которых нас учили, дал мне наушники, надел параллельный телефон, и мы стали принимать. Помню, как сейчас, принимали Лион. Для радиста все равно на каком языке передают. Он может записать на любом языке, не зная его, потому, что надо писать букровку за букровкой — и все будет в порядке.

Заведующий радиостанцией стал бойко писать, а я нарисовал на верху листа одну букву, посередине вторую, в конце, в правом уголке, еще одну — и иссяк. Заведующий посмотрел на меня косым недобрый взглядом, встал и ушел, не сказав ни слова. Через пять минут на стене появился приказ: меня увольняли за полной профессиональной непригодностью. Так печально началась моя радиокарьера.

Пришлось взмолиться. Попросил хотя бы две недели, без зарплаты, для практики ходить и принимать эти сводки. Наверное, заведующий, вопреки своему мрачному облику, был добрым человеком и понимал разницу между приемом сигналов с большой громкостью от одного и того же преподавателя и приемом при атмосферных помехах и плохой слышимости, да к тому же, когда вроде как держишь экзамен. Через неделю все было нормально, начал работать в коллективе радиостанции.

Я становился на ноги, понимая, что семье надо помогать. В эти годы, и без того нелегкие, заболел мой отец.

Всю жизнь он был щуплым, суховатым, на вид болезненным, но на моей памяти ничем серьезным не хворал. Теперь же он стал худеть и задыхаться. Врачи сказали — эмфизема легких. Но, наверное, это было что-то другое, гораздо худшее.

Как всегда, папа держался мужественно, делая вид, что все в порядке. Перебивая себя, ходил на работу в школу, бывшую женскую гимназию Валицкой, располагавшуюся на Садовой. Однажды он шел туда вместе с матерью. В Фурманном переулке, прислонившись к чугунному столбу газового фонаря, отец внезапно сказал:

— Слушай, мама, я больше не могу!

С этого дня он слег. Хорошо помню его руки с крупными узлами вен. Эти руки всегда трудились, а тут они бессильно легли на одеяло. Но и тяжело больной, отец оставался верным себе, сохранив присущее ему жизнелюбие и увлеченность. Стал изучать испанский язык. Это неожиданное занятие очень увлекло и принесло ему радость. Изучение языка побудило заинтересоваться всем испанским. Где-то он вычитал, что на острове Майорка растет трава эспарту. Из этой травы островитяне плетут какую-то особенно легкую обувь. В Москве обувь была проблемой, вероятно, большей, чем на Майорке. Отсюда желание отца написать статью с призывом к разведению этой экзотической травы.

Однажды, вернувшись с работы, я рассказал, что слышал Испанию. Это произвело огромное впечатление. Отец просто расцвел. Всем знакомым и родственникам было сообщено:

— Эрнст собственными ушами слышал Испанию!

Для отца было неважно, что испанской речи я не слышал — в наушниках звучали точки и тире азбуки морзе. Особенность сигналов заключалась лишь в том, что они вышли из-под ключа испанского радиста.

Папа много курил. Так продолжалось до последнего дня. Курил махорку, набивая ее в папиросные гильзы. Но к тому времени запасы гильз были исчерпаны, а купить папиросную бумагу стало делом невозможным. Отец был очень доволен, когда я ему эту папиросную бумагу достал.

Добыча выглядела несколько необычно — это были копировальные книги московских купцов, толстые фолианты из папиросной бумаги, на которую переводилась деловая переписка. Не нужно говорить, что по тем временам для московских курильщиков копии купеческих бумаг представляли ценность.

Аккуратно разрезая страницы копировальных книг на небольшие прямоугольнички, отец наматывал эти прямоугольнички на карандаш и склеивал гильзы. Затем самодельные гильзы набивались махоркой, которую я получал по пайку.

Болезнь брала свое, и все чаще отец просил:

— Сынок, помоги подышать!

Я садился к нему на кровать и, нажимая ладонями на грудь, облегчал выдох. Чем сильнее выдох, тем глубже вдох. На некоторое время отцу дышалось легче.

Даже тяжело больной, он прежде всего думал о нас. Иногда в моем пайке оказывалось несколько кусков сахара. Они аккуратно делились на четыре части: матери, сестре, отцу и мне. Когда на следующий день от сахара не оставалось и следа, отец вытаскивал свой кусок и отдавал матери:

— Ешь, ешь! Ты работаешь, тебе надо сохранять здоровье.

В декабре 1921 года мы устроили елку, потому что нам очень хотелось порадовать папу. В той единственной теплой комнате, где мы все ютились, места не оказалось, и мы поставили елку в одной из холодных комнат. Украшением послужили найденные нами какие-то огрызки свечей, старые игрушки. Отец к тому времени стал совсем худеньким и легоньким. Я поднял его с постели, завернул

в шубу и на руках перенес к елке. Отец прижался ко мне, заплакал и сказал сквозь слезы:

— Это моя последняя елка!

14 января 1922 года пасмурным зимним утром отец умер.

В холодной столовой его положили на диван. Достали гроб. Приехали знакомые и друзья. Отец лежал в своей потертой вельветовой курточке, в каких-то картонных туфельках. Стали заколачивать гроб. Все пришлось делать самим. Я взял в руки молоток, но забить гвоздь оказалось не по силам. Душили слезы.

Никакого похоронного транспорта в Москве тогда не было. Муж моей сестры перехватил на дороге какие-то розвальни. В этих деревенских санях лежала солома. Лошаденка по грязному, изъезженному московскому снегу потащила гроб через Разгуляй на кладбище «Введенские горы», а мы все шли за этими розвальнями пешком.

Стук первого мерзлого комка земли, ударившегося о гроб в этой зимней могиле, не забуду никогда...

* * *

Каждый день я отправлялся в Люберцы. Садился за приемник, надевал наушники. В наушниках щелкало и трещало атмосферное электричество. В этом треске естественных сигналов нужно было отыскать главное, за что мне, собственно говоря, платили деньги, — ряды точек и тире, ручейки, из которых и сливался поток информации, ежедневно наполнявший море газетных полос.

Снимая наушники, я попадал тоже в мир избранных — жрецов эфира, а попросту говоря, моих коллег-радивов, с их повседневными заботами. Этот беспокойный мир пришелся мне по вкусу. Стало ясно: менять его на что-либо другое не стану.

Я был молод. Радио не многим старше меня. Вот почему меняли мы свой облик со стремительностью, присущей переходному возрасту. Одна из таких великих перемен в деле, которому я служил, — изобретение радиотелефона. Говорят, что какой-то радист на северной зимовке чуть с ума не сошел, когда, надев наушники, вместо привычных точек и тире услышал в них человеческий голос. Сейчас это выглядит забавным анекдотом, но человеческая речь, прозвучавшая в наушниках после четвертьвекового владычества азбуки морзе, для нас, профессионалов, была настоящим чудом.

Разумеется, и на нашей радиостанции по этому поводу велось много разговоров. Стремительный рост радиотехники предвещал, что радиотелефон тоже недолго останется младенцем. Мы прекрасно понимали, что ему принадлежит большое будущее. Именно в ту пору, когда радиотехника преподносила нам, практикам, приятные сюрпризы один за другим, я услышал впервые о Нижегородской радиолaborатории — сердце радиотехнических исследований молодой Советской республики. Впервые услышал имя человека, с которым мне пришлось вскоре встретиться, — замечательного инженера Михаила Александровича Бонч-Бруевича.

Казалось бы, положение нашей страны тех лет довольно точно определяла поговорка: «Не до жиру, быть бы живу». Однако то, что сделали вопреки этой поговорке советские радисты, поразило их коллег в других странах. Осваивая новую радиотелефонную технику, Наркомпочтель обратился к германскому министерству почт и телеграфов с предложением провести совместный опыт двусторонних радиотелефонных разговоров Москва — Берлин. Предложение было принято. Наш представитель отправился в Берлин, чтобы вместе с известным ученым Арно и главным директором фирмы «Телефункен» слушать голос Москвы.

Радиосвидание назначили на 18 часов. Москва говорила по-русски и по-немецки. Берлин слушал, но ответить не смог. Директор «Телефункена» заявил, что у них что-то испортилось.

Радиоразговор этот с Берлином — первая радиотелефонная дальняя связь в Европе — происходил в 1920 году, а двумя годами позже в полный голос заговорила Московская центральная радиотелефонная станция.

Официальное открытие станции произошло в день пятилетия Великой Октябрьской революции, 7 ноября 1922 года. И поскольку не могу соперничать в красноречии с документами, приведу с небольшими сокращениями текст заметки, появившейся в «Известиях». Безвестный летописец от журналистики рассказал об этом событии так:

«7 ноября около 5 часов вечера Московская центральная радиотелефонная станция дала первый организованный для широких масс радиоконцерт с участием артистов и артисток.

Радиоконцерт слушали все приемные станции республики. Концерт был также воспроизведен громкоговорящими телефонами, поставленными на Театральной, Елоховской и Серпуховской площадях.

Была сделана специальная установка в столовой Трехгорной мануфактуры. Концерт был начат и закончен «Интернационалом»...

Особо большое стечение слушателей наблюдалось в рабочих районах. На Трехгорке концерт собрал до двух с половиной тысяч человек.

...Вчера получена радиограмма из Ташкента и из Обдорска, в которой благодарят артистов и устроителей концерта, причем в радиограмме из Обдорска говорится, что благодаря этому концерту праздник за Полярным кругом был действительно редким праздником».

В общем, сообщение «Известий» верно передавало впечатление от первых радиоконcertов. Однако, чтобы это впечатление было более полным, — две маленькие подробности...

Первые радиоконцерты передавала радиостанция имени Коминтерна, стоявшая неподалеку от той самой Гороховской улицы, на которой я приобщался к радиотехнической премудрости. Радиомачты выросли прямо среди домов, подле церкви на тихой улочке, которую вскоре переименовали по этому поводу из Вознесенской в улицу Радио.

Улочка была маленькой, неприметной, однако вошла не только в историю радиотехники, но и в историю советской авиационной науки. В 1924 году, под руководством нашего замечательного ученого Сергея Алексеевича Чаплыгина, на Вознесенской, еще не успевшей стать улицей Радио, началось строительство Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского, более известного под коротким названием ЦАГИ. С С. А. Чаплыгиным я долго жил в одном доме на улице, носящей теперь его имя.

Оставим историю строительства ЦАГИ специалистам по авиации и сосредоточимся на радиостанции, откуда впервые в эфир вышел голос Москвы. Под радиотелефонные передачи, большую по тому времени новинку, станция эта не была оборудована. Никаких радиостудий на ней не имелось. Первые радиоконцерты проходили под открытым небом. Микрофон выносили во двор, сюда же собирались артисты — и концерт начинался.

Иногда артисты запаздывали, но работников радиостанции это не очень смущало. Они хорошо знали, что сторож дядя Миша всегда выручит. И действительно, если нужно было заполнить какую-нибудь неожиданную паузу, то приглашали дядю Мишу, который хорошо играл на баяне.

Дядя Миша не раз выдавал в эфир свой бесхитростный репертуар и начал было уже уважать в себе талант, когда в один прекрасный день произошла неприятная заминка. Чем-то недовольный дядя Миша перед тем, как развести меха баяна, сделал какое-то краткое, но весьма выразительное заявление, наполненное совсем не эфирными словами. После этого его напрочь отторгли от артистической деятельности, предложив сосредоточиться на обязанностях сторожа.

Второй забавный случай произошел с одной из наших знаменитых певиц. Исполнив какую-то арию, она села в свой допотопный автомобильчик, потерявший за счет несметного количества ремонтов красоту первоначальных форм, и по-

просила шофера как можно быстрее ехать к Большому театру. Певица очень спешила, так как на Театральной площади стояли огромные по тем временам картонные репродукторы, из которых она рассчитывала услышать свой голос.

Сегодня на человека, вознамерившегося обогнать радиоволны, посмотрели бы как на дикаря из племени мумбо-юмбо. Тогда же это были средние представления о радиотехнике среднего человека. Право, он знал о ней не больше, чем знает сегодня о квантовой механике, неевклидовой геометрии или телекинезе.

Стремительное развитие радиотехники затягивало меня, и я несся в бурлящем потоке этих событий, словно на утлой лодчонке. Нельзя сказать, что лодчонка была неуправляемой. Напротив, я понял, что завоевать полные права гражданства в волшебном мире радио можно лишь при одном условии — надо было обзаводиться знаниями. Без знаний я рисковал и в радиотехнике остаться на всю жизнь кастрюльным мастером. Такая перспектива мне явно не улыбалась.

Учебе в радиотехникуме имени Подбельского я обязан многим. Отсутствие образования, наверное, лишило бы меня возможности увидеть многое, что мне посчастливилось увидеть и пережить.

Постигая глубины радиотехники (а в ту пору они были не очень глубоки, и это, несомненно, облегчало проникновение в них), я продолжал работу на Люберецкой радиостанции. Что говорить! Это было очень трудно, но я рад, что случилось именно так. Работа в Люберцах обогатила меня, помогла стать человеком и гражданином.

Работа на радиостанции, собиравшей воедино сообщения мировой прессы, ведущих телеграфных агентств печати, позволила по-новому взглянуть на то, что меня окружало, понять события, происходившие в стране и за ее пределами. Одно из этих событий — введение по инициативе В. И. Ленина новой экономической политики.

Нэп очень быстро изменил облик Москвы. Во-первых, появились булочные, а в этих булочных — все сорта и все виды черного и белого хлеба, о которых уже и вспоминать-то перестали. И калачи, и французские булки, ситный, пеклеванный, рижский, ржаной, заварной...

Открылись кондитерские. Одна отличная кондитерская была на Кузнецком мосту, там, где сейчас находится зоологический магазин, а другая великолепная — у Покровских ворот. В Столешниковом переулке, там, где сейчас небольшая площадь, находилось кафе, которое специализировалось на сбитых сливках.

Начали торговать мануфактурные магазины, магазины обуви и готового платья. На окнах квартир вывешивались записки, сообщавшие, что там можно получить домашние обеды. Видимо, финансовые инспекторы в то время не очень бушевали, и поэтому домашние хозяйки варили домашние обеды, и чуть ли не в каждом третьем доме можно было кушать эти обеды.

Нэп ощущался повсюду. В нашем переулке открылась молочная, в которой продавались и отличные колбасы, ветчина. Просто диву даешься, откуда нэпманы все это доставали. Пирожные были очень вкусные, со сбитыми сливками. Папиросы появились отличные: «аллегро», «червонец».

В оперетте Потапчиной (это сейчас Театр Маяковского на улице Герцена) был я на каком-то спектакле. Спектакль забыл, но то, что произошло после него, помню. Какой-то мужчина объявил:

— Граждане, не толпитесь у входа. Проверка документов.

В те времена такие облавы на дезертиров устраивались довольно часто.

Конечно, многого еще не хватало. Медленно ползли по городу трамваи, на которых гроздьями висели пассажиры. Ютились в подьездах и подворотнях мастерские, вроде той, которую я недавно покинул. По улицам, жадно подбирая папиросные окурки, бродили чумазые беспризорники. Но, с сумками через плечо, уже бегали и другие мальчишки — газетчики. Они громко выкрикивали новости, львиная доля которых проходила через нашу радиостанцию. За пятачок предла-

гались «Известия», «Правда» и новая, родившаяся в конце 1923 года «Вечерняя Москва», которую я, как старожил нашей столицы, полюбил на многие годы.

Но, прежде чем рассказывать о ворохе событий, обрушившихся на людей моего поколения в 1924 году, расскажу все то, что запомнил о горестном событии, о большом несчастье, которое принес нашему народу январь 1924 года. В трескучие январские морозы, которые в тот год были особенно люты, ворвалась страшная весть:

УМЕР ЛЕНИН!

На всю жизнь врезались в мою память эти дни. Жестокий, я бы сказал пронзительный, мороз. Толпы людей, понуро шагавшие по московским улицам. Опущенные головы. Приспущенные красные флаги с безмерно тяжелыми траурными полосами.

Заиндевшие, промороженные буквально до костей, люди шли к центру города, к Дому Союзов, в Колонном зале которого лежал Ленин. Пробыв потом много лет в Арктике, я никогда так остро не ощущал холод, как в эти январские дни в Москве. И дело было не в свирепости московских морозов. Кроме холода снаружи, шел еще и ледяной холод откуда-то изнутри, от самого сердца.

Спротивляясь морозу, мы брели к центру города. И чем ближе к центру, тем медленнее становилось движение человеческих толп. Подле Политехнического музея горели костры. Такие же костры горели и на многих других улицах. Жгли какие-то старые, развалившиеся дома. Жгли и огромные бревна. Они полыхали, не давая замерзнуть тем, кто шел к Ленину. Люди грелись у костров и шли снова, безмолвные, взволнованные, подавленные.

Порядок был идеальный. Те, кто организовал похороны, хорошо понимали, как безжалостен этот лютый мороз. Вдруг мимо нашей колонны проехал грузовичок. С этого грузовичка, из большой бочки, кто-то выгребал голыми руками тавот, разбрасывая замерзшие куски прямо в толпу. О чистом вазелине и помышлять не приходилось. Его просто не было. Люди ловили куски тавота, делились друг с другом, чтобы помазать себе носы и щеки.

В центре города шли рядами по три-четыре человека. Сначала мы поднялись по Большой Дмитровке, дошли до Столешникова переулка, снова повернули и направились к дверям Дома Союзов.

Внутри здания было так же холодно, как и на улице,— двери были распахнуты настежь. Обнажив головы, безмолвно застыли люди в почетном карауле. Рядом с членами правительства, с красными командирами, рабочими, представителями интеллигенции стояли и бородатые крестьяне в армяках, овчинных полушубках, а кое-кто даже и в лаптях. Паркетный пол, хотя и устланный ковровыми дорожками, был в снегу. Его натаскивали на ногах, а холодно было так, что снег не таял. Тихо играла траурная музыка, усугубляя тяжесть лежавшего на душе горя. Люди шли медленно и молча. Иногда лишь эту тишину нарушали громкие всхлипывания...

В эти дни особенно дробно стучал радиотелеграф нашей станции. Весь мир откликался на горестное событие. Наших полпредов, как назывались тогда советские послы за границей, посещали члены правительств и государственные деятели. Они принесли сочувствие своих государств. Пролетариат всего мира выражал свою великую скорбь. В Чехословакии, перед зданием полпредства, состоялась траурная манифестация. Норвежская коммунистическая партия выпустила манифест, призывавший всех норвежских рабочих в день похорон, в 11 утра, приостановить на 5 минут работу. Многие французские газеты вышли с траурными рамками. Шведские коммунисты назвали Ленина «Колумбом мирового пролетариата». Приостановили работу и немецкие рабочие...

Разумеется, рассказывая обо всем этом, я привожу здесь лишь небольшие крохи, капли того океана информации, которая хлынула на нас в связи с кончиной Владимира Ильича. И все же я не мог не рассказать об этом. Слишком ве-

лика была скорбь народа всей земли, чтобы не оставить навсегда зарубку в душах тех, кто тогда жил и работал.

В эти часы напряженной работы, а работать нам действительно пришлось дьявольски много, я полнее, чем когда-либо в своей жизни, ощутил то, что скрывается за словами, которые мы так часто произносим и пишем, но в которые далеко не всегда вдумываемся с достаточной глубиной — международная солидарность. Ощутил я и то, какой большой вклад в укрепление этой солидарности вносим мы, радисты. И если еще недавно, поступая на радиокурсы, я шел, подстегиваемый сообщением об усиленном питании, то в эти дни меня наполнила исполинская гордость за свою профессию, которую я увидел в совсем новом свете, совсем в новом качестве.

Миллион человек проводил Владимира Ильича в последний скорбный путь. Сотни миллионов людей в жарких и холодных странах были в эти часы мысленно с теми, кто шел за гробом по промерзшей заиндевевой Москве.

Но начало 1924 года вместе с грустным несло в себе и много радостного. Произошел перелом в международной жизни. Завершилось всемирное признание первого государства рабочих и крестьян. Англия, Италия, Норвегия устанавливали с СССР дипломатические отношения. Начались советско-японские переговоры. Прибыл в Москву первый греческий посол.

Помимо столь значительных государственных событий происходили и более мелкие. Запомнилось сообщение о князе Феликсе Юсупове. Собрав драгоценности, он покинул нашу страну. А так как князь привык жить по-княжески, то вскоре после приезда за границу он заложил два портрета кисти Рембрандта, стоившие огромных денег, американскому миллионеру Уайденеру.

В том же году Юсупов отправился в Америку выкупать заложенные полотна. Однако дело приняло неожиданный оборот. Народный комиссариат иностранных дел СССР заявил, что картины являются собственностью СССР, так как вывезены из нашей страны уже после издания декрета о конфискации имущества буржуазии, бежавшей за границу. Наркоминдел весьма недвусмысленно потребовал возвращения советскому народу драгоценных полотен.

Не помню, чем кончилась эта история, но шуму она наделала много. Я рассказал о ней как об одном из типичных для своего времени, спокойных, но авторитетных выступлений нашего молодого наркоминдела на мировой арене.

Тогда же я впервые услышал и имя человека, которое впоследствии проклинали миллионы и десятки миллионов людей. В конце февраля 1924 года в Мюнхене, в здании кадетского корпуса, началось слушание дела Людендорфа и Гитлера, обвинявшихся в мятеже с целью государственного переворота. Мы привыкли писать и говорить об этом факте несколько иронично, но одна деталь, которая мне запомнилась, выглядит так, что улыбаться не хочется: возле здания, где слушалось дело, были выставлены патрули и пулеметы.

Ну и для того, чтобы завершить эти несколько страничек о времени, в котором прошла моя юность, немного о делах житейских.

Одна из заметных перемен, связанных с нэпом, — появление червонцев. Червонец был первой «весомой» денежной единицей с золотым содержанием. Золота в нем содержалось ровно столько же, сколько в царской десятирублевке, что, безусловно, производило сильное впечатление на публику, привыкшую к безудержному падению «лимонов», или, как их официально называли, «совзнаков».

Червонцы были очень приятные деньги. Великолепная бумага. Радужная эмблема, похожая на нынешнюю эмблему фестиваля молодежи (что-то круглое с лепестками). Червонцы имели одну особенность — они менялись в цене. Каждый день они становились дороже, потому что, помимо червонца, существовали еще и обыкновенные деньги. Каждый день газеты объявляли курс червонца. Курс этот все время повышался, и поэтому многие кассиры и бухгалтеры имели крупные неприятности, когда задерживали зарплату — ведь получалось, что совсем не одно и то же получить ее сегодня или завтра. Вокруг этого темными людьми совершались какие-то финансовые махинации. Не знаю сути этих комби-

наций, да и волновали они меня мало. Главной заботой было заработать этот червонец.

В середине февраля 1924 года появилась наконец и звонкая серебряная монета: рубль, полтинник, двугривенный, пятиалтынный и гривенник. Газеты радостно писали: «Чеканка серебра налажена. Очередь за медной монетой».

На первый взгляд сообщение третьестепенное, ан, нет! И гривенники и пятиалтынные и последовавшие за ними пятаки и гроши (существовала в те годы такая монета — половина копейки) были реальным и весьма веским доказательством укрепления, упорядочения наших финансов. Царство ничего не стоящих миллионов уходило в прошлое. Уходило навсегда.

Это радовало. И понимаешь гордость управляющего фабриками Гознака Енукидзе, заявившего по поводу бывших миллионов: «Осталось только некоторое количество знаков для хранения в музее».

Сдавались в архив миллионы, а одновременно происходила и другая реформа — уходили в такое же безвозвратное прошлое вековые меры царской России — пуды, фунты, вершки, аршины, сажени, золотники. Страна переходила на метрическую систему, которая сегодня кажется нам существующей извечно.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАИ

Рассказы морского волка. Даешь Тасманию и Рио-де-Жанейро! Васильевский остров — это не остров Пасхи. Грузовоз «Профсоюз» и его машинист. Что сказал начальник отдела кадров. Я иду в Адмиралтейство. Встреча с Матусевичем. Красавец в жарком бушлате. Архангельск — ворота в Арктику. Как чайки Соловецкий монастырь спасли. Маточкин Шар. Мои товарищи по первой зимовке. Талант нашего Пауля. Зауряд-врач Федосеев. В магнитном павильоне. Костя Зенков. Наша великая стройка. Белое безмолвие. Снова Москва.

В жизни я повидал много разной разности. Приходилось попадать в весьма неприятные положения. Все это научило меня совмещать, казалось бы, несовместимые вещи: веру в случай с умением энергично отстаивать и защищать свои жизненные взгляды. Я бы сказал, что случайность и необходимость как-то складно сосуществовали и сосуществуют в моей жизни.

Одно из моих жизненных убеждений, с которого хочется начать рассказ о проникновении в Арктику, состоит в том, что где-то наверху, куда космонавты еще не залетают, работает в поте лица небесная канцелярия. Как во всяком приличном учреждении, есть, наверное, в небесной канцелярии управление кадрами, в котором ведется знаменитая книга живота и смерти.

Не знаю, что начертано в такой книге по поводу Кренкеля, но если там записано, что мой удел отравиться кильками, то ни чтение журнала «Здоровье», ни систематическое заглывание витаминов А, В и С уже не поможет, хотя это вовсе не означает, что не надо принимать витамины или звать врача, когда тебе становится худо.

Нечто похожее произошло и с Арктикой. Не хочу врать, что с пятилетнего возраста готов был всецело отдаться решению проблем Арктики, что с утра до ночи грезил айсбергами, моржами и белыми медведями. Я уже писал, что увлекался географией и даже получал за это в гимназии пятерки, но арктические истории поражали мое воображение ничуть не больше тропических. Ливингстон или Стенли в моих глазах выглядели не хуже Нансена или Норденшельда. Одним словом, Арктика не имела в моем сознании ни малейшего преимущества до той поры, про которую я хочу рассказать.

В 1924 году произошел большой поворот в моей жизни. Потянуло побродить. Страстно захотелось на море. Произошло это, вероятно, потому, что по натуре своей — я человек практики и действия. Люблю живое дело. Если оно меня увлекает — работаю не щадя сил. В канцелярии я бы умер со скуки и был бы похоронен без речей и духового оркестра.

Эти черты моего характера — закономерность. Но была в моем первом северном походе и большая случайность...

Всю жизнь я верю в симпатии и антипатии, в любовь с первого взгляда, во флюиды, возникающие у людей при знакомстве и определяющие их отношения. Всю жизнь мое неизменное правило — думать о людях хорошо. Когда я знакомлюсь с человеком, всегда исхожу из того, что он хороший человек. Несколько раз случалось и так, что личность, показавшаяся поначалу чрезвычайно симпатичной, потом иных слов, как «сукин сын», не заслуживала. Убедиться в этом всегда бывало в высшей степени досадно. Я обычно ругал себя дураком и простофилей, но своего отношения к людям так и не изменил.

Так вот, случай, о котором я упомянул выше, явился ко мне в образе симпатичнейшего молодого человека...

Так уж нескладно получилось: запомнил его облик, дом, в котором он жил рядом со мной, но начисто забыл имя и фамилию. Он был лет на пять старше меня. Очень подтянутый, спортивный, обращавший на себя всеобщее внимание тем, что ходил в шляпе. Шляп тогда не носили — они считались отрыжкой старого мира. Головной убор моего знакомого был едва ли не единственным во всей Москве.

Мы познакомились. Он был студентом какого-то высшего учебного заведения. Я работал радистом на Люберецкой радиостанции и учился в радиотехникуме на той же Гороховской улице, где размещались радиокорсы, которые я незадолго до этого окончил.

Ах, какой это был герой! Вот бы мне быть таким! Ну, куда уж! В отличие от меня он был прилично одет, и все сидело на нем с каким-то особым шиком. Ни в какое сравнение не могла идти моя разномастная, предельно потрепанная одежда. Но не это было главным.

Новый знакомый покорила меня грандиозным житейским опытом, который сумел приобрести за свои двадцать пять лет. Как он рассказывал о смерчах, пожарах в пампасах, борьбе со льдом и героике моряков! Будучи два месяца практикантом-машинистом на портовом буксире, он избородил весь Финский залив вдоль и поперек.

Моему знакомому потрясающе повезло: за два месяца ему лично пришлось пережить все то, что случалось с людьми на море начиная со времен Одиссея. Ужасно жаль, что я забыл имя этой выдающейся личности, потерял его для грядущих поколений. Благоговейно внимая его повествованиям, я мог только безумно завидовать и думать, что это неповторимая судьба и таких людей не было и больше не будет.

Рассказы морского волка сделали свое дело: вперед, хочу быть судовым радистом! Даешь острова Кука, Тасманик и Рио-де-Жанейро! Очертя голову я устремился в открытое море. С трепетом взял у своего знакомого записку. На обрывке бумаги карандашом было нацарапано: «Петя! Помоги этому парню. Он в доску свой...»

Это была моя путевка в жизнь.

Петя оказался машинистом грузового суденышка «Профсоюз» и какими-то неведомыми путями должен был помочь мне выйти на просторы мирового океана. В словах «в доску свой», по-видимому, и заключалась полная гарантия успеха.

Москва тогда еще не была портом пяти морей, а корабли, как известно, отходят от пристани. На собственный кошт я отправился в Ленинград. Через некоторое время с куском мыла и полотенцем в кармане, с мечтой уплыть в далекие страны, переполнявшей юную мятущуюся душу, стоял я на брегах Невы.

На мое счастье, «Профсоюз» стоял в Ленинграде, пришвартовавшись к Масляному Буяну, на Васильевском острове, недалеко от горного института. Впервые в жизни я вступил на борт корабля. Боже! Как восхитительно пахнет смоляными канатами, машинным маслом и каким-то чужеземным супом!

Петя деловито осведомился, где я собираюсь ночевать. Узнав, что в «Евро-

пейской» и «Астории» для меня номеров не забронировано, он предложил спать на его койке, так как сам ночевал дома, на берегу.

— Я скажу коку, чтобы он дал тебе миску супа, но на второе не рассчитывай.

Началась роскошная жизнь. Спал в кубрике, в носовой части корабля. Матрацы отсутствовали. О простынях и одеялах даже говорить не приходится. Вместо подушки — жесткий пробковый спасательный пояс. Болели бока и голова, но зато я был на настоящем корабле и засыпал под плеск невской воды.

Утро застало меня на палубе. Как чудесно выглядит Нева! Мосты, красивые здания, торопливые моторные лодки, медленные буксиры и стоящие в ожидании ремонта большие, настоящие корабли.

Море рядом, но Огненная Земля не стала ближе ни на один метр. А выйти в море хочется. И вот, в поисках этого выхода, я брожу по Васильевскому острову. Конечно, Васильевский остров не остров Пасхи, но здесь, на углу Девятой линии, стоял нужный мне дом. Не могу сказать, что он показался мне чем-либо примечательным. Только много лет спустя я обнаружил, что дом буквально облеплен мемориальными досками. В старые времена здание принадлежало Академии наук, и в нем жили многие профессора университета, в том числе весьма известные и даже знаменитые. В то время, когда к этому дому прибред я, в нем размещался отдел кадров Балтийского пароходства.

Начальник отдела кадров был демократ. Пробыться к нему не составило ни малейшего труда, но разговор оказался весьма и весьма кратким:

— Хочу быть морским радистом!

Начальник сочувственно посмотрел на меня, покачал головой и задумчиво сказал:

— Э... милый! Не успел задницу от школьной скамьи отодрать, а уже спешишь в заграничье? Да известно тебе, что в загранку ходят теперь всего два корабля? Посмотри, сколько опытных радистов болтается у подъезда.

Этого я не знал, а узнав, понял, что больше начальника задерживать явно не стоит. И, получив от ворот поворот, сделал единственное, что оставалось делать, — стал толкаться среди безработных морских радистов, которых оказалось у подъезда этого дома действительно великое множество.

Десятки радистов слонялись без дела. Проведя несколько часов у подъезда в их обществе, я наслушался всяких историй от этих настоящих морских волков. Недосказанным окончанием всех разговоров была одна невеселая мысль:

— А работы-то нет и нет...

Еще в Москве я постарался придать себе сугубо морской вид. Но разве в Москве можно купить настоящую морскую фуражку? У меня оказалось только жалкое подобие таковой. Конечно, надо бы иметь тельняшку, но и она была у меня тоже какой-то не настоящей. Вместо бело-синих полос — красно-синие.

Последним мазком в портрете морского волка, рисовавшемся в моем воображении, должна была стать трубка. Какой же моряк без трубки? Без нее этот автопортрет был бы не портретом, а жалким эскизом.

Была моя трубочка плохонькой и грошовой, и табак был не «кепстен», а махорка, но все вместе взятое: фуражка, тельняшка и трубка — придавало мне (правда, только по моему мнению) облик бывшего моряка.

День за днем я слонялся вокруг конторы пароходства. Рассчитывать оставалось только на два варианта: или от внезапной вспышки чумы перемерет вся очередь, кроме меня, или же немедленно появятся откуда-то десятки пароходов и возникнет небывалый спрос на радистов. Оставалось надеяться только на чудо, но чуда не произошло.

В середине дня наступал час обеда. Обычно он происходил за углом, на Девятой линии, где находилась столовая, бывшая недавно трактиром и даже не успевшая сменить свою вывеску. Но все — грязные скатерти и невкусную пищу — можно было простить за одно ее название: «Золотой якорь». Внешность скромных посетителей столовой отнюдь не говорила о недавнем возвращении с

Острова сокровищ. Их лица были без шрамов, никто не стрелял и не было ни единого человека с черной повязкой на глазу. Все чинно хлебали жиденький суп, ели треску, а самые богатые после долгого колебания, под одобрителные взгляды остальных, заказывали кружку пива, к которому, как бесплатное приложение, полагалось блюдечко моченого гороха.

Однажды на нашу биржу пришло сообщение, что можно устроиться радистом на маленький речной кораблик, бегавший от Ленинграда до Шлиссельбургской крепости по Неве. Я даже ринулся к этому кораблику, но, видно, в книге живота и смерти по этому поводу было записано нечто иное, и кораблик прошел мимо. Я огорчился. Касса моя пустела, был я приезжий, мой оптимизм начал ощущать весьма неприятную вибрацию, которую в общезнании принято называть дрожью в коленках.

Шли дни. Несмотря на бешеную экономию, деньги таяли, «Профсоюз» собирался уходить, а это было чревато потерей бесплатного ночлега, но в конце концов, как в настоящем романе, счастье должно было улыбнуться, и оно улыбнулось!

Однажды кто-то из радистов сказал мне:

— Видишь на том берегу желтый дом со шпилем? Это Адмиралтейство. Я вчера там был. Собирается экспедиция в Северный Ледовитый океан для смены личного состава на каком-то острове. Им срочно нужен радист, но платят они мало и на целый год надо ехать куда-то к черту на кулички...

Не дослушав объяснений, я уже мчался в указанном направлении. Я не знал и не мог знать, что этот поход в Адмиралтейство был именно тем «его величеством случаем», который врывается в жизнь людей, чтобы властно повернуть ее в совсем неожиданном направлении. Именно в эту минуту, определившую мою жизнь и работу на долгие годы, я шагнул к Полярному кругу.

(Продолжение следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

А. ВОЛКОВ

★

«РАБОТА НА СЕБЯ»

I

Приблизительно год назад мне довелось присутствовать на совещании в Невском межрайонном производственном управлении Ленинградской области, и меня поразило выступление директора одного совхоза.

— Хоть расстреляйте, а я не могу принять такое поголовье коров, какое планируется, — заявил директор с трибуны.

Он так и сказал — «расстреляйте», и я буквально привожу его слова, понимая их несурзность, потому что из этого видно состояние директора — так может сказать только доведенный до отчаяния человек. Чем же? Оказывается, сознанием своей беспомощности перед масштабами развития производства, которые предлагались. Директор уверял, что коллектив не способен «переварить» довольно неожиданно выделенные ему большие средства. Руководитель хозяйства смотрел на них не как на благо, а словно на скалу, обрушившуюся на его плечи, которую он не способен удержать и которая его должна раздавить.

Вспоминаю другое — эпизоды того времени, когда специально составляли списки отстающих хозяйств, чтобы оказывать им особую помощь. Бывало так: дали колхозу или совхозу дополнительную технику, выделили удобрения, предоставили для приобретения одного и другого кредит, а дело вперед ничуть не двинулось. Техника используется плохо, удобрения никак с железнодорожной станции не вывезут, а все потому, что не произошло изменения в главном — в отношении людей к производству. Люди порой оказывались опять-таки неготовыми «переварить» дополнительные материальные ресурсы, им выделенные, или не были заинтересованы, не видели смысла в дополнительных усилиях, которые для этого требовались.

Но вот факт совершенно противоположного свойства.

В 1968 году два члена звена Владимира Первицкого из Кубанского института испытаний тракторов и сельхозмашин — Николай Пруглов и Константин Михайлов — были направлены в хозяйства, которые на протяжении многих лет собирали низкие урожаи. Поставили опыты. Поле делили пополам: на одной половине работали хозяева, на другой — гости, все средства производства были одинаковыми. Результаты оказались поразительными. Николай Пруглов на своем участке в колхозе «Путь Ильича» Новокубанского района собрал по 41 центнеру зерна с гектара, а хозяева — по 16,7. Константин Михайлов в совхозе «Эркин-Юртский» Карачаево-Черкесии снял 46,3 центнера зерна с гектара, а механизаторы хозяйства на своей половине поля — 18,7. Как видим, сугубо материальные агенты в повышении урожая не участвовали. Но очень материально, весомо выразилась разница в мастерстве механизаторов и, я бы сказал, самолюбие, что ли, рабочих из звена Владимира Первицкого, их ответственность перед коллективом, который поручил им представлять себя.

Почему все это вспомнилось?

Вот почему: промышленное и сельскохозяйственное производство страны вступило в пору интенсивного развития. Процесс объективный, но он сознательно направляется партией и государством. Июльский (1970 года) Пленум ЦК КПСС наметил меры укрепления материально-технической базы земледелия и животноводства, определил, что нужно сделать для научно-технического прогресса в деревне. В сельскохозяйственное производство и отрасли, с ним связанные, за годы новой пятилетки будут вложены большие средства. Очевидно: для того, чтобы получать хорошую отдачу, добиться высокой эффективности производства и максимально возможного роста производительности труда, необходимо держать во внимании все воздействующие на это факторы. Тут и пропорциональность вложений, их комплексность, адресация по наиболее перспективным направлениям развития науки и техники, учет местных природно-климатических условий в процессе строительства специализированных комплексов и многое другое. В заботах о капиталовложениях, механизации, специализации производства, как неоднократно обращала на это внимание наша партия, не следует терять из поля зрения человека, во имя которого все это делается и от которого, с другой стороны, зависит успех любых хозяйственных акций.

II

Интересно в связи с этим обратить внимание на те тенденции, которые проследживает наука в производстве. Притом нас должно, видимо, интересовать и промышленное производство, поскольку по интенсификации оно опережает сельское хозяйство и многие тенденции вырисовываются здесь значительно яснее. Ученые приходят к выводу, что интенсификация, научно-технический прогресс, совершенствование средств производства не принижают, как порой полагают, а, напротив, повышают роль человека (его знаний, квалификации, его отношения к труду) в достижении экономических целей. Обнаруживается в этом смысле некая своеобразная спираль.

Вот цеховой мастер средних веков, скажем, каретник. Его ремесло граничит с искусством, его знаниями, навыками, вкусом и мастерством определяется количество и качество изделий, на них он часто с гордостью ставит свою роспись. А вот герой Чаплина из фильма «Новые времена». В течение всего рабочего дня он выполняет одну и ту же операцию, собственно, одно движение — закручивает гайки на движущемся конвейере. Одно и то же, одно и то же — буквально до одурения; эти гайки он видит потом вместо пуговиц на платье девушки и даже носа мастера. Знания, сообразительность тут не нужны; такой труд отупляет, уродует человека, превращая его из мыслящего, деятельного субъекта в какой-то живой механизм. Известный прогрессивный исследователь автоматизации С. Лилли приводит выразительный факт: рабочий, который много лет подряд выполнял одну и ту же операцию — закручивал болты на конвейере сборки задних мостов автомобиля — перешел на другую работу, где должен был сортировать черешни, черную — налево, белую — направо. Хотя оплата была здесь выше, все условия лучше, он через неделю попросил расчет, мотивируя это так: «Ответственность — вот что меня удручает. Всегда думай, думай, думай!» Эпизод просто страшный.

И вот, наконец, работник, управляющий процессами в автоматизированном химическом производстве, или наладчик каких-то совершенных машин. Затраты физического труда у него могут быть ничтожными, здесь «труд, — говоря словами К. Маркса, — выступает уже не столько заключенным в процесс производства, сколько таким, при котором человек является по отношению к самому процессу производства его надзирателем и регулятором...»¹. Успех производства при этом в огромной мере определяется знанием, квалификацией человека, так же как у каретника, только это уже на совсем ином уровне развития производительных сил.

Не говорю уже о самом очевидном: участок производства, порученный работнику, все увеличивается, средств производства на него приходится все больше, значит, и ответственность его за экономические результаты хозяйствования быстро возрастает.

¹ «Большевик», № 11—12, 1939, стр. 62.

Простейший пример: сломал лопату — одно дело, ущерб невелик, вывел из строя экскаватор — совсем другое, технологическую линию — того хуже. Даже простой сложной машины обходится очень дорого, потому что велики амортизационные отчисления, а срок морального старения техники быстро сокращается.

Хочется подчеркнуть то, к чему мы потом вернемся: высококвалифицированного работника трудно заставить хорошо трудиться, не просто и порой невозможно контролировать выполняемые им операции, если качество прямо не отражается на его именно продукте, а сказывается только потом в плодах труда какого-то коллектива. Такой работник должен хотеть хорошо трудиться и сам себя контролировать.

В своем рассуждении я сначала несколько отрешился от социальных условий, а ведь К. Маркс убедительно показал, что превращение рабочего в придаток машины является следствием причин не только и не столько технических, сколько социальных, следствием отчуждения труда.

Известны высказывания, например, Генри Форда (II), профессора Гартмана и других капиталистических предпринимателей, экономистов, философов по поводу того, как хорошо бы добиться от работника полной отдачи сил, умственной энергии, знаний; как много могло бы это дать. Однако подобные рассуждения звучат порой несколько пессимистически, в плане несбыточного желания. Известно и то, что в развитых капиталистических странах все чаще используются такие меры, как продажа рабочим акций предприятия, на котором они трудятся, различные формы участия рабочих в прибыли, точнее — отчисление им от хозяйских доходов такой доли, которая определяется самим хозяином и, уж конечно, не идет ему в ущерб. Задача очевидна — создать у человека представление, что он не эксплуатируемый наемный работник, а хоть в какой-то степени, но совладелец предприятия, поэтому, значит, должен денно и нощно печась об его успехе. Той же цели служат и пропагандистские меры в духе доказательства единства интересов рабочих и капиталистов как членов неделимого индустриального общества. Предприниматели не жалеют денег на такие вещи. На предприятиях США действует более пятисот бюро, включающих «специалистов по человеческим отношениям», свыше четырехсот промышленных корпораций содержат специальные социологические и социально-психологические институты или отделы. Нельзя недооценивать всех этих мер воздействия на работника. Однако основного противоречия — между общественным характером труда и частнокапиталистической формой присвоения его результатов, между наемным трудом и капиталом — они, конечно, не разрешают. Хозяин и его наемный работник неизбежно противостоят друг другу, психология работника неизбежно формируется в том направлении, чтобы, как подметил В. И. Ленин, «освободиться от лишней тяготы» и «урвать хоть кусок у буржуазии»¹. Как бы ни стремились идеологи капитализма приукрасить наемные отношения, неизменной остается их суть, а потому рабочий, как писал еще Маркс, «...в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развертывает свободно свою физическую и духовную энергию, а изиуряет свою физическую природу и разрушает свой дух»². Наемный труд, утверждает К. Маркс, подобно рабскому и крепостному труду, представляет собой лишь переходную и низшую форму труда, «...которая должна уступить место ассоциированному труду, выполняемому добровольно, с готовностью и воодушевлением»³.

Октябрьская социалистическая революция положила начало новым отношениям людей, основу которых составляет общественная собственность на средства производства и «равенство общественного положения»⁴. На этой основе, в силу того, что перед человеком после долгих лет эксплуатации возникла возможность «работы на себя»⁵, стало реальным создание таких условий, при которых работник может и, главное, хочет максимально проявить свои способности. На это наше преимущество неодно-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 199.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. 1956, стр. 563.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 16, стр. 9.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 364.

⁵ Там же, т. 35, стр. 196.

кратно обращали внимание классики марксизма-ленинизма, а теперь уже в силу самого развития производительных сил складываются благоприятные обстоятельства для его возрастания. Почему я говорю об этом как о возможности? Потому что важно, думается, осознать по-настоящему значение этого фактора и, не полагаясь на самопроизвольное, стихийное развитие того, что уже достигнуто, целенаправленно действовать. Ф. Энгельс в письме Отто Бёнигку справедливо заметил, что социалистическое общество «не является... какой-то раз навсегда данной вещью», его надо рассматривать «как подверженное постоянным изменениям и преобразованиям»¹.

Современный уровень развития производства таков, что позволяет наблюдать представленную нами «спираль» не только в ретроспективном плане, исследуя многовековую историю, но и в нашем времени — правда, в несколько ином виде и в разных производствах. Наше время как раз характерно тем и, я бы сказал, тем сложно, что в нем уживаются ручной труд (особенно много его в сельском хозяйстве, в частности в животноводстве, много в сфере обслуживания), частично или полностью механизированный труд, а также в разной степени автоматизированные процессы. У нас вместе с этим и вследствие различного уровня развития производительных сил, хотя собственность на средства производства является общественной, уровни экономического обобществления в разных отраслях производства и сферы обслуживания также различны. Достаточно сравнить, скажем, парикмахерские и железную дорогу. Парикмахер со своими ножницами и даже электрической машинкой может работать хоть в одиночку, а на железной дороге немислимо представить полную автономию даже в пределах большого участка, отделения дороги. Говоря о роли человека в производстве и о производственных отношениях, нельзя, видимо, не учитывать эти существующие различия, это многообразие ступеней в характере труда и обобществления производства. Игнорирование современной своеобразной «мозаики», возникающей из разного уровня технической вооруженности и экономического обобществления производства, приводит и к ошибкам и к спорам, когда ученые, исследующие автоматизированное производство, например, никак не могут понять ученых, рекомендующих те или иные меры для сельского хозяйства. Во избежание недоразумений я должен оговориться, что ориентируюсь в своих рассуждениях главным образом на сельскохозяйственное производство, хотя некоторые выводы имеют, думается, более широкое значение. Это касается и самой постановки вопроса: если роль человека в производстве возрастает, если, как пишет тот же С. Лилли, «темпы дальнейшего развития будут, вероятно, определяться скорее социальными, чем техническими факторами», то что же нужно сделать нам для большей заинтересованности человека в успехе производства, каковы в наших условиях определяющие это факторы и что сейчас требует особого внимания?

III

Сошлюсь на конкретный пример из сельскохозяйственной практики, чрезвычайно, думается, многозначительный. В прошлом году я был в Зауралье, и в Курганском обкоме партии мне рассказали, что победитель всесоюзных соревнований 1968 года по классу гусеничных машин Владимир Планков в своем совхозе «Такташинский» занимает по выработке на трактор восьмое-девятое место, а в зароботке отстал от передовых и того дальше. Он завоевал все первые призы на районных, областных, зональных соревнованиях пахарей и дошел до высшей ступени всесоюзного пьедестала почета, но у себя в хозяйстве три предыдущих года Владимир все время был в «среднячках». Что же это за парадокс?

Объяснение его насколько просто, настолько и удивительно: во время состязаний труд механизатора оценивали прежде всего по качеству, а на совхозном поле — по количеству, хотя как раз совхозная земля суммирует плюсы и минусы пахоты не просто в баллах — в центнерах урожая.

Примечательно, что на соревнованиях, на самые первые, районные, Планков попал почти случайно. Ему просто повезло, что соревнования проводились именно здесь, в

¹ «Письма о «Капитале». Политиздат. М. 1968, стр. 495.

«Такташинском». Другие хозяйства подбирали кандидатов по привычному принципу: у кого выше выработка, чье имя долгие годы пишется на Доске почета. А Владимир, как уже говорилось, никогда не числился ни среди лучших механизаторов совхоза, ни тем более района. Просто в «Такташинском», готовясь принять соревнующихся и выбирая для состязаний поля, хорошо ознакомились с правилами, условиями соревнований. Руководители хозяйства рассказывали потом: «Мы поняли, что главное — качество и в пахоте и в уходе за машиной, и тогда решили: надо найти и выставить от совхоза ребят добросовестнее. Пусть у него там не очень уж с показателями, важнее, чтобы старательным был».

С некоторым смущением показывал мне Володя многочисленные «трофеи», завоеванные в один год: кроме символических призов, часы, радиола, телевизор, магнитофон, кинокамера с проектором, мотоцикл с коляской (еще один мотоцикл он подарил отцу — тоже механизатору, своему учителю). Призы — это хорошо, но в обычном, будничном труде добросовестный пахарь (а Владимир считает, что в совхозе есть мастера, умеющие работать не хуже его) часто оказывается в невыгодном положении по сравнению с менее добросовестными, разве что вот неожиданно-негаданно выбьется в чемпионы. При отличном качестве, утверждает Планков, иную норму даже выполнить трудно, но ведь все построено так, что механизатор должен непременно стремиться ее перевыполнить. И вот тут-то могут и возникать противоречия и с общественным интересом, и даже подчас с собственной совестью. На самом же деле все эти нормы и расценки должны быть нацелены на стимулирование эффективности общественного труда, заинтересованности в его результатах каждого человека.

Работники Курганского обкома партии справедливо усмотрели в этом факте сложное переплетение проблем производственных и нравственных. Во время соревнований, когда многие трактористы, причем из лучших, набирали всего пятьдесят—шестьдесят баллов из ста возможных, здесь убедились, как много теряют хозяйства оттого, что земля обрабатывается не лучшим образом (при этом я вспоминал завидные урожаи курганцев). И только потому, оказывается, что человек либо недостаточно хорошо знает дело, либо недостаточно добросовестен, причем первое зачастую является следствием второго. А недобросовестность тоже, думается, не биологическое качество отдельного индивида, скорее это следствие определенных обстоятельств. Вот в «Такташинском» как раз сложилась ситуация, при которой работник не только не заинтересован в лучшем исполнении данной конкретной операции, но под постоянным воздействием неверно направленных стимулов может определенным образом в дурном смысле воспитываться. Особенно пагубное воздействие сложившаяся ситуация может оказать на молодых рабочих. Да и оказывает, конечно.

На первый взгляд вся беда видится именно в системе оплаты труда, в индивидуальной сдельщине. Но разве для нас новость, что индивидуальная сдельщина может в определенных условиях вызывать у работника отнюдь не коллективистские, а скорее эгоистические побуждения, порождать противоречие его интересов общественным? Известно, что еще Маркс подметил разъединяющее действие сдельщины на людей. Группа английских экономистов, выпустившая в 1958 году книгу «Производительность труда и экономические стимулы», — Д. Девисон, П. Флоренс, Б. Грей, П. Росс — почти буквально повторила Марксову формулировку, говоря об итогах исследования, проведенного при переходе предприятий на сдельно-прогрессивную оплату. Авторы пишут, что разрывы в заработках породили дух конкуренции и «почти все проинтервьюированные признали, что после введения экономических стимулов (сдельщины.— А. В.) произошло обострение личных взаимоотношений». При капиталистическом найме это вполне понятно: каждый сам по себе имеет отношения с нанимателем, больше делает — больше от него получает, а от труда товарищей его оплата может и не зависеть совсем, если сам процесс производства, его технология не делает эту зависимость обязательной. Но и тогда она проявляется лишь в пределах небольшой группы, а не всего предприятия. Рабочие одной профессии, напротив, часто сказываются в конкурентном положении: прежде всего, конечно, никто не хочет попасть в армию безработных. Но почему же у нас-то, в условиях общественной собствен-

венности на средства производства, индивидуальная сдельщина тоже порой оказывает нежелательное воздействие на человека, на коллектив? Почему, например, мы нередко наблюдаем недоброжелательное отношение к передовику производства, которому, казалось бы, все должны быть благодарны, поскольку он больше всех вкладывает сил в развитие общественного производства, в накопление общественного богатства? Почему индивидуальный интерес может возобладать над общественным? Почему, наконец, мы не откажемся от этой самой сдельщины, которую ругаем в печати особенно активно по крайней мере лет десять?

За последние годы принимались энергичнейшие и массовые поиски наиболее совершенных форм оплаты труда. Чуть ли не в каждом колхозе и совхозе изобретали свою систему оплаты и организации труда, каждый уважающий себя хозяйственник имеет на этот счет свое мнение, вынашивает свои планы преобразований, и нет недостатка в экспериментах. Результаты? Есть, конечно, определенные достижения, но порой и вреда от изобретательства не меньше, чем пользы. Системы оплаты труда все усложняются, превращаются в нагромождение всяческих доплат к основному заработку — за превышение плана, за качество, за экономию и т. д. и т. п. Колхозники порой толком и разобраться не могут, за что получают дополнительные доходы, а в этом случае их стимулирующее воздействие равно нулю. В иных хозяйствах условия оплаты труда ежегодно меняются, а это создает неуверенность у работников в правильности оценки их деятельности, особенно если смены происходят без достаточного разъяснения существа дела и без обсуждения их целесообразности в коллективе. Пожалуй, эти «бедствия» особенно характерны для колхозов, но не только для них. Исследования специалистов на ленинградских промышленных предприятиях показали, что и там в случаях, когда человек оставляет свою работу, неудовлетворенность зарплатой вызывается не просто ее размерами, но в значительной степени такими моментами, как неустойчивость заработка, несправедливость оплаты, несоответствие ее затраченному труду, порядок распределения поощрительных фондов.

Чем же обусловлены неудачи или, скажем мягче, недостаточная результативность столь массовых поисков? Думается, тем, что на оплату труда пытаются порой взвалить непосильную «ношу», отводя ей более значительную роль, чем она в действительности может сыграть. Представляется, что из Марксовой формулы «общественное бытие определяет общественное сознание», из ленинских известных положений о роли материального интереса делались порой чересчур прямолинейные практические выводы: вместо совершенствования экономических отношений, действительно составляющих основу общественных отношений, мы увлекались, да и сейчас многие увлекаются технологией стимулирования конкретного труда отдельного работника. Что я имею в виду?

Прежде всего — принципы формирования фондов оплаты. Долгое время они создавались вне зависимости от экономического итога хозяйствования коллектива, а на основе норм и расценок на отдельные операции. Экономисты уже писали об этом не раз, но мне хочется подчеркнуть здесь вот какую сторону: для работника оплата выглядела не частью общественного дохода, которая приходится из общего котла на его долю, а произвольно определенной неким «посторонним ценовщиком» (если воспользоваться выражением Н. Г. Чернышевского) «ценой» труда этого работника. Причем такая «цена», как известно, довольно произвольно изменялась, в частности, при увеличении производства продукции в расчете на человека, даже если это происходило не за счет включения в дело дополнительных средств производства, а только путем интенсификации труда. Не надо, наверное, объяснять, каково моральное воздействие этой фактора.

Экономическая реформа положила начало иному принципу формирования фондов распределения — в зависимости от экономических итогов хозяйствования. Известно, что А. Н. Косыгин в докладе на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС высказал мысль об отмене со временем регламентации на фонд оплаты. Известно, что на Щекинском комбинате и ряде других предприятий испытываются формы организации труда и стимулирования, при которых коллектив как бы сам себе платит из того, что создано его

трудом. Но инерция прежнего подхода к делу тяготеет над нами, и даже в колхозах, которые всегда жили за счет того, что заработали, с введением гарантированной оплаты (шаг, несомненно, прогрессивный) во многих случаях из-за неумелых административных акций колхозники утратили драгоценное, я бы сказал, чувство распределения заработанного, а вместе с этим, несомненно, и долю хозяйского чувства.

Поиск наиболее эффективных методов стимулирования отдельного работника всегда, видимо, должен начинаться с изучения положения коллектива предприятия, его отношений с другими коллективами, с обществом в целом. Этот принцип нашел отражение в решениях мартовского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС, и если что-то не удавалось в стимулировании, то главным образом в случаях отступления от этого принципа. Об этом, впрочем, тоже уже немало сказано.

Другая сторона вопроса состоит в том, что оплата труда, стимулирование лучшего выполнения тех или иных операций рассматривались порой вне связи со многими иными факторами, воздействующими на отношение человека к труду, а этим и самого человека порой как бы упрощали до примитивной модели.

Вспоминается такая ситуация: секретарь обкома партии и председатель колхоза ехали в поезде. Председатель колхоза жаловался: уходят молодежь, стареет село. Уходит, несмотря на то, что оплата труда в хозяйстве достигла 5 рублей 30 копеек на человеко-день — высокая оплата! Считали когда-то, будто все дело именно в материальном стимуле: дай парню, девушке хороший заработок — и они не уйдут в город. Теперь убеждаемся: все гораздо сложнее.

Секретарь обкома упрекал председателя, что он и правление артели мало внимания уделяют культурно-бытовым вопросам. Приводил в пример другой колхоз, где хорошо поставлено культурно-бытовое обслуживание селян, организована двухсменная работа, налажено дело с отпусками. Доказывал: молодежь здесь охотнее остается.

Позже секретарю обкома пришлось беседовать с шофером того хозяйства, где председательствует его попутчик. Парень решил уйти на завод, причем на меньшую ставку, чем получал в колхозе. Объяснил это так: «Что заработок? У меня три выходных костюма, другая одежда справная, а все висит в шкафу и надевать почти не приходится. Телевизор вот стоит, а смотреть не приходится. Мало свободного времени — то в поле, то у себя по хозяйству занят. На заводе порядка больше, время свое рабочее знаешь. А тут председатель, крутой он у нас, заявил: «Делай, как я сказал, и все тут».

Как видим, здесь наблюдается довольно любопытное обстоятельство: повышение оплаты труда и рост благосостояния не только не содействуют закреплению работника на данном производстве, а, напротив, побуждают его искать другое место, где он мог бы воспользоваться теми благами, которые приобретены добросовестным трудом. С другой стороны, в человеке развивается чувство собственного достоинства, и он, может быть, перестает мириться с тем, на что раньше не обращал внимания.

Конечно, мы в полной мере сознаем важность не только материальных, но и моральных стимулов. Однако порою последние понимаются упрощенно; порой все сводится к символам общественного признания — вручению флажков, занесению передовиков на Доску почета. Хотя это важно, отдельные акции мало что значат. Речь должна идти о формировании в каждом коллективе, у всех работников не просто заинтересованности в частной операции, в «конечных результатах производства» даже, как мы называем итоги года, а определенного устойчивого отношения к труду, о хозяйском, учитывающем перспективы, нужды завтрашнего дня взгляде на все происходящее в колхозе, совхозе. Для этого необходимо отрешиться от представления, будто можно показать человеку «длинный рубль» — и он немедленно станет лучше трудиться, будто стоит построить клуб — и тут же вся молодежь побежит на танцы, немедленно позабыв о желании уехать в город, скажем, для продолжения учебы. И уже не просто о стимулах, о неких внешних и временных побудителях должна идти речь, а именно об интересе, о внутренней постоянной «тяге», если можно так выразиться, о внутренних качествах, которые и формируются, конечно же, не под воздействием отдельного фактора, а системы их, в определенной атмосфере. Здесь, как в земледелии, действует закон минимума: в почве может быть много питательных веществ, но не хватает одного, и ко-

личеством именно этого вещества, которого не хватает, будет определяться размер урожая. Вспомните «бочку Либиха», наглядно иллюстрирующую названный агрономический закон: вода может быть налита в бочку лишь до уровня самого короткого звена, как бы ни велики были другие звенья. Каждый, наверное, согласится, что десяток почетных грамот, выданных, скажем, дирекцией совхоза, может быть перечеркнут порой одним грубым окриком, одним несправедливым поступком по отношению к человеку, награжденному этими грамотами. Отдельные стимулы, даже акции общественного признания по отношению к труду того или иного члена коллектива могут быть действительны лишь на общем фоне, а меры наказания, как известно, тоже наиболее эффективны тогда, когда человек понимает их справедливость и признает авторитет людей, уполномоченных их осуществить.

Главный моральный стимул, если уж пользоваться общепринятой терминологией, состоит в том, что человек сознает себя хозяином производства, определяющим вместе с другими членами коллектива судьбы развития своего предприятия, вместе со всеми членами общества — судьбы своей страны.

— Ох, уж эти крутые председатели!— говорил мне секретарь обкома, которого взволновал случай с шофером.— Сколько вреда наносит производству их стремление укрепить дисциплину лишь окриком, угрозой наказания, попытки управлять делами с помощью только команды, не советуясь с коллективом, не считаясь с мнением людей. И тот вот парень, шофер, быть может, не ушел бы в город, если бы сам на собрании вместе с другими колхозниками решал, когда и сколько нужно трудиться, как организовать двухсменку, кому и когда дать отпуск. И другое: если бы жил не только сегодняшним днем, но видел перспективы развития производства, увеличения дохода, а отсюда — перспективы улучшения культурно-бытовых условий в селе, если бы сам вместе с другими определял сроки, когда и что конкретно можно будет сделать. Несомненно, одно из главных средств закрепления молодежи в деревне — дать ей возможность почувствовать себя в числе хозяев села и вершителем всех его судеб в будущем, найти конкретные формы реального осуществления этих высоких прав при столь же высокой ответственности за все. Впрочем, речь должна идти не только о молодежи.

IV

К сожалению, так думают не все. Недостаточный порой эффект от изменений в оплате труда, примитивное понимание морального стимулирования и связанные с этим разочарования способствовали кое-где возрождению в последнее время поисков в области усиления административных методов. Вот специальный корреспондент «Известий» С. Ярмолюк приводит высказывание молодого сельского специалиста: «Надо возвращаться (!) к каким-то жестким мерам, если мы действительно хотим наладить в колхозах дисциплину». И автор корреспонденции показывает, что это не случайно брошенные слова, а определенная система представлений, напоминающая «закручивание гаек», несущая, конечно, реальную опасность. А возникла она тоже как реакция на отрицательные явления в производстве, на факты трудовой недисциплинированности или равнодушия к делу. Определенное распространение подобных взглядов среди хозяйственных руководителей не удивительно: ничего не придумаешь проще и «легче».

Но вот крупный экономист (фамилию его не называю потому, что не имею возможности в данной статье рассмотреть его концепцию во всей полноте и достаточно обстоятельно) выступает с научным докладом, в котором утверждает, что рабочая сила — и в условиях социализма товар, должна быть товаром, который покупается государством, предстающим в лице людей, «специализирующихся на управлении». Социалистический уровень развития производства, утверждает экономист, еще не создает условий для самоуправления и, следовательно, для прямого распоряжения общественной собственностью (отсутствие достаточного свободного времени и всестороннего развития).

Не выдерживает критики концепция «менеджерского», или «элитарного», социализма, получившая, в частности, отражение в работах некоторых чешских ученых. Сто-

ронники этой концепции исходят из утверждения решающей роли в производстве и обществе технической интеллигенции, профессиональной элиты и отрицания возможности демократического управления производством. Логика их рассуждений такова: современным предприятием необходимо руководить научно, количественное большинство здесь не может быть решающим. Здесь не имеют место «демократические права» в управлении предприятиями. Самым главным принципом здесь является наука и научные дисциплины. Выгоды, вытекающие из возможности заинтересовать работников в руководстве предприятием так, чтобы они чувствовали, что речь идет об их предприятии, не так велики, как могло бы сначала показаться.

Можно ли спорить с тем, что предприятием нужно руководить научно? Нет, конечно. Стоит ли отрицать роль опытного специалиста и организатора в успехе производства? Напротив, хочется привести примеры, подтверждающие эффективность зрелого и квалифицированного руководства. Но ведь сторонники взглядов, с которыми мы спорим, делают из подобных исследований вывод, будто принципы научного управления и демократизма в управлении производством несовместимы, одно противопоставляется другому. Наука и научные дисциплины, провозглашаемые главным принципом, оказываются чем-то стоящим над демократией, над интересами масс, по крайней мере независимыми от этих интересов. И речь ведь идет, собственно, не о науке, а о применении ее в конкретном производстве, на конкретном предприятии. Невольно хочется привести высказывание по этому поводу Иржи Хроустовского, который писал в «Господарских новинах»: «Защитникам менеджерской системы хотелось бы только сказать: если кто-либо отказывает работникам предприятий в способности совместно решать принципиальные проблемы развития своего предприятия, то — исходя из принципа, что проблемы предприятия представляются ясно и понятно и рабочие их хорошо знают, так как ими живут,— нужно спросить, как можно себе представить участие граждан в управлении государством, проблемы которого неизмеримо более сложны, чем проблемы предприятия?»

Преувеличение роли «технократии», профессиональной элиты связано, несомненно, с развитием технического прогресса. Думается только, сторонники подобных взглядов забывают, во-первых, о том, что технический прогресс резко поднимает и профессиональный уровень, техническую и общую грамотность не только интеллигенции, но также рабочих, способствует в конечном итоге стиранию граней между физическим и умственным трудом. Видный польский экономист Э. Липинский, используя данные социологов, утверждает, что лишь незначительная часть людей (около пяти процентов) способна проявлять необходимую в руководящей работе инициативу, обладает определенным организаторским талантом. Но притом он специально подчеркивает: «Если предъясняется требование профессионального знания дела, то из этого вовсе не следует, что руководящий состав должен набираться исключительно из людей, имеющих высшее образование. Среди рабочих есть такой же процент лиц, обладающих даром инициативы, как и среди имеющих дипломы инженеров... Правда, никто не рождается со всеми необходимыми для получения руководящего поста квалификациями, но путем соответственного отбора людей и систематического повышения квалификации рабочий коллектив может, несомненно, доставлять многочисленных кандидатов на руководящие должности».

Разумеется, что с развитием научно-технического прогресса специализация производства, а следовательно, и производителей все углубляется. И если сейчас химик все труднее понимает физика, не говоря уже о филологе, то чем дальше, тем меньше химик одной отрасли исследований или производства будет понимать химика другой отрасли знаний. Но означает ли это, что взаимопонимание между людьми будет нарушено до такой степени, что они не смогут коллективно решать самые главные, принципиальные вопросы развития народного хозяйства? Никто не призывает устраивать голосование по поводу технологии приготовления капрона, даже по поводу количества удобрений, необходимых на гектар пашни, но вот стоит ли выпускать капроновые кофточки, не пользующиеся спросом, следует ли тратить удобрения на культуры, которые в данных природно-климатических условиях невыгодно выращивать, можно ли до-

верить производство специалисту, который недостаточно квалифицирован или недобросовестен, как лучше стимулировать выпуск продукции более высокого качества — эти и множество других важнейших вопросов хозяйствования люди могут и должны решать коллективно. Если же встать на точку зрения тех, кто противопоставляет научные и демократические принципы управления производством, придется признать, что научно-технический прогресс медленно, но верно уничтожает демократию. Об этом как-то напоминать-то неудобно, но все-таки приходится: отрицать право большинства трудящихся на управление производством — значит отрицать не только производственную демократию, но демократию вообще, ибо основные отношения в обществе — производственные отношения. Гражданская свобода личности, как убедительно показал Маркс, начинается с освобождения труда.

Доказательство непригодности для практики рекомендаций сторонников администрирования может быть, пожалуй, даже сведено к ответу на один вопрос, оставляющий в стороне чисто моральные аспекты: сторонники этой концепции утверждают, что она обеспечит более высокую в сравнении с капитализмом эффективность производства, а следовательно, и более высокий жизненный уровень для трудящихся. Но так ли это? Нет никаких оснований на это надеяться. Во-первых, как говорилось еще в начале, современного работника все труднее заставить хорошо трудиться, нужно, чтобы он этого хотел. Во-вторых, капиталистическая система с ее жестокой конкуренцией и эксплуатацией окажется в смысле «заставить» более последовательной. Не представляют же, наверное, даже сторонники всякого рода «закручивания гаек», что именно в этом — кто крепче закрутит — должны мы соревноваться с капитализмом.

Если бы только от таланта организатора зависел успех, скажем, подъема сельского хозяйства, то, вероятно, нашлось бы в стране достаточное количество нужных людей для колхозов. Задача состояла бы тогда лишь в том, чтобы в каждой деревне обнаружить и поставить к руководству те пять процентов людей, которые, по средним расчетам Липинского, должны обладать организаторским талантом. Но не секрет, что даже известное привлечение в колхозы и совхозы специалистов из города в пятидесятые годы не сыграло очень уж значительной роли в развитии производства. Среди тридцатитысячников были талантливые и самоотверженные люди, они искренне хотели помочь селу, но не многим из них удалось в трудных условиях того времени добиться сколько-нибудь заметных результатов, а положение в сельском хозяйстве в целом менялось в зависимости от комплекса общегосударственных мер.

За полувековую нашу историю в трудных поисках и в сложнейших ситуациях, в которые ставила страну и международная обстановка, и собственные внутренние трудности, мы испробовали многое. Использовались различные методы управления. Сопоставление позволяет делать достаточно определенные выводы, и они сделаны партией. В ее документах 1964—1965 годов убедительно прозвучало: поиски на пути администрирования бесперспективны. Экономическая реформа, начатая мартовским и сентябрьским Пленумами ЦК КПСС, поддержанная и развитая XXIII съездом партии, являет собой такое совершенствование производственных отношений, такой комплекс мер, которые способствуют активизации творчества масс, повышению интереса к труду и ответственности за его результаты в каждом работнике, воспитанию хозяйского чувства и сознательной дисциплины.

V

Это ленинское определение — «сознательная дисциплина», смысл его точен и понятен. Сознательная дисциплина соответствует философскому понятию свободы, определяемому как осознанная необходимость. Говоря об основах новой производственной дисциплины, В. И. Ленин так характеризовал ее: «Дисциплина доверия... дисциплина товарищеская, дисциплина всяческого уважения, дисциплина самостоятельности и инициативы»¹.

Разумеется, сознательная дисциплина — это все-таки не анархия, а именно дисциплина, твердо поддерживаемая коллективом, обществом, однако суть ее, реальную

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 500.

основу составляет осознание человеком своих интересов в коллективе и коллектива — в обществе, интересов материальных и духовных. Если говорить о сельском хозяйстве, то принцип максимального совпадения устремлений всех трех партнеров в производстве — человека, коллектива, государства — провозгласил мартовский (1965 года) Пленум ЦК КПСС: что выгодно одному, должно быть выгодно и другим. Разумеется, интересы части и целого совпадают не всегда, но дело в том, чтобы постоянно совершенствовать экономические отношения, добиваясь совпадения в тенденции. Этой задаче, в частности, должно отвечать развитие экономической реформы.

Очень выразительный эпизод, позволяющий ясно увидеть связь экономических мер реформы и отношения человека к труду, рассказал мне В. И. Черный, первый секретарь Тамбовского обкома КПСС. Василий Ильич познакомился с токарем, который обрабатывал какую-то крупную деталь, и спросил, что именно он делает.

— Вот деру,— ответил рабочий и добавил: — Деру, деру, да и удеру!

— Почему же вдруг «удеру»? — удивился секретарь.

Оказывается, токарь крайне не удовлетворен своим трудом. Во-первых, будучи квалифицированным мастером, он выполняет простую работу, не соответствующую его знаниям. Во-вторых, из огромной болванки вытачивает маленькую деталь — «только стружку успеваю таскать — главная работа!». Эта бесхозяйственность, порча металла собственными руками его раздражает, он сознает бессмысленность положения. А вот самое главное — не может на это повлиять. Где-то кем-то в силу каких-то обстоятельств запланирована отливка таких именно болванок и поставка их предприятию. Даже директор не может от них отказаться и, скажем, закупить другие болванки в другом месте.

Здесь определенно вырисовываются по крайней мере две причины конфликта.

Возник он прежде всего в силу фондируемого распределения средств производства; при рыночных отношениях предприятие выбрало бы поставщика, который может поставлять отливки необходимых размеров. Уже из этого видно, как важно выполнение Директивы XXIII съезда КПСС о замене фондирования плановым распределением средств производства путем оптовой торговли. Можно привести и другие доказательства прямой связи повышения творческой активности людей, укрепления трудовой дисциплины и других категорий этого плана с такими факторами, как ценообразование, формирование фондов предприятия, права его, методы планирования. И если что-то не удается еще в процессе реформы, если не достигнуты еще желаемые результаты, то причины следует искать прежде всего здесь, находить пути дальнейшего совершенствования экономических отношений, а не шараться назад к администрированию. Собственно, попытки возврата к администрированию, даже локального характера, представляются мне результатом недостаточной последовательности в осуществлении реформы.

Другая причина конфликта, о котором рассказал секретарь Тамбовского обкома КПСС, связана, мне думается, с проблемой дальнейшей демократизации управления производством, начиная с предприятия. В докладе на сентябрьском Пленуме ЦК говорилось, что «совершенствование хозяйственного управления немыслимо без дальнейшего развития его демократических основ, без значительного усиления участия масс в управлении производством. Должна быть высоко поднята роль коллективов предприятия, заводской общественности при решении вопросов планирования, мобилизации внутренних резервов производства, оценки результатов работы и стимулирования работников... Надо всемерно развивать у всех работников чувство хозяина в отношении к производству»¹. В докладе, посвященном столетию со дня рождения В. И. Ленина, Л. И. Брежнев также обратил особое внимание на вовлечение всех трудящихся в управление делами своих предприятий. Это насущное требование жизни.

Сейчас возникло уже то положение, что оплата труда рабочего, скажем, в совхозе, формирование фондов материального поощрения и социально-культурных мероприятий, как и фонда развития производства, в значительной мере зависит от экономи-

¹ А. Н. Косыгин. Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. М. 1965, стр. 57.

ческих результатов деятельности предприятия, каждый рабочий эту зависимость начал ощущать. Однако средства его влияния на конечные результаты хозяйствования в масштабе предприятия, даже подразделения, цеха, используются еще недостаточно, и механизм, обеспечивающий результативность проявления активности рабочего, оставляет желать много лучшего.

Сейчас, как известно, ставятся некоторые эксперименты, но надо сказать, что усилия науки и практики в этом направлении еще довольно робки. Среди хозяйственных руководителей модно, я бы сказал, изучение приемов управления, применяемых за рубежом, в капиталистических странах. Разумеется, многое из зарубежного опыта организации производства и управления можно и следует использовать, однако есть или должна быть принципиальная разница между искусством менеджера, имеющего дело с наемными, по сути подневольными работниками, и мастерством организатора равноправных ассоциированных производителей. Увлечение зарубежным опытом совсем не казалось бы чрезмерным, если бы при этом мы еще более глубоко изучали свой богатейший опыт самоуправления, накопленный в колхозах, опыт, равного которому не имеет ни одна страна. Я имею в виду не просто перенесение его на все предприятия, а прежде всего глубокое осмысление, причем не только положительных, но и отрицательных сторон. Изучение, разработка и практическое применение конкретных форм участия рабочих в управлении производством представляется важнейшим фактором воспитания хозяйского чувства в людях и сознательной дисциплины, а следовательно, более успешного решения всех экономических и социальных задач.

Социализм, тем более коммунизм, может и должен создать более высокую, чем при капитализме, производительность труда именно за счет заботы о ней каждого труженика. Победит в экономическом соревновании двух систем не та, где положение непосредственного производителя, труженика сведено к роли автомата в чуждом ему, властвующем над ним общественном механизме; победит тот общественный строй, который обеспечит вовлечение всех трудящихся в активный и сознательный процесс создания. «Коммунизм,— писал В. И. Ленин,— есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих»¹. Он обращал внимание на этот источник роста производительности труда как на важнейший.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 22.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

К. ГРИГОРЬЕВ, Б. ХАНДРОС

★

ЭММАНУИЛ КАЗАКЕВИЧ И ГЕНЕРАЛ ВЫДРИГАН

(История одной переписки)

Удивительные вещи хранятся иногда во фронтовых бумагах ветеранов войны. Вот, пожалуйста, познакомьтесь с двумя документами.

Первый:

«Командиру 4-й курсантской запасной стрелковой бригады
от командира 354-го КЗСП
подполковника Выдригана З. П.

Р а п о р т

Точно так же, как рыба рвется из аквариума в широкие речные просторы, так и солдат рвется в бой, тем более солдат, участвовавший в трех войнах — империалистической, Гражданской и Отечественной, прошедший в рядах армии 28 лет своей 44-летней жизни.

На войне погибли оба мои сына, Александр и Николай, — молодые командиры Красной Армии. Жажда мести, ненависть к врагам горят в груди.

Прошу направить меня в Действующую армию.

З. Выдриган.

10/3 1942 г.»

Второй:

«Командиру 354-го курсантского запасного стрелкового полка
подполковнику Выдригану З. П.
от адъютанта командира 354-го КЗСП
мл. лейтенанта Казакевича Э. Г.

Р а п о р т

Узнав о том, что Вы подаете рапорт командиру КЗСБ о направлении Вас в Действующую армию, на Южный фронт, прошу Вас убедительно: возьмите с собой и меня.

Высоко ценя Ваши качества командира Красной Армии, я хочу быть на фронте с Вами. Можете не сомневаться в том, что я готов на любые невзгоды и на смерть, если она будет необходима для победы.

Э. Казакевич.

27/4 1942 г.»

Вряд ли командир полка и его адъютант предполагали тогда, какую роль сыграют эти рапорты в их личной судьбе, особенно в судьбе писателя Эммануила Генриховича Казакевича. Война случайно свела этих людей, таких несхожих на первый взгляд, и сдружила их, как оказалось, на всю жизнь.

На одной из зеленых улиц Херсона мы беседуем с хозяином уютного домика, генерал-майором в отставке Захаром Петровичем Выдриганом. Эти рапорты — из его личного архива. Тут же — несколько десятков писем Казакевича, его стихи, фотографии, книги.

— Это был самый плохой адъютант за всю мою военную службу.— Сквозь стекла очков на нас смотрят улыбающиеся глаза Захара Петровича. Потом он серьезно добавляет: — И это был самый замечательный человек. И прекрасный офицер-разведчик.

Нам хочется расспросить Захара Петровича об одной загадочной истории в биографии Казакевича. Вскользь о ней упоминалось в книге А. Бочарова «Эммануил Казакевич». Там сказано: «В июле 1941 года писатель ушел добровольцем в армию, участвовал в битве под Москвой. Переведенный в одну из тыловых частей, он настойчиво рвался на фронт. После нескольких отказов командования он исчез из тыловой части, а некоторое время спустя стало известно, что Казакевич — на переднем крае: ходит в поиски, выполняет боевые задания».

Как это было?

— В январе 1942 года наш полк набирался сил,— вспоминает бывший командир той «тыловой части» З. П. Выдриган.— Как-то во время строевых занятий бросился мне в глаза худощавый нескладный сержант в очках. Ногу из всех сил тянет. Хромает, но, говорят, не жалуется. Вызвал я его к себе. Оказалось: ополченец-москвич, член Союза писателей. Уже был в боях, ранен, снова хочет воевать. Мне этот неловкий, кругом штатский сержант, «доходяга», как тогда говорили, сразу понравился. Умный, прямой, знающий. У меня-то с образованием негусто было — ЦПШ, церковноприходская школа, а свои академии я в основном на фронте проходил. Правда, любил всю жизнь хорошие книги. А Казакевич — ну просто ходячая библиотека...

Одним словом, направил его для начала в самый отсталый батальон. Для проверки. Он там сразу стал всеобщим любимцем. Немного позже послал я его на краткосрочные курсы младших лейтенантов. После курсов назначил своим адъютантом. Я вам говорил: ужасный был адъютант. Но уже тогда я понял: человек он верный и смелый.

Тут и прибыло сообщение о гибели моих сыновей — одна похоронная за другой. Я и раньше не мог усидеть в тылу, хотя понимал, что кому-то надо обучать солдат для фронта. Но рана уже не мучила меня, и я просил назначения на передовую. А когда узнал о гибели сыновей, стал особенно настойчиво добиваться выезда на фронт. И адъютант мой не отставал от меня. Писали рапорты: я — начальству, он — мне. А пока суд да дело, пронюхали в штабе бригады, что у меня в адъютантах член Союза писателей, и забрали Казакевича в редакцию бригадной многотиражки.

Наконец в мае 1943 года дали мне дивизию на Западном фронте, и я отправился на передовую. А Казакевичу ни рапорты, ни письма не помогают. Тогда пришлось нам пойти на хитрость. Назначил я своей властью Казакевича командиром разведроты. Значит, разумеется. Выписал ему удостоверение. Послал за ним сержанта с предписанием: мол, младшему лейтенанту Казакевичу, якобы срочно командированному для пополнения разведроты, немедленно явиться на место службы в такую-то дивизию. Прибыл он и действительно принял роту разведчиков — приказ есть приказ. Тем временем его разыскивали в тылу и даже собирались арестовать за дезертирство. Настоящую погоню устроили... Но поскольку дезертиры на фронт, а тем более в разведку, как правило, не бегут, да и я ходатайствовал как мог,— военная прокуратура дела заводить не стала. Позже, приняв другую дивизию, я уже вполне официально через соответствующие инстанции добился перевода Казакевича, ставшего к тому времени первоклассным офицером-разведчиком, к нам в 76-ю дивизию...

Много месяцев спустя после рассказа Выдригана мы встретились с вдовой писателя — Галиной Осиповной Казакевич, которая познакомила нас с письмами и дневниковыми записями Эммануила Генриховича. Из писем, относящихся к весне 1943 года,

видно, как упорно и настойчиво рвался Казакевич на фронт. Вот отрывки из некоторых его писем к жене и друзьям:

«...Ты должна присоединить свои молитвы к моим стараниям попасть на фронт в дивизию, формируемую моим полковником. Он делает все, чтобы забрать меня к себе. В мало знающих меня командирах это вызывает чувство удивления, изумления: почему полковник, имеющий возможность взять к себе майора и капитана — старых служаку, опытных воинов, хочет взять только лейтенанта, да еще не кадрового, да еще в очках. Они не знают, что даже в вопросах сугубо военных, тактических он очень считается с моим мнением. Вообще ход войны, вернее моего военного существования, убеждает меня, что не стань я поэтом, я был бы военным. Но быть поэтом слишком большое, хотя и горькое счастье, чтобы я мог променять его на нескладное счастье быть солдатом. Но теперь последнее необходимо, и этой необходимости нужно подчиняться наилучшим образом...

Меня отсюда не хотят отпускать. Делают это из соображений деловых — я работаю хорошо, и из дружеских — нечего, мол, ехать на фронт. Сиди здесь — чем тебе плохо? Но этим мне делают медвежью услугу. Все равно — на фронт нужно идти...» (10 мая 1943 года).

«Да, я хочу уехать... Что касается твоих опасений, что комдив обо мне забудет, то они нереальны. Я вчера получил от него телеграмму: «Конце мая жди нарочного!» Видишь, он посылает ко мне с фронта нарочного, чтобы вручить мне документы и проводить меня!

Единственное «но»: ПУМВО и мое начальство. Но я, желая уехать, добьюсь своего. А в крайнем случае... Уехать на фронт — не преступление же в самом деле! Война так война!» (27 мая 1943 года).

«...Итак — спешу тебе сообщить новость, которая тебе, вероятно, не покажется очень приятной: я еду на фронт, в дивизию моего полковника, на должность помощника начальника разведывательного отдела штаба дивизии...» (22 июня 1943 года).

25 июня 1943 года, перед самым «побегом», Казакевич оставляет письмо на имя своего непосредственного начальника, редактора газеты «Боевые резервы» старшего лейтенанта Т. В. Измалкова:

«Друг Измалков!

Когда ты будешь читать это письмо, я буду уже приближаться к фронту — к предмету моих мечтаний на протяжении последнего года.

Думаю, что ты поймешь меня. Я просто понял, что волей судьбы я другим путем на фронт не попаду. Когда я был в Москве, я просил помочь мне уехать на наш фронт. Просил я и у Поргнова, и у Косолапова, и у майора Чмыхова, и полковника Стрельникова. Некоторые из них воспринимали мою просьбу дружелюбно, но не подавая никаких надежд, некоторые просто говорили, что это невозможно. Мои влиятельные знакомые в Москве много раз обещали мне помочь, но все эти обещания кончались ничем.

Об этом же я говорил не раз с майором Пакиным и с майором Ждановым. Оба говорили, что мы вскорости поедем на фронт всей бригадой. Это говорили в прошлом году, это же говорили в этом году.

Между тем я хочу, искренне хочу быть на фронте. Это не поза «удальца» или голые слова хвастуна. Это — вопрос моего горячего желания и, если хочешь, дальнейшей литературной жизни. Поэтому я, зачисленный в штаты 51-й СД Действующей армии, отправляюсь в путь-дорогу.

Тебе прекрасно известно, что жилось мне тогда превосходно, что работал я неплохо. И ты и майор Пакин ценили меня. Я ухожу не от плохой жизни к хорошей. Я хочу воевать, раз уж война на свете, да еще такая.

Не поминай меня лихом и прости, что я это делаю таким образом. Я хочу ехать на фронт и приносить делу победы максимальную пользу. А другого пути не вижу...

...Т. В. Дай прочесть этот прощальный стих моим товарищам».

Все эти письма мы прочитали потом. А тогда, впервые услышав от Выдригана подробности «бегства» Казакевича на фронт, мы были поражены этой удивительной историей. И тут же вдруг вспомнили, что нечто похожее, кажется, уже где-то читали. Ну, конечно, у того же Казакевича! Аниканов — помните? — правая рука Травкина из «Звезды». Ведь и он бежал на фронт из запасного полка, где ему жилось, «как зажиточному колхознику».

Захар Петрович подтверждает наше «открытие». Он вообще считает, что чуть ли не все герои «Звезды» — реальные люди. Самого Казакевича он видит и в Травкине, и в поэте Мещерском.

— А начальник штаба Галиев со своей неизменной буркой — это уж точно мой начштаба Атаев, ныне генерал-майор, послевоенный ашхабадский военком, — говорит Выдриган. — Военфельдшер Улыбышева — это Ольга Федоровна Утешева, живет в Бресте, по-моему, она переписывалась с Катей, радисткой, ее и в жизни так звали. И Мамочкин — он тоже есть, уже не такой, правда, чубатый. Остепенился. Учительствует у нас на Херсонщине, зовут его Иван Григорьевич Чухрай.

— Ну, а вы, очевидно, полковник Сербиченко?

Вопрос, конечно, лишний.

Генерал достает папку, в которой собраны копии писем Казакевича. Протягивает нам несколько писем. Вот одно из них, от 21 марта 1947 года:

«Дорогой Захар Петрович!

На днях отослал Вам журнал «Знамя» с моей повестью.

Вчера редакция «Знамени» получила небольшое письмо от некоего сержанта Кокорева. Привожу Вам подлинный текст этого письма.

«Дорогая редакция! Через Вас я хочу обратиться к автору повести «Звезда» т. Казакевичу, повесть которого была опубликована в первом номере Вашего журнала за 1947 год.

Читая эту повесть, в полковнике Сербиченко я увидел черты моего бывшего командира 354-го запасного стрелкового полка, полковника, а ныне генерал-майора Выдригана Захара Петровича.

Он также участвовал со своей дивизией в боях под Ковелем, брал его со своей дивизией, и за эту операцию ему было присвоено звание генерал-майора.

Я прошу т. Казакевича дать мне ответ, правильны ли мои предположения.

С приветом, сержант Кокорев.

Вот это письмо! Как видите, кое-кто начинает Вас узнавать в Сербиченко...»

Прошло больше года после выхода в свет «Звезды», а почта продолжала приносить отклики читателей, узнававших в повести знакомых персонажей и события. В письме от 17 мая 1948 года Казакевич писал Выдригану: «...Посылаю Вам копию письма, полученного мной от бывшего бойца роты связи 76-й СД. Думаю, оно будет интересно для Вас».

Далее шло само читательское письмо:

«Уважаемый тов. Казакевич!

Пишет Вам бывший солдат роты связи 76-й Ельницкой стрелковой дивизии. Я читал Вашу повесть и снова пережил весну 1944 года под Ковелем, поход от Сарн до Ковеля — все это теперь уже далекое, но незабываемое время.

Читал Вашу книгу и чувствовал, как будто с фронтовыми товарищами вспоминаю те дни. Мне кажется, что Вы описываете именно нашу 76-ю Ельницкую дивизию. И, черт возьми, если Вы и еще сто человек будут утверждать, что полковник Сербиченко — не наш командир дивизии полковник Выдриган, а военфельдшер Улыбышева и начштаба Галиев (только под другими фамилиями, конечно) не из нашей дивизии, я все равно не поверю.

Мне кажется, что я видел Вас — по-моему, Вы были нач. разведки дивизии,— вспоминаю капитана в очках. По-моему, Вы были ранены летом 1944 года где-то за Бугом и после этого в нашу дивизию не возвращались.

Хорошую, правильную, правдивую книгу Вы написали. Большое Вам спасибо за это, спасибо солдата».

Мы не можем не привести отрывок еще из одного письма. В 1966 году, после того как «Литературная газета» напечатала наш рассказ о замечательной дружбе и переписке Казакевича и Выдригана, мы получили письмо из Бреста от заведующей детскими услями, бывшего старшего лейтенанта медицинской службы Ольги Федоровны Утешевой-Василенко, той самой, которая была прототипом военфельдшера Улыбышевой из повести «Звезда».

«...С Казакевичем мне,— вспоминает Ольга Федоровна,— приходилось встречаться часто, так как, будучи фельдшером батальона связи, я обслуживала и разведроту. Помню, однажды во время подготовки группы к операции я объясняла разведчикам, как оказывать себе и товарищам первую помощь. Вдруг зашел в блиндаж Захарий Петрович. Я обратила внимание на то, какими печальными глазами смотрел он на Казакевича. Тот тут же сказал: «Товарищ полковник, мое место только здесь и больше нигде». Полковник еще раз напомнил группе, как поступать в случае осложнений. Я вместе с санинструктором Таисией Кучеренко пошла проводить группу до того места, где еще можно было идти в полный рост. Казакевич всю дорогу шутил, тихонько напевал, кажется, из «Орленка». Потом отдал нам свой носовой платок, а Таиса вложила ему в карман маскхалата свой платочек — так у нас было заведено, делалось это в надежде на благополучное возвращение в часть. Прощаясь, Казакевич пожал нам руки, мы возвратились, а они ушли по своему маршруту. Точно не помню, через сутки или двое группа возвратилась с «языком», которого тогда чуть было не задавили кляпом. Захарий Петрович был тогда очень доволен Казакевичем...

По роду службы Казакевич часто находился в блиндаже командира дивизии. Бывало, после того, как даст все указания, объяснит что и как, Захарий Петрович подойдет к Казакевичу, потеревит его чубчик, стиснет плечи его и скажет: «Ну, давай лапу — и в добрый час!» Казакевич по всем правилам сделает «кругом» и четким шагом уходит, а Захарий Петрович подойдет к столу, задумается, постучит пальцем по карте, погладит свою лысину, потрогает черные усы, вздохнет и скажет: «Ой, як я люблю цього хлопця за його мужність!»

Однажды на рассвете мы с санинструктором Таисией спешили на НП, когда нас догнал связной и, задыхаясь от волнения, сообщил, что привели раненого Казакевича. Примчались мы и застали такую картину: Казакевич сидит, нога перевязана портянкой, глаза ввалились, страшно грязный, уставший, в сторонке лежит связанный немец. Оказывается, двух раненых разведчиков, которые были с Казакевичем, увезли прямо в медсанбат. Я сделала перевязку. Когда усаживали Казакевича на лошадь, он ругался от страшной боли, повторял свое любимое: «ах, твою бригаду», «ах, твою дивизию»... За этого «языка» Казакевича, кажется, наградили.

...Видела я его и плачущим. Когда под Ковелем тяжело ранило Захария Петровича. Мы старались все сделать, чтобы облегчить страдания раненого комдива. Казакевич, помню, подбежал ко мне и спросил: «Скажи, Оля, он будет жить?» Как мальчик, сжал в руках пилотку, сказал: «Скажи, что да!..»

Генерал часто вел с Казакевичем разговоры о том, как надо требовать от солдата и что делать для того, чтобы быть душой солдата, и действительно, Казакевич всегда жил одной жизнью со своими разведчиками. Его, молодого командира, солдаты уважали за простоту в обращении с ними. Он был им другом и советчиком, а после одной разведки за «языком» солдаты полюбили его за находчивость и мужество.

Был он очень веселым человеком. Я и сейчас, закрыв глаза, вижу его — быстрого в движениях, когда что-то рассказывал, обязательно в ладонях ловко покручивал

карандаш: подбросит, поймает за кончик, положит в карман и продолжает рассказ с жестами, потом, засунув руки в карманы брюк и выпятив вперед плечи (мы все при этом часто хлопали его по сутуловатой спине, чтобы не страдала выправка), начнет маленькими шажками ходить по блиндажу, в котором полный шаг не дашь, и расскажет что-нибудь такое, что все насмеются, расфантазируются и на время забудут про фронт, про немцев, про войну...

Я много слышала от разведчиков, что они любили ходить с ним в разведку, зная и веря в его находчивость, мужество и храбрость. А любили его за ум и доброту. Солдаты часто делились своими переживаниями, читали ему письма из дома, просили иногда помочь написать письмо. Я сама была несказанно благодарна Казакевичу за то, что помог мне разыскать родных... Недавно снова перечитала «Звезду». Читала и плакала. Узнавала и Катю, и Мамочкина, и Травкина, и комдива нашего — Захария Петровича Выдригана...»

«Оказывается, люди узнают в Сербиченко Вас,— писал Казакевич.— Что ж, это не далеко от истины...»

Кто помнит полковника Сербиченко из «Звезды», тот легко поймет, почему так привязался Казакевич к своему командиру. Впрочем, еще лучше это можно понять по письмам самого писателя. Большинство из них генерал впервые передал нам тогда для публикации. Долгие годы они хранились в его архиве — эти яркие свидетельства большой мужской дружбы.

Первое письмо Казакевич написал Выдригану в февральские дни 1943 года, когда находился в Москве в командировке от своей газеты «Боевые резервы». Воспользовавшись оказией, он послал своему бывшему командиру короткую весточку:

«Дорогой товарищ полковник!

Пользуясь случаем, горячо поздравляю Вас с 25-летием Красной Армии. Четверть века Вы верой и правдой служили в ее рядах, и для меня Вы — образец командира нашей Армии.

Мне исполняется в этот же день 30 лет. Я, таким образом, на 5 лет старше нашей Армии. Для меня это тройной праздник. Вступая в сороковые годы своей жизни, я, если жив буду, не забуду никогда, что этот жизненный рубеж связан у меня с Вашим именем.

Крепко жму Вашу руку.

...23 февраля буду пить за здоровье!

Ваш Эм. Казакевич».

Это еще была не переписка, а так — поздравление с праздником, случайное письмо, отправленное с оказией. Потом Казакевич «сбежит» к Выдригану на фронт и они будут служить рядом. В этот период Казакевич будет писать стихи в честь любимого командира — да-да, стихи (их немало осталось в генеральском архиве), большей частью, скажем прямо, весьма наивные, такие, которые принято называть «альбомными», хотя в той ситуации скорее бы подошло название «блокнотные стихи». Не будем к ним чрезмерно требовательными: в той окопной обстановке они — поверьте фронтовикам — воспринимались совсем не так, как сейчас. Например, такие строки:

«3. П. ВЫДРИГАНУ

...Сегодня снова нам не спать.
Как угрожающе красивы
Ракет бриллиантовые гривы,
И гул разрывов им под стать.
Безмолвье, буря, ветер, мгла,
А ты в своем ночном блиндаже
Застыл, как часовой на страже,

У освещенного стола.
 ...Меж тем, как, примостясь ловчей,
 Солдаты на ночных дорогах
 Ползут, встают и вновь ползут,
 Меж тем, как из тылов везут
 Патроны на скрипучих дрогах,
 Меж тем, как десять дней подряд
 Берут бойцы все ту ж высоту,
 А некий олух хлещет водку
 И утром требует наград...
 ...Меж тем, как все это творится
 С грехом и болью пополам,
 Твой голос, как ночная птица,
 Летит по дальним проводам.
 В глазах телефониста страх,
 Радист охрип, как будто спьяна,
 А ты выходишь утром рано
 С привычной шуткой на устах..

Э. Казакевич.

76-я Ельницкая СД. Под Ковелем.
 Март, 44 г.»

Настоящая переписка началась после войны, когда фронтовые друзья оказались вдали друг от друга.

Сразу же после окончания войны Выдриган был направлен для прохождения службы домой. Казакевич еще почти целый год продолжал служить на территории Германии. В конце 1945 года он писал Выдригану «из Саксонии дубовой, из Тюрингии сосновой»:

«Дорогой товарищ генерал! Получил только что Вашу открытку, которой очень обрадовался...

Итак, Вы очутились дома, в некоей Н-ской части Н-ского округа: «И адрес — не город, а округ, и не переулок, а полк». Мое представление о Вашем городе весьма смутное: что-то кавалерийское, что-то пехотное и — непролазная грязь. Может быть, я ошибаюсь, особенно насчет грязи (в зимнее время!). Но очень хочу узнать род Вашей работы, хочу туда попасть хоть на несколько дней, чтобы повидать Вас и крепко обнять, как второго отца своего...»

В самом начале 1946 года Казакевич получил открытку от Выдригана, в которой сообщалось, что сын его, летчик Николай, давно считавшийся погибшим, жив.

«От всей души поздравляю Вас с тем, что нашелся Ваш сын Николай. Я себе представляю, какая это была радость для Вас. Буду рад с ним познакомиться и найти в нем Ваши черты. Солдат-то он хороший, это ясно...» — радуясь за друга, писал Казакевич 16 января 1946 года.

Но радость эта оказалась преждевременной. А сама судьба Николая Выдригана сложилась так необыкновенно и драматично, что о ней следует рассказать.

Читатель, вероятно, помнит из приведенного выше рассказа генерала, что он почти всю войну считал обоих сыновей своих — Николая и Александра — погибшими. Почти одновременно он получил две похоронные. «Александр Захарович Выдриган, — говорилось в одной, — посмертно награжден орденом Ленина»; вторая была совсем короткой: «Николай Захарович Выдриган погиб смертью храбрых...»

Однажды, уже после окончания войны с Германией, летом 1945 года по Всесоюзному радио передавали репортаж из Потсдама. Рассказывалось там и о таком любопытном эпизоде: представитель бургомистра старого города — бывшей резиденции

прусских королей и германских империалистов — вручал советскому генералу Выдригану (его дивизия первой ворвалась в Потсдам) ключ от фамильного замка императоров. Эту-то передачу случайно услышал на аэродроме летчик Николай Захарович Выдриган, тот самый, который, считалось, «погиб смертью храбрых».

Но он не погиб! С похоронной на него в 42-м году явно поторопились. Оправившись после тяжелого ранения, Николай возвратился в строй и успешно сражался до самой победы. Теперь, услышав по радио об отце, которого он тоже считал погибшим, Николай быстро сумел разыскать его. Между сыном и отцом завязалась переписка. В одном из писем генерал рассказал сыну, что во время войны начал писать книгу военных мемуаров, назвал ее «Жизнь солдата», а посвятил памяти «погибших сыновей». В ответном письме от 11 декабря 1945 года Николай писал:

«В своей книге ты сделал посвящение нам с Шурой, ты был уверен, что мы никогда тебя не опозорим как отца. И мы выполнили свой долг с честью.

Шура сражался, ты знаешь, хорошо, а я — ты видишь по моему фото...»

С присланной фотографии на генерала смотрел молодой офицер, кавалер многих боевых наград, Герой Советского Союза. За годы войны Николай Выдриган сделал 669 боевых вылетов, сбил 19 вражеских самолетов. Вместе с другими героями участвовал в параде Победы в Москве.

Ну, а теперь, в мирные дни, Николай продолжал служить в Военно-Воздушных Силах. Настойчиво приглашал «батяка» в гости. И вскоре Захар Петрович, уточнив место, где служит Николай, наконец, полетел на встречу с сыном.

Легко представить, что творилось на душе у генерала, когда самолет приземлился. Он нетерпеливо ступил на землю, где перед ним в строгом строю стояли летчики эскадрильи во главе со своим командиром. Генерал жадно искал среди встречающих сына. Николая среди них почему-то не было.

Тревожно забилося сердце... Укатанная земля военного аэродрома поплыла под ногами... И будто сквозь туман услышал Захар Петрович слова командира эскадрильи:

— Сегодня при выполнении задания погиб Герой Советского Союза летчик Николай Выдриган.

Несчастье случилось в день приезда отца.

...Так «воскрес» и снова погиб, теперь уже навсегда, сын генерала, летчик Николай Выдриган. Захар Петрович увез тело сына на свою родину, похоронив его на Херсонщине, в селе Козацком, где из поколения в поколение жил, пахал землю, а когда надо было, уходил на защиту отчизны славный казацкий род Выдриганов. Там же, рядом с могилой сына, в январе 1967 года будет похоронен и сам Захар Петрович Выдриган...

...А в те трагические дни, тяжело переноса гибель так неожиданно найденного и безвозвратно потерянного сына, Захар Петрович еще сильнее потянулся к своему другу, оставшемуся служить в Германии.

«Просто странно молчишь ты, как в воду канул...» — с тревогой пишет он из Тамбова.

И вслед за тем посылает несколько открыток. В одной из них он в шутку мечтает об общем доме:

«Здравствуй, дорогой друг! Получил твое письмо и телеграмму. От души рад и благодарен тебе.

...Новостей нет. Кроме того, что болел недели две и думал, как буду строить в Херсоне дом. Планировал. Первое время думал строить плавучий, с мотором, с каютами для тебя, Лебедева. . чтобы летом ходить по рекам и морям, а зимой становиться на причал. Сверху мой «бьюнк» и твой «паккард». Да раздумал. Наверно, придется

строить дом. Поэтому и зародилась идея просить тебя сфотографировать там красивую дачу...

Ну, пока. Ждем фото, и плана, и заявления в компаньоны...

В письме, которое Казакевич писал тогда жене, мы читаем:

«Получил сегодня письмо от генерала Выдригана — моего старого командира... Он очень меня любит, как и я его. Вообще мне везло на командиров. Впрочем, я был хороший солдат. Я говорю «был», потому что после войны я уже не тот, хочется вернуться к столу и перу...»

В письме к Выдригану он пишет:

«...Предполагаем, что поеду в Россию в феврале или марте. Мне даже весело становится, когда я представляю себе нашу встречу. Я вам посылая новогоднюю телеграмму по военному телеграфу. Получили Вы ее?»

Действительно, нам все-таки здорово везло, если не считать нескольких дырок от пуль и осколков. Но что и Вы и я сумели сохранить — это бодрость, природный оптимизм, трезвый и веселый взгляд на жизнь. Читаю я Ваши письма, особенно последнее, и думаю: старый солдат все еще не успокоился. Все еще тянет его в неведомые дали, все еще одолевают высокие думы и заботы обо всем мире! Обнимаю Вас, Захарий Петрович!»

27 января 1946 года — новое письмо:

«Дорогой Захарий Петрович! Получил Вашу открытку. Да, Вы, пожалуй, правы, я действительно оброс и поэтому сижу здесь еще до сих пор. Но сидеть мне здесь осталось не больше двух месяцев, затем я поеду домой, на родную Русь.

...Я занимаюсь в основном обобщением опыта войны в разведке. Написал большую работу: «Заметки об обороне немцами городов». Ее сильно расхвалили. Теперь пишу еще больший труд: «Организация и проведение поиска по захвату контрольного пленного». В этой работе несколько раз упоминается Ваше имя — как Вы меня учили вести разведку, советы Ваши, как старшего разведчика, и т. д. Работа обещает быть интересной. Это будет объемистый труд, где я постараюсь обобщить весь опыт организации поисков — мой и других разведчиков.

Кроме того, я по-прежнему делаю заметки для будущих моих работ...»

Будущая работа — это, видимо, повесть «Звезда». И представляется нам, что тогда, делая наброски будущей повести, скажем, рисуя в своем воображении образ комдива Сербиченко, Казакевич безусловно видел перед собой Захара Петровича Выдригана, бывшего унтер-офицера, георгиевского кавалера, лихого разведчика-пластуна времен первой мировой войны, нынешнего командира дивизии и «отца разведчиков». Вот это место в «Звезде»:

«...Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение и заслужил георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага...»

Чем не Выдриган, которого Казакевич в приведенном выше письме вскользь называет «старшим разведчиком»? А заканчивается это письмо опять-таки словами признательности бывшему командиру:

«...Я часто думаю, какое счастье для меня — найти такого человека на войне, как Вы, который сделал меня солдатом, хоть и плохим...»

Жму Вашу руку, товарищ генерал,
Ваш Эм. Казакевич.»

Шутя, конечно, называет себя Эммануил Генрихович плохим солдатом — он был, как мы знаем, прекрасным солдатом и офицером. И, надо сказать, он отлично понимал это, как говорится, знал себе цену. Вот, например, как он писал о себе — серьезно, но и не без обычной иронии — в письме жене с фронта 25 июля 1944 года:

«Вот итог за три года и один месяц: я совершил не менее пяти подлинных подвигов; в самые трудные минуты был весел и бодр; и подбадривал других; не боялся противника; не лебезил перед начальством; не старался искать укрытия от невзгод, а шел им навстречу и побеждал их; любил подчиненных и был любим ими; оставался верен воспоминаниям о тебе и двух детских жизнях — нашей плоти; сохранял юмор, веру и любовь к жизни во всех случаях; был пять раз представлен к награждению орденами и получил пока только один орден; из рядового стал капитаном; из простого бойца — начальником разведки дивизии; будучи почти слепым, был прекрасным солдатом и хорошим разведчиком; не использовал своей профессии писателя и плохое зрение для устройства своей жизни подальше от пулю; имел одну контузию и два ранения...»

Он был, повторяем, прекрасным солдатом и офицером, но кончилась война — и его тотчас же потянуло к мирной жизни, к письменному столу. В письмах этой поры все больше начинает звучать новая нотка — тоска Казакевича по литературной работе. Теперь он рвется домой с таким же жаром, как в свое время стремился на фронт. И как тогда, он пишет рапорт за рапортом. Правда, теперь он может позволить себе и шуточный, вероятно, единственный в своем роде вариант:

«Начальнику ШТАРМА

от капитана Казакевича Э. Г.

Р а п о р т

Ввиду того, что я слеп, как сова,
И на раненых ногах хожу, как гусь,
Я гоюсь для войны едва-едва,
А для мирного времени совсем не гоюсь.
К тому ж сознаю, откровенный и прямой,
Что в военном деле не смыслю ничего,
Поэтому прошу отпустить меня домой
Немедленно с получением сего...»

Наконец, демобилизовавшись, Казакевич приезжает в Москву. А жилья — нет. Узнав об этом, Выдриган забирает к себе свою сестру, а в освободившуюся комнатку в Хамовническом переулке вселяет Казакевича с семьей. Ну что ж, жить, как говорится, можно. Хуже обстоит дело с условиями для работы над книгой, и генерал это прекрасно понимает:

«Здравствуйте, уважаемая Галя! — пишет он жене Казакевича. — Очень жаль, что Эмме приходится работать в таких условиях. Может быть, ему было бы лучше приехать к нам и у нас кончать свою работу. Я не понимаю труда писателя, но нужна хотя бы крохотная отдельная комната...»

И все же именно здесь написал Казакевич свою «Звезду». Жилось ему в этот первый послевоенный год особенно трудно. 13 декабря 1946 года он писал генералу:

«...У меня дела резко улучшились. Я закончил повесть о разведчиках. Она... появится в № 1 журнала «Знамя» за 1947 год, а позже выйдет отдельной книгой... И журнал и книжку я Вам вышлю, как только они выйдут.

Будут деньги, а это дело печально важное в нынешние времена.

Часто вспоминаю Вас и очень хочу повидаться, но придется отложить на весну. Здесь холода страшные начинаются.

Ох, Захарий Петрович, когда вспоминаю Вас, и Ваше лицо, и нашу совместную службу, полную все-таки какой-то волшебной романтики, даже душе тепло становится. Увидимся обязательно в 1947 г.— этот год должен быть у меня благополучным годом. Моя повесть заслужила в литературных кругах очень высокую оценку — пожалуй, выше того, что она заслуживает. Хвалят без конца. Но я не буду зазнаваться, можете быть уверены. Буду продолжать работать.

Привет Вам от жены и бедных девочек, которые порядочно пострадали последнее время, пока я сидел и работал, не зная, что получится. И получилось! В хамовнической трущобе запахло хорошей жизнью».

Через три недели, 4 января 1947 года:

«...Спасибо за ласковые письма и добрые новогодние пожелания. Желаю и Вам от всей души счастья и радостей всевозможных в наступившем 1947 г.

У меня дела идут хорошо, даже превосходно. Только бы не сглазить. Повесть моя будет напечатана в 1-м январском номере журнала «Знамя». Кроме того, она выйдет в издательстве «Московский рабочий» отдельным изданием, с иллюстрациями. И то и другое я Вам, конечно, пришлю. Пишу сейчас следующую повесть под условным названием «Падение Берлина». Постараюсь в этой вещи по-настоящему показать завершающий этап войны, Берлинское сражение, судьбы разных людей на этом великом фоне. Пожелайте мне удачи.

Материально я также, естественно, вылез. Теперь это дело прошлое, поэтому можно сказать: если я со своими детишками выдержал последние 2 м-ца без дров, и часто без еды, да еще написал вещь, которая признана хорошей,— мне приходится удивляться себе самому и терпению моей многострадальной семьи. Теперь это позади. Начали жить хорошо, будет же еще лучше. За Ваши советы спасибо Вам. Я учту их в своей жизни, ибо знаю, что они даны настоящим другом и от всей души.

Портрет Николая я получил и закажу его в ближайшие же дни. Мастерскую такого рода я нашел на Арбате.

Очень хочется встретиться с Вами, поговорить о многом, но сейчас это невозможно. Как только сумею — приеду к Вам хоть на несколько дней...

Когда я пишу о войне, я много думаю о Вас, о Вашем влиянии на мою жизнь. Чудесное воспоминание о нашей совместной службе и те знания, которые Вы мне дали на практике войны, неизмеримо обогащают меня и помогают писать. Как все-таки здорово, что я встретил Вас! Вы увидите из моих произведений, что Ваши наглядные уроки не прошли даром для меня!»

С этого времени Казакевич посвящает генерала во все свои литературные дела.

«...Пишу теперь большую повесть, которую думаю кончить месяца через два,— сообщает он в письме от 27 мая 1947 года.— Очень хочется Вас повидать и поговорить, благо новостей немало.

Моя «Звезда» имеет огромный успех. 23 мая в «Известиях» и «Комсомольской правде» напечатаны восторженные отзывы об этой вещи. 24 мая очень теплые рецензии опубликованы в газетах «Московский комсомолец» и «Красный воин». Были отзывы в «Красном флоте» и других газетах — и все отзывы очень положительные. Это очень хорошо — может быть, не так для меня, как для Женечки и Лялечки, которым это даст возможность нормально жить».

Из письма от 28 октября 1947 года:

«...Только что приехал из дома отдыха под Москвой, где заканчивал свою новую книгу... Многое хотелось бы Вам сказать, а в письме разве напишешь? У меня дела неплохие, моя маленькая «Звездочка» кормит мою семью довольно исправно, она вышла уже в нескольких изданиях...

Вторую книгу я почти закончил. Она будет печататься в журнале «Знамя» в 48-м году (февраль — март). Это роман под названием «Весна в Европе». Там рассказываю о последнем походе Великой Отечественной войны — февраль — май 1945 г. (вступление в Германию, осада Шнайдемюля, взятие Альтдамма, прорыв на Одере, взятие Берлина, выход на Эльбу). Читавшие книгу говорят, что очень хорошо, предсказывают крупный успех.

Главная проблема — квартирная. Пока что я снял комнату, но трудно работать при наличии двух детей и в ожидании третьего ребенка. Да, Захар Петрович, жду третьего ребенка, желательно сына.

Правда, Союз писателей должен получить по постановлению Совета Министров квартиры, и мне обещают дать.

Жду, таким образом. Хорошо было б с Вами встретиться, вспомнить подробности германского похода. Ведь я тогда находился в штабе армии, далеко от войск, и о многом следовало бы расспросить такого человека, как Вы, Захар Петрович,— человека наблюдательного, остроглазого, все замечающего и все понимающего. Однако и в этом, 1947 году не удастся мне свидеться с Вами, но уже в 48-м году увидимся обязательно, я приеду, что бы ни случилось. Тем более войной не пахнет и чудовищная кампания, ведущаяся против нас за границей,— это далеко не война, это лишь идеологическая подготовка с весьма дальним прицелом...»

Иногда они меняются ролями, теперь уже случается, что и генерал просит совета, ищет моральной поддержки своего фронтowego друга.

«...Из Вашего письма я понял, что Вас одолевают сомнения и горести и что на душе у Вас не очень весело,— пишет Казакевич 3 февраля 1948 года.— Я Вас прекрасно понимаю. У Вас военная душа, и хотя Вы ненавидите войну, но уже с этим ничего не поделаешь — там Ваше место, там прошла вся Ваша жизнь. Я много думаю о Вас...

...Я иду в гору, кажется. О том, что моя «Звезда» имела неожиданно огромный успех, Вы знаете... Только что я закончил еще одну маленькую повесть из военной жизни начала войны. Надеюсь, что, несмотря на нынешние огромные трудности в литературе, пройдет хорошо и эта повесть. Одновременно я заканчиваю роман «Весна в Европе», о котором я Вам уже писал.

Итак, я иду в гору и не зазнаюсь. Ваша школа все-таки сказывается.

...Мои дела довольно хороши. Союз писателей обещает дать квартиру, может быть, в ближайшие дни. «Звезда» моя переведена на английский, французский, немецкий и испанский языки, так что я вышел, так сказать, на «мировую арену».

Ну, дорогой Захар Петрович, на этом кончаю.

Желаю Вам всего доброго. Весной увидимся обязательно. Я еще не стал, как Вы знаете, домоседом, несмотря на писательскую славу, окружающую меня теперь».

Здесь Казакевич между прочим сообщил, что закончил «маленькую повесть из военной жизни начала войны». Он имел в виду «Двое в степи». Вскоре он снова напишет о ней Выдригану в письме от 17 мая 1948 года:

«...Вот уже наступил май, а я все еще не побывал у Вас. Но у меня действительно столько разных крупных и мелких дел, что просто невозможно пока к Вам поехать. В-первых, нам дали квартиру.

А мебели никакой нет, все это надо достать, обставить комнаты, устроиться, одним словом. В-вторых, меня гонят с романом, который я почти закончил. В-третьих, у нас прибавление в семье — и это тоже несколько осложняет жизнь.

Все ж таки я думаю, что летом приеду к Вам: семья будет на даче, роман я с божьей помощью кончу — и тогда сумею уехать.

В номере пять журнала «Знамя» напечатана моя повесть «Двое в степи». Журнал я Вам вышлю. Прочитайте это новое творение и напишите мне о нем...»

Выдриган прочитал новую вещь своего друга и написал, что повесть ему понравилась.

«Ваше письмо с оценкой моей второй повести получил,— писал ему Казакевич 30 июля 1948 года.— Должен Вам сказать, что «Двое в степи», несмотря на холодную оценку ее в печати, имеют огромный успех среди читателей и незаинтересованных писателей... Очень многие оценивают эту вещь выше «Звезды», и, пожалуй, в художественном отношении она действительно выше. Впрочем, это не играет особой роли. Надо работать дальше, делать свое дело.

Я собираюсь приехать к Вам в августе. В точности буду знать через несколько дней.

Поговорим всласть — есть о чем».

Повесть «Двое в степи», как известно, была подвергнута резкой критике и вновь появилась в свет в 1962 году, в новой редакции. Тогда, в 1948 году, генерал, видимо, был серьезно взволнован делами своего друга:

«Здравствуй, дорогой Эмма! — пишет он 16 ноября 1948 года.— Наконец получил долгожданное письмо, которое ты обещал в своей открытке. Рад и благодарен за письмо. Откровенно пишу, что я почему-то ждал письма немного другого содержания, а именно: твоего мнения по поводу заметки в «Лит. газете». Но ты ничего не написал по этому вопросу...

Одним словом, трудись, не бойся, пойми, что нам всем нужна литература с душой современного советского человека, смотрящего в будущее. Ну, а ежели какая неудача... Я верю в твой ум, трудолюбие. Я знаю прожитую тобой жизнь и жизнь твоей семьи...»

Неделю спустя, 22 ноября 1948 года, Казакевич отвечает:

«...Сегодня получил Ваше сердечное письмо, за которое благодарен от всей души.

Я не писал Вам о моих литературных делах не потому, что хотел что-нибудь скрыть: во-первых, это невозможно, а во-вторых, не требуется. Нет, просто я сам читал неблагоприятные отзывы о «Д. в степи» настолько спокойно, что не считал это такой важной темой для писем. Говорю Вам, не рисуясь и не притворяясь: отношусь совершенно спокойно к этой критике. Судьба писателя — наука сложная и никогда не соткана из одних удовольствий...

Я заканчиваю свой роман, и это важно. Кончу его в новом году. Работаю так много и только по ночам, что начались головокружения. Но чем больше меня ругают, тем больше я работаю. Слава богу, что я способен на это, и для меня это значит, что я чего-нибудь стою».

Можно было предположить, что генерал останется доволен своим другом — его боевым духом, принципиальностью, работоспособностью. Так оно и было, если судить по письму Выдригана от 5 декабря 1948 года.

«Здравствуй, дорогой Эмма, большое спасибо за письмо,— писал генерал.— Я очень доволен, что правильно понимаешь свое положение в обществе. Сейчас я больше, чем когда-либо, уверен в том, что ты стал инженером человеческих душ по своему призванию служить нам всем».

Наконец-то сбылась их давняя мечта — Эммануил Генрихович приехал к Выдригану в Херсон. Перед тем в нескольких письмах Казакевич то и дело возвращался к разговору о предстоящей поездке.

«...Мне стыдно, что почти через три года после войны мы еще не встретились, ни о чем еще не поговорили, не окинули наше прошлое — вдвоем — пристальным и пронизательным взглядом. Однако я уверен, что в 48-м году эта встреча состоится обязательно. Обещаю Вам, что приеду хоть на несколько дней, и мы обо всем поговорим...»

«Дорогой Захар Петрович!

Я Вам не ответил на последнее письмо потому, что решался вопрос о моей поездке в Херсон. Наконец вопрос решился. 2 или 3 сентября я выеду к Вам.

Наконец мы увидимся. С радостью предвкушаю нашу встречу. Поговорим обо всем...»

И говорили обо всем, и «окидывали вдвоем — пристальным и пронизательным взглядом» — пройденные годы, военные и мирные, и побывали на родине Выдригана — в селе Козацком, где писатель познакомился и, как всегда, быстро сдружился с земляками генерала.

Вскоре после этого визита он писал Захару Петровичу (16 ноября 1948 года):

«Сегодня я отослал в село Козацкое, в школу, избранную библиотечку художественной литературы. Пусть читают. Приятно сделать что-нибудь полезное для Вашего родного села. Вчера получил письмо из «Червоного маяка», от начинающего писателя Покутного. Способный парень. Присланный им кусочек повести написан неплохо. Из него может выйти толк. На днях напишу ему подробный отзыв. Он пишет мне, что Вы были еще раз в совхозе, у Антона Захаровича. Пошлю, кстати, старику свою «Звезду». У меня осталось о старом виноделе хорошее воспоминание.

Как Ваша жизнь, Захар Петрович? Моя — в непрерывном упорном труде. Я поставил перед собой задачу к 15 декабря закончить роман. Работаю ночи напролет и стараюсь ничем не отвлекаться...»

Работал Казакевич и в самом деле не жалея себя.

«Дома у меня все в порядке, хотя я никого из домашних почти не вижу. Работаю ночью, когда спят, а днем сплю или хожу по делам, — писал он в те дни. — Работаете ли Вы? Вызывали ли Вас в обком? Сейчас уже шесть часов утра. Собираюсь ложиться спать».

Генерал прекрасно понимал, что его бывший адъютант стал настоящим и крупным писателем. Он гордился им и ревностно следил за его работой, а Казакевич в свою очередь считал своим долгом постоянно держать друга в курсе всех своих творческих планов.

31 января 1949 года Казакевич писал:

«На днях приехал из Горького, с Сормовского завода. Ездил туда в связи с тем, что заводу исполняется 100 лет и Союз писателей выпускает к юбилею этого старого русского завода книгу, в которой я буду участвовать очерком.

У меня все, в общем, в порядке... Дети растут, родители старятся. Роман свой я все еще не закончил — расширю и улучшаю его. Дается с трудом — ведь страшно, особенно после критики («Двоих в степи»), — хочется написать хорошо со всех точек зрения, а это трудное дело. «Двое в степи», после первоначальных сдержанных отзывов, получили наконец оценку... Оценка — отрицательная.

Что ж, за битого двух небитых дают! Надо просто учесть все в дальнейшей работе. Я и стараюсь учесть. Поживем — увидим.

...Дорогой Захар Петрович, думаю о Вас всегда с большим и настоящим дружеским чувством и очень хочу Вас видеть. Думаю, что скоро пришлю Вам свой роман — частицу самого себя. А летом 49-го года, если буду жив, обязательно к Вам приеду на короткий срок...»

Писатель по-прежнему очень дорожит мнением Выдригана. Когда кто-то из фронтовых приятелей пожаловался генералу на то, что Казакевич, дескать, став лауреатом, занасался, Захар Петрович не преминул, конечно, отчитать «своего Эмму», как он его всегда называл. Казакевич написал настоящее объяснение.

«...Только что получил письмо Ваше, которое Галя переслала мне сюда, в Ленинград, из Москвы. Я просто удивлен Вашими словами о том, что при встрече я не узнаю фронтовых приятелей.

Никогда этого со мной не было и не могло быть. Вы больше, чем кто-нибудь другой, знаете меня и, я уверен, никогда не поверите разговорам о моем высокомерии.

В связи с моим лауреатством я получил бесчисленные телеграфные и письменные поздравления, среди них много от бывших фронтовых товарищей. Я ответил всем без исключения, хотя среди них были такие, которые во время... (неразборчиво) мало мной интересовались и нынче в друзья лезут задним числом. Только на одно письмо я не ответил — Б—ну, помните этого дурачка, ничтожного и вредного, он был начальником разведки до меня.

Я получил письмо от Атаева — он ашхабадский облвоенком. Квасков — помните, комбат в 93-м СП — облвоенком в Ташаузе, в Туркмении. Вишняков — он был комиссаром б-на и ныне председатель Ржевского горсовета. Всех не упомянешь.

То, что Вы пишете о моей дальнейшей работе и о главном ее герое, очень глубокая и умная мысль. Пора писать о нашем времени в полный голос. Конечно, всего не напишешь, но и того, что можно писать, вполне достаточно на человеческую жизнь.

В этом году побываю у Вас в Херсоне, обо всем поговорим, в том числе о возможных переменах климата... Обсудим, что можно, чего нельзя и как это все сделать.

Я сижу в Ленинграде скоро месяц. И кончаю свой роман «Весна в Европе», или «Начало мира» — не знаю, как назову. Это о последних неделях войны, включая взятие Берлина. Там есть ленинградские эпизоды — один из героев ленинградец, — и я вынужден был поехать сюда. 15 июля выеду в Москву.

Ленинград прекрасен, несмотря на очень хмурую погоду с дождями. Это действительно один из самых красивых городов в мире. Да, здорово строили старики!

Крепко обнимаю Вас, старый друг-отец. Не верьте плохому, что обо мне говорят. Я ничуть не изменился, я ненавижу чванство!»

В переписке между друзьями иногда наступали неожиданные интервалы. Чаще всего это происходило оттого, что кто-то из них бывал сильно загружен работой. Иногда случались и другие причины.

«Прошу прощения за долгое молчание, — писал Казакевич 15 сентября 1949 года. — У меня было, как Вы можете догадаться, столько разных осложнений, что не было настроения писать, портить Вам настроение. Да и что напишешь в письме...

Мои дела таковы: после долгих перипетий мой роман пошел! Он появится в трех номерах «Знамени» — восьмом, девятом и десятом. Как только выйдут, вышлю немедленно. Роман прочитан Фадеевым, Твардовским и др. и получил высокую оценку.

Очень рад, что Вы работаете на интересной, хотя трудной работе. Вы на легких работах и не работали вовсе никогда. Я верю в Вас и знаю, что если Вы возьметесь за что-нибудь всерьез — все сделаете».

Снова наступает перерыв в переписке, теперь уже, кажется, по вине генерала. Во всяком случае Казакевич недоумевает — 3 июня 1950 года он пишет:

«Дорогой Захар Петрович!

Мне очень жалко, что переписка наша с Вами оборвалась так неожиданно и без всякой причины. Может быть, Вы на меня за что-то обиделись? Так не лучше ли просто по-дружески написать об этом. Впрочем, виноват и я, вероятно.

Пока что желаю Вам наилучших успехов в работе.

Посылаю Вам свою «Весну на Одере», только что вышедшую из печати.

Люблю Вас по-прежнему и обязательно постараюсь повидаться с Вами, если не в этом, то в будущем году. Не собираетесь ли Вы в отпуск? Вот было бы хорошо, если бы Вы приехали к нам. Я на днях получаю новую, большую квартиру. В середине июня

уезжаю на длительный срок в колхоз Владимирской области (Вязниковский р-н). Как обоснуюсь, сообщу Вам свой адрес.

Обнимаю Вас и жму руку. Дружеский привет от Галины Осиповны и детей».

В этот период в жизни Захара Петровича происходят большие и важные перемены. У Выдригана появилась новая семья, родились два сына, которым он дал имена тех двух, павших смертью храбрых. Своими новостями и радостями он делится с другом. 26 августа 1950 года Казакевич пишет Выдригану:

«С большой радостью и, пожалуй, с волнением читал я и мои домашние Ваше письмо. Наконец-то Вы написали мне и сообщили о таком большом количестве важнейших изменений в Вашей жизни, о которых я даже и не подозревал. Поздравляю, хотя и с опозданием, Вас и Вашу жену, во-первых, со свадьбой, во-вторых, с появлением на божий свет двух милых мальчуганов — Александра и Николая.

Большое спасибо за высокую оценку моей книги. Служу Советскому Союзу!

Живу я теперь во Владимирской области в небольшой деревне, вместе со всей семьей. Наблюдаю жизнь и пишу понемногу. Я забрал с собой часть своей библиотеки, много бумаги и чернил. Готовлюсь в будущем писать большой роман, действие которого разворачивается на протяжении 25 лет — с 1924 по 1950 год. Работа большая, рассчитанная лет на десять. В ней я хочу показать многосторонне и по возможности глубоко жизнь советского общества на протяжении этого исторического двадцатипятилетия...

Как видите, планы большие: нэп, коллективизация, пятилетки, война, послевоенное время. Крестьянство, рабочий класс, дипломатия, разведка, армия, интеллигенция. Вот на какое дело меня занесло! Подумать страшно, но сделать надо.

Очень хочется повидаться с Вами и посмотреть на Вас теперь, после тех больших перемен, которые произошли в Вашей жизни. Люблю Вас по-прежнему и считаю Вас, как раньше, своим единственным военным учителем. Если я хоть немного знаю войну и военных и если я пишу хоть мало-мальски хорошо, то я в большой степени отношу это за счет Вашего отношения ко мне и за счет той большой школы, которую я прошел под Вашим руководством.

Недавно я получил письмо от полковника Корниленко. Помните его? Он был начальником отдела кадров армии. Я вспомнил о том, как он однажды хотел забрать меня к себе на работу в отдел кадров. Я уже в то время был начальником разведки 76-й дивизии. Я отказался от этого довольно заманчивого предложения. Вспоминая теперь это все, я очень рад, что отказался и остался служить с Вами дальше, вместе с Вами пережил Ковельскую операцию и Ваше ранение в Ковеле. Если бы не это, я бы, вероятно, не смог бы написать «Звезду» и, пожалуй, «Весну на Одере»...

Обычно сдержанный на похвалы, Казакевич чуть ли не в каждом письме снова и снова отдает дань уважения Выдригану, его мужеству, военному опыту и человеческой мудрости. Делает он это не только в письмах к другу. В 1953 году писатель в официальном заявлении к херсонским властям дал блестящую характеристику своему бывшему командиру:

«...Выдриган был бесстрашным командиром, которого любили и высоко ценили подчиненные ему военнослужащие, а также его начальство, в том числе такие, как маршал Рокоссовский, генерал-полковник Крылов... и др. Мы, разведчики, особенно ценили Выдригана как справедливого и храброго начальника, для которого советский воинский долг был превыше всего. Опытный военный, прошедший три войны, раненный шесть раз, старый член партии, он во многом являлся для нас образцом советского командира. В моих произведениях — повести «Звезда» и романе «Весна на Одере» — Выдриган частично изображен в образах полковника Сербиченко («Звезда») и генерала Тараса Петровича Середы («Весна на Одере»). Немало моих сослуживцев по дивизии узнавали Выдригана в этих литературных героях...»

Вся жизнь Выдригана, по мнению Казакевича, могла служить материалом для большого романа. Еще с фронтовых времен была у друзей мысль издать мемуары Заха-

ра Петровича «Жизнь солдата». Первые наброски были сделаны во время войны, потом они не раз возвращались к этой теме. В письме от 7 апреля 1952 года Казакевич писал:

«...Могу Вас немножко обрадовать: я стал искать и нашел в своих бумагах черновик Ваших воспоминаний, написанный моим почерком, видимо, сразу после победы. Там описано многое, но мы с Вами как-нибудь на досуге дополним. Хорошая привычка — не выкидывать старые бумаги. Что касается внешнего оформления книги, то можно ее оформить похлестче, чем она была раньше...»

Увы, повседневные дела и заботы так и не позволили довести это дело до конца. А забот было немало. Читатель, вероятно, помнит, как на первых послевоенных порах было трудно Казакевичу: не было жилья, заработки были мизерные, поскольку дни и ночи писатель отдавал работе над «Звездой». Генерал в ту пору — чем только мог — помогал Казакевичу начинать новую жизнь. Когда в 1951 году стало трудно Выдригану (заболели оба его маленьких сына, необходимы были дефицитные лекарства, калорийные продукты, а в Херсоне с этим обстояло тогда туго), Казакевич все делал, чтобы помочь другу. 13 октября 1951 года Выдриган пишет:

«Дорогие Эмма и Галя!

Искренне благодарим Вас за Вашу помощь и заботу о детках. Сейчас, как никогда, Ваша помощь нужна была, трудно даже установить причину болезни Шуры. Коля уже выздоровел. Присланное Вами крепко помогает выхаживать ребят. Еще раз большое спасибо за труды и заботы...»

К тому же генерал проявляет еще особую и, пожалуй, излишнюю щепетильность:

«...Дорогой Эмма, я хотел бы, чтобы ты был всегда мне другом, а для этого надо тебе выполнить еще одну мою дружескую и отцовскую просьбу. Эта просьба заключается в следующем. Там, где ты вводишь свою семью в расходы на нашу семью, говори (пиши), сколько это стоит. Для того, чтобы я мог возместить ваши расходы. Пойми, Эмма, это так нужно во имя крепости нашей дружбы...»

Позже, когда сыновья подросли, генерал решил — по семейной традиции — сделать их профессиональными военными, определить в суворовское училище. В Херсоне училища нет, а устроить ребят в другом городе было не так-то легко (из двух братьев-близнецов приняли только одного — Шуру), и тогда генерал, как обычно, обратился за помощью к Казакевичу.

«...Дорогой Эмма! Прости за стариковскую откровенность. Для того, чтобы устроить ребят, надо много сил и энергии, которые я растерял.

Когда отбирали в Херсоне в суворовское училище, было всего одно место на первый курс. Кандидатов было много, в том числе Шура и Коля. Шуру приняли. По поводу Коли я написал такое прошение:

«Начальнику Кавказского суворовского военного училища
генерал-майору тов. Ракову

от генерал-майора в запасе
Выдригана З. П.

П р о сь б а

Очень прошу Вас, партийную и комсомольскую организацию зачислить сына Николая на I курс вверенного Вам училища. Зачислением Вы удовлетворите искреннее его желание стать военным и заменить погибшего старшего брата.

Его дед П. Выдриган, дядя Е. Выдриган, тетя Е. Выдриган в 1918—1919 годах смертью храбрых пали за советскую власть.

Старшие братья Александр и Николай, офицеры (Николай — Герой Советского Союза), — оба погибли в рядах Советской Армии.

Я — член партии с 1919 года. Доброволец старой армии — с февраля 1915 года по декабрь 1917 года. С декабря 1917 года по 1946 год служил в Советской Армии.

Прошу пойти навстречу патриотическому желанию моих сыновей продлить военные традиции семьи...»

Захар Петрович любил показывать Казакевичу всякие свои официальные бумаги — рапорты, заявления, прошения, рассчитывая на то, что писатель отредактирует их и, как говорил Выдриган, «пройдется рукой мастера». Так было и во время устройства Николая в училище. 20 мая 1962 года генерал в письме благодарил Казакевича, почему-то даже называя его торжественно на «вы»:

«Дорогой Эммануил Генрихович! Простите, что задержался с письмом. Ждал извещения из Москвы о Николае. 20 мая получил долгожданную бумажку, от всего сердца выражаю Вам свою благодарность за будущее Николая...»

Чувство локтя и взаимовыручки, возникшее и окрепшее еще на фронте, не покидало их никогда: оба каким-то особым мужским чутьем угадывали, в чем нуждается друг, как идут у него дела, стараясь вовремя прийти на помощь. Получив известие о том, что обе дочери Казакевича стали студентками, генерал писал:

«Дорогой Эмма!

...Рады, что определили Женю и Люсю. Ведь мы знаем, что это не так легко и что это очень и очень ответственный момент в жизни не только детей, но и родителей. Это определяет профиль их будущей жизни. Откровенно, я болел за вас, Галя слабая здоровьем, а ты — рубака.

Эмма, ты ничего не написал о материальной стороне. Ведь это так важно. Мне почему-то кажется, что ты уже весь в долгах, и это отражается на твоей творческой работе, здоровье детей и Гали, ты-то привык ко всему. Но семья у тебя все же немного избалована, и ее сажать на жесткую норму нельзя. Я думал и сейчас думаю: ты скажешь, а чем я могу помочь? Я уже говорил тебе и писал, что в конце концов можно загнать мой дом».

Ну и, естественно, генерал, как старший по возрасту и более умудренный жизненным опытом, не упускал случая дать своему младшему другу тот или иной житейский совет. Узнав, например, что писатель вдруг стал сильно увлекаться охотой, генерал предостерегает его:

«...Насчет охоты Эммы — за успехи рад. Но хочу предупредить: охота — вещь хорошая, но и она часто так увлекает людей, что они забывают обо всем. Пусть моя проповедь будет лучше неправильной, но я хотел бы, чтобы Эмма уделял охоте меньше времени. Помнил об одном, что сил и времени не нужно жалеть для: партии — семьи — избранной профессии. Остальное нужно только как средство, пополняющее твою волю и здоровье для призванной работы. Охота незаметно заберет много здоровья и средств. Я предпочитаю лучше выезжать с семьей на лыжную прогулку...»

Перечитываем письма Казакевича и Выдригана — и не перестаем удивляться. Сколько нитей былой фронтовой дружбы незаметно рвались уже в первые послевоенные годы, когда вчерашние фронтовики начинали новую жизнь, каждый свою, со своими трудностями и сложностями. У героев нашего рассказа, казалось, тоже были в новой для них мирной жизни разные пути и цели, и жили они в разных городах, и образ жизни был у каждого иной, но их поистине необыкновенная дружба, их душевная тяга друг к другу оказались сильнее времени и расстояний. И шли письма из месяца в месяц, из года в год — из Херсона в Москву, из Москвы в Херсон...

«Я пишу, заканчиваю большую повесть.

У нас в семье случилось большое несчастье: 16 марта умерла маленькая наша дочка Леночка. У нее был врожденный порок сердца, и, несмотря на все меры, она скончалась на девятом месяце своей трудной маленькой жизни.

Настроение, понятно, не ахти какое. Но так или иначе надо жить и выполнять свои обязанности» (из письма от 30 марта 1952 года).

«...Заканчиваю повесть — тоже военную. Все время занят ею и ничем другим не занимаюсь, даже здесь, на курорте.

Очень хочется Вас повидать, поговорить, рассказать Вам и послушать. Если будет малейшая возможность, мы заедем к Вам хоть на несколько дней во второй половине августа. Дети очень хотят Вас увидеть и вообще побывать на Украине, в Херсоне, о котором я им много рассказываю» (2 июня 1952 года).

«...Живем мы, слава богу, потихоньку, тихо и мирно, чего и Вам желаем. Я работаю над новым романом, который собираюсь кончить еще в этом году, если ничего не помешает и если я сам не поленюсь.

У меня с Галей возник следующий проект: отправиться всей семьей в Херсон на машине в июне или в июле, с тем чтобы дети пожили на юге, вдоволь поели фруктов, арбузов и т. д., покатались на лодочках и пароводиках по Днепру.

Что касается меня, то я с великим удовольствием повидаюсь с Вами при этой okazji. Сколько накопилось тем для разговоров за это время. Особенно за последнее! Кстати, мы сможем восстановить Вашу книгу... Первоначальный ее экземпляр у меня есть, я его привезу» (7 мая 1953 года).

«...Очень рады были получить от Вас весточку. Я в марте был месяц в Венгрии в составе советской делегации. После этого написаны очерки. Недавно был несколько дней в Вашем городе, вспомнил про Вас, Вы ведь там служили перед уходом в запас. Городок хороший.

В этом году постараюсь закончить роман «Дом на площади». Из-за поездки в Венгрию он сильно задержался...» (10 апреля 1954 года).

«Спасибо за желание помочь. К счастью, дела мои обстоят не так плохо. На днях выходит в Воениздате отдельным изданием «Сердце друга» Это даст мне возможность спокойно кончить работу над романом «Дом на площади»...

...Настроение у меня очень хорошее — многое в нашей жизни стало лучше и интереснее. Только засуха на юге вмешалась не вовремя» (15 октября 1954 года).

«Очень рад, что Вы так бодро настроены... Я пишу теперь новую вещь и стараюсь поменьше прислушиваться к внешней суете, которая иногда имеет гораздо меньше значения, чем это представляется на первый взгляд.

У меня большие планы — собираюсь совершить длительную поездку на Урал, пожить среди рабочего класса. Я обязательно сделаю это в будущем году...» (16 сентября 1956 года).

«Вот она, наконец, моя «Синяя тетрадь»,— повесть, которую я писал около двух лет, а затем пытался напечатать, на что ушло еще три с половиной года. Посылаю Вам, дорогой друг, свою повесть...» (10 апреля 1961 года).

Переписка продолжалась до последних дней жизни Эммануила Генриховича — он умер 24 сентября 1962 года, не дожив полугода до своего пятидесятилетия. Всеми делами и мыслями, радостями и огорчениями делился писатель со своим старым и верным другом фронтовых и послевоенных лет.

Последним письмом, копию которого дал нам Захар Петрович Выдриган, было то, которое он написал 30 ноября 1962 года, спустя два с лишним месяца после смерти Эммануила Генриховича. Письмо это, адресованное вдове писателя, пронизано такой

отцовской привязанностью «к Эмме», такой глубокой любовью, какую может заслужить только большой, только настоящий человек. А именно таким был Казакевич.

«Дорогая Галина Осиповна!

Я пишу свою автобиографическую повесть под названием «Жизнь солдата». Естественно, в ней упоминаю о своем дорогом и верном друге Эммануиле Генриховиче Казакевиче. Годы у нас с ним были разные, но мы были одинаковы. Мы так дополняли друг друга, что просто это трудно не только сказать, но и объяснить.

Вы понимаете, Галя, там, где надо, Эмма старел, а я молодец. Там, где необходимо было ему спокойствие, он брал его у меня, хохла. Там, где надо было погорячиться, я брал у Эммы.

У нас не было секретов друг от друга. Он меня считал отцом, но я не считал его сыном, потому что он был больше похож на рассудительного и верного друга.

Когда он был в чем-либо убежден, он никогда не отказывался от своих убеждений в угоду самым большим начальникам. За что я его и любил.

Он был честен не только перед людьми, но и сам перед собой. А это в жизни делать очень трудно.

Он был храбрый. Он любил жизнь и умел жить так, как должен жить человек.

Пьяным я Эмму никогда не видел. Даже тогда, когда все вокруг было пьяно, он и его второй отец сидели трезвые и радовались минутам заслуженной дружью вольности.

Он так же, как и я, имел слабость: храбрым прощать многое, трусам — ничего.

Женщинам всегда и во всем уступать, кроме семьи, родины и партии. Это была наша с ним святая троица. Те годы, что я был с ним, он до забвения самого себя любил Вас, Галя, и дочерей.

У нас с ним был дружеский договор: если что случится с кем-либо из нас, то оставшийся все делает для семьи погибшего как друг и отец. Правда, в то время у меня не было никого, о сынах я знал, что они погибли, а жены-друга не имел. Я знал по его рассказам Вас, Женю, Лелю и в меру своих сил сберегал его для вас, мои дорогие...»

Письма... Сами по себе они, быть может, сильнее иных пространств повествований передают характер и взаимоотношения этих двух удивительно цельных людей. Своими письмами они, сами того не ведая, почти два десятилетия как бы писали в соавторстве волнующую повесть о себе. И нам, прикоснувшимся к этим письмам, звучащим, как строки баллад, все время приходилось сдерживать себя, чтобы не показаться многословными. Боясь быть назойливыми, мы старались не мешать душевному и искреннему разговору наших героев. Их переписка представляется нам яркой и примечательной страницей, которая с равным основанием может войти и в историю советской литературы, и в историю Великой Отечественной войны.

Писатель и генерал... Армия и литература... На войне многое переплелось, перемешалось, а то и поменялось ролями. Писатель становился на войне солдатом, офицером, разведчиком, не разлучающимся с автоматом. А генералу в то время доводилось бывать и учителем жизни, духовным наставником, «вторым отцом». Славный сын украинского народа, человек большого сердца и ума, Захар Петрович Выдриган был на протяжении двадцати лет духовным отцом талантливого русского писателя. Это признание самого Казакевича, несклонного к сентиментам. Прекрасное содружество дало прекрасные плоды. Те, кто читал книги Казакевича, узнали многое о войне, о времени, о советских людях, о себе. Всем этим сегодняшней и будущей читатель обязан автору — писателю Казакевичу. И его замечательному другу — генералу Выдригану.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ТРИ БИОГРАФИИ ВЕРНЕРА ФОН БРАУНА

ФРГ

«Бунте иллюстрирте»
(«Иллюстрированная смесь») №№ 6—29 за
1969 год. Год издания
5-й. Оффенбург. Издатель
и редактор Франц Бурда.

★

Еженедельник «Бунте иллюстрирте» — один из самых многотиражных западногерманских журналов. Редакторы «Бунте» хвастливо заявляют, что его «раскупают миллионы». И это действительно так. Легкое чтение, которое поставляет еженедельник, по душе обывателю. Однако «Бунте», так же как и другие иллюстрированные еженедельники в ФРГ, не ограничивает свою деятельность пересказом сплетен из жизни кинозвезд и коронованных особ. У него есть и свои политические задачи.

«Гвоздь» полугодового комплекта «Бунте» за прошлый год — обширнейший, печатавшийся в двадцати четырех номерах, материал о блистательной карьере Вернера фон Брауна, любимца Гитлера, создателя ракет «фау-2», которыми фашисты обстреливали Западную Европу, а ныне одного из главных «ракетчиков» США.

Идет этот материал под рубрикой «татзахенберихт», что приблизительно означает жанр документальной повести. Документальных повестей в ФРГ появилось в наши дни великое множество. Западным немцам надоели мифы, вымысел, тенденциозность, пропаганда, ложь. Они жаждут строгих фактов, документов, правды. Но обывателю невдомек, что под вывеской документальной прозы ему зачастую преподносят ту же ложь, препарированные факты, тенденциозные данные.

Итак, перед нами жизнеописание Вернера фон Брауна под названием «Прорыв к звездам», с подзаголовком «Авторизованная биография создателя лунной ракеты в записи Бернда Руланда».

Внимательно изучив это произведение, убеждаешься, что оно многослойно и что еженедельник предлагает своим читателям не одну, а сразу три биографии Брауна — на разные вкусы и потребности! Эти три биографии Брауна, разумеется, не отделены ни звездочками, ни подзаголовками, они идут вперемежку. Тем не менее для удобства мы выделим их и рассмотрим каждую в отдельности.

Биография № 1 (идиллически-прсамериканская). В Германии жил мальчик по имени Вернер по фамилии Браун. Когда Вернеру минуло четырнадцать, мама подарила ему телескоп. И это сыграло решающую роль в судьбе современной космонавтики. Мальчик начал смотреть на звезды и мечтать о межпланетных путешествиях. Юношей Браун принялся за конструирование ракет. Опытный полигон, на котором он работал, почему-то попал в ведение военного министерства, и у Вернера появился друг по фамилии Дернберг. Он почему-то был кадровым военным: сперва капитаном, потом полковником, потом генералом. И почему-то делал оружие в обход Версальского договора, который запрещал побежденным немцам милитаристам вооружаться. Все это происходило в конце двадцатых — начале тридцатых годов. Но вот к власти в Германии пришли фашисты, которые почему-то тоже заинтересовались деятельностью Брауна и Дернберга. Браун принялся выполнять программу, разработанную и утвержденную самим Гитлером. Потом почему-то началась война. Гитлер заторопил Дернберга и Брауна — ему срочно нужно было новое секретное оружие. И Браун был рад стараться. Но ему мешали несознательные антифашисты. Они передали планы Брауна—Дернберга за границу, а потом сообщили и координаты ракетного центра фашистов в Пенемюнде. Не помог даже Гиммлер, который почему-то стал непосредственным шефом Брауна.

К. Пенемюнде прорвались союзные бомбардировщики. Однако Браун благополучно пережил бомбежку. Его объекты были переведены в гигантские штольни под землей. И он наладил в 1944 году серийное производство ракет «фау-2», у которых был только один конструктивный недостаток — ими нельзя было вести прицельный огонь. Поэтому ракеты поражали в основном гражданское население Лондона, Антверпена, Парижа, Лилля. Однако, несмотря на «фау-2», нацистская Германия проиграла войну (сам Браун не был в этом виноват!). И вообще война была не его стихия. Его стихией были ракеты. В глубине души он всегда мечтал о межпланетных полетах. В конце 1945 года Браун отправился на Запад к американским оккупационным войскам, потихоньку сообщил своим ближайшим сотрудникам, что он всегда питал «тайную слабость к США». У американцев Браун был сперва на скромном жаловании, хотя и вылез с помощью Дернберга пять ящиков чертежей «фау-2». Но потом он выдвинулся. И вот итог его жизни: вилла, яхта, личный самолет, красивая жена, две дочери и маленький сын Петер.

Биография № 2 (профашистско-националистическая). Она вполне в стиле реваншистской пропаганды и журналов типа «Бунте». Цель таких биографий, о ком бы ни шла речь — о нацистском преступнике Бальдуре фон Ширахе (его мемуары печатались в журнале «Штерн») или о Брауне, — показать фашистскую Германию во всем ее «блеске». Сила подобных биографий не в тексте, а в иллюстрациях. Жизнеописание Брауна дало «Бунте» богатый иллюстративный материал, поскольку Браун всегда вращался в высшем фашистском обществе. И вот мы видим бесчисленные снимки Брауна с главарями коричневого рейха (их куда больше, чем снимков виллы Брауна и его дочерей...). Фашистский генералитет в полной форме и при всех регалиях. Браухич, Кейтель. Нацистские фюреры: Шпеер, Геринг, Гиммлер. Гитлер осматривает ракеты. Гитлер в фас. Гитлер в профиль. Ганна Рейч — женщина ас, личный пилот Гитлера и близкая приятельница Брауна... Между строк — наглое хвастовство. Фашистская Германия создала чудеса военной техники! Ого, какие мы были молодцы! А режим какой у нас был — весь мир дрожал перед нами и работал на нас!

До чего же хочется определенной категории немцев восстановить старые кумиры и реставрировать нацистскую идеологию, слегка «подправив» ее! Со времени военной катастрофы Германии и разгрома фашизма прошло уже четверть века. Выросло целое поколение людей, которое знает об ужасах гитлеризма только понаслышке, — за их душами-то и охотится сейчас реакция в ФРГ. Бывшие нацисты не хотят уняться, не замечая, что мир уже не тот, что в самой Западной Германии появились мощные силы, противодействующие политике реванша.

Для всех профашистских, реваншистских и милитаристских сил Вернер фон Браун — находка, клад! Прежде всего он олицетворение «стойкости» немецкого духа: пройдя фашистские огонь и воду, снова всплыл на поверхность. Пользуясь его именем, можно вытащить и старый фашистский тезис о «приоритете» немецкой научной мысли. Хотя волей-неволей даже «Бунте» вынужден признать, что зачинателем космической эры был Циолковский.

Для неонацистской пропаганды удобно и то, что в годы фашизма Браун не бунтовал: он был «своим», продвигался по чиновной лестнице, не возражал, когда гестапо арестовывало его сотрудников, благоговел перед авторитетом Гитлера. И в то же время этот «свой» занимался наукой. И не каким-либо там абстрактным «интеллектуальным» умствованием, а наукой, связанной с производством оружия. В программе неонацистской партии НДП сказано: «Главной задачей является развитие отечественной военной промышленности и расширение военно-технических исследований». Фон Брауна вполне можно провозгласить сейчас патриархом «военно-технических исследований» в гитлеровском рейхе. Правда, для откровенных реваншистов и неонацистов в биографии Брауна есть и небольшой изъян — как-никак он живет сейчас не на берегах Рейна, а в штате Алабама, как-никак он связан не с немецкими монополиями, а с американскими. Но западногерманская реакция мирилась и не с такими изъянами.

И все же вторая биография фашистского ракетчика Вернера фон Брауна в «Бунте» также играет второстепенную роль. Главную же играет биография номер три.

Биография № 3 (технократическая). Эту биографию необходимо предварить хотя бы несколькими словами о чрезвычайно модной «технократической теории», которая распространяется сейчас и в Старом и в Новом свете. Именно она-то и делает жизнеописание Брауна в «Бунте» достойным пристального внимания. Согласно этой теории, в XX веке в связи с небывалыми успехами науки и техники сформировалась особая каста ученых-технократов, которая стоит над правительствами, над социально-экономическими строями. Сторонники этой теории иногда прямо, а чаще завуалированно утверждают: неважно, что создают мужи науки — оружие, орудия пыток или противораковую вакцину. Важен поиск, работа научной мысли! Дипломы и звания технократов подобны средневековым индульгенциям: они дают право на отпущение грехов. Какому бы режиму они ни служили, главное — их мозговой потенциал. Совесть для них — рудиментарное понятие.

«Теория» эта глубоко аморальна и крайне опасна. И это хорошо понимают лучшие представители ученого мира, которые считают себя ответственными за все, что происходит на Земле и которые никогда не отделяли совести ученого от гражданской совести. Ученые эти не раз поднимали свой голос, предостерегая политиков тех стран, где они жили и работали, от беззаконий. Даже в фашистской Германии, где начиналась карьера фон Брауна, некоторые его коллеги клали голову на плаху, чтобы помешать войне и фашизму. Но те, кому технократическая теория на руку, об этом и не вспоминают. Зато для подтверждения теории о существовании технократии фигура фон Брауна — в прошлом штурмбанфюрера СС, а ныне одного из крупнейших бизнесменов от науки в США — подходит как нельзя лучше.

Но отвлечемся на время от документальной повести Руланда в «Бунте иллюстрирте» и обратимся к подлинным документам недавнего прошлого.

Действительно ли Вернер фон Браун был свободен от того общества, где он создавал свои ракеты? Действительно ли ученые и наука в рейхе Гитлера были автономны и аполитичны?

Вернер фон Браун по своему происхождению принадлежал к той реакционной клике, которая привела фашистов к власти и была их надежной опорой. Отец Брауна, помещик, стал министром в «кабинете баронов» Папена, открывшем Гитлеру дорогу в канцлерское кресло. После 1933 года он вместе с Шахтом проводил валютные махинации, чтобы обеспечить перевооружение Германии. Один из трех братьев Вернера фон Брауна был дипломатом у Риббентропа. И занимает поныне важный дипломатический пост — он посол ФРГ во Франции. Второй брат, младший, работал с Брауном в Пенемюнде, а теперь он — один из директоров концерна Крейсlera в Детройте. Словом, семейство Браунов — это клан, принадлежащий к реакционным верхам буржуазного общества. И не наука, а связи и капиталы держали его на поверхности.

Далее. Когда Вернер Браун начал делать свою карьеру, немецкая наука была фактически разгромлена. Часть немецких ученых во главе с Эйнштейном эмигрировала из Германии. Часть пошла на компромисс с Гитлером и долгие годы прозябала в изоляции от мировой науки, будучи обречена на бесплодие. Часть — наиболее беспринципная — начала перестраиваться, приспособляясь к гитлеровской политике и идеологии. Но этим все не ограничилось. Старые интеллигенты всегда были подозрительны фюреру. И он начал создавать «свою» нацистскую интеллигенцию, заполняя вакуум, образовавшийся в научных и учебных учреждениях страны, преданными ему функционерами и бюрократами (а не технократами!). Их труды срочно издавались. Им срочно присваивали ученые звания и степени. Приведем только один пример из жизни университета имени Фридриха Вильгельма, в котором фон Браун получил свой диплом. После 1933 года в этом университете выдвинулся некий Карл Эмиль Беккер, армейский полковник. Он начал читать курс «общей военной техники» и получил профессорское звание. Некий Эрих Шуман возглавил II физическое отделение университета и организовал кафедру военной техники. Профессор медицины Беренс начал читать курс «боевых газов и смежных областей». Его коллега Шум получил кафедру военной хирургии. Ректором университета Фридриха Вильгельма был при нацистах Эйген Фишер, который возглавлял в то же время институт антропологии и наследственности, где разрабатывалась столь же антинаучная, сколь и кроваво-расовая теория. Еще одним «свети-

лом» университета Фридриха Вильгельма стал некий полковник Оскар Риттер фон Нидермайер, директор военно-политического института, который читал студентам лекции по фашистской геополитике (такой же жженауке, как расовая теория).

Разумеется, процесс военизации и фашизации науки в Германии проходил не только в масштабах одного университета, но и в масштабах всей страны. Появились нордическая математика, нордическая физика. 1750 «научных работников» в рейхе Гитлера вступили в СС!

В ракетной технике, где подвизался Браун, царил не «игра мысли», а интриги, подсиживание, доносы. У одного из создателей первых немецких ракет, Рудольфа Небеля, отобрали его патенты и заставили эмигрировать из Германии. Многие другие ученые и инженеры были отстранены от работ в этой области, как недостаточно политически — и расово — благонадежные. Вот из какой научной среды вышел Браун! А вот как он в нее вошел. Об этом легкомысленно рассказал не кто иной, как тот же Руланд на страницах «Бунте иллюстрирте». В июле 1943 года Браун прокрутил Гитлеру пленку, на которой были сняты пробные запуски «фау-2». И Гитлер вдруг воскликнул: «Благодарю вас, господин профессор...» Этого было достаточно. Через несколько недель в Пенемюнде на имя Брауна прибыл профессорский диплом, подписанный не учеными-экспертами, а Гитлером и начальником его канцелярии Мейснером. В свою очередь вновь испеченный профессор Браун «с почтением выслушал» технические советы Гитлера и через «несколько дней велел разработать его (Гитлера) теорию». Предложения фюрера, заявил Браун, «оказались правильными. Мы создали совершенно новую систему, которая показала себя, как более действенная» (цитируем из «Бунте иллюстрирте»).

Вот кто, оказывается, был научным руководителем Брауна. Какая уж тут автономия науки! Какая уж тут независимость технократической касты!

Впрочем, в применении к фашистскому режиму апологеты технократической теории делают одну существенную поправку. Они утверждают, что в условиях тоталитарного строя ученые вынуждены идти на сделку со своей совестью. Намеки на это есть и в биографии Брауна в «Бунте». Действительно, после 1939 года из Германии нельзя было уехать, там свирепствовал террор, жизнь человека не стоила ни гроша, и ученые, которые были на государственной службе, не могли перейти в частную фирму, всех их «засекретили» и лишили возможности выбора. И все же это не означало, что у людей науки был только один путь — путь безоговорочного служения Гитлеру. Были и другие пути, только эти пути вели не к мечтам, не к почету, не к привилегиям и не к высшему нацистскому ордену — «кресту с мечами и брильянтами», которым был награжден Браун.

С судьбой Вернера фон Брауна тесно переплелась судьба двух талантливых ученых — физика Ганса Генриха Куммерова и химика Эрхарда Томфора. Куммерову и Томфору, имевшим большие связи среди оппозиционной немецкой интеллигенции, удалось составить документ, в котором они очень точно обрисовали ракетную программу Брауна—Гитлера. (Заказы для этой программы на первых порах выполнялись на десятках заводов в Германии, что и дало ученым возможность проникнуть в тайны ракетного дела.) Документ этот был с огромным риском переправлен в Осло, а оттуда в Лондон. В сентябре 1942 года Куммеров, Томфор и жена Куммерова Инга Куммеров, мать троих детей, были схвачены гестапо по делу антифашистской организации Шульце — Бойзена—Харнака. (О том, что Куммеров и Томфор фактически раскрыли фашистскую ракетную программу, гестаповцы так и не узнали.) В 1943 году после нечеловеческих пыток все трое были казнены. Вот что написал из тюрьмы Куммеров своему другу:

«Дорогой друг! Шлю тебе прощальные приветы. Я умираю так же, как и многие другие в этой войне. Но я всегда боролся против национал-социализма, за военное поражение Германии. И если бы моя работа и работа моих друзей увенчалась успехом, не было бы всех тех бесчисленных жертв, которые еще будут в этой войне...»

Куммеров и Томфор были настоящими героями. Таких героев было немало в фашистской Германии. Но еще больше там было людей, которые хоть и не отваживались на открытую борьбу против гитлеризма, но в меру своих сил и возможностей саботировали военную программу Гитлера. Среди этих людей многие имели дипломы и звания. Пусть они и не говорили открыто «нет», пусть не участвовали в антифашистском

движении. Пусть они просто не помогали своими знаниями фашистам. Но насколько они все же были выше таких, как Браун!

Существует и еще один, на наш взгляд, самый опасный аспект легенды о технократии. Этот аспект заключается в том, что ради чистой науки, мол, все дозволено. И что ученая каста должна быть тем самым судима по иным законам и меркам, чем простые смертные. Тезис этот — вариация известного тезиса: цель оправдывает средства. Не будем ссылаться на опыт истории, показавший, что нет и не было таких целей, которые оправдывали бы произвол, насилие, жестокость, рабский труд, безнравственность, военную лихорадку. Останемся в рамках биографии Брауна и покажем, каковы были его «научные» цели и каковы были средства для достижения этих целей.

Первые ракеты «фау-2» фашистская Германия направила на Англию в 1944 году, то есть тогда, когда всем более или менее осведомленным людям в рейхе, в том числе и технократам, было ясно, что эти ракеты не изменят хода войны и приведут только к новому ненужному кровопролитию. Стоит напомнить, что окончательное название ракетам Брауна — Дернберга (раньше они назывались «А-4», «агрегат-4») дал Геббельс. Фау — первая буква немецкого слова «фергельтунг» — взмездие. Но понятно, что речь шла не о возмездии, а о мести. С помощью агрегатов Брауна Гитлер хотел отомстить союзникам, всему миру за свои неудачи, поражения, пресчеты, бессилие. Так что в этом плане у Брауна и у его штаба не могло быть никаких иллюзий. Их ракеты были средством бессмысленного массового уничтожения людей. Не могло быть у технократов и другого рода иллюзий. Иллюзий о том, что программа создания секретного оружия могла бы превратиться, скажем, в программу полетов в космос.

Для выполнения своей ракетной программы нацисты с самого начала направили на производство тысячи узников концлагерей, главным образом Бухенвальда. А когда Дернберг—Браун перешли к серийному изготовлению «фау-2», из Бухенвальда потянулся эшелон за эшелонам. Смертников сгоняли в новый лагерь. Группенфюрер СС Ганс Каммлер строил руками нацистских жертв подземные ракетные заводы. Новый концлагерь, обслуживающий эти заводы, получил название ДОРА. Никто не должен был выйти из лагеря ДОРА живым. «Это был ужаснейший из всех ужасных лагерей на немецкой земле», — сказал профессор Вальтер Бартель, многолетний узник Бухенвальда, автор многих трудов о фашистских концлагерях. Французские участники Сопротивления называли ДОРА «кладбищем французов». Здесь мы приведем только одно свидетельство польского антифашиста Адама Кабала, чудом пережившего ужас: ДОРА. Вот что рассказал Кабала в 1957 году:

«...Немецкие ученые во главе с Вернером фон Брауном ежедневно наблюдали все, что творилось в лагере. Когда они проходили по подземным переходам, то видели, как терзали заключенных, видели их непосильный труд, их муки... Много раз проходил он (Браун) мимо входа в зал 36. Полуистлевшие деревянные нары, где спали узники, длиною в шесть метров, занимали три четверти этого зала. В конце зала, рядом со входом А, разыгрывался самый позорный акт трагедии ДОРА. Туда каждый день сваливали людей, которых убила нечеловеческая работа и садисты-надсмотрщики. Там всегда лежала гора трупов. Профессор Вернер Браун проходил мимо этой горы так близко, что почти касался мертвецов... Даже сами узники не могли вынести этого зрелища. Людям выворачивало все внутренности, они падали в обморок... Но профессор Вернер фон Браун, который проходил мимо груды тел, даже не поворачивал головы...»

В «Бунте иллюстрирте» лагерю ДОРА посвящено несколько абзацев. Фон Браун отрицает, что эсэсовцы нарочно умерщвляли людей, морили их голодом, избивали и мучили: ведь это... «снизило бы производительность труда». И далее он говорит: и все же положение узников «тяжелым грузом лежало на душе каждого порядочного человека. Не могу отрицать». Какие жалкие и какие циничные оговорки!

На этом можно было бы поставить точку, если бы рядом со снимками Брауна в кругу нацистских генералов и фюреров не было недавних снимков того же Брауна в кругу американских космонавтов. Такие снимки помещают не только западногерманские еженедельники, но и газеты и журналы всех буржуазных стран... И вот перелистываешь глянцевиные, яркие страницы «Бунте иллюстрирте», богатого, преуспевающего, «сытого» журнала, если так можно сказать о журнале, смотришь на лицо

сытого, преуспевающего, загорелого, на редкость молодежавого Вернера фон Брауна и невольно задаешь себе вопрос: неужели на земле нет истинного возмездия? Не мести, а именно возмездия? И неужели пять ящиков Дернберга—Брауна с чертежами «фау-2» перевесили у американцев чувство если не справедливости, то хотя бы естественной брезгливости? И неужели бывший генерал СС, строивший свою карьеру на костях людей, может называться в нашем мире ученым?

Нет, не убедил нас западногерманский журнал «Бунте», что для науки личность ученого ничего не значит. Мы по-прежнему твердо верим в то, что в нашу сложную эпоху каждый ученый как раз и обязан выбрать не только над чем ему работать, но и кому он станет служить. Такой выбор сделали в свое время Эйнштейн и Ферми, покинувшие свои страны. И совсем недавно Оппенгеймер, который отказался работать на американский империализм. Такой выбор сделали и Макс Борн, и Отто Ган, и многие другие представители мировой науки, саботировавшие милитаристскую программу фашистов. Свой выбор сделал и Браун. И этого нельзя ни забыть, ни простить.

Л. ЧЕРНАЯ.



В МИРЕ ИСКУССТВА

Л. АННИНСКИЙ

★

СБЫВШЕЕСЯ ПРЕДЧУВСТВИЕ

Из опыта советского кино

Летом 1968 года в Новосибирске социологи отобрали несколько тысяч кинозрителей и устроили среди них своеобразное голосование: хотели выяснить, какого типа фильмы имеют спрос. Для удобства картины были разбиты на несколько категорий, которые я привожу не без смущения; впрочем, если помнить, что речь идет не о фильмах, а о типах фильмов, то можно принять и такие рубрики: «экранизации», «развлекательные», «морально-этические»... Люди отвечали «да» или «нет».

Результаты этого тайного голосования надо было бы вывесить на всех перекрестках. Дело в том, что морально-этическая тема победила... не то слово, она буквально подавила все остальное, она вышла на абсолютное первое место с колоссальным отрывом от остальных.

Вы скажете, что нет ничего смешнее, чем выделять «морально-этические» сюжеты, что такие сюжеты легко выделить лишь в среднепрофессиональной или ремесленной продукции, что любой действительно сильный фильм с неизбежностью несет в себе нравственный пафос независимо от внешней темы. Да, это верно. Искусство не поддается механическому делению на рубрики, и, честно сказать, попадись мне та анкета, я не знал бы, куда отнести фильм «Летят журавли» — к картинам «о войне» или к «морально-этическим». Тем не менее это факт: огромное число кинозрителей видят в морально-этической проблематике пусть наиважнейшую, но все-таки тему,

то есть рубрику рядом с другими рубриками. Соответствующие фильмы «учат», как жить, поступать и т. д. Конечно, к существу художественного творчества такие рубрики имеют примерно такое же отношение, как инвентарные номера полотен в музее к смене направлений в живописи. У фильма, сделанного специально на «нравственную тему», сколько бы он ни шумел при выходе в прокат, есть только одна перспектива: кануть в Лету в качестве еще одного урока прикладной морали, тогда как действительное развитие в искусстве морального потенциала всегда связано с большой исторической проблематикой; других путей к человеку у искусства нет.

Говорю это затем, чтобы сразу отделить духовные поиски искусства от популярного сейчас социологического учета настроений публики. Отдавая дань социологии, хочу оговорить то существенное обстоятельство, что она свидетельствует отнюдь не об искусстве, а скорее лишь — о настроениях аудитории. Тогда зачем нам эта статистика?

Затем, что «настроения публики» в свою очередь свидетельствуют о духовных ожиданиях, накопившихся в обществе, а это уже имеет прямую связь с пафосом искусства. За интересом к «моралистике» таится в людях желание осмыслить путь личности, личностный аспект исторической логики, связь личности и истории — одним словом, весь тот комплекс идей, который философы еще недавно метафорически, а теперь, ка-

жется, уже и терминологически, объединяют словами: проблематика человека.

Этот аспект тем более труден, что он, пожалуй, и нов. Послевоенное советское кино исследовано детально в десятках книг и в сотнях статей — как с точки зрения гражданской проблематики, так и с точки зрения художественного мастерства. Моральная проблема исследовалась в этой связи не как линия духовного синтеза, объясняющая и позицию, и стиль художника, а именно как «очередная тема», то есть в том самом поведенчески-прикладном аспекте, которому, как я убежден, каждый раз в ходе развития искусства и уготована Лета. Так что исследование «проблемы человека» в послевоенном советском кино — задача слишком ответственная, чтобы замахиваться на нее в одиночку, — но хочу... взять пробу, что ли: на каком-то конкретном примере, в какой-то определенный момент развития нашего послевоенного кино — сопоставить этические версии человека. Понятно, что для этого нужен момент выразительный (несколько крупных фильмов, явно связанных при одновременном появлении либо прямой полемикой, либо иной творческой взаимозависимостью). Нужен, одним словом, «пик раздумий».

В нашем кинематографе последних десятилетий (я здесь не говорю о советской классике двадцатых и тридцатых годов, о ней написано много; было бы интересно сопоставить, например, этические версии человека у великого трио Эйзенштейн—Пудовкин—Довженко, — не содержательно-тематические линии и не стилистику, а именно этику; или, скажем, можно исследовать «нравственный климат» такой картины, как «Чапаев», именно здесь поискать причину поразительного воздействия этой ленты на людей; но сузим фронт, как предупреждает нас наш знаменитый соотечественник, никто не обвинит необъятного, не будем и мы), — так вот, если взять наше кино только последних десятилетий, то и здесь можно найти ряд таких «пиков раздумья», когда версии человека сопоставляются особенно рельефно.

Можно взять середину шестидесятых годов — годы обновления и смены стилей, когда от сугубого психологического анализа (все углублявшегося затем в «Крыльях» Л. Шепитько, в фильмах А. Митты, Ф. Довлатяна) сразу наметились поворо-

ты — к яркой, личностной, субъективной экспрессии С. Параджанова, к прямой гражданской публицистичности А. Салтыкова в «Председателе» и М. Ромма в «Обыкновенном фашизме», к спонтанной жизненной силе фильмов В. Шукшина, к реконструктивной исторической истовости С. Бондарчука...

Можно взять и другой момент, именно — 1962 год, когда одновременно появились «Иваново детство» А. Тарковского, «А если это любовь?» Ю. Райзмана, «Человек идет за солнцем» М. Калика, «Девять дней одного года» М. Ромма — аналитические версии человека, остро столкнувшиеся между собой и все вместе утвердившие на экране тот самый усугубленный психологический анализ.

Можно взять середину пятидесятых годов, точнее 1956—1957 годы, момент, когда споры о «Павле Корчагине» А. Алова и В. Наумова соединились с неожиданным триумфом чухраевского «Сорок первого», а бурные диспуты о первой ленте Ф. Миронера и М. Хуциева сменились потрясением, которое произвели в душах калатозовские «Журавли». Странный, яркий, противоречивый момент, сплетение разнородных и вроде бы несообщающихся стилей, эмоциональный накал и «спорность попыток», неуравновешенность «становящихся форм» и неожиданность выводов, изумление критики и радость предчувствий... типичное «начало периода».

В старину говорили, что журавли, по народным поверьям, обладали способностью предчувствовать будущие великие события.

Хочу взять для разговора именно этот момент нашего послевоенного кино — середину пятидесятых годов — по причине, пожалуй, субъективной. У людей моего возраста и опыта есть особое пристрастие к «Журавлям»; я имею в виду то воздействие, которое имел этот фильм на нас, только кончивших университеты молодых людей, которые «не поспели на фронт». Если верно, что война, обошедшая нас огнем, тем сильнее настигла нас душевной болью, — то решающую роль в осознании нами отгремевшей войны как раз сыграли такие вот события, как фильм М. Калатозова. Я помню, как воспринял тогда эту картину: впервые гибель солдата разверзлась в моем сознании как трагедия, где ничего нельзя поправить и вернуть. Все мы были дети солдат...

Я еще ничего не понял тогда, только почувствовал: что-то подломилось в душе и что-то началось.

...Как подавленно молчал до середины фильма зрительный зал Каннского фестиваля, и у Самойловой сжималось сердце, и как при сцене гибели Бориса она заплакала от обиды, а потом увидела, что плачет около нее Даниэль Дарьё, и как потом, уже при выходе из Дворца фестивалей, Самойлова попала в кольцо репортеров, и «свершилось неслыханное» — они убрали свою профессиональную технику и молча аплодировали ей.

...И как замер в Москве гигантский зрительный зал «Ударника», слушая Самойлову, а она, стоя на трибуне перед этим морем глаз, мучительно старалась обьяснить, что же это такое сделали они своим фильмом, и все тихо повторяла: «Мы хотели показать людей...» — и в мертвой паузе слушала зал и опять говорила: «Просто людей, понимаете?..» — и чувствовала, что ничего не может объяснить...

...И как ничего не могли объяснить друг другу старые кинематографисты, члены художественного совета «Мосфильма», принявшие только что сделанную картину, и как просили друг у друга прощения за отсутствие логики, и как молчаливый Калатозов только и мог сказать им, что в жизни его это самая счастливая работа.

На всех уровнях зрительского восприятия произошел какой-то качественный сдвиг, словно размыло преграду между обычным искусством, воспринимаемым извне, и бытием, которым живешь. И этот размыв границы, произведенный фильмом, ощущался немедленно и в любой аудитории. Задним числом начали обсуждать, спорить, объяснять. Пока смотрели — просто забывались. В ту пору я, разумеется, не писал о кино и не очень-то отличал одного режиссера от другого — просто пошел на новый фильм, посмотрел и двигался к выходу как в тумане, не понимая, что со мной. У выхода я увидел двух женщин: одна пыталась успокоить другую, а та, другая, глядя куда-то внутрь себя, все повторяла: «Он погиб, он погиб...» Ей было лет за сорок... Что она имела в виду? Фильм или самую жизнь свою? Да и знала ли она эту грань? Я говорю: она выглядела едва на сорок, и было слишком понятно, что означают на лицах женщин эти рано выцветшие, погашенные одиночеством глаза. Сотни

международных наград и десятки миллионов купленных билетов никогда не перевесят в моем сознании тех слез, которыми умылись люди на этой картине. Воистину она отворила в нас слезы.

«Летят журавли» знаменует новый этап в советском кинематографе. Он же и завершает предшествующее движение — как бы собирает воедино все поиски переходного времени, дает новый отсчет.

Переходное время длилось к тому времени уже лет пять. Это было время новых имен и новых тем; росло число фильмов и число попыток, расширялся фронт жанров и тем, и уже рядом с монументальными полотнами о полководцах тихонько и скромненько ожила мелодрама, и какая-нибудь «Неоконченная повесть» казалась нам верхом лирической недосказанности, а «Верные друзья» — пределом демократической простоты, а «Человек родился» — символом отчаянной смелости. До поры до времени это пестрое и несколько сумбурное многообразие впрямь было богатством: на свежеспаханном поле все пошло в рост.

Появление «Журавлей» отчеркнуло этот пестрый период, подвело ему итог. Но «Журавли» были подготовлены в недрах этого переходного периода — подготовлены технологически, подготовлены и психологически. Технологически — в том смысле, что люди, сделавшие эту ленту, отработывали новые киноприемы экспериментально и производственно — в «Первом эшелоне», в «Верных друзьях», в «Сорок первом...» Психологически — потому, что предшествующие «Журавлям» фильмы подготовили и обострили в массовом зрителе новое состояние: подспудно они выявили в душах тот самый нравственный вопрос о человеке, ответ на который дан в «Журавлях».

Из этих переходных, предшествовавших фильмов я хочу вспомнить три, которые, может быть, и не являются кинематографической классикой (во всяком случае я бы не отнес их к классике, и уж в профессиональном отношении рядом с ними легко поставить еще несколько тогда же снятых не худших лент). Но я беру их потому, что в них рельефно очертилось главное — этические поиски нашего кино.

Это спор о «Павле Корчагине», это бурный триумф «Сорок первого» и это неяркий, но прочный успех «Весны на Заречной улице».

Место этих лент в истории послевоенного советского кино определяется, конечно, не только той этической темой, которую я хочу проследить, но всем комплексом идейно содержательных сторон. Фильм А. Алова и В. Наумова, воскрешавший на экране гражданскую войну, повлиял на режиссеров, разрабатывавших эту тему позднее. Своеобразным маяком (на который шли, от которого уходили) сделалась и первая лента М. Хуциева, который попытался по-новому показать рабочего. Не говоря уже о том, что «Журавли» М. Калатозова — непосредственно и прежде всего — открыли в нашем кино новую страницу осмысления Великой Отечественной войны. Этот идейно-тематический ракурс достаточно подробно исследован нашей кинокритикой применительно к названным фильмам. Я хотел бы сосредоточиться на иной стороне — не на теме, а на душевном состоянии, подвигавшем художников к той или иной теме.

Итак, А. Алов и В. Наумов.

Задача, которую поставили перед собой эти режиссеры, казалась предельно ясной. Никого не смущал тот факт, что за полтора десятилетия до этого «Как закалялась сталь» уже была отснята М. Донским, — та бесхитростная лента военных лет выделяла у Н. Островского лишь цепочку эпизодов, связанных с нашествием на Шепетовку оккупантов; в ту пору, когда М. Донской снимал фильм, другие аспекты были нелепы: Гитлер шел к Москве. Лента М. Донского выполнила свою задачу, но с той поры прошло пятнадцать лет. К середине пятидесятых годов книга Н. Островского уже никак не ассоциировалась с той первой экранизацией. Так что когда два молодых режиссера в Киеве решили поставить фильм о Павле Корчагине, это не вызвало никаких сомнений. Необходимость такой работы не надо было никому доказывать, и Алов с Наумовым не тратили красноречия. В скромном интервью «Советской культуре» они обронили несколько общих фраз о том, что они, молодые режиссеры, помнят об ответственности. Молодые режиссеры задумали сделать фильм героический, романтический и основу для фильма нашли точно: бури и вихри гражданской войны, записанные одним из ее участников, всецело преданным борьбу. Взявши героический прицел, Алов и Наумов точно вышли к цели (ни один прорицатель не мог бы, однако, предска-

зать ту реакцию, которую вызвал их фильм по выходе на экран). Но прежде представим себе этих режиссеров. Их судьбы и то общее, что их связывало. В момент, когда в середине пятидесятых годов они решили поставить по мотивам книги Н. Островского романтическую картину, Александру Алову было тридцать три года, Владимиру Наумову — двадцать девять. Четыре года разницы у Алова ушли на войну: он окончил среднюю школу в сорок первом. Наумов — в сорок пятом. Они одновременно пришли во ВГИК, один с фронта, другой — после средней школы. Остальное было общим, и прежде всего — великий романтизм, впитанный в предвоенную пору. Их учитель Игорь Савченко умер в Киеве в 1951 году, не закончив «Тараса Шевченко». Алов и Наумов монтировали ленту своего учителя. Это определило их путь: и то, что после окончания института поехали в Киев, и то, что решили работать вместе.

Первая их работа — «Тревожная молодость» — была снята в 1954 году по широко читаемой повести В. Беляева «Старая крепость». Сегодня этот фильм кажется наивным. Нормальный детский приключенческий фильм, сделанный к тому же на ходких киноприемах. В подражание Эйзенштейну — ритмичные вихревые скачки, люди, веером разлетающиеся от ударов, беззащитные и смешные. В подражание Довженко — романтические скорбные планы; комиссара ведут на расстрел — белая повязка, песня на устах... И что-то от братьев Васильевых — в том, как сыграл Борис Бабочкин секретаря ЦК КП(б)У; впрочем, в этой роли он напоминал не только Чапаева, но и Чиркова — Максима: лукавый юмор в сильном, стальном человеке. Конечно, в ленте Алова и Наумова все это было вторичным, но цитировали они отнюдь не все подряд. Они восстанавливали в правах киностиль конца двадцатых — начала тридцатых годов, они жаждали вернуть кинематограф к кинематографу. Если употребить слова поэта, они тоже хотели вернуть ему «звучание первородное»: эйзенштейновское, довженковское... В то время как в среднем прокате цвела театральность, и жирная цветовая гамма вытесняла с экрана линию, и медлительные биографические картины подавляли старательным психологизмом (все было сугубо психологично: раздумья адмирала Ушакова на мостике, путешествие отпусников на плоту, полевые работы в кол-

хозах), — из этого истоного киномира два молодых режиссера рванулись... куда? В забываемое прошлое! В резкую, веселую, графичную ритмику, в «монтаж аттракционов», где если и нет психологизма, зато есть динамика и чистота и где летит кувыркком вся декоративная, тяжеловесная фактура. Теперь, ретроспективно, вы угадываете в «Тревожной молодости» основные черты стиля Алова и Наумова:

ненависть к охотничьему, к тупой плоти, к опереточному самодовольству сытости... то самое, что потом, в «Ветре», даст парадоксальную и нелепую фигуру проститутки, вываливающейся в революцию прямо из картежно-кружевных бонтонов, а еще позднее, в «Мире входящему», выявится у Алова и Наумова хрустом разбитой посуды под колесами войны, исковерканными вещами, развеянным, раздробленным, раскромсанным бытом — эти мечтатели всегда не любили быта;

упоительное, несколько абстрактное движение, которое противостоит этому нелепому миру вещности: ветер в глаза, смерть на бегу, на ходу, на скорости, когда не чувствуешь веса своего, когда остается одна эта взмывающая, яростная сила духа.

Говоря о том новом стиле, который воплотили в нашем кино Алов и Наумов, надо правильно почувствовать не кинематографические, а жизненные его истоки. Очень легко, даже и исходя из собственных высказываний авторов, свести их творческую манеру к реакции на те или иные стили тогдашнего кино. В их стремительной романтичности легко усмотреть реакцию и на эстетику неореализма, и на многокрасочную тяжеловесность кинобиографий предшествовавшего времени, — не следует, однако, переоценивать эту стилистическую полемику, тем более что она велась отнюдь не против лучших образцов, а уже против эклектических подражаний. Если во времена дебюта Алова и Наумова призрак неореализма чудился во всяком урбанистическом пейзаже с бельем на веревках, то кто теперь помнит эти стилиевые окраины, — Росселлини и Де Сантис за них не в ответе. Кто теперь помнит проходные ленты пышно-декоративного стиля, — так ведь с ними, а не с «Александром Невским» Эйзенштейна можно усмотреть полемику в «Павле Корчагине». И кто бы вспомнил сейчас картину Алова и Наумова, если бы она исчерпывалась реакцией на третестепенные ленты

своего времени? Источник ее успеха тайлся отнюдь не в реакции на «помпезность» (такую точку зрения высказывал, например, Н. Погодин, но об этом ниже), а в жизненной попытке дать действительную версию человека; эта версия была подкреплена, во-первых, живым интересом людей к книге Н. Островского и, во-вторых, что не менее важно, собственной гражданской позицией художников. Представители двух советских поколений — военного и послевоенного, они были объединены впитанной с детства романтической верой в революцию. Эта романтическая вера была той коренной основой, что обусловила художественный строй ленты Алова и Наумова — стили лишь в условно-филологической плоскости отвечают друг другу, в реальности они отвечают действительной жажде людей так или иначе выразить свой духовный мир, выявить образ человеческий.

Романтическая версия человека у Алова и Наумова строилась на фундаменте веры во всепобеждающую силу революционной убежденности. Но они истолковали эту веру с почти математической прямолинейностью. В жизнеописании Н. Островского Алов и Наумов выделили лишь одну линию: преодоление страдания силой веры. Слепший, прикованный к постели Корчагин, нечеловеческим усилием воли собирающий себя для написания исповеди, — трагический этот финал вынесен вперед, в эпиграф фильма. Сама жизнь выстраивается в картине как подготовка и оправдание этого финала. Игрушечно-маленькая Шепетовка с кривыми улочками и шатающимися плетнями, снятая общим планом, похожа на макет; Павка не жив е т здесь, он дан как нездешний символ: белая рубаха, как у «Овода», застывшее лицо, — это не жизнь здесь и сейчас, это принципиальная возможность иной жизни. Потом игрушечный фон города сменяется задымленным горизонтом сражений, Корчагин скачет с шашкой наголо, пригнувшись к гриве коня, кричит: «Даешь!» — и это тоже не быт, а песня, не будни, а оживающая легенда.

Быт в картине есть, но — на другом полюсе; это мельтешащий фон, жирный, нелепый, гнусный чад киевской обывательщины, толстые полуголые бабы в узких коммунальных коридорах, лоснящиеся спекулянты в переполненных вагонах, какой-то старик в женском платке, продающий глобус, какие-то зады и локти, мешки и шу-

бы — сопящий, тесный, ненавидимый Аловым и Наумовым мир охотничества. Корчагин проходит сквозь эту массу отчужденно и ненавидяще, он резко приближен к нам; его лицо открыто, чисто и скованно; ни одного душевного движения нельзя прочесть на этом лице, но всей своей отрешенностью, ввалившимся щеками, бслым лбом, точеными чертами оно противостоит этой неодоухотворенной плоти. Алов и Наумов засняли в роли Павла молодого тогда Василия Ланового — им нужен был тип подвижника, Лановой вполне подходил: во властном режиссерском рисунке он должен был не столько сыграть, сколько обозначить волю и духовность; он это сделал; его актерская скованность даже помогла ему — он создал эмблему фанатической верности долгу и идее.

Сегодня, тринадцать лет спустя, этот фильм смотрится со сложным чувством. Вам не хватает, пожалуй, простоты — под фанатической маской подвижника вы не чувствуете человека. Не чувствуете вы человечности и в том, как снят весь этот окружающий подвижника, ненавидящий авторам быт; сегодня вам мешает мысль о том, что старик в женском платке не от хорошей жизни пошел торговать глобусом, — за эксцентричностью его фигуры вы ловите следы реальной драмы: ведь учились же раньше по этому глобусу дети этого старика; виноват ли он в том, чем кончается его жизнь, не виноват ли — во всяком случае эта фигура вызывает отнюдь не ощущение победоносного небрежения... Но именно так интерпретировали человека Алов и Наумов: очищенная от всего человеческого духовность, ножом проходящая сквозь очищенную от всего человеческого вещную плоть. Здесь романтическое доведено до предела — до фанатизма, до ненависти ко всему, что не может встать на эту гипотетическую высоту духа.

Из трех женских образов романа «Как закалялась сталь» Алов и Наумов вывели вперед Риту Устинович — наименее разработанный в книге характер. У Островского Рита написана нерезко, это как бы воображенный символ любви, соединившейся с идейностью, как бы несбывшаяся мечта. В фильме Рита — главная героиня, и разрыв Павла с нею, смирение чувства, аскетическое самоотречение героя становится решающим для авторов картины поступком; этот мотив разработан подробно и любовно акцентирован. Я процитирую диалоги

фильма, выделив в них слова, которых не было у Островского, слова, вписанные Аловым и Наумовым:

«— Все еще вертишь мельницу, товарищ Корчагин? Разве время теперь горевать о любви? Не хватает, значит, мужества ударить по сердцу кулаком. Ну, скажи себе: ты больше не увидишь ее никогда...»

— Рита! Товарищ мой дорогой!

— Не надо, Павлуша.

— Скажи мне, можем ли мы? Имеем ли мы право говорить сейчас обо всем...

— Я думаю, не имеем... если это о себе. Будет время, Павлуша... Я часто думаю о нем. Иногда устанешь, закроешь глаза и думаешь... Хорошее будет время. А сейчас не надо...

— ...Я потерял сейчас очень многое. Но осталось у меня несравненно больше...»

Чувствуете? В словах, написанных рукой Островского, нет и следа жалостности; эти слова жестоки и просты, настолько просты, что мысль об аскетизме не приходит в голову: эти люди сами себе никогда не казались аскетами.

В словах, вписанных авторами в пятидесятые годы, сквозит боль, ранимость, сожаление. Алов и Наумов видят все как бы помягчевшими глазами; они потрясены тем, что для Островского было естественным, — Островский «ударил по сердцу кулаком». Алов и Наумов зажмурились от боли: стальная воля Корчагина стала для них предметом изумленного восхищения.

Это изумление сделало главным эпизодом фильма Боярку, строительство узкоколейки. Огромный барак, по которому ходят клубы пара от дыхания; люди лежат вповалку на полу; дождь, снег, грязь. Чахоточные, тифозные, голодные комсомольцы пробивают дорогу; бегут малодушные, остаются фанатически преданные. И финал: красный факелок знамени на желто-коричневой груди дров. Горячая энергия духа, сила воли, напор веры, побеждающей все и вся, — цветовая гамма отражала здесь не красоту и многообразие, а энергию и собранность мира: ни одного синего, ни одного зеленого, успокаивающего глаз пятна — все желтое, коричневое, бурое, бордовое, рыжее, и — как

венец этого разгоряченного цветового потока — красный флаг на груде дров...

Алов и Наумов не просто воссоздали мир революционной романтики в том очищенном, откristаллизованном варианте, какой существовал в их сознании. Они сделали этот мир подвига аргументом в споре, потому что спор назрел — назрел интерес к внутренней организации души героя... И вот два романтических режиссера заставили замерзшего, вымокшего, несдавшегося комсомольца двадцатых годов поднять лицо и сказать с экрана в зал: «Вспомнят люди про это или не вспомнят?.. Может, найдутся, которые скажут: не было этого? Не спали вповалку, не мерзли, не кормили вшей?.. Пусть помнят, пусть все помнят: как мерзли, голодали, холодали, все, все, все!..»

Аргумент попал в точку.

В начале 1957 года, едва Алов и Наумов привезли свой фильм в Москву, молниеносно вспыхнула дискуссия.

«Комсомольская правда» на протяжении пяти недель выступила четырежды. «А так ли закалялась сталь?» — спрашивали три московских студента в номере от 7 февраля (потом все трое, кажется, стали литературными критиками). «Сталь закалялась не так», — отвечал им в одном из следующих номеров секретарь Сумского обкома комсомола. Интересно, что каждое из этих пространственных критичных выступлений газета сопровождала читательскими письмами, среди которых были и восторженные. «А вы что думаете об этом фильме?» — демократично спрашивала редакция. Давая выход критическим настроениям, газета все же оберегала фильм от разгромных оценок, и в этом была своя логика: картина все-таки шла по всей стране, местная печать встречала ее одобрительными рецензиями; при всех спорных моментах фильм приковывал внимание новой молодежи к героической книге Островского. «Комсомольская правда» отдавала себе отчет, что в общем балансе эта полезная работа фильма перевешивает. И все же...

...И все же — «сталь закалялась не так!». Нет приподнятости, бодрости, раскованности, писали комсомольские работники. Где Павел-заводила? Где веселый гармонист, где вихрастый жизнелюб? Почему такая жертвенность, обреченность в фильме, почему такая аскеза? Ведь комсомольцы двадцатых годов «и любили, и женились, и умели жить семьей...».

Этот последний аргумент — из статьи трех студентов, Вл. Стеценко, Св. Котенко и В. Недзвецкого, еще не ставших в ту пору литераторами. Я не склонен сейчас задним числом придирается к их методологии — методология тут, конечно, студенческая. Но меня интересует общественное настроение — оно реальность. Тем более что в стенах «Мосфильма», где спор о «Павле Корчагине» вели мастера киноискусства, методология была ненамного искуснее.

Иван Пырьев сказал о фильме: «Грязь, вши, тиф. Ничего светлого. Мы умели радоваться жизни, а не ходили «обреченными на страдание». Опять-таки мы теперь можем спокойно воспринимать столь страстное отрицание фильма, равно как и версию, будто Алов и Наумов поддались влиянию итальянского неореализма. Конечно, если вы видели хоть один итальянский фильм неореалистического стиля, вы оцените всю фантастичность сближения этого стиля с романтической и даже в чем-то условной лентой Алова и Наумова. Но, повторяю, люди всегда говорят на языке своего времени: неореализмом в ту пору могли называть все, что вызывало сомнения, я хочу понять существо сомнений, пусть неловко выраженных, а И. Пырьев суть уловил.

Суть эта вполне выявилась в той дискуссии, которую опубликовал в феврале 1957 года журнал «Искусство кино». Искусшенные мастера кино понимали, что речь идет не просто о хорошем или плохом фильме, а о направлении поисков кинематографа. Вот смысл трех решающих возражений И. Пырьеву и вот три аргумента в защиту концепции Алова и Наумова.

Ф. Эрмлер: Да, картина «вшивая». Но такова была правда. Пусть молодые посмотрят, какой кровью их отцы платили за то, чтобы сегодня они могли учиться в университетах!

Н. Погудин: Да, жертвенность! Да, конечно, этот оптимизм принципиально отличен от того, до которого докатились мы в «Кавалере Золотой Звезды»... Этот фильм — настоящее произведение социалистического реализма дорепрессовских времен, не испорченного поздними теориями и не засоренного догмами бесконфликтности и розовой воды.

Л. Погожева: Да, жертвенность, да, напряжение духа, да, да, да! Но авторы имели право и на такую трактовку. Главное, традиционный кинематографический

паренек из народа, воюка с гитарой и песенкой здесь отсутствует!

Теперь давайте еще раз пройдем по этим ступенечкам, начиная с самого простого, эрмлеровского аргумента. Было в двадцатые годы так или было эдак — спор совершенно наивный. Ибо в жизни всегда бывает и так и эдак. Правы те, кто говорит: мы смеялись и играли на гармошках. И правы те, кто говорит: мы мерзли, болели, умирали. Все было! Более того, даже и у Островского непосредственно отражены обе стороны той действительности — книга написана по следам событий. Скажу, наконец, последнее: Алов и Наумов тоже, наверное, воображали, что они восстанавливают эпоху двадцатых годов как есть. По свидетельству очевидца, они рассуждали так: давайте покажем, «как же все это было на самом деле». А показали то, что на самом деле было в их сознании 1957 года.

А было это то самое желание, о котором шла речь выше: «вернуть словам звучание их первородное!»

Это первородное звучание, по верной мысли Н. Погодина, выводило их к стигиевой аскетике. Теперь спуститесь еще на ступеньку, к реплике Л. Погэжевой: был ли иной вариант целостного человека, не отрешенно-аскетический? Был. Паренек с гитарой и песнями! Но в том-то и дело, что этот компромиссный ход для Алова и Наумова оказался неприемлем. Заметьте, кстати, этого «паренька с гитарой» — отсюда начнется Марлен Хуциев... Но сейчас перед нами — простейший, юношеский, прямолинейный вариант этического поиска: никаких компромиссов. К чему это ведет? К жертвенности? Да! К аскетизму? Да! Ко вшам, к фанатизму, к незамутненной вере!

Красиво? Очень! Этот порыв молодых режиссеров прозвучал благородно и страстно. И что же? Мастера кинематографа вспомнили свою молодость, дрогнули сердцем — защитили Алова и Наумова от упреков: их подкупило благородство и страсть. По-другому отреагировали новые практики, позиция которых была куда реалистичнее. Писавшие письма в газету комсомольские работники остро почувствовали другую сторону фильма — наивность. Хоть бы гармошку оставили, аскеты несчастные! — этот упрек, странный с точки зрения эстетической теории, тем не менее представляется мне очень и очень реальным: представьте себе, что надо было этим самым комсомоль-

ским работникам пятьдесят седьмого года идти в молодежь, а молодежь эта новая читала новые книжки, переезжала в новые дома и училась-таки в университетах — одним словом, она продолжала жить и работать отнюдь не в условиях двадцатого года, и простой аскетикой ее увлечь было трудно. Едва примерили к человеку аскетический стиль, как человек и взбунтовался: мне с гармонью легче!

Теперь я хочу обратить ваше внимание на самый интересный (с моей точки зрения) отклик на «Павла Корчагина». Появился он в «Известиях». Написал его Григорий Чухрай, сверстник Алова и Наумова, только что сделавший свою первую картину из той же самой эпохи — революции и гражданской войны. Мировая слава, которая была суждена «Сорок первому», еще не успела стать реальностью, и Чухрай не знал еще, что его интерпретация темы произведет фурор в мировой кинокритике. Но, чуткий и гибкий, он понимал, конечно, что ищет совсем в другом направлении, чем Алов и Наумов. Их жесткость, резкость, их ригорическая энергия были ему чужды. Он, однако, поддержал фильм своих товарищей. В двухстах строках рецензии на «Павла Корчагина» Чухрай говорил не столько о существовании предложенной Аловым и Наумовым этической концепции, сколько о святом художническом их праве на самостоятельную интерпретацию классического текста. Наверное, Чухрай в этот момент думал о себе: только что он проделал с рассказом Лавренива то же самое.

В одном месте Г. Чухрай коснулся существа дела: «Если бы Алов и Наумов дали зрителю возможность пережить счастье так, как они дали нам возможность пережить с Корчагиным лишения и трудности...»

Он имел полное право на такое «если бы...». Сам Чухрай сделал именно это: предложил зрителю позитивную концепцию счастья. При этом он не называл аскезу жизнелюбием, а лишения и трудности — решением проблемы человека. Он, повторяю, искал — в диаметрально противоположном направлении.

Творческая история фильма Г. Чухрая «Сорок первый» началась с того, что художественный совет «Мосфильма» предсказал: грубая и некультурная представительница красных Марютка будет шокировать своей «рыбьей холерой» нынешнюю обра-

зованную публику; белогвардейский же поручик Говоруха-Отрок интеллигентностью своей зрителя подкупит, так что в момент, когда Марютка в порыве классовых чувств пристрелит своего любимого, симпатии будут отнюдь не на ее стороне. Движимый соответствующей заботой, худсовет «Мосфильма» самую идею повторной экранизации лавреневского рассказа «Сорок первый», как говорится, зарубил на корню.

Чухрай, однако, сумел обосновать свою идею и фильм снял.

Дальнейшее известно: поток восторгов, мировая слава, триумф на фестивале в Каннах.

Хочу обратить внимание читателя на одну деталь в этом нарастании успеха. За месяц до того, как на Каннском фестивале картина Чухрая собрала неслыханные лавры, на «Мосфильме» состоялась творческая конференция киноработников; и вот эта конференция в специальной анкете признала «Сорок первый» лучшим фильмом года. Чем объяснить эту поразительную перемену? Ведь прошло не так много времени — какие-нибудь год-полтора; значит, в той же исторической, так сказать, ситуации те же самые люди, что ужасались чухраевскому замыслу, теперь дружно проголосовали за него. Что произошло?

Произошло следующее: они увидели, что снял Чухрай.

И по мере того, как по всему миру катилась волна шумных откликов на фильм, покровительственные оценки в нашей печати стали сменяться откровенным ликованием; начинающий мосфильмовский режиссер на глазах вырастал в мэтра; было ясно: что-то открыл он собой, что-то озаменовал, что-то выявил — не в строгом лавреневском рассказе, уже и отснятом когда-то Протазановым, но в нас что-то выявил, так что мир впился глазами в эти два километра пленки и принялся дискутировать.

Зарубежные отклики на «Сорок первый» — тема скорее для историка кино, чем для критика; даже там, где эти отклики касаются сути, а не подогревают сенсацию, они не объясняют самого главного: необходимости появления именно такого фильма в нашем кино; я вообще думаю, что объяснять такие вещи можно только исходя из внутренней ситуации искусства, а не извне; поэтому реакция «мирового зрителя» никогда не перевешивает того взаимодействия, в какое лента вступает со зрителем «у себя

дома»; здесь возможны, конечно, и исключения (всесветная слава Бергмана, еще неизвестного в Швеции), но не в данном случае. Что до «Сорок первого», го в его восприятии зрителями и критиками разных стран и типов мышления мне интересна одна побочная черта, относящаяся скорее к социопсихологии, чем к киноискусству: удовлетворение от фильма обратно пропорционально мере «благополучности» национальной истории и прямо пропорционально мере ее драматизма. Подлюс похвал располагается в старой континентальной Европе. Не буду цитировать, сошлюсь только на Марселя Блистена, оценка которого нам еще понадобится: французский критик был растроган тем, что Чухрай «не старается доказать ничего, кроме величия и силы любви». Заметим эту трактовку и пойдём дальше. На краю европейского континента оценки ползут вниз, восторги бледнеют; достаточно переправиться через Ла-Манш — и ликование сменяется иронией. «Мы никогда не думали дожить до такого времени, когда в советском фильме покажут обнаженное тело! — хихикают лондонские кинообозреватели. — Нам казалось, что русские любят, сидя на тракторах, и обмениваются любезностями по поводу масштабов производства, но похоже, что мы все заблуждались...»

Что журналисты из «Дейли миррор» и «Ивнинг ньюз» заблуждались, самоочевидно. Я хотел бы понять, почему они так старательно эксплуатируют свои заблуждения. Тому есть исторические причины. Честертон, сравнивая национальные типы француза и англичанина, писал, что английское высокомерие лишь с той стороны пролива кажется намеренным чванством, на самом деле это естественное следствие вековой устойчивости традиций, так что англичане не виноваты в тысячелетнем благополучии своего островного положения, которое сделало их такими шутниками. Когда «Дейли экспресс» назвала фильм Чухрая «самой успешной попыткой Советов показать свой образ жизни путем смещения пропаганды с сексом на воде» (берем красивых артистов, макаем их в ближайший пруд или океан, пока одежда не прилипнет к телу, а там пусть они говорят что угодно и т. д.), — так вот, я думаю, что нужны были и впрямь века благополучия, чтобы выработать такое непробиваемое чувство юмора, и нужно очень хорошее настроение, чтобы по поводу финального вы-

стрела Марютки сказать: «Русские киноработники знают, что делать, когда у них налицо парень, девушка и вода». (По этой схеме можно построить много аналогий, Мария Стюарт знала, что делала, когда Елизавета отрубила ей голову; британские военачальники знали, что делали, когда Клейст спихнул их в море под Дюнкерком, и т. д.) Лента Чухрая слабо действует на относительно благополучную зрительскую аудиторию: истерзанная войной континентальная Европа растрогалась, полная наивного оптимизма Америка разводит руками; англичане критиковали Чухрая с аристократической иронией, американцы режут с ковбойской прямоотой: они способны оценить пастельные тона пустынных и морских пейзажей и этнические типы, крупными планами снятые «гениальным Урусевским», но они не понимают, при чем тут красные и белые, почему женщина стреляет в мужчину и почему жюри Каннского фестиваля дает фильму премию за сценарий, да еще за гуманный сюжет. На разных концах Тихого океана цивилизованные киноcritики пытаются понять новый советский фильм: японцы хвалят цвет; новозеландцы вслед за своими старшими братьями англичанами потрясены тем, что русские объясняются в любви друг другу, а не тракторам, однако они призывают купить фильм непременно, так как в нем доказано, что любовь и политика прекрасно совмещаются; китайская критика кипит гневом по поводу этого самого «совмещения» и обвиняет Чухрая в компромиссе с буржуазным гедонизмом. На пресс-конференции в одной из буржуазных газет Олегу Стриженову задают вопрос: «Есть ли тут социалистический реализм?» «Конечно, есть», — отвечает Стриженов. «Конечно, нет, вы в этом убедитесь сами», — мгновенно добавляет в скобках газета. И все это пишется об одном и том же фильме! Наше кругосветное путешествие вслед за лентой Чухрая подходит к концу; в этом спектре мы видели все цвета: от ликования до иронии, от злости до умиления, но одно соединяет все эти цвета в спектр, сводит все эти мнения воедино: «Сорок первый» Чухрая должен обозначить в советском кинематографе некий новый этап, и если во всем мире кипят такие страсти, то уж в советской киноcritике, как предсказывают кинообозреватели, должен грянуть настоящий шквал дискуссий.

И что же? В советской киноcritике нет и

намек на дискуссию; на советском экране «Сорок первый» идет на «ура»: у этой ленты просто нет противников. Вот заглавия рецензий в советской печати, центральной и местной: «Фильм о революционном долге», «Революционный долг побеждает», «Фильм о мужестве и долге», «Фильм о мужестве», «Фильм о незабываемом прошлом», «Этих дней не смолкнет слава», «Горячее дыхание героических дней», «Романтика героических будней», «Героика революции», «Это не флирт».

Теперь оценим тот факт, что авторы всех этих рецензий смотрели ту же самую ленту, что и француз, сказавший: Чухрай «не старается доказать ничего, кроме величия и силы любви». Если диапазон этих расхождений покажется вам следствием одной лишь зрительской субъективности, то я прошу вас сопоставить два свидетельства одного и того же человека. Эти свидетельства тем более любопытны, что принадлежат они самому автору фильма, кинорежиссеру Григорию Чухраю, который искренне соглашался с Клодом Шабролем в том, что смысл ленты — именно в «паразитической красоте» кадров, и одновременно искренне соглашался с тем, что задачей фильма была никакая не красота кадров, а героическая романтика незабываемых лет гражданской войны.

Так все же — где истина? Там ли, где парижанин Марсель Блстен видит отсутствие всякой дидактики и сплошной артистизм, — и Чухрай это подтверждает? Или там, где хабаровец Николай Рогаль не видит никакого артистизма, а лишь утверждение идеи, — и Чухрай это подтверждает?

Отвечаю: и там, и здесь. Этот фильм своего рода уникум: в нем сумели увидеть «свое» люди настолько разных воззрений, что предположить в них согласие относительно существа картины можно только в бреду. Притом, это отнюдь не тот хрестоматийный случай, когда мировой шедевр побуждает людей разных взглядов воздать ему должное: Шекспир может «не нравиться», но его нельзя не признать. Нет, здесь явно не тот случай. Во-первых, перед критиками предстал не шедевр, подтвержденный веками, а новый фильм, касавшийся живых вопросов. И потом — отношение к нему складывалось по иному принципу: эту картину вполне можно было не признать, но она... нравилась. Она давала каждому свое. Она артистично соединяла разные на-

чала. Она наполнила лавреневский сюжет новым духом, придала ему новое звучание и даже не выявила контраста. Да, для «завоевания симпатий» это была изумительно ценная лента. Но нас интересует другое: версия человека.

Человек у Чухрая не имел ничего общего с той аскезой, в которой осознали человека Алов и Наумов. Можно даже сказать, что фильм Чухрая прямо отвечал на эту аскетическую версию, причем отвечал вовремя (вспомним реакцию зрителей на «Павла Корчагина»). Но это был все-таки «легкий» ответ. Легкость, с которой люди противоположных воззрений находили пленительные стороны в фильме Чухрая, свидетельствовала отнюдь не только об артистизме и вкусе его создателя,— в податливо-гибкой фактуре ленты явно отсутствовал какой-то «скелет», там не было ничего, что могло бы «сломаться», что могло бы помешать, «не позволить» вывертывать смысл картины туда и сюда. Этот костяк, стержень в этической сфере дается только личностью, ее необратимой судьбой, ее единственным выбором. Так вот, пошлем в стилистической этой красоте стержень.

Припомним стиль Бориса Лавренева в «Сорок первом»:

«Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в Бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка...

Увертливым махом степной разъяренной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные...»

Специалист легко определит время написания этого текста: первая половина двадцатых годов. Орнаментальная проза. Причудливый вихрь гражданской войны, скручивающий судьбы людей в фантастические узоры. Белый поручик, взятый в плен, вынесен аральским штормом на пустынный остров вместе с красной рыбачкой Марюткой; их нечаянная любовь похожа на сон, который Марютка при появлении белых обрывает выстрелом в поручика. Лавренев рассказывает всю эту историю во взвинченном стиле, тронутым нервной иронией, в его рассказе нет ни лирики, ни созерцания, а

есть дьявольская парадоксальность ситуации, властно диктующая свой стиль и герою и самому автору, так что когда Марюткина пуля разносит череп поручику и синеглазенький падает в воду, Лавренев подробно выписывает, как плавает в воде на розовой нити нерва выбитый из орбиты синий глаз,— не любовь, а эпизод чертова шабаша, где человеческое раздроблено в мозаику и сам автор пишет такой же прыгающей от возбуждения рукой.

Яков Протазанов, снявший рассказ Лавренева вскоре после его появления, отнюдь не был заражен лавреневской нервностью: он снял ленту как профессионал киноповествования — динамичные перестрелки с погонями сменялись этюдами, где актеры разыгрывали запретную страсть: Коваль-Самборский отлично играл дворянские манеры, Ада Войцик представляла соблазнительную и здоровую молодую девушку (ничего общего не имеющую с лавреневской узкоглазой и быстрой Марюткой); роман, который разыгрался между ними на аральском безлюдье, имел в своем основании не сопоставление душ, а простой перепад типажей: актеры хорошо отыграли этюды на тему «связь аристократа и простушки»; комические сцены точно чередовались с чувствительными; в одном из чувствительных эпизодов героиня стреляла в героя, и фильм кончался.

Таковы были руины, на которых Чухрай стал возводить свое здание.

В сущности, он ушел от обоих предшественников. Лавреневская нервная взвинченность была ему не нужна, так что малиновая куртка комиссара Евсюкова была заменена шинелью, выгоревшей до нежной белизны. Но и протазановское профессиональное спокойствие было Чухраю несвойственно: ему казались кошунственными комические отыгрыши любовной интриги, ему мешали бы крупно поданные детали быта. Чухрай шел к совершенно другой цели.

«Это время навсегда ушло от нас и навсегда осталось с нами...» Авторская реплика эта, выплывшая из титров под размеренные виолончельные волны музыки Н. Крюкова, сразу отделила от нас действие дымчатой вуалью. Элегически и обобщенно возникли фигуры бойцов, ведущих через пески пленного офицера. И от певучей ли, сладостной музыки, от длинных

ли наплывов, когда медленно пронизывают друг друга уравновешенные кадры, от ровности ли переходов со спокойных общих планов на спокойные средние планы — возник в фильме Чухрая этот отрешенно-меланхолический, чуждый всякой иронии плавный ритм. Ритм, подхваченный Сергеем Урусевским, который именно с этого фильма начался как оператор-виртуоз.

О работах Урусевского написаны горы статей. В чем секрет цвета в «Сорок первым»? Каким удивительным образом голубоватые барханы, и розовая водяная пыль прибоя, и белесые гимнастерки, и кремовость неба сливаются в единую симфонию? Несколько раз смотрел и, кажется, чувствую, вот секрет: нет глубоких теней, нет резких провалов тона, нет локальной мощи, но есть мягкая золотистость, есть палевости и бархат цвета, матовая, ласкающая, умеренная теплота.

Тоска по теплу — отгаивание от тоски.

Не уверен, подошла ли бы такая гамма нервно-подвижной прозе Лавренева или энергической и холодноватой повествовательности Протазанова, но она удивительно подошла гибкому жизнелюбию Чухрая.

Там, где Протазанов давал лишь торопливые обозначения места действия, Чухрай развернул поэму о человеке и природе. У Чухрая песок становится лирической темой, объектом любования, это не протазановская «географическая степь» с некрасивыми реальными кочками — это песок чистый, розовый, изысканно вьющийся крупными волнами, по которым вьются более мелкие складки, и все это соединяется в чарующий узор, и в разных ракурсах плывут, ныряя и изгибаясь в узоре, светло-фиолетовые тени верблюдов, составляя коллекцию видов каравана, колдовски красивых, нездешних.

У Протазанова был информационный кадр — море. Он обозначал факт: отряд вышел к Аралу. У Чухрая море становится предметом любовного созерцания, мы видим всю муаровую синюю ширь его, и упругий кремовый парус, и тот же парус, намоченный в воде и тускло сверкающий при лунном свете, мы видим белую пену и розовую пыль прибоя, и упругость штормовой волны, и жидкое сверкание мелководья, и голубизну глубины, и застывшее серебро тихой заводи, и живое серебро воды, перетекающей через камень, и влажный блеск камня, и матовую палевость песка, впитав-

шего воду, — море под солнцем, море под розовыми облаками, море под ветром. И это тонкое любование красотой стихий и предметов становится главной темой картины, и вот уж нас околдовывает фактура огня, шелковые ленты костра, алмазы углей в печи, жидкий блеск догорающих прутьев, голубой стынущий пепел... и короткая вспышка кресала в синеве ночи... и вялый отсвет георгиевского креста... фактура предметов, поверхностей, вещей.

И так же фактурно красивы здесь люди, их тела, их лица. Протазанов в нужный момент, во имя развития интриги, приоткрывал на мгновение колено обольстительной Марютки, приоткрывал умело: ровно настолько, чтобы заинтересовать почтеннейшую публику, не больше! Протазанов знал публику и знал меру. Чухрай вовсе не собирается интриговать нас, он хочет большего — он дает нам почувствовать красоту обнаженного тела... Мы помним, что, глядя эти сцены, английские критики упали в притворный обморок, но они, я думаю, просто не поняли Чухрая. Чухрай вовсе не хочет эпатировать нас, у него в обнаженной натуре нет ни следа сексуальной чувственности; в этом смысле он совершенно целомудрен; он нигде не дает обнаженной фигуры в целом, но дает лишь ее фрагменты, любуясь теплотой кожи, или влажностью губ, или сложенными крупными прядями волос Стриженова, или пепельным веером волос Извицкой, поднятых порывом ветра.

Существо эстетики Чухрая и Урусевского в этом фильме — природная красота человека и его любви.

Даже и ненависть, объясняющая финальный выстрел Марютки, как-то удивительно «красива» в этой картине, — эта ненависть — скорее модификация природной любви, чем порождение социальных характеров. Здесь дело вообще не в характерах и драма не из них вытекает. У Чухрая не просто утрачены лавреневские характеры, и столичная горожанка Изольда Извицкая похожа на лавреневскую Марютку с ее косым разрезом желтых кошачьих глаз не больше, чем волоокая Лада Войчик. Они обе не очень-то подходят по типу, но суть, повторяю, не в этом. Главное, что грубые выкрики, срывающиеся с розовых губ Извицкой, никак не свяжешь с ее внутренним переживанием. Равно как и Олег Стриженов, который хоть по внешности и подходит к

роли потомственного дворянина и филолога, благородно пошедшего защищать родину от немцев, но когда он объявляет нам о своем желании «поскрипеть зубами и покусаться по-волчьи», то это точно так же идет мимо его внутреннего облика, не задевая его, как выкрик «рыбья холера!» проходит мимо нежного лица Извицкой подобно еще одному экзотическому украшению.

У Чухрая душевность настолько легка, что существует наряду с сюжетом и независимо от сюжета. В этой робинзонаде все настолько мягко, гибко и красиво, что происходит парадокс: не только стрельба и вражда исторической схватки не мешают героям любить, но и их любовь настолько воздушна, поэтична и бесплотна, что она как-то не мешает драматической фабуле. Воистину нужна была гибкость Чухрая, подвижность и податливость его доброты, чтобы так естественно соединить в одном фильме жестокий героический сюжет и трогательно вписавшееся в него безбидное счастливое жизнелюбие.

Перечитайте заглавия хвалебных рецензий из нашей прессы, которые я привел выше, — все начинается с того, что Чухрай верен историко-революционной правде. И все благодарны ему за то, что внутри этого сюжета он расковал способность человека к простым чувствам и элементарным радостям.

Теперь обернитесь к Алову и Наумову — и вы сразу уловите суть состоявшейся дискуссии: чухраевская героиня любить умеет, а вот герой Алова и Наумова не умеет любить, не умеет радоваться бытию, не умеет ценить его простой вкус, и вообще (помните?) хоть бы гармошку оставили!..

Я не думаю, что гармошка дала бы фильму Алова и Наумова зыскуемую гармонию. Подлинной гармонии я не вижу и в подчеркнуто гармоническом фильме Чухрая. Праздничная красота «Сорок первого» так же художественно условна, как аскетическая красота «Павла Корчагина».

Чухрай выявил — по контрасту — стремление к теплоте, к соразмерности, к душевности. Оба фильма были нацелены на одно, на внутренне целостную душу, но дали как бы негатив и позитив — два условных варианта этики. Обе версии человека исходили из абстрактного — из гипотетически-жизнелюбивого человека, они поместили

героя в условной среде, и его еще нужно было опереть на новую историческую почву. Прежде чем это сделал М. Калатозов в «Журавлях», это попытался сделать М. Хуциев в «Весне на Заречной улице». Историческая почва была им интерпретирована в облике обыкновенной сегодняшней земли с обыкновенными домиками и с обыкновенными людьми в домиках. Это тоже была гипотеза, но она исходила не из легенд, а из быта.

Вот как Феликс Миронер и Марлен Хуциев сформулировали свой пафос: «Сталевар поднял очки — и мы увидели глаза, в которых видна была усталость...»

И все? — спросите вы. И это то самое, из-за чего было сломано столько копий? И за эти «усталые глаза» газеты награждали молодого Хуциева эпитетом «смелый»? И эта благополучнейшая картина, когда молодые авторы привезли ее из Одессы в Москву, вызвала такие споры, в ходе которых называли ее неореалистической вариацией на тему «барышня и хулиган»?

Сегодня эти упреки могут вызвать только улыбку. Какая барышня? Какой хулиган? Сюжетная интрига «Весны на Заречной улице» кажется сегодня настолько благостной, что можно подумать, будто все эти споры шли вокруг какого-то другого фильма. Барышня — это молодая учительница, приезжающая работать в вечернюю школу одного из индустриальных городов Юга. Хулиган — это сталевар, передовик производства, который учится в этой самой школе для взрослых и влюбляется в свою учительницу. И никакой страсти — одни вздохи, взгляды, словесные признания да одна целомудренная и почти случайная пощечина... вот и вся любовь. Сегодня этот сюжет выглядит робким и непритязательным; да честно сказать, сценарий Ф. Миронера и тогда, в середине прошлого десятилетия, был довольно банальным. Приезд молодого специалиста, какой-нибудь наивной девушки, на периферию был проходным сюжетом; на эту тему писались горы повестей; прозрение наивной и книжной души, которой рабочие люди открывают глаза на жизнь, было общим местом литературы, включая, конечно, и «величественную многоголосую симфонию гудков», звучащую у Миронера за кадром.

Не менее традиционной была и другая сюжетная линия: прозрение самого рабоче-

го парня — приобщение этого грубоватого носителя мужественности к Рахманинову, Блоку и интеллигентности было тогда в литературе одним из самых распространенных мотивов, — вы вспоминаете Сергея Антонова, вспоминаете «Школу для взрослых» Нагибина, вспоминаете череду так называемых «женских» чувствительных повестей прошлого десятилетия. Даже у Ксении Львовой чистейшая и воздушнейшая сентиментальность могла показаться программной: ее отважная сердобольность тоже казалась антитезой догме; самое большое завоевание литературы в этом плане, самую крайнюю точку продвижения прозы в этом направлении обозначила Вера Панова — Хуциев просто пошел по одной из торных тропок. Он пошел осторожно и осмотрительно, хотя некоторым критикам его лента и показалась отчаянно смелой. Когда «Весна на Заречной улице» появилась на экране — о чем писали рецензенты? О том, что авторы не побоялись (цитата из «Советской Киргизии») дать мелодию гитары в течение всего фильма. О том, что они не боятся (опять цитата) показать отрицательные черты в характере героя. О том, что молодая учительница впервые видит своих учеников расположившимися... у стойки (это страшное многоточие — тоже из рецензии). Успокою читателей: на экране парни пьют невинное пиво.

Улыбка, с которой мы сегодня оглядываемся на эти комплименты, — завоевание нашего времени; тогда этот самый «обыкновенный быт» был горячим местом в эстетике; отправившись по следам литературы, кинематограф попал не просто в переулок, где стоят одноэтажные дома, где люди живут, рожают, пьют... пиво, которое покупают в магазинах, между прочим, за деньги, — кинематограф попал в нерв дискуссии о герое вообще, вот почему споры, которые сопровождали это путешествие Хуциева в быт, были куда серьезней самого предмета споров. «Весна на Заречной улице» и теперь хорошо смотрится, это приятная лента, но чтобы представить себе, какую роль она сыграла в то время, надо почувствовать в ней не просто произведение киноискусства, но слово в искусстве — в той самой дискуссии о человеке, которую мы сейчас прослеживаем.

Чтобы понять существо этической гипотезы Хуциева, попробуем найти его первое место на той стилистической ли-

нии советского кино, которая связана с вниманием и интересом к обыкновенному герою. Я имею в виду не антураж, а именно моральную проблему обыкновенности, — в этом смысле бабочкинский Чапаев, признанный как характер обертонами простоты и каждодневности, остается все-таки характером легендарного плана, легендарность его облика лишь острее ощущается в контрасте с житейской обыкновенностью. Нет, речь идет именно о судьбе обыкновенного героя как о специфической нравственной проблеме, как об особой этической теме советского киноискусства. «Машенька» — вот, конечно, самый точный пример (но не единственный: вспомним «Подруги», «Три товарища»). В предвоенную пору тема обыкновенного человека в нашем кино возникает как диалектическое отрицание обыкновенности душевной. Обыкновенный человек приобщается к борьбе времени, его жизнь вырастает, наполняется, поднимается в этой борьбе, — маленькая круглоглазая Машенька, сыгранная Караваевой, знает, что в наступающей схватке, в боевой цепи ее место не занято, что она необходима, что она нужна, — здесь есть обыкновенность облика героини, но нет ощущения обыкновенности ее жизни.

Бросим теперь взгляд вперед, в шестидесятые — семидесятые годы, туда, например, где Василий Шукшин представляет нашему вниманию своих обыкновенных парней: здесь «обыкновенность» уже не воспринимается как ступень к эпической и необыкновенной высоте, здесь внешняя обыкновенность героя выставлена как морально самоценный акт, содержащий в себе своеобразную философскую антитезу рассудочности и абстрактному интеллекту: шукшинский Иванушка-дурачок есть, в сущности, философ, причем не философ чистого разума, а философ жизни, бытия как такового... если хотите, он прямой оппонент роммовских физиков, но главное — и здесь перед нами мнимая заурядность, заурядность как путь к незаурядности.

Фильм содержит программный интерес к обыкновенному герою. Хуциев своими средствами строит образ современного ему положительного героя. Его фильм остается одной из плодотворных попыток нашего послевоенного кино понять характер нового рабочего, но этот проблемно-тематический аспект, как я уже говорил, подробно разобран нашей критикой. В данном слу-

чае меня интересует хуциевская версия человека, в которой прежде всего надо объяснить самый акцент на «обыкновенности». Откуда он? Откуда «быт», «проза»? — ведь что угодно, но «прозаиком» Хуциева не назовешь, он весь устремлен к духовному, и быт сам по себе (я убежден в этом) не имеет для него никакой цены. Я думаю, здесь сыграла роль ситуация появления первой ленты Хуциева и, в частности, тот обостренный интерес, который в ту пору испытывало наше искусство к этой самой «обыкновенности». Особенно литература. Не будем забывать, что в тот момент стилистика Веры Пановой еще не утратила своей боевой новизны, и «Кружилиха» все еще казалась чуть ли не линией фронта в эстетике, и любое соприкосновение с «бытом» вызывало ценную реакцию критиков, видевших в бытовом аксессуаре, кроме всего прочего, еще и символ «направления». Хуциев непроизвольно почал в полосу таких дискуссий — у него не было к ним никакой предрасположенности. Лирик, устремленный в душевные дали человека, он невзначай наткнулся на «быт», толкнул, так сказать, шкаф с посудой; то-то было звону! — и «принижение», и «обывовление», и «слишком много пьют». Нет ничего более несовместимого, чем Хуциев и «обывовление», — но вышло так, что эти стихии совпали... Каждый начинает там, где стоит; примем тот факт, что Хуциев начал с «обыкновенной истории».

С истории того, как рабочий парень влюбился в учительницу, а та испугалась. Актерски все это сделано очень ordinarily. Н. Иванова в роли учительницы скованна, заторможена. Н. Рыбников в роли рабочего несколько живее; его манера (напоминающая Алейникова) слегка иронизировать и одновременно верить в свои поступки сообщает картине живое актерское обаяние, но все же и работа Рыбникова не более чем цепь этюдов, в которых типажность перемежается чувствительностью; этюды сыграны весело: парень мнетяся у доски, грубит, теряется, потом подступает к девушке с объяснениями: «Брезгуете, значит, рабочим?» — но когда в финале чувство побеждает и весенним днем, застав учительницу в школе одну, этот парень встречает наконец ее влюбленные глаза — фильм надо срочно кончать, потому что содержание любви здесь чисто символично и что делать с героями дальше — не ясно. Миронер и

Хуциев делают то, что надо, — прерывают ленту на многоточии за секунду до объяснения; эта незавершенность, открытость сюжета в ту пору могла тоже показаться завоеванием, как пиво на экране; открытыми финалами гордились, и один из самых благостных (и завершенных сюжетно) фильмов того времени завлекательно назывался «Неоконченная повесть».

Чувствительный сюжет «Весны на Заречной улице» дополнялся индустриальным фоном. Здесь почти буквально снимал спецовку сталевар, вытирал пот со лба... Теперь он — обыкновенный человек, но и теперь он трогательно прекрасен. Стараясь примирить две эти версии — монументальную и обыкновенную, — Миронер и Хуциев проделывали простую операцию: передевали рабочего героя из спецовки в костюм и обратно; провозжали учительницу из класса в мартеновский цех и обратно. Они искали соединения того и другого.

Люди, видевшие зрелые работы Хуциева шестидесятых годов, поймут мое желание открыть в его первой картине элементы будущей эстетики. Пусть это даже «задний ум», но ведь где-то же начинались длинные внутренние монологи фильма «Мне 20 лет» с медленными проходами по московским бульварам, где-то же началось и самое ощущение трепещущей, замирающей, собравшейся внутри человека душевности, ощущение, которое прозвучало здесь гармонично и уверенно, а в последующих фильмах Хуциева наполнилось новой тревогой! Хуциевское позднейшее открытие — это прозрачность душ, когда сквозь убогое и временное просвечивает в человеке, живет, пульсирует духовное и оба эти начала тонко взвешены и взаимопроникают друг в друга — не как внешнее действие, но именно как просвеченное состояние... Но это все будет потом, после.

В «Весне на Заречной улице» хуциевское едва проглядывает сквозь щели мелодраматического сюжета. В чем? В том, как кажутся капли дождя по стеклу, и сквозь капли видны вдали заводские корпуса, и титры идут под гитарную мелодию задумчивейшей песни Мокроусова: «Но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога...» — и талые, текучие, переходные пейзажи осени и весны создают настроение вечной переменности. В том, что лица героев некрасивы, и чтобы почувствовать их обаяние, на-

до вживаться в их мимику, в перемены их настроения, в их движущуюся душевность.

Лучшие кадры фильма, как бы символизирующие его стилистику,— это вечерняя заснеженная улица, тусклые фонари сквозь кружащийся снежок и рабочие парни, идущие вдоль белых палисадников. Все это может показаться нелепым: гитара под кружащимся снегом, широкие ватные плечи тогдашних пальто... и вместе с тем все удивительно свое, удивительно органичное: люди здесь жив ут. Основная черта этого хуциевского мира: у него чуть размыты края, он доверчив, он раскрыт для влияний.

Теперь мы сказали бы: он жаждет духовности.

Музыка Рахманинова входит в эту гитарную околицу. Александр Блок звучит вслед за нехитрыми стихами вихрастого Федя, не ломая этого мира, но осторожно поднимая его. Фильм Хуциева был устремлен к духовности; имея в виду чисто тематический ракурс ленты, мы можем сказать, что этот фильм был ориентирован на душевные богатства рабочего, на его внутреннюю красоту, на его чуткость к красоте. Если проследить развитие рабочей темы в нашем кино от «Весны на Заречной улице», через «Высоту» к «Трем дням Виктора Чернышева», то именно духовная красота везде будет прослежена как внутренний ориентир; Хуциев не только положил начало этой одухотворенной версии рабочего-героя в кино — он дал и наиболее точное стилистическое воплощение ее. Духовность у Хуциева не предшествует бытию как абстрактная ценность, но как бы высвечивается изнутри бытия — высвечивается как возможность.

Теперь вспомните испуганную, воющую с плотью духовность Алова и Наумова в «Павле Корчагине», вспомните не менее условную попытку одухотворить красоту плоти в «Сорок первом» Чухрая — и вы почувствуете, почему подчеркнута скромная лента Миронера и Хуциева в контексте нашего кино середины пятидесятих годов оказалась так необходима. Это была попытка соединить нравственное раздумье о человеке с реальностью, с конкретной жизнью, с послевоенной действительностью, взятой в самом повседневном варианте.

В первых двух случаях всеобщее состояние было выявлено в гипотетических си-

туациях. Здесь оно выявилось в реальной фактуре. Здесь взяли того самого обыкновенного парня с гитарой, которого, казалось, начисто уничтожили Алов и Наумов своим «Корчагиным», и выявили в нем красоту душевную. Эта красота была доступна и понятна. Она ориентировалась не на романтическую высь, но на реальное душевное состояние людей. Гимн отрешенной духовности у Алова и Наумова звучал, как резкий звук трубы из легенды; гимн естественной природности в «Сорок первом» звучал так же условно, хотя и в другой тональности. Миронер и Хуциев попытались дать версию, противостоящую всякой исключительности. Они поэтизировали обыкновенность, они воспели соразмерность и мягкость, мирный лиризм, душевную тихую гармонию, близкую понятность красоты.

От «Весны на Заречной улице», кстати, берет начало та непритязательная сентиментальность, мода на трогательные и не красивые мордочки героинь, на босые ножки, шлепающие по лужам, вся та растрепанная и партикулярная стилистика, которая распространилась впоследствии в третьестепенных фильмах «из жизни молодежи», пока она не была в конце шестидесятых годов вытеснена динамизмом и «необыкновенностью» приключенчества. От Хуциева идет в нашем кино и другая линия: в поэтичность духа, в проникновенность психологизма, в мечтательность — то, что впоследствии составило зрелый стиль самого Хуциева...

Но какова была роль «Весны на Заречной улице» в этической ситуации нашего кино середины пятидесятих годов? Это была замечательная попытка синтеза, ценная даже там, где она оказалась неудачей. Так или иначе, она пыталась дать антитезу крайностям. Зрители, взбудораженные и раздраженные Аловым и Наумовым, умиленные и успокоенные Чухраем, смотрели с доверием и благодарностью, как гуляют по тихой Заречной улице парни и падает вечерний снежок на гитару. И все-таки путь вперед лежал через отказ от этой душевной обыкновенности. Ибо душевная терапия Хуциева оставляла за скобками то, чем определялось состояние людей,— войну, потрясенное ощущение причастности к исторической драме, реальное участие человека в большой истории, вне осмысления

которого всякая душевная терапия оставалась условностью. И уже сделан был тот самый фильм, который должен был взорвать это зыбкое равновесие обыкновенной душевности и обыкновенного быта, отменить всю эту психологическую терапию ударом хирургического ножа. История звала человека на очную ставку, и уйти от этого все равно было нельзя: историческая реальность, ее великая драма должна была пройти сквозь душу личности. Вот эта-то новая глава из жизни человека, обрученного с Историей, и была раскрыта фильмом Калатозова «Летят журавли».

...Итак, он потрясал, этот фильм. И оставал мучительную неудовлетворенность. Два взаимоисключающих чувства терзали людей, посмотревших этот фильм: потрясение и недоумение. Никто не брался отрицать душераздирающей силы этой ленты, но даже и пронизательные критики не всегда умели объяснить это воздействие; М. Туровская восклицала: и да, и нет, во мне все ссорится, в фильме все нелогично, все несправедливо, и я не понимаю, чем я потрясена.

В причудливом этом произведении сплелись, соединились элементы парадоксально несоединимые; это детище можно было полюбить или оттолкнуть, но трудно было объяснить. Новизна и непривычность этической ситуации в нем удивительно подкрепились странным соединением творческих стилей. Попробуем начать анализ именно со стилистики, с художественной ткани, где смешалось пять манер, пять индивидуальных типов мироощущения, пять художественных судеб. Эти пятеро: сценарист Виктор Розов, режиссер Михаил Калатозов, оператор Сергей Урусевский и два актера — Алексей Баталов и Татьяна Самойлова.

Акварельный и нежно-романтический Виктор Розов в ту пору еще только искал своего читателя, в сущности, из всех его пьес в ту пору была популярна только одна — «В добрый час». Уже и в ней выявился тот характерный для Розова конфликт между грубой, плотской, мещанской средой и нежной, полудетской, голубиной душевностью, тот конфликт, который определил и его дальнейшую работу, и его успех как драматурга. «Вечно живые» были модификацией розовской эмоциональной темы на сугубо героическом, не вполне розовском

материале; среди «школьных» и «юношеских» пьес Розова этот реквием павшим остался стоять особняком, как проба и вариация, не получившая дальнейшего развития; и в общем, эта пьеса оказалась далеко не лучшей у Розова; она была не вполне органична; сквозь скорбный сюжет слишком уж просвечивала типично розовская, несколько сентиментальная коллизия, сохранявшая к тому же колоссальную инерцию театральнo-актерской обкатанности. Эту пьесу очень просто было разыграть в театральном духе и заснять более или менее грамотно: она ложилась в старое ложе «актерского кино» без всяких усилий, здесь все имело свой «простой уровень»: жадные и грубые обыватели противостояли слабым, душевным, честным людям; грубые люди вызывали отвращение, честные люди вызывали жалость; в сущности, глупенькую и наивную Веронику надобно было у Розова лишь простить, потому что не столько она изменила ушедшему на фронт жениху, сколько ее похитили и обманули низкие и гадкие приобретатели. Жалость к обыкновенному человеку — вот что несла в себе драматургия Розова; напомним себе, что в ту пору это чувство вполне могло отворять сердца; Розов выступал здесь прямым последователем Веры Пановой, уже целое десятилетие воевавшей за этих обыкновенных людей; правда, Вера Панова рисовала своих героев углем или карандашом, что в сороковые годы было стилистической антитезой маслу; когда в пятидесятые годы эстафету подхватил Розов, уголь и карандаш уже слишком вошли в обиход, и Розов стал писать пастелью и акварелью, — нежный Розов, чуткий Розов, поэт полутонов, сочувствия и понимания. Эта чувствительная стилистика вполне могла дать на экране либо ходячесентиментальный (в худшем случае), либо подкупающе-человечный эквивалент, но в этом лучшем варианте мы имели бы просто еще одну «Весну на Заречной улице».

Однако эта нежная материя попала во властные режиссерские руки Михаила Калатозова.

Что можно было сказать тогда об этом мастере?

Прежде всего — кинематографист до мозга костей, художник, мыслящий не столько зыбкими чувствами, сколько четкой пластикой экрана. Снимал он фильмы разные: яркую публицистическую ленту о целинниках,

еще годом раньше — благодушный фильм «Верные друзья», а еще за несколько лет до того — «Заговор обреченных», где актеры с невероятной страстью разыгрывали сюжет Н. Вирты. Между постановками у Калатозова бывали длительные простои, после которых критики говорили о втором рождении режиссера, о третьем рождении. В той неразборчивости, с какой он брался ставить разнородные сценарии, можно было усмотреть профессиональную холодность мастера... но старики-то знали, какой темперамент заложен в этом молчаливом мастере,— старики помнили виртуозное, бешеное кружение самолета в наивном фильме «Мужество». Старики помнили и другое: там, за десятилетиями молчания и четкой профессиональной режиссуры, была «Соль Сванетии», сенсационный дебют молодого Калатозишвили, фильм сверхбуйной пластики, где артистические завершенные кадры соединялись в яростную, ритмичную цепь, где ожившая камера смеялась и надрывалась, прыгала и умирала вместе с героями. В сущности, Калатозов никогда и не чувствовал особой зависимости ни от актеров, ни от литературного сценария, для него киноприем всегда был достоянием средством для выявления художественной концепции, а уж киноприемами он владел и прошел в кино все стадии производства: был механиком, склейщиком пленки, был виртуозным оператором, потом стал постановщиком; по верному замечанию одного критика, ни у одного другого режиссера так не ощущалось операторское прошлое, как у Калатозова; Калатозов не отрицал этого, он даже считал это достоинством; он был способен ставить любой сценарий, потому что его властное и чисто кинематографическое мышление могло работать параллельно сценарию; оно опиралось не на литературно-сюжетную и не на актерскую, а на экраннопластическую логику.

Строго говоря, взрывной, неожиданный, мощный темперамент Калатозова был абсолютно противоположен акварельной нежности розовской пьесы; эту пьесу Калатозов мог бы лишь начисто переосмыслить и переиздать — найдись только человек, который сумел бы заснять на пленку все калатозовское неистовство.

Этот человек нашелся, и именно он стал решающим союзником Калатозова — Сергей Урусевский, которого после «Журавлей» кто-то из критиков, соответственно тогдаш-

ней языковой моде, назвал оператором номер один.

Он был похож на Калатозова прежде всего своим виртуозным кинематографическим профессионализмом, который тоже, казалось, способен осуществляться на любом тематическом направлении. Ведь именно Урусевский всего только за год до «Журавлей» снял с Чухраем «Сорок первый». Достаточно сравнить те плавные красоты с безумным, нервным бегом камеры в «Журавлях», чтобы представить себе всю меру неожиданности, сокрытой в Урусевском. Операторская ткань «Журавлей» давно уже описана в учебниках: живая камера, катастрофические ракурсы, динамическая и бегущая композиция, ритмическое построение не просто кадра, но целостной сцены, то есть кадр, продиктованный ритмом смены кадров, течением кадров, непрерывного и изменения кадров. И этот же самый Урусевский снимал Райзману и Пудовкину бархатно-золотые пейзажи в «Кавалере Золотой Звезды» и в «Возвращении Василия Бортникова»! И это он же, Сергей Урусевский, на заре туманной юности, в 1947 году, сняв на размытом фоне «Сельскую учительницу», уничтожил пресловутый канон отчетливости и проложил дорогу той самой операторской школе, которая должна была в конце концов увенчаться роскошными пейзажами «Сорок первого»... И после всего этого — нервные, графичные, черно-белые, трагически острые ракурсы «Журавлей».

Впрочем, и это удивительное явление можно было предчувствовать: когда-то, в далекие двадцатые годы, когда молодой Калатозов общался с Маяковским, молодой график, студент ВХУТЕИНа Урусевский учился у Родченко. И Калатозов и Урусевский тяготели к аналитической стилистике двадцатых годов, чуждой и намека на чувствительность и сентименты,— это был идеальный кинематографический тандем. Оба, наверное, думали, что «дело не в актерях», а в ритме монтажа и в построении кадра. И, наверное, Урусевский мог бы снять «Соль Сванетии», окажись он в свои двадцать лет на месте Калатозова. Во всяком случае у обоих были одни истоки и одни патриархи. Весь напряженнейший драматизм раннего советского кино, эта жажда мыслить непосредственным сопоставлением стихий или категорий, и эта обнаженная контрастность, и жесткость, и резкость возродились в работе двух кинематографических авторов

«Журавлей». В их руки и попала нежная материя розовской пьесы.

Этот противоречивый параллелограмм сил отразился в актерском составе фильма. Акварельную доброту — розовское начало — воплотил в фильме молодой Алексей Баталов, исполнитель роли Бориса. Баталову было в тот момент меньше тридцати лет, он имел за плечами школу-студию МХАТ и две крупные роли в кино: молодого Алексея в «Большой семье» и Сашу Румянцева в «Деле Румянцева». Характер Бориса из «Журавлей» точнейшим образом продолжил линию его поисков: год спустя Баталов сыграл Володю Устименко в «Дорогом моем человеке», — он последовательно искал новый тип героя, тип определенно положительный и вместе с тем мягкий, тонкий, интеллигентный. У Алексея Баталова по видимости было мало общего с его знаменитым дядей, известным киноактером двадцатых и тридцатых годов Николаем Баталовым — «фамильная улыбка» и обаяние, в остальном все иное: там — напор, задор, веселая агрессивность, здесь — скромность, мягкость, сдержанность. И все же Алексей Баталов в главном продолжал играть то же, что играл Николай Баталов, — оба любили людей убежденных, и эта железная убежденность была их темой, только у молодого Баталова она как бы ушла внутрь, утерjala внешнюю звонкость. Его герой — это натура последовательная, цельная и волевая, это положительный герой в точнейшем смысле слова, это человек железной определенности, но он всегда утеплен у Алексея Баталова необычным обаянием, он окрашен живыми обертонами, он осложнен интеллигентностью. Баталовский вариант положительного героя оставался замечательным открытием нашего кино вплоть до 1962 года, когда обаятельно-жесткий физик Гусев встретился в «Девяти днях одного года» с мягким обаянием Куликова и произошла знаменитая актерская дуэль Баталов — Смоктуновский. Но это тема для особого разговора. Вернемся к герою «Журавлей» Борису Бороздину, обыкновеннейшему московскому парню, который, никого не предупреждая, тихо записывается в добровольцы: та мягкая свобода, которой наградил своего героя Баталов, была для своего времени не меньшим открытием, чем розовская драматургия нежного сердца. Баталов писал: «Каждый положительный герой, которого я играл, на том или ином этапе создания фильма кому-

то казался порочащим звание советского молодого человека. Саша Румянцев — почему он дерется, почему ездит на буфере? Борис Бороздин — опять дерется да еще носит под шинелью шарф... что есть самое страшное шалопайство для солдата»... Баталов чувствовал, что внешняя обыкновенность, прикрывающая в его герое стальную волю, несет содержательную нагрузку. Интересно, что в это же самое время аналогичный характер создавался в фильме Сегеля и Кулиджанова «Дом, в котором я живу» — там тоже тихо, никого не полоша, уходил на фронт обыкновенный москвич; с этой роли начинался киноактер Михаил Ульянов. Интересно и другое: опять-таки в это же самое время в фильме А. Иванова «Солдаты» был воссоздан близкий характер, но Смоктуновский избрал для своего воющего интеллигента Фарбера принципиально иные краски. Сравните Бороздина из «Журавлей» и Фарбера из «Солдат» — и вы получите отдаленную нравственную модель «Девяти дней одного года».

Здесь, в «Журавлях», Алексей Баталов еще не имел перед собой интеллектуального оппонента, какого он пять лет спустя получил в лице Смоктуновского. Здесь он был безраздельным представителем оттаивающей душевности — той самой душевности, которую настойчиво созидал драматург Виктор Розов.

Калатозов и Урусевский круто переложил рули: они испытали розовскую душевность на исторический излом. Нормальная жизнь обаятельного баталовского героя была не просто оборвана в фильме войной, она была пронизана каким-то пронзительным и странным светом внутри фильма. Да, получился фильм странный, причудливый, соединяющий мягкую душевность и слепящую резкость. И воплощением этой его странности явилась главная героиня, вставшая рядом с баталовским Борисом.

Рядом с обыкновенным парнем — необыкновенная, неловкая, загадочная, вздорная и бездонная женская натура. Каким чутьем уловил Калатозов в Татьяне Самойловой эту странную и столь символичную для его фильма индивидуальность? Самойловой в тот момент было двадцать три года; подобно Баталову, она вышла из артистической семьи и училась в Щукинском училище, но не имела столь счастливых данных для легкой сценической карьеры. Если бы не

Мансурова, вообще неизвестно, какой она стала бы артисткой: ее не брали за «специфическую внешность», она вечно шла по разряду «неопределенных» — слишком тяжела для комедии и слишком легка для драмы; «асимметричное и странноватое» лицо Самойловой не подходило ни под классический тип строгой красоты, ни под классический типаж милой субретки — нужна была совершенно новая и неповторимая сюжетная ситуация, чтобы выплеснулась скрытая в этом характере духовная сила.

Калатозов угадал и это мгновенье, и эту ситуацию. Настолько точно угадал, что душевной энергии, которая высвободилась при этом взрыве, хватило еще на целую роль, — и три года спустя Самойлова еще раз пережила трагедию Вероники, но уже на условном сюжете, в «Неотправленном письме», на этот раз, кажется, и исчерпав открытый ею характер. После чего наступило для Самойловой трудное десятилетие рядовых актерских работ, недалеко стоящих от самой первой ее роли — от «мексиканки», изображенной ею в «Мексиканце», хотя теперь уже на любых новых ее работах лежал отблеск «Журавлей», и режиссеры готовы были под любым предлогом ввести в фильм ее лицо, ставшее на весь свет известным. Неудача позднейших появлений Самойловой на экране вплоть до «Анны Карениной» (где она стяжала наконец чисто профессиональные лавры) имел ту же основу, что и успех Самойловой в «Журавлях». Ее лицо неповторимо. Оно необычно, неправильно, оно нетипажно и, соответственно, не поддается тиражированию. Оно противоречиво. В нем есть что-то простодушно-наивное, какая-то неискушенная естественность — беличий разрез глаз над скулами (Белка — так зовут ее героиню в «Журавлях») и живость беззащитного существа. В облике Самойловой эта естественная живость была лишь первым приближением к характеру — там, внутри, живость эта замирала в мучительном, меланхолическом оцепенении, там контуры терялись, там могла быть бездна, бездна отрешения или бездна страсти, там начиналось то самое глубоко личное, неповторимое, индивидуальное бытие, которое и приковывало ваш взгляд к лицу Самойловой. Эта женщина была бы невообразима в роли счастливицы — ее странное лицо указывало на особый склад души, словно созданной для испытания на излом.

Калатозов почувствовал это.

Самойлова-то и соединила его фильм едино, стала его центром и средоточием. Если в Баталове выявилась розовская душевная нежность, а Урусевский воплотил на экране неистовую страстность Калатозова, то Самойлова дала как бы замок, сомкнула два этих начала, — в ее причудливой натуре выявилось и отпечаталось их парадоксальное столкновение. Столкновение же это — столкновение мягкости и жесткости, душевной раскованности и нечеловеческого напряжения сил, элементарной человечности и ломающей все логики войны — стало главной темой фильма. Актерский рисунок оказался в эпицентре огромной гражданской проблемы — человек и война.

Проследим развитие этой проблемы в ходе фильма.

Войны нет в начале ленты. Она изгнана из экспозиции вопреки логике самой пьесы Розова (которая начинается со слова «светомаскировка»). Властью режиссера Калатозов убирает войну из экспозиции; он готовит ее как неожиданность, как удар и стихию, он пускает голубей на сверкающие торцы Красной площади, это яркое, расцветное, пустынное московское утро подходит скорее для 1957, чем для 1941 года, целая часть (десятая часть фильма!) посвящена этой лирической экспозиции со смешными и трогательными пробегами по лестнице и с ощущением полной невообразимости войны в этом утреннем мире, чтобы война обрушилась на него как наваждение и чтобы герой, уснувший под утро и разбуженный криком «война!», мог, не открывая глаз, промывать: «Ну и пусть...»

Только теперь, собственно, в фильме начинается драматургическое действие, где честный Борис уходит воевать, а трусливый Марк остается и завладевает Белкой-Вероникой, и она, поняв свою ошибку, изгоняет его. Это сценическое действие сохранено в фильме, оно сжато (там, где оно недостаточно сжато, — в сценах эвакуации, например, — там сохраняется и театральщина), но в целом эта интрига задвинута на периферию фильма; она лишь слабо подкрепляет то пластическое звучание темы, которое развернуто в экспозиции, само же развитие темы фильма опирается вовсе не на сюжетную интригу, а на пять чисто кинематографических эпизодов, ради которых Калатозов властно «взрезал» пьесу и в которых решается все.

Первый такой эпизод — проводы Бориса. Фигурка Вероники, потерянная в грохоте и дыме проходящей по улице танковой колонны. Кружащаяся, гудящая толпа, сквозь которую Белка не может пробиться к Борису. Кружащаяся в этой толпе, сорвавшаяся с места кинокамера. Плачущие лица, скорбные лица, целая череда лиц — толпа, распавшаяся на лица, и лица, вкванные в толпу! — и опять отчаявшееся кружение камеры вслед за растерянной Вероникой. И наконец — лицо Бориса, стоящего в строю. Он ждет ее, но обижен, растерян, но уже зажал себя в тиски воли, ибо он в строю и все уже кончено для него... Все кончено, хотя все еще отчаянно бежит к нему через толпу его невеста и все еще кружится следом за ней операторская камера, словно потрясенная открытием: вот они еще живы, и тянутся друг к другу, и могут даже издали увидеть друг друга — а ведь уже все кончено.

Острое отчаяние этой сцены сцеплено с драматургической линией лишь внешне, внутренне оно адресовано к беззащитной и безмятежной экспозиции: так приходит в действие система киносредств, прямо открывающая драму душ: кружились двое влюбленных по пустынной лестнице — и вот закружила их толпа, разлучила война, а души-то все по-прежнему раскрыты навстречу друг другу, души-то еще ничего не почувствовали.

Жизнь Вероники разламывается позже — с ударом бомбы, убившей ее родителей. Их характеристика в драматургическом и актерском отношении почти условна: мы даже не запомнили двух этих стариков. Нам важно здесь другое — внутреннее крушение осиротевшей души: пробег Вероники по искореженной лестнице — провал и обломки на месте ее квартиры, и пустота, пустота — бессмысленное тиканье часов в пустоте, и жуткий провал в душе: оказывается, жизнь ничего не стоит: одно мгновение — и ты уже сирота и одинока, а все еще живешь и движешься...

В сущности, в этот момент уже предсказана вся странная, причудливая, оскорбительная сцена «измены» Вероники. Именно эта сцена вызвала в свое время дебаты критиков, и положила руку на сердце — у критиков были основания: никакой логикой эту сцену не объяснишь. В самом деле, оскорбителен не только факт измены Вероники Борису с его братом Марком — оскорбительным, кощунственным может показаться сам

антураж, сам режиссерский аспект этого киноэпизода: театрализованный грохот бомбежки, гаснущий свет, разлетевшиеся от ветра занавески — во всем этом есть что-то искусственно-романтическое, что-то подстроенное, и Марк, играющий на рояле, — какой-то оперный соблазнитель, совершенно невыносимый после обаятельного Баталова. И наконец, само «соблазнение» — град пощечин и знаменитые восемнадцать «нет!», брошенные в лицо Марку, и потом его тупли, давящие осколки стекла на паркете, — во всем этом есть, конечно, раздражающая бутафорская символика, которую вынести не просто.

Так что же произошло? Несчастье, стечение обстоятельств, почти насилие? Или измена, тронувшая самую душу Вероники? Измена? Но это не вяжется ни с чем; значительная натура, которую играет Самойлова, по логике характеров не должна была бы прельститься таким откровенным ничтожеством, как Марк. Нет, это несчастье, шок, случай... но тогда он не должен был бы иметь последствий, между тем она в х о д и т з а м у ж за этого оперного соблазнителя! Вы чувствуете: с точки зрения нормальной, человеческой логики этот эпизод абсурден... «Падение» Вероники идет здесь не от нее, а от авторской воли; по меткому выражению М. Папавы, Вероника п р и г о в о р е н а автором к падению, но — как точно почувствовал тот же М. Папава — без этой странной, раздражающей сцены не было бы фильма.

Это последнее — суть дела, центр этической ситуации. Да, приговорена к страданию, в коем невольна. Бессмысленный сюжетный ход — если судить по логике нормального, естественного существования. Но в том-то и дело, что контекст фильма исключал мысль о естественности и обыкновенности.

Поэтом обыкновенности уже был в ту пору М. Хуциев. «Журавли» явились, конечно, полной антитезой его стилю и его этике. Много позже М. Хуциев, уже автор «Месяца мая», признался в одной из бесед, что он так и не смог принять калатозовского фильма, что чуть ли не единственной сценой, его тронувшей, была... сцена вечеринки в эвакуации (то есть, с моей точки зрения, слабейшая, театральнейшая в фильме). Скучная простота быта, правда повседневно, жалкий «разгул» с патефоном — вся эта ил-

люстративная эмпирика таила для Хуциева какие-то потенции; даже и позднее, через много лет после «Весны на Заречной улице», Хуциев все-таки исходит из органичного бытового ритма — всякая сломанность, пластическая резкость и зияющая незавершенность продолжает отталкивать его.

Калатозов же на этом «сломе логики» построил все. Несколько лет спустя в беседе с корреспондентом «Литературной газеты» автор «Журавлей» заговорил о «взгляде сверху», об «обобщениях», о «перспективе»... Иными словами (переведем все это на язык нашей темы), он заговорил о таком взгляде на человека, когда моральные терзания предстают оправданными и вознагражденными, а нравственное бытие — логичным, нормальным и естественным. Корреспондент сопоставил эти новые идеи М. Калатозова с причудливой фактурой «Журавлей», где моральное страдание как раз не было вознаграждено и даже не было скомпенсировано в выразительном строе фильма, и, соблюдая, конечно, все правила такта, осторожно спросил то, что должен был спросить на его месте всякий корреспондент: «Вы в свое время создали фильм «Летят журавли». И кому-то, наверное, это может показаться противоречащим вашим сегодняшним мыслям». «Почему же?» — спросил Калатозов. «Видите ли, — стал подыскивать слова корреспондент. — Это не мои мысли, но это мысли, которые могут возникнуть... Вероника — это ведь тот самый мечущийся по жизни, неустроенный человек.» — «Видите ли, — заметил тогда в свою очередь Калатозов, — в свое время о Веронике говорили даже «порочная героиня». Так что мысли, «которые могут возникнуть», меня не удивляют. Но, видите ли... не мы изломали героиню — ее изломала война».

Последняя фраза М. Калатозова и выявляет коренной пункт этической концепции фильма. Человек изломан исторической бурей. И он никуда не может уйти от своей судьбы, ибо вне этого эпического конфликта он все равно не мыслит своего существования. Он не может осуществиться как личность ни в какой иной сфере, кроме как в сфере исторической логики и борьбы. Но он должен осуществиться как личность. Такова моральная ситуация фильма. И таков его художественный стиль: здесь все причудливо, неровно, скорбно, не «нормально». Не потому ли так вписалась в фильм невыносимая, абсурдная сцена «соблазнения»,

что здесь доведена до последней явственности вся сиротливая потерянность героини, вся та неожиданная боль, которую обрушила война на ее едва раскрывшуюся душу? Это никакое не «падение» женщины в пошлом смысле слова — это трагедия войны, павшая на самую незащищенную, самую наивную душу. Калатозов знает, что дает ему в этой ситуации право на жалость: слишком жестоко испытание, слишком страшна проба на излом. Построив сцену душевной гибели Вероники на бутафорски-живых, на обманно-романтических элементах, Калатозов мгновенно же и снял весь этот антураж монтажным стыком, перебросив действие с тувель Марка, давящих стекло на паркете, к солдатским сапогам Бориса, утопающим во фронтовой грязи.

За странной сценой «падения» героини следует сильнейшая сцена ленты — смерть героя. Эти восемьдесят метров пленки недаром вошли в золотой фонд мирового кино, и воистину ни до, ни после ни Калатозову, ни Урусевскому не удавалось создать ничего подобного. Гибель человека, — боже, в какую страшную, в какую длительную душевную агонию вытягивается это мгновение... Выстрел донесся, и уже дрогнуло лицо Бориса, он еще не знает, что убит, он смотрит вверх, и плывут в еще живых глазах живые березы, и в смертном видении, в призрачном кружении этом возникает все та же самая родная лестница и Вероника в подвенечном платье. Они спускаются по этой лестнице под звон бокалов, а сквозь эту грезу все стоит перед нами помертвевшее лицо солдата, и мы знаем, что все оборвано, что ничего не будет — ни Вероники, ни свадьбы, ни лестницы, а он все длит это мгновение, словно боится пошевелиться, словно можно еще исправить что-то... словно смерть можно «исправить». Каждое мгновение этих нескольких минут экранного времени, в какие растянули Калатозов и Урусевский миг смерти, мы ощущаем бесповоротность смерти. Все причудливое движение картины собрано здесь как в фокусе: и эти трогательные несбыточные свадебные наряды (как удивительно преломилась в них чисто розовская¹ мечта о тихом, красивом, душевном счастье), и неумолимость пресекающей все войны. «Помогите!» — кричат, да

¹ Виктор Розов потом пришел и сам к образу белой фаты как символу чистой любви и душевности, — вспомните «В день свадьбы».

как поможешь, если война, если стреляют, если убили... «Помогите!» — «Боря, что с тобой, Боря? Ты ранен, ты ранен, Боря?» — и он, уже далекий от этой живой суеты, последним усилием воли, последним движением губ прощается: «Я не ранен, я...»

Эта страшная, разрывающая душу сцена находится точно посередине фильма; она есть философский, нравственный и художественный центр его. Всем своим существом чувствую, как эта сцена держит всю картину, без нее все рухнет и прежде всего обесценится образ, созданный Самойловой. Какая тут связь и каким образом агония солдата (где актерское мастерство Баталова явно оттеснено властной режиссерской темой: мгновения разорваны, раздвинуты в вечность, и, строго говоря, тут нечего играть, тут нельзя играть) — так вот: в какой магнетической связи находится эта агония солдата с несчастьем женщины, его неждавшей? Есть, конечно, одно объяснение, кощунственное в своей элементарности: смерть его — уж не возмездие ли за «измену»? Но этот морально-прикладной вариант потому и выложен на сюжетную поверхность, чтобы не казался истинным, — достаточно мысленно приложить т а к о е объяснение к т а к о м у фильму, чтобы сразу же и отбросить его. Нет, здесь другая связь. Гибель Бориса — не возмездие за «измену», это нечто совсем противоположное: союз в несчастье. Гибель Бориса есть апофеоз неисчерпаемости человеческой жизни, человеческой личности, которая даже и в момент гибели не примиряется с концом, и словно не вся умирает, и всей силою духовной тяги зовет близкую душу, и хочет передать ей себя, и отрицает смерть. Эта гибель есть не «возмездие», а и с к у п л е н и е для героини. С этой секунды ее душа начинает жить по новому закону, теперь-то и открывается в ней та самая неисчерпаемость личности, которая держит человека выпрямленным в любой, даже смертельной ситуации. И знаменательно, что эта сцена, разрешающая этическую тему фильма, находится композиционно в самом его центре. Ступень за ступенью поднимал нас Калатозов к этому апофеозу скорби; ступень за ступенью он будет теперь бережно сводить нас вниз, к разрешению боли. Композиция второй половины фильма зеркально отразит первую половину: бурная сцена «падения» Вероники будет искуплена бурной сценой ее бунта — когда она ворвется к Марку на вече-

ринку и разорвет опостылевшее сожительство. И трагическое отчаяние проводов Бориса тоже будет искуплено, и так же будет бежать Вероника, и опять сорвется с места камера, и замелькают блики и пятна — сцена попытки самоубийства героини зеркально отразит сцену проводов: тогда она потеряла Бориса — теперь она спасет из-под колес мальчишку Борьку. И наконец, будет финал с цветами и рыдания героини влетутся в бравурный марш победы — и в этом умиротворении будет преображена и возвращена нам та давняя, не ведавшая зла наивность, когда скакали влюбленные на одной ножке по пустынной, залитой солнцем мирной столеще.

Этот фильм оставляет ощущение острой печали, он не утоляет возбужденной в нас жажды нравственного воздаяния: здесь искупление не завершено, здесь за любовь не воздано или воздано чисто символически, здесь крестная мука героини, возвращающей себе человеческое достоинство, не вознаграждена ничем, здесь добро и верность упираются в неумолимость трагедии. Не потому ли художественное мышление в этой ленте казалось столь причудливым и выпало из логики, и потому, говоря «да» фильму, зрители тут же говорили «нет»? Но причудливая эта логика выявила в людях реальную боль, и, говоря «нет», они плакали точно так же, как плакали, говоря «да». Потому что «логика» была сломана во имя ценности безмерно большей — во имя живой человеческой личности, не вмещающейся ни в какие рамки: ни в отвлеченно-возвышенные, ни в уютно-обытовленные. Сломав рамки, фильм «Летят журавли» нащупал совершенно новую точку художественного отсчета — точку зрения данной, единственной судьбы, неповторимой и «непоправимой».

В сущности, кто-нибудь должен был сделать в ту пору такой фильм — он был неизбежен; в то время когда Калатозов и Урусевский снимали «Журавлей», Александр Иванов ставил с Виктором Некрасовым «Солдат» на «Ленфильме», а Яков Сегель и Лев Кулиджанов на студии имени Горького снимали «Дом, в котором я живу». Ни одна из этих картин не стала событием мирового экрана, но обе шли в том же направлении, что «Журавли».

Но и это выяснилось не сразу. И если вначале потянулась нить в дальнейшую фактуру войны на экране, в черные окопы «Солдат», в мужскую горечь «Судьбы человека»,

в молчаливые березы «Иванова детства» — ко всем тем фильмам шестидесятых годов, где была воссоздана психологическая правда войны (после чего уже только стала постепенно отходить военная тема к художественно-хроникальному, детективному и приключенческому жанрам), другая, и более важная, линия идет в чисто моральную проблематику шестидесятых годов: через «Балладу о солдате» Г. Чухрая — к «Девяти дням одного года» М. Ромма, от драмы выбора — к спорам о выборе нравственного пути: здесь звуки оттаивают, слов становится все больше, и низвергаются водопады споров — у роммовских физиков, у хуциевских лириков, у всех этих новых интеллектуалов эпохи спутников. «Журавли» — своеобразный перекресток, вернее — исход. И это точка, где моральная проблематика, под знаком обновления которой в нашем кино пройдет целое десятилетие, еще не отделилась от живого и страшного опыта войны, еще не стала чистым знанием. И это точка, где военная тема впервые после войны предстала в нашем киноискусстве как сфера сугубого и преимущественного раздумья о путях личности.

* * *

Чем определяется ценность разобранных выше фильмов для теперешнего кино? Каков смысл нынешнего интереса к этим лентам пятидесятых годов? Какою частью своего художественного потенциала они входят в сегодняшний опыт советского киноискусства? Да, наше сегодняшнее кино стало богаче, многообразнее, шире; за полтора десятилетия, прошедшие с описанной нами поры, оно освоило новые жизненные пласты, поставило новые общественные и гражданские проблемы, накопило новые выразительные средства.

Оно стало богаче уже в том смысле, что раздвинуло фронт своих интересов далеко в глубь истории, в глубь истоков культуры. Оно вновь обратилось теперь к событиям второй мировой войны, к событиям революционных лет, к такому поворотному моменту русской истории, как 1812 год. Сегодняшними глазами оно перечитало лучшие книги русской классики, приблизив нас к раздумьям писателей, составивших славу нашей литературы. Оно, теперешнее киноискусство, обратилось к глубинным истокам и неуимующим сокровищам русской культуры.

Современное советское кино испытало напор новых тем, новых, теперь рождающихся в жизни характеров; вглядываясь в новые народные типы, оно дало замечательные портреты людей деревни; оно увлеклось учеными и красотой их труда; оно испытало, наконец, острый интерес к молодому человеку наших дней, своеобразно включившись в дискуссию о путях молодежи.

Напор новых тем, проблем, настроений повлиял и на образный строй киноискусства, сообщил ему новую динамику, активизировал поиски; монтажное мышление обновилось; переменялся стиль игры, так что фильмы десятилетней давности с их простыми красками и скрупулезно продуманными интерьерами на тесном экране — уже могут показаться скромными после теперешних картин.

Все так. И тем не менее нравственный опыт тех лент, о которых мы вели речь выше, осущит в живом опыте нынешнего советского кино. Он осущит не столько даже в профессионально-стилевой сфере, не столько как тематический багаж (здесь, повторяю, мы ушли вперед), а в сфере этической, и именно как нравственный опыт, где, как известно, однажды бывшее уже нельзя сделать небывшим и ценность осознания личности остается в известном смысле навсегда. Лучшие сегодняшние фильмы: историко-революционные и военно-патриотические, окрашенные героикой или социальным анализом, граждански-публицистические или воспитательно-лирические, поднимающие широкие проблемы современной народной жизни или посвященные конкретным и более частным проблемам, — лучшие фильмы нашего кино так или иначе во всех жанровых вариантах содержат личностный аспект и моральную проблему человека — не как тематический пункт, а как естественный органичный опыт.

Это можно почувствовать и в многофигурной фреске «Освобождения», где историческая битва осмыслена и через судьбы людей, влиявших на ее исход. И в таком «локальном» фильме о войне, как «Крылья», где судьба человека дана крупным планом... И в самой «Судьбе человека», где героика судьбы неотделима от трагизма судьбы.

Любопытным примером нового осмысления революционной темы может служить фильм «Сердце матери», где образ вождя решен через «человеческую», «материнскую»

характеристику; вне личностной интроспекции была бы немислима образная структура и такой картины, как «Ленин в Польше».

Или возьмем «современную тему». Возьмем «Мертвый сезон», где традиционно-захватывающее действие, какое раньше дало нам «Подвиг разведчика», решено через сугубую психологическую динамику. Такую ленту, как «Никто не хотел умирать», где лично-психологический аспект социальной борьбы воздействует мощнее, чем аспект событийно-батальный... Или «Председатель» — фильм, давший нам один из силь-

нейших народных характеров послевоенного кино... Или лирический вариант народного характера в фильме «Живет такой парень».

В разных концах нынешнего советского киноискусства, во всех содержательных его пластах, во всех жанровых планах ощущается опыт нравственного анализа «данной человеческой судьбы», опыт исследования личности «на randevu с историей», опыт, копившийся нашим искусством во все периоды его развития, включая и тот момент, когда впервые после войны вгляделось оно пристально в лицо овдовевшей солдатки.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. КУЗЬМЕНКО

★

ЧЕЛОВЕК ТВОРЯЩИЙ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

1

В ряду больших и малых памятных дат есть одна, неразрывно связанная с историей становления социалистической художественной культуры. Семь десятилетий назад, в начале 1901 года, Максим Горький создал пьесу «Мещане», впервые вывел на сцену нового героя. И как свидетельствует о том хотя бы недавний успех «Мещан» в постановке Г. Товстоногова, время оказалось невластным над основным в содержании пьесы. Нравственные, психологические, социальные проблемы, которые несет в себе этот первый вестник новой художественной эпохи, отнюдь не потеряли своей жизненной важности и для нас, переступивших порог последней трети XX века.

Перечитывая пьесу, поражаешься, как много здесь говорят о жизни. Любой персонаж выходит на сцену со своим пониманием — или непониманием — того, что такое жизнь, позиция каждого в конечном счете определяется отношением к жизни, к ее сложившимся устоям.

«Мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни», — говорит в самом начале Поля. И ссылается на Нила: «Он знает».

Старик Бессеменов тоже знает. Он далек от мучительных терзаний Булычова: «Я вот жил-жил, да спрашиваю: ты зачем живешь?» О прожитой им жизни Бессеменов вспоминает без каких-либо сожалений, с чувством добросовестно выполненного долга: «Чем гордитесь? Что сделали? А мы — жили! Работали... строили дома... для вас...» И еще: «Я — пятьдесят восемь лет растягивал жилы мои в трудах ради детей».

Это добавление — «для вас» — чрезвычайно существенно. Смысл жизни старши-

ны малярного цеха Василия Васильевича Бессеменова неотделим от наличия семейного семени, от сохранения и воспроизводства в детях того жизненного уклада, в создание которого он внес свою лепту.

«Выходи замуж, живи законным порядком», — втолковывает Бессеменов нехитрую житейскую мудрость Татьяне. Так заведено, больше для дочери ничего не требуется. «Вон Филиппа Назарова сын, — говорит Бессеменов Петру, — кончил учиться, женился, взял с приданым, две тыщи в год получает... в члены управы попадет». Что может быть лучше этого образца житейского благополучия? Во всяком случае отклонения от этих программ не должны колебать репутации дома, выходить за пределы допустимого. Пусть Петр живет с постоялкой — но на время и, главное, тихо. Пусть у Татьяны пока не ладится с замужеством — не было бы только колючей людской молвы. Отступничество детей от предназначенной им судьбы воспринимается Бессеменовым как потрясение основ, нарушение естественного хода жизни.

Как же относится к жизни Нил?

С одной стороны, уже в первой сцене становится известным, что накануне вечером Нил опять выступал с «проповедью бодрости, любви к жизни». Эту проповедь Нил не раз повторит и в дальнейшем. Но говорит он и другое: «Как ненавижу... всю жизнь эту... гнилую жизнь!»

Для Нила мир не представляет чего-то совершенно однородного, неделимого, целого: он приобрел прямо противоположные качества, стал развертываться в разных измерениях. Есть мир естественных человеческих отношений, простых чувств, тяжелого, но чем-то радостного труда — эту жизнь

Нил готов утверждать и прославлять. Есть мир фальшивых условностей, копеечного расчета, бесконечных стонов и ссор — это липучее мещанское болото Нил действительно ненавидит всеми силами души.

В этой новой, другой системе ценностей, которая неумолимо надвигается на Бессеменова, представления о нормальном и ненормальном, естественном и неестественном коренным образом меняются. В пьесе возникает образ «здоровья» — синоним духовного и физического освобождения человека из плена бессеменовского образа жизни. «Здесь — нездорово», — отзывается Тетерев о доме «образцового мещанина». И говорит Нилу: «Ты здоров и достоин идти, куда хочешь». «Здоровый, веселый, простой», — характеризует своего будущего зятя Перчихин. Напротив, жалобы Петра и Татьяны на жизнь, их неспособность «перевернуться», найти для себя точки опоры — прямое следствие царящей здесь атмосферы нездоровья, признаки тяжкого духовного недуга.

В наше время заметнее, чем прежде, что Нил в изображении Горького — не только антипод бессеменовского жизненного устройства, точнее — отнюдь не абстрактная его противоположность. В известной мере он несет на себе отпечаток тех обстоятельств и условий, которые он преодолевает, из которых он вышел. Нил совершенно не желает понять состояния Татьяны, отделяется в разговорах с ней поверхностными нотациями. Он так и не заметил, что своим объяснением с Полей невзначай «толкнул» Тетерева, лишил его последней надежды. Подчас беспричинна, вызывающе подчеркнута неделикатность Нила в отношениях с Бессеменовым. В своем отталкивании от старого мира Нил как бы не различает оттенков, равным образом винит в «порче жизни» как хозяина, так и жертву существующих условий. По мнению Татьяны, Нил и подобные ему жизнерадостные, целеустремленные люди «ведут себя, как богачи, которым нет дела до того, что чувствует нищий».

Слово «богачи», мелькнувшее в сравнении Татьяны, оказывается, однако, не лишеным и своего прямого значения. Обретенная человеком цельность, полнота характера, уверенность в своих созидательных возможностях — и впрямь бесценное богатство, предвестие близких изменений жизни. Нил не участвует еще в революционной борьбе,

но из него бьет неумная заразительная энергия, он весь — готовность к действию. Он свободен в самом несвободном, опутанном всяческими цепями угнетения обществе, потому что он не признает права этого общества диктовать ему свои условия. «Ты — не страдай меня! — говорит Нил Петру. — Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь — тяжела, что порою она омерзительно жестока, что разнузданная, грубая сила жмет и давит человека, я знаю это, — это мне не нравится, возмущает меня! Я такого порядка — не хочу! Я знаю, что жизнь — дело серьезное, но неустроенное... что оно требует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я — не богатырь, а просто — честный, здоровый человек, и я все-таки говорю: ничего! Наша возьмет! И я на все средства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни... месить ее и так и эдак... тому — помешать, этому — помочь... вот в чем радость жизни!»

Расхождение Бессеменова и Нила с самого начала — конфликт социальный. При первом же своем появлении Бессеменов вопрошает не детей, а самое жизнь: что она несет? «Наш порядок вам не нравится, это мы видим, чувствуем... а какой свой порядок вы придумали? Вот он, вопрос?» Точно так же Нил чувствует себя вправе говорить «наша возьмет»: он черпает свою уверенность в новой атмосфере жизни, он выступает представителем сил, которым принадлежит будущее.

Между этими двумя полюсами бессеменовского дома, рядом с так или иначе действующими, сознающими свою причастность к строительству жизни, находятся люди, выключенные из ее потока. «Выключен» Петр — правда, по пророчеству Тетерева, лишь на время. «Выключена» — и бесспорно — раздавленная условиями жизни Татьяна. Живет без особых забот на деньги покойного мужа искусительница Петра Елена («Сама я живу, как умею, делаю, что хочу...»). Нашел свою свободу в стороне от жизни, где дерут друг у друга изо рта кусок хлеба, бессеменовский мудрый шут Перчихин. «Ничего у меня нет, никому я не мешаю... вроде как не на земле, а на воздухе живу».

Бытие вне системы, враждебной человеку, приобрело характер сознательной позиции у певчего Тетерева. «Живешь ты зря... ни к чему», — упрекает его Бессеменов.

«Мне благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на тебя и подобных тебе», — парирует тот. Тетерев видит в себе «вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, незачем жить...». «Вся жизнь — твой дом, твоё строение. И оттого — мне негде жить, мещанин!»

Перед человеком, находящимся в мире горьковской пьесы, как перед витязем на распути, открываются, таким образом, три дороги. Можно взять на себя ответственность за сохранение сложившегося «законного порядка», передавать дальше эстафету бессеменовского благополучия. Можно каким-то образом выйти из игры, стать на позицию демонстративного неучастия в функционировании буржуазно-мещанского общественного механизма. Наконец, можно вступить на путь борьбы с этим механизмом. Этот третий путь в произведении Горького предстает как самый перспективный, единственно достойный человека. Пьеса зовет отбросить прочь отзвучавшую, уже никуда не годную партитуру человеческих отношений, построить жизнь по-новому, сыграть в решительный момент «что-то фортиссимо».

Такова расстановка сил, такова суть конфликта, который разворачивается в доме провинциального русского мещанина Василия Васильевича Бессеменова. И так же, как этот частный конфликт носит одновременно всеобщий характер, выражает собой глубокое переосмысление в революционную эпоху человеческих ценностей, значение самой пьесы Горького выходит за пределы ее непосредственного содержания. В «Мещанах» удивительно переплетены «концы» и «начала» художественного развития, многочисленные нити протягиваются отсюда в прошлое — в мир русской классической литературы, и в будущее — в литературу социалистического реализма. Анализ «Мещан» дает много интересного и важного для постановки проблем «Горький — Чехов», «Горький — Толстой», «Горький — Леонид Андреев».

Я не ставлю перед собой задачи рассматривать эти проблемы с академической обстоятельностью. Известно, что им посвящена уже обширная литература. Коснусь только некоторых моментов, важных для дальнейших размышлений.

В нашей науке бесповоротно преодолен взгляд на русскую классическую литературу свысока, с точки зрения того, что она «не

сумела», «не показала», «не увидела», «не раскрыла». В целом ряде работ советских исследователей убедительнейшим образом показано, что в пределах конкретной исторической действительности прошлого века с ее реальными возможностями передовая русская литература увидела столь многое, раскрыла это увиденное так глубоко, что ее воздействие на мировую культуру сказывается до настоящего времени. Русская классическая литература вплотную подошла к открытиям Горького, сделала необходимыми этот дальнейший шаг в художественном развитии.

Эйнштейна однажды спросили, в чем, по его мнению, заключается то новое, что он внес в науку. Ответ великого ученого оказался предельно кратким. «Новой,— заметил он,— была мысль о том, что значение преобразования Лоренца выходит за рамки уравнений Максвелла и касается сущности пространства и времени»¹. Легко себе представить столь же лаконичный ответ Горького на вопрос о его вкладе в художественную культуру. «Новым в моих произведениях,— мог бы сказать он,— является то, что единство человека и мира, которое утверждалось творчеством Толстого и Чехова, достигается в революционном переустройстве жизни...»

Известно, однако, что это «немногое» составило в мировом литературно-художественном процессе целую эпоху.

Не так давно была опубликована переписка Горького и Леонида Андреева, чрезвычайно существенная для понимания важнейшего, переломного момента в истории русской литературы. И мне показалось особенно проницательным одно суждение Андреева, высказанное в письме от 13 августа 1907 года. «...Понимаю тебя как очень немногие», — писал Леонид Андреев Горькому в дни особенно оголтелых нападков с разных сторон на пролетарского писателя. То, что считается ныне «падением» Горького, продолжал он, «один только я верно оцениваю как новый подъем на новую огромную, небывалую высоту». «Еще больше скажу тебе: едва ли есть в России, а может быть и в мире, человек, чей дух стоял бы так высоко, как твой. И если теперешние писания твои не удаются тебе и еще долго не будут удаваться, то причина — в новизне и гени-

¹ К. Зелиг Альберт Эйнштейн «Атомиздат». М. 1964, стр. 60.

альности твоего нового, теперешнего, мироощущения, мирочувствования. Бывают минуты, когда литература становится маленькой — ибо что такое литература? Слова — приемы — абзацы и главы — чернила и перо. Все это узенькое, тесное, сковывающее и беспутно живое. Все слова, как дешевая колбаса, начинены всякой дрянью, — как трудно, как невозможно построить из них то безгранично новое, совсем новое, что является сейчас душою твоею...»

Новое «мирочувствование», как известно, дало о себе знать уже в конце XIX века. С трудностями его художественного выражения литература начала сталкиваться еще до Горького или, точнее, одновременно с Горьким. «Как бы желал вам передать все то радостное, те признаки приближения весны, которые чувствую в доходящих до меня проявлениях жизни со всех сторон», — писал в начале девяностых годов Лев Толстой. Хорошо известны близкие к этому предчувствия А. П. Чехова, которым во многом обязан знаменитый лирический подтекст в его позднем творчестве. Достаточно вспомнить порывы в будущее, которые скрашивают грусть, не дают исчезнуть надежде у героев пьесы «Три сестры». «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждения к труду, гнилую скуку». «У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда...» Это говорит Тузенбах. Одна из сестер, Ирина, вначале тоже видит смысл, цель, счастье человеческой жизни в том, чтобы быть «учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге». Вершинин мечтает о «невообразимо прекрасной, изумительной жизни, которая наступит на земле «через двести, триста лет».

Надвигающаяся «здоровая, сильная буря» из пьесы «Три сестры» созвучна написанной в первые дни нового века «Песне о Буревестнике». «Гнилая скука», о которой говорит Тузенбах, — та же самая отвергаемая Нилом «гнилая жизнь». Нил — машинист на железной дороге, испытывающий радость от здорового физического труда даже на скверном паровозе. Дело, разумеется, не в буквальном совпадении каких-то деталей. Дело в органическом идейно-творческом взаимопроникновении «горьковского» и «чеховского» в этих произведениях и в то же время — в различиях между ними,

которые объясняются не только неповторимой творческой индивидуальностью авторов, носят общественно-исторический характер. Пьесы Чехова и Горького можно рассматривать как два последовательных этапа в решении той безмерно трудной задачи, о которой говорил Л. Андреев: выражения с помощью определенных художественных средств и глав того нового, что рождалось на рубеже двух веков в общественном сознании, входило в мироощущение, мирочувствование, в самую душу художника.

Настроение, рождавшее силу и бодрость, на первых порах было словно растворено в атмосфере, существовало без какой-либо видимой опоры. Отсюда — особая адекватность этому настроению условных, романтических форм, отмеченная в свое время В. Воровским. Отсюда — появление мажорных лирических отступлений и монологов в произведениях реалистического строя вначале даже как-то «некстати», вне соответствующего характера героя. Собственно говоря, что такое Тузенбах, который, по его признанию, не трудился в своей жизни ни одного дня? Или Вершинин, вышедший в отставку службист-полковник? Или Сатин в «На дне», произносящий на последней грани падения великолепные речи о человеке? Герой и идеал, характер и новое мироощущение на этом этапе еще не совсем «клеятся» друг с другом, не сопряжены художественно в нерасторжимое целое.

Горькому предстояло сделать этот дальнейший шаг, имевший первостепенное значение для рождавшегося социалистического искусства. Примечательны его письма, относящиеся ко времени работы над «Мещанами». «Мне хочется солнышка пустить на сцену, веселого солнышка, русского эдакого, — не очень яркого, но любящего все, все обнимающего. Эх, кабы удалось!» — писал он из Нижнего Новгорода в конце декабря 1900 года К. Станиславскому. А вот чрезвычайно интересное сообщение из того же Нижнего Новгорода К. Пятницкому: «Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей. Они — верная порука за то, что новый век — воистину будет веком духовного обновления. Вера — вот могучая сила, а они — веруют и в незыблемость идеала, и в свои силы твердо идти к нему. Все они погибнут в дороге, еда ли кому из них улыбнется счастье, мно-

гие испытывают великие мучения,— множество погибнет людей, но еще больше родит их земля, и — в конце концов — одолеет красота, справедливость, победят лучшие стремления человека» (январь 1901 года).

Новый социальный характер и давно почувствованное настроение наконец слились в сознании художника. В «Мещанах» на сцену вышел герой, которому по плечу исторический оптимизм, для которого, по горьковскому определению, органична и естественна «спокойная уверенность» «в своей силе и в своем праве перестраивать жизнь и все ее порядки по его, Нилову, разумению». На этом пути осталось немного, хотя и не менее трудное: воссоздать открытый писателем новый типический характер в типических обстоятельствах.

В самом деле, в «Мещанах» Нил предстает перед нами еще вне сферы своего труда, своей преобразующей общественной деятельности. Художественная материализация, «сгущение» революционного отношения к жизни в литературный характер еще не сопровождается отображением всех формирующих Нила условий. Новый герой «вторгся» в драму, не принеся еще с собой всей конкретности питающего его состояния мира, не преобразовав своим появлением других сторон единого художественного организма. Драма не завершена, не превратилась еще в самостоятельный микрокосм, несущий все необходимое в себе самом. Пьеса разомкнута в действительность, в большей степени, чем обычно, рассчитана на компенсацию извне, на активное сотворчество зрителей. Монологи Нила, так же как и мечты героев Чехова, резонировали с особой, наэлектризованной таким же настроением аудиторией, они не нуждались тогда в детальном сценическом обосновании или логическом разъяснении. И не этим ли объясняется трудность «буквального» воссоздания образа Нила в другие времена, в единстве с другой зрительской средой?

Иная линия противоречивого художественного притяжения и отталкивания—Горький и Толстой.

2 октября 1910 года, меньше чем за месяц до своего ухода из Ясной Поляны, Лев Толстой записал в дневнике: «Ночью очень хорошо, ясно думал о том, как могло бы быть хорошо художественное изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских рабочих, и среди тех и других хоть по одному духовно жи-

вому человеку». И тут же еще раз: «Вчера чтение рассказа Мопассана навело меня на желание изобразить пошлость жизни, как я ее знаю, а ночью пришла в голову мысль поместить среди этой пошлости живого духовно человека. О, как хорошо!»

Прислушаемся теперь к творческим планам А. М. Горького. «Завтра я начну новую пьесу,— сообщал он К. Пятницкому.— Она будет поэтична, в ней будет страсть, в ней будет герой с идеалом...» И несколько дней спустя: «Вы знаете: я напишу цикл драм... Одну — быт интеллигенции. Куча людей без идеалов, и вдруг! — среди них один — с идеалом! Злоба, треск, вой, грохот».

В чем состоит существо того созвучия, которое обнаруживается в процитированных только что высказываниях двух великих художников? Где находятся точки соприкосновения «духовно живого человека» и «героя с идеалом», о которых пишет Толстой и Горький, в чем состоят их различия?

Прежде всего заметим, что замысел, «пришедший в голову» Толстому бессонной октябрьской ночью 1910 года под воздействием рассказа Мопассана, писатель фактически осуществлял на протяжении всей своей творческой жизни. Андрей Болконский, Пьер, Анна Каренина, Левин, Нехлюдов, Протасов и другие излюбленные толстовские герои — все это «духовно живые люди», в той или иной степени помещенные автором среди пошлости жизни. В свою очередь горьковского «героя с идеалом» мы находим уже в той его пьесе, которая была готова к моменту возникновения сообщенных Пятницкому планов,— в «Мещанах». В «Дачниках», где Горький позднее и с некоторыми изменениями реализовал замысел пьесы о «быте интеллигенции», возмутителем спокойствия других героев, «кучи людей без идеалов», выступает «идейный человек» Мария Львовна. Подлинные «герои с идеалом» — Павел Власов и его соратники в романе «Мать», Кутузов в романе-эпопее «Жизнь Клима Самгина».

Может быть, все дело в направлении активности «духовно живого человека» и «героя с идеалом»? Первой приходит мысль о том, что герой Толстого занят поисками смысла жизни, хочет «дойти до корня» в понимании ее противоречий, а герой Горького эту жизнь практически перестраивает. Однако это не совсем так. Деятелен на Бородинском поле Пьер, в непрерывных тру-

дах и заботах находится Левин. В то же время герои Горького нередко вызывают «злобу, треск, вой, грохот» окружающей их «кучи людей без идеалов», собственно говоря, только своими речами. Очевидно, здесь не помогут лобовые противопоставления: надо проникнуть глубже, понять своеобразие и самой активности, и духовного богатства того и другого героя.

Новаторство Толстого в области художественной типизации, как это убедительно показывает, например, С. Бочаров,— создание «движущихся типов», определенных, по своему цельных и в то же время непрерывно меняющихся характеров. Нет такой формы, в которую мог бы отлиться и окончательно «затвердеть» этот характер. Его «душа» — живое, восприимчивое, органическое образование, для которого застыть — значит прекратить свое существование. И это отнюдь не изолированное, замкнутое в себе кипение настроений, мыслей и чувств. Толстовский «духовно живой человек» не мыслит своего существования вне общей, народной жизни, его внутреннее развитие объясняется неустанным усвоением, переживанием того, что дает ему окружающий мир.

«Духовно живого человека» не могут обмануть никакие заменители истинных чувств, подлинной общественной деятельности. Он максималист в своем отношении и к себе, и к окружающей жизни в лучшем, высочайшем смысле этого слова. Стыва Облонский прав, когда говорит об этом Левину: «Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений». Андрей Болконский хочет, чтобы государственная, общественная деятельность, в которой он чувствует свое призвание, была наполнена большим общечеловеческим содержанием, служила единению людей. Пьер хочет истины и правды во всем, с чем он сталкивается в призрачном, разъединенном обществе в годы мира и в очищающем потоке всенародного действия в дни войны. Левин хочет, ни много ни мало, чтобы, живя для себя, человек вместе с тем жил бы и для людей, чтобы «свое» и «общее» соединились в нерасторжимом органическом плане.

Духовные и практические искания толстовского героя неумолимо наталкиваются, однако, на нечто такое, что оказывается совершенно непреодолимым, от него совсем не зависящим. Будто бы найден, наконец, выход, осознан путь своего нравственного

освобождения, соединения с народной жизнью,— а на поверку и этот выход при существующих условиях оборачивается лишь новой иллюзией. Герой вновь остается наедине с мучительными вопросами. Зачем он здесь, в этом мире? Что ему делать с его умом, способностями, чувствами? Где его настоящее место?

Поведение Федя Протасова в «Живом трупе» — уход из семьи, безумная трата денег, пьянство — освещается с прямо противоположных сторон, входит в две взаимоисключающие системы оценок. «Это слабый, совершенно падший, пьяный человек», — отзывается о нем шокированное «общество». Слышатся вздохи некоей Анны Дмитриевны: «Ах, какая грязь, какая грязь!» Саша говорит совсем другое: «Он не дурной, а, напротив, удивительный, удивительный человек, несмотря на его слабости».

Сам Протасов охотно готов согласиться с точкой зрения местного общества. «Что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропал, не гожусь никуда? Всем и себе в тягость... Негодящий я...» И признается однажды: «Я лишний».

Но почему «негодящий» Федор охотно отвечает на вопрос князя Абрезкова: «Как вы дошли до этого, как вы погубили свою жизнь?» — «А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно...» Не слишком-то понимающий Протасова князь интересуется: «Ну, а труд?» — «Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен». — «Ну, а семейная жизнь?» — допрашивает Протасова в свою очередь Петушков. «Не было изюминки... не было игры в нашей жизни». «Я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала, и чего-то искал и увлекался». «Не могу спокойно лгать».

Протасов знает: не много дорог расходится от того места, где для него еще был возможен выбор. «Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора — только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть, не умел, но главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забиться — пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допился».

Выход тяжелый, разрушительный для

Протасова, но в его ситуации единственно его устраивающий. Хотя бы ради тех минут, когда цыганка Маша ему «открывает небо» — поет «Не вечерняя». Это — «настоящее». Это как бы весть из другого мира, действительно человеческого. «Удивительно! И где же делается то все, что тут высказано?» Как не согласиться Протасову со словами Ивана Пегровича: «Жалкие люди. Копшатся, хлопчут. И не понимают — ничего не понимают...»

Горькому близко толстовское (и чеховское) отвращение к пошлости пустой, ненастоящей жизни. В его произведениях этой поры также звучит мотив стыда человека за существующий порядок вещей и себя самого, так или иначе к этому порядку причастного. Мало того, время сделало этот стыд еще более жгучим и непереносимым.

Варвара Михайловна в «Дачниках» признается: иногда вдруг «всем существом почувствуешь себя точно в плену... Все кажется чужим... И все как-то несерьезно живут...» Это она честно относит и к самой себе: «Неискренно, некрасиво, скучно мы живем», «Мы — дачники в нашей стране... какие-то приезжие люди». Геронне горьковской пьесы «хочется уйти куда-то, где живут простые, здоровые люди, где говорят другим языком и делают какое-то серьезное, большое, всем нужное дело...» Влас, ее брат, охвачен тем же ощущением бессмысленности своего существования среди «ряженных» интеллигентов, давным-давно изменивших своим юношеским клятвам: «Я понимаю, понимаю. Мне самому нехорошо... совестно как-то жить... неловко...», «Тошно мне... нелепо мне... Я не могу, не умею жить среди них иначе, чем они живут... и это меня уродует... И я отравляюсь пошлостью их...»

Обращает на себя внимание то, что перед героями «Дачников» и «Мещан» открываются те же самые «три выбора», что и перед героем «Живого трупа». Тетерев в «Мещанах» по-своему избирает судьбу Протасова: ему, как мы помним, «благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать» на Бессеменова и подобных ему мещан. А Нил готов, говоря словами Протасова, «разрушать эту пакость», хотя героем он тоже себя не считает. Потому что пришло другое время — вплотную придвинулась, спаяв всех своим жарким дыханием, великая социальная буря. Потому что появилась возможность того самого всенародного

торжественного действия, которое Толстой счастливо для себя нашел в Отечественной войне 1812 года и которое было теперь направлено на преобразование ненавистных Толстому основ социального устройства. И не только немногочисленные Атланты духа, а каждый «честный, здоровый человек» мог теперь избрать другой, не протасовский, путь, почувствовать на своих обыкновенных человеческих плечах ответственность за ход истории, частицу веса небесного свода.

Весь опыт великой русской литературы был в распоряжении Горького, когда он в романе «Мать» поставил перед собой задачу проследить пробуждение народа в ходе революционного движения. Ниловна — одна из тех бесчисленных «людей черной жизни», которые, как она потом подумает, «безмысленно и молча работают всю жизнь, ничего не ожидая». Была и у нее самой «заколочена душа наглухо, ослепла, не слышит», «ворочались в ней порой лишь «смутные думы», — а теперь шаг за шагом в Ниловне пробуждается человеческое, духовное, крепнет чувство собственного достоинства, раскрываются многообразные возможности ее личности. Это выпрямление человеческой души Горький показывает в какой-то мере по-толстовски. Речь идет не о форме, а о том, например, что Ниловну отличают эмоциональное восприятие действительности, нераздельность в ее переживаниях мысли и чувства. В. Воровский упрекнул Горького, что психологическим двигателем повести оказалась не активная воля рабочих, а любовь матери, что здесь «общественный элемент подчинен личному». На самом деле Горький проводит важную — и очень близкую Толстому — мысль о том, что прочность, сила, перспективность нового движения состоят в неразрывной слитности личного с общим. Психологический двигатель внутренней эволюции Ниловны — действительно ее материнское сердце. Благодаря ему дело сына стало ее собственным делом, а сама она в итоге своего развития — «героем с идеалом», способным чувствовать «за всех печаль и радость».

«Душу воскресшую — не убьют!» — восклицает мать в драматической финальной сцене книги. И думается вновь, как тесно сплетены в русской литературе концы и начала ее идейно-художественного движения, как близки и по времени создания, и по внутреннему своему существу «Воскресение» Толстого и «Мать» Горького, и вместе

с тем какое огромное общественно-историческое содержание вместил в себя крохотный промежуток времени между ними, сколько нового принесло это время и в общую художественную концепцию жизни, и в замечательное достояние русской литературы — «диалектику души».

Новая историческая ситуация привела к переоценке самого понятия духовного богатства героя. «Герой с идеалом» — это «духовно живой человек» эпохи, когда все социальные, философские, этические программы и идеалы проходили великую проверку в революционном творчестве, в реальной общественной практике. Живая текучесть характера, которая вчера была благом, сегодня сплошь и рядом воспринималась как «межеумочность», отставание от требований времени. «Ненадежные они все», — говорится о весьма «текучих» интеллигентах в «Дачниках». «Определеннее они должны быть». Точно так же новая цельность «героя с идеалом» стала выступать в эстетической оценке с обратным, положительным знаком.

Ромен Роллан заметил в частном письме, написанном в эту же пору, в 1903 году: «В эпоху, подобную нашей, когда все находится в процессе становления, действие важнее всего, и первое произведение искусства, которое нужно создать, — это новый человек».

Новый человек входил в жизнь в России на рубеже двух веков в самом деле как поразительное явление. Это не был новый человек вообще — «люди вообще» возможны только в абстракции. Это была особая, во многом неповторимая формация личности, человек, удивительно сочетающий «высоких дум кипящую отвагу» и трезвость знания, деловитость и мечту. «Гениальность мироощущения» Горького неотрывна от жизни и борьбы тех «живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей», с которыми он встречал новый век. Искусство и жизнь встретились там, где красота эстетического идеала и красота реального жизненного характера слились в единый четкий контур, как два изображения в стекле дальнего рама.

Наконец, еще одна общественно-литературная параллель: Горький — Леонид Андреев.

Между опубликованием «Мещан» (1901) и «Жизни человека» Л. Андреева (1907) пролегло несколько чрезвычайно бурных, насыщенных важнейшими общественными

событиями лет, вместивших в себя и расцвет дружеских отношений этих писателей, и начало их решительного расхождения.

31 января 1901 года, через неделю после процитированного выше «пророческого» письма К. Пятницкому, Горький писал Л. Андрееву: «Ругайте вдребезги мещан, хозяев жизни, тревожьте их, беспокойте!» Несколько позднее снова: «Происходит развал того философского и этического базиса, на коем основано благополучие мещанства», «Бей мещанина! Ибо он любит везде воздвигать ограды».

В этих призывах легко услышать отголосок раздумий Горького надна социальным адресом критического пафоса его собственной пьесы. Раскрыть «развал... философского и этического базиса» частнособственнического строя, показать тщетность усилий мещан удержать жизнь в рамках воздвигнутых ими оград, написать пьесу-памфлет — такую задачу ставил перед собой писатель. Но была у его произведения и другая, столь же социально-активная цель.

«Разрастается чувство человеческого достоинства, здоровое, упругое чувство, — писал Горький Л. Андрееву тогда же, в январе 1901 года. — Вырастает человек новый — личность... сознающая свое право творить жизнь новую, жизнь яркую, жизнь свободную, и уже теперь эта личность умеет ненавидеть всей силою души жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь скучную, жизнь уютно-мещанскую». Вряд ли можно сомневаться в том, что эта горьковская характеристика нового человека имеет прямое отношение к Нилу. И так же как его герой, для которого высшая радость — активное вмешательство в жизнь («тому — помешать, этому — помочь»), писатель стремился своей пьесой укрепить рождающееся чувство человеческого достоинства, поддержать уверенность человека в праве творить новую жизнь. «Надо как-нибудь так изображать события, — заметил Горький в одном из писем год спустя, — чтобы они возбуждали живого и здорового человека именно выше забираясь в поступательном, естественном и необходимом помимо его воли шествии вперед».

Леонид Андреев понимал новаторское значение творческих устремлений Горького. «У твоих писаний, — отмечал он в 1905 году, — совсем особенный, очаровательный вкус, благородный, сильный, единственный. И прежде всего: в вкус свободы, чего-то вольного, широкого, смелого». Тем не

менее писатель не заблуждался относительно глубокого отличия от этого горьковского «гениального мироощущения» своего собственного творческого настроения. «Я человек жизни внутренней, душевной, но не человек действия», — констатировал он свое первое отличие от Горького. «Ты нападаешь на жизнь, я обороняюсь; ты свободный, я раб...» В третьем лице Андреев сближал себя с далеко не демократичными декадентами: «По форме писаний, по темам своим, по направлению мысли он так же далек от народа, как и они...» Наконец, горькое предчувствие недолговечности возникших сердечных отношений: «В одной тряской корзинке не могут улежаться железный горшок с глиняным...»

В чем же видел Леонид Андреев существо своих поисков? Почему его все меньше устраивал арсенал изобразительных средств реализма? «Проблема бытия, — писал он, — вот чему безвозвратно отдана мысль моя, и ничто не заставит ее свернуть в сторону». Того бытия, которое, по его мнению, не зависело от приливов и отливов на поверхности общественной жизни. Характерно признание: «Если при успехах революции я смотрел мрачно и каркал: так было, так будет, то сейчас, живя в лесу виселица, я чувствую и радость, и непоколебимую уверенность в победе жизни... А что — не знаю, не знаю. И знать не буду, пока не отойду от житейской суеты и в дикой пестроте явлений не усмотрю какого-то великого и еще неизвестного мне единства».

Поиском этого неизвестного единства и посвящена драма Леонида Андреева «Жизнь человека», которая, по его словам, «не была для меня литературой, а мной самим, моей душой». Не жизнь в ее конкретных формах, а эхо жизни, ее сгущенная трагическая сущность должна была, по замыслу Андреева, пройти перед зрителем в сценах «Рождение Человека и муки матери», «Любовь и бедность», «Бал у Человека», «Несчастье Человека», «Смерть Человека». Писатель не хотел ни аллегории, ни сатиры, он требовал от театра большого Человека, резких контрастов света и тьмы. «Пусть будет обнажено не только до мяса, но до самых костей...»

Л. Андреев говорил, что форму пьесы — чередование картин человеческой жизни — ему подсказала живопись. Думается, что замысел пьесы могло заронить и одно из писем Горького. «Видишь ли, — писал он

Л. Андрееву в мае 1904 года, — человек стоит между двух бездонных ям — рождение, смерть... Вот ты и посмотри с этой трагической стороны...» Человек знает о своей судьбе. Но «несмотря на знание будущей гибели... он все работает, все творит...» «Да, я погибну, я погибну бесследно, но прежде я построю храмы и создам великие творения». «Вот человеческий голос. И — поверь мне — настоящий человек, истинно свободный, человеческое свое достоинство всегда ценит, и он всегда мужественно сознает конечность и свою и всего окружающего».

Леонид Андреев избрал для своего Человека профессию архитектора — не худший случай для бессмертия. Он поставил своего Человека между двух бездонных ям — рождение, смерть. Но и «Рождение Человека» и «Смерть Человека» оказались в его пьесе глубоко отличными от жизнеутверждающей концепции Горького. Некто в сером из неосвещенного угла сцены возглашает бесстрастным, монотонным голосом: «Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным началом и темным концом... В ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукою, — это жизнь Человека». «И в слепом неведении своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предназначения». Рождение, жизнь и смерть Человека сопровождаются репликами одних и тех же сгорбленных, будто бессмертных старух. «Да. Рожают и умирают». «И вновь рожают... Мне все равно... Добрый или злой, молодой или старый, живой или мертвый, мне все равно». Реплики эти раздаются до того самого момента, пока Человек, некогда легкий, быстрый, с деятельно-свободными и гордыми позами, а теперь седой и слабый, не обратит в ту сторону, где находится Некто в сером, своего предсмертного проклятия. «Я проклинаю все, данное тобою. Проклинаю день, в который я родился, проклинаю день, в который умру. Проклинаю всю жизнь мою, ее радости и горе. Проклинаю себя!»

Горький не принял «космического пессимизма» Андреева — этого его дара русской литературе. Он критически отозвался о пьесе, в которой Андреев, по его мнению, «слишком оголил своего человека, отдалив его от действительности, и тем лишил его трагизма, плоти, крови». Самые резкие возражения Горького вызвал опубликованный в том же 1907 году рассказ Андреева

«Тьма». А в 1912 году он написал: «Человек... утверждающий пассивное отношение к миру,— кто бы он ни был,— мне враждебен, ибо я всю жизнь утверждал необходимость отношения активного к жизни, к людям. Здесь я фанатик». Дружеская близость двух писателей, которой оба так дорожили, окончательно осталась позади.

Откуда, однако, вытекал этот андреевский «космический пессимизм»? Чем объяснялось не покидавшее его ощущение обреченности, несвободы человека? Горький не сомневался в ответе. Он считал трагизм мироощущения Андреева, его взгляд на людские дела как суету сует, тлен и самообман «мещанским страхом жизни», порождением того самого «философского и этического базиса», которому давала решительный бой пьеса «Мещане».

Любопытно присмотреться еще раз к первому драматургическому опыту Горького с этой точки зрения. Как оцениваются здесь характеры наследников Бессеменова, в чем состоит их родственная связь с Человеком Л. Андреева?

Тетерев демонстративно не считает Петра «предметом одушевленным», предпочитая ему бродягу-птицелова Перчихина, у которого «жив дух и жива душа его». Перчихин в свою очередь видит в детях Бессеменова людей без свойств («Ничего вы не делаете, никаких склонностей не имеете...»). Это же самое волнует главу семейства. «И всего мне тяжелее,— жалуется Бессеменов,— что не вижу я в них... никакого характера... ничего эдакого... крепкого. Ведь в каждом человеке должно быть что-нибудь свое... а они какие-то... ровно бы без лиц! Вот Нил... он дерзок... он — разбойник. Но — человек с лицом!. Я вот, в молодости, церковное пение любил... грибы собирать любил... А что Петр любит?»

Оставим, однако, «гражданина на полчас», Петра, у которого, по словам Тетерева, есть шансы жить в дальнейшем родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу, в роли покорного слуги общества. Значительно интереснее в этом смысле образ Татьяны.

Приходится читать утверждения, что Татьяна — наиболее «чеховский» персонаж пьесы А. М. Горького. Но здесь можно говорить только об очень внешнем, поверхностном сходстве. При всех жалобах чеховских грех сестер на жизнь, которая «заглушала» их, как сорная трава, они живут

предчувствием перемен, их не покидает надежда на светлый исход хотя бы в будущем. «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было,— говорит в финале пьесы «Три сестры» Ольга.— Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас...» «Кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем...» Татьяна же у Горького настроена совсем по-другому. Безысходность — таково ее неизменное душевное состояние, со временем все обостряющееся.

В отличие от чеховской Ольги Татьяна «навсегда устала». Куда больше, чем Тетереву, ей «негде, нечем, незачем жить». Жизнь, по ее мнению, «совсем не трагична... Она течет тихо, однообразно... как большая мутная река». И ничто не может измениться. «Ведь жизнь всегда была такая, как теперь... мутная, тесная... и всегда будет такая!»

Именно потому, что жизнь в основе своей всегда одна и та же, Татьяна не может говорить и думать о будущем, не способна представить себе какой-то другой вариант своей собственной судьбы. «И я не знаю, не представляю — что значит жить? Как я могла бы жить?» Если нет никаких существенных различий между вчера, сегодня и завтра, то пустыми условностями становятся и все другие критерии. «Кто — дурен? И кто — хорош?» «Мне ничто, никогда не казалось достоверным... Когда я говорю — да или — нет... я это говорю не по убеждению». Может быть, единственно достоверным представляется ей вывод: «Я понимаю... поняла жестокую логику жизни: кто не может ни во что верить — тот не может жить».

Татьяна ощущает себя жертвой тесноты и пошлости отцовского дома. Ее «раздавило» все это, лишило малейших возможностей выхода. «Думаешь, я не хотела бы смотреть на жизнь вот так же весело и бодро, как ты? — говорит она Цветаевой.— О, я хочу... но — не могу!»

Совершенно очевидно, что в образе Татьяны раскрывается последовательно выраженное декадентское мироощущение. Это отношение к миру, к жизни человека, лишённого своей истинно человеческой, творческой сущности, обреченного, как говорил Некто в сером, в слепом неведении покорно совершить круг железного предначертания.

«Движущаяся лента жизни влечет нас куда-то — мы сами не знаем куда,— писал

один из таких людей.— Являешься скорее вещью, предметом, нежели живым существом». «Все мне кажется сконструированным. Стесненность внутри меня...». «Невозможно спать, невозможно бодрствовать, невозможно переносить жизнь, вернее, последовательность жизни».

Я не случайно цитирую здесь Кафку. Когда я читал интереснейший литературный и человеческий документ — «Письмо к отцу» Франца Кафки, своеобразные ассоциации заставили вспомнить горьковскую пьесу. Другая страна, другие подробности быта и характеров, и все же есть что-то неуловимо сходное между созданным фантазией Горького «арзамасским», как принято считать, домом старшины малярного цеха Бесеменова и пражским домом преуспевающего владельца магазина Германа Кафки. Наверное, это общее состоит в самой ситуации, когда и без того разрушительное воздействие капиталистической действительности как бы собирается в фокус, многократно усиливается в микромире мещанской семьи. Общее и в том, как причудливо порой сила, самоуверенность, деловая хватка главы такого семейства оборачиваются подавленностью, отчаянием, отвращением к отцовскому «делу» у следующего поколения.

«Тебе казалось примерно так,— писал Кафка в своем письме-исповеди в 1919 году,— всю свою жизнь ты тяжело трудился, все жертвовал детям и прежде всего мне», а видел в ответ неблагодарность, холодность и отчужденность. Отсюда — беспрепятственные упреки. «Я, разумеется, не говорю, что стал таким, какой я есть, только из-за твоего воздействия» — все равно «был бы слабым, робким, нерешительным, беспокойным человеком». Но «в качестве отца ты был чересчур сильным для меня». «...Я казался себе жалким, причем не только перед тобой, но и перед всем миром, ибо ты был для меня мерой всех вещей». Только в писательстве «я действительно в чем-то стал самостоятельным и отделился от тебя, хотя это немного и напоминает червя, который, будучи сзади раздавлен ногой, отрывается средней частью и отползает в сторону». «...Я ни в чем не испытывал уверенности, каждую минуту нуждался в новом подтверждении моего существования». Попыткам спасения мешало «общее угнетающее меня состояние страха, слабости, презрения к самому себе». «Иногда я представляю се-

бе разостланную карту мира и тебя, распростершегося поперек ее...»

Думается, эти выписки из разных страниц большого «Письма» подтверждают возможность такого сравнения. И не обнаруживается ли здесь еще раз то главное, что лежит в основе соотношения реалистического и декадентского искусства? В реалистическую литературу XX века, и в частности в творчество Горького, также входят декадентское мироощущение и связанный с ним характер — но входящий как составная часть сложной картины мира, как один из объектов художественного исследования. Это отношение к жизни сталкивается с другими, корректируется и в конечном счете отвергается общим эмоциональным, идейно-эстетическим строем произведения. Декадентское же искусство начинается там, где подобное миропонимание становится всепоглощающим, единственным, где в качестве творческого субъекта выступает сам этот отчужденный характер.

2

Пришло время остановиться, поразмыслить над существом проведенных сопоставлений. Анализ первой горьковской пьесы в ее живой связи с произведениями Чехова, Толстого, Леонида Андреева позволил затронуть некоторые важные проблемы гуманистического содержания литературы, какие-то моменты, сопутствующие становлению социалистического реализма. Но что означает в эстетическом и социальном отношении эта смена «духовно живого человека» «героем с идеалом»? Является ли она единственной в своем роде или же это новое проявление каких-то закономерностей и процессов, уже известных в истории литературы?

Поиски аналога этому сдвигу в художественном раскрытии социального характера заставляют вспомнить прежде всего эволюцию образа «лишнего человека» в русской литературе пятидесятых — шестидесятых годов прошлого столетия. Разумеется, необходимо учитывать иной характер эпохи, иной масштаб общественных и художественных изменений, но сходная направленность в развитии образа положительного героя, на мой взгляд, является бесспорной.

Евгений Онегин с его «умом, кипящим в действии пустом», с метаниями от балов к

уединенно, от книг к путешествиям, не знающий, что ему делать с собой в этом мире: «Я молод, жизнь во мне крепка; чего мне ждать? тоска, тоска!..» Блестящий Чацкий, единственный духовно живой человек в пошлой атмосфере московских гостиных. Внешне невозмутимый, но глубоко чувствующий Печорин с его признанием на грани возможной смерти: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные...» Рудин, который умел, «ударяя по одним струнам сердца, заставляя смутно звенеть и дрожать все другие», который неустанно говорил «о достоинстве человека, о значении истинной свободы — говорил горячо, благородно и правдиво...» Лишние люди безвременья, делавшие что могли для распространения светлых идеалов, либо ничего не делавшие, потому что, как сказано у Пушкина, «несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей...» Кто сможет упрекнуть их в чем-либо, кто посмеет бросить в них камень?

Посмели, однако, бросили, когда пришло в литературе время Базарова и Инсарова, Кирсанова и Лопухова, Рахметова и Добросклонова. Поставили «лишних людей» в один ряд с угасающим от безделья на своем диване Ильей Ильичом Обломовым. Объявили их «дряблыми страдальцами», «копителями неба», высмеяли вконец их «тунельческие сердца».

Да, Писарев несправедлив в этих категорических оценках, в своих непомерных претензиях к «лишнему человеку» предшествующей поры. Однако вновь задумываешься над тем, насколько конкретными должны быть наши суждения о справедливости или несправедливости тех или иных оценок. Несправедлив Нил, считая Татьяну столь же повинной в «порче» жизни, как и ее отец. Несправедлив порой сам автор «Мещан»: при чтении переписки Горького и Андреева трудно отделаться от мысли, что Горький где-то недостаточно внимателен к своему адресату, где-то действительно излишне нетерпим. Однако есть ситуации, когда такая несправедливость неизбежна, она выражает собой резкое повышение требований време-

ни к общественному поведению человека, к объективному смыслу его поступков и взглядов.

Русская революционно-демократическая критика, впрочем, достаточно хорошо понимала причины происходившей в литературе и общественном сознании переоценки ценностей, в частности изменения отношения к типу «лишнего человека». Перечитывая статьи, давно уже ставшие хрестоматийными, вновь, как и раньше, поражаешься глубине художественного анализа, точности в соотношении искусства и действительности, прозорливости суждений об условиях, вызывающих появление нового человека в жизни и нового, поистине положительного героя в литературе.

«Бельтов и Рудин, люди со стремлениями действительно высокими и благородными,— писал Добролюбов,— не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности страшной смертельной борьбы с обстоятельствами, которые их давили». «Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни». Они еще не дошли «до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственной силою, двигающей человеком». Потому они «чрезвычайно легко отступают в практической жизни от своих идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, однако, на словах не перестают считать пошлой и гадкой».

Обстановка общественного подъема поставила этот тип «в другие отношения к жизни», обнажила его слабости, подчеркнула в нем обломовские «родовые черты». Главное же состоит в том, что литература подметила новую фазу развития этого типа, в которой особенно рельефно проступили его инертность, апатия, фразерство, презрение к «муравьиной работе» окружающих, неспособность осмыслить свою жизнь, полная несостоятельность перед силой враждебных обстоятельств, жалкое состояние нравственного рабства, совершенная ненужность на свете.

Все это, отмечал Добролюбов, «есть в человеке явление вовсе не природное, а чи-

сто благоприобретенное». «Его лень и апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств». «Вы вините человека, — добавлял к этому Чернышевский, — всмотритесь прежде он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его». Вина — редкость, исключение из правила, беда — общая эпидемия. «Беда требует помощи лицу через устранение обстоятельств, более сильных, нежели его воля». В самом деле, продолжал Чернышевский свои размышления по поводу повести Тургенева «Ася», чем объяснить несостоятельность подобного героя и в личном *genre-vois*, и в общественных делах? Да потому, что такова жизнь, приучившая его к «бледной мелочности во всем». «Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах» из ребенка вырастает не мужчина, а лишь существо мужского пола. «Если из круга моих наблюдений, из сферы действия, в которой вращаюсь я, исключены... гражданские мотивы, что остается наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными, узкими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах». «...Какова широта взгляда, такова широта и решений», «не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности, в свете которой я живу; этот характер перешел и в мою волю», стал определять все поступки, короче говоря, «характер героя верен нашему обществу».

Революционно-демократическая критика чутко улавливает симптомы того, что время отвлеченных поисков и благих намерений начинает сменяться временем дела, временем «страшной, смертельной борьбы» за осуществление высоких гуманистических идеалов. «Фраза потеряла свое значение», «все эти герои отодвинулись на второй план», потому что «явилась в самом обществе потребность настоящего дела», «уже настало или настает неотлагательно время работы общественной» (Добролюбов). «...Тип человека, задумавшегося на распутьи, исчерпан сполна» (Салтыков-Щедрин) — нужны герои положительные, деятельные.

Романы Тургенева, который одним из первых почувствовал необходимость в литературе деятельных, **«сознательно-герои-**

ческих натур», дали возможность Добролюбову и Писареву многое сказать об этом новом человеке, умеющем слить воедино слово и дело, «мыслящем работнике», «герое с идеалом» шестидесятых годов. Но примечательны грезность, с которой Добролюбов оценивает возможности распространения в литературе такого героя, ясность понимания им того, что преграды на пути «мыслящего работника» в значительной мере находятся вне литературы, носят общественный характер.

С абсолютной точностью уловил Добролюбов противоречие романа Гончарова: несоответствие авторской оценки образа Штольца с его объективным художественным значением. Литература, замечает Добролюбов, «не может забегать слишком далеко вперед жизни». «Штолец не дорос еще до идеала общественного русского деятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще, — хотя будь семи пядей во лбу, а в заметной общественной деятельности можешь, пожалуй, быть добродетельным откупщиком у Мурадовых, делающим добрые дела из десяти миллионов своего состояния, или благородным помещиком Костанжогло, — но далее не пойдешь...» В другой статье Добролюбов отметил, что Островский не случайно дает лишь «два рода отношений, к которым человек еще может у нас приложить душу свою, — отношения семейные и отношения по имуществу». «Деятельность общественная мало затронута в комедиях Островского, и это, без сомнения, потому, что сама гражданская жизнь наша, изобилующая формальностями всякого рода, почти не представляет примеров настоящей деятельности, в которой свободно и широко мог бы выразиться человек». Поэтому «высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни», — это Ольга из романа «Обломов». Если Штолец не хочет «идти на борьбу с мятежными вопросами», решается «смирно склонить голову», то Ольга с ее душевной свободой, простотой, ясностью страшится тихого счастья, она ближе Штольца к новой жизни. «...Я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего — не знаю!»

Очевидно, что между «бытовым» и художественным идеалом человека нет и не может быть полного гожества. Справедливый, порядочный, трудолюбивый, честный Штолец вполне «идеален» в повседневной

жизни, однако в романе в самом деле «мало этого», «нужно чего-то еще», ибо на территории искусства в сфере действия эстетического идеала герой вступает в несколько иную, специфическую систему оценок. Здесь приобретает значение область применения его сил, степень его влияния на мир, характер преодолеваемых им препятствий.

О значении реальных условий для создания литературного героя говорил Салтыков-Щедрин. «Исследуя нравственную природу человека,— писал он,— литература не может не касаться и тех общественных комбинаций, среди которых человек проявляет свою творческую силу». Эти социальные условия «представляют не что иное, как создание самого человека, но то же историческое тяготение сделало их настолько плотными и самостоятельными, что и они, в свою очередь, могут или вредить, или способствовать человеческому развитию». В настоящее время, отмечал Щедрин, самые высокие интересы человеческой природы подчинены интересам второстепенным, но такое положение не может быть вечным. «...Изменяемость общественных форм... предвещает человеческому творчеству обширное будущее».

Подведем некоторые итоги.

Дважды на протяжении полувека в русской литературе происходила смена героев, представлявших собой на каждом этапе общественного и литературного развития «высший идеал», какой только мог русский художник вызвать из современной ему действительности. Первый из этих героев, если воспользоваться употреблявшимися в разное время обозначениями,— «лишний человек», «человек распутия», «духовно живой человек». Герой второго типа — «мыслящий работник», «сознательно-героическая натура», «герой с идеалом». Связанные несомненной преемственностью и глубоким внутренним «родством душ», эти герои тем не менее отличаются разным качеством своего духовного богатства, разной степенью своей цельности. Герой второго типа в большей мере связан с прогрессивной тенденцией общественного развития, полнее воплощает в себе многовековой гуманистический и эстетический идеал. Тем не менее о его качествах надо судить конкретно-исторически. Каждый из этих героев отвечал условиям своего времени, с помощью каждого из них литература успешно решала стоявшие перед ней общественные и творческие задачи.

Как в середине XIX, так и на рубеже XX века тенденция к изменению типа положительного героя возникла под влиянием сложного взаимодействия общественных и художественно-эстетических факторов. И в том и в другом случае эта тенденция была связана с атмосферой общественного подъема, с появлением значительно более обширной, чем прежде, социально-исторической сферы действия, в которой мог выразиться человек.

Какие специфические качества искусства заставляют его таким образом реагировать на изменение внешних условий? Находит ли отражение в эстетической теории эта особенность художественного творчества? Наконец, что представляет собой в широком историко-литературном плане та идейно-эстетическая перестройка литературы, которую мы видели на примере ряда сопоставлений? Попробуем перейти в этот новый круг вопросов, имеющий прямое отношение к сегодняшним заботам нашей литературы.

Известно, что первой «исторической» эстетикой в домарксистский период оказалась эстетика Гегеля. В отличие от Буало и многих других своих предшественников в этой области Гегель подходил к искусству как к живому, меняющемуся явлению, прошедшему за время своего развития через несколько этапов. И характерно, что этот принцип историзма сразу же позволил Гегелю уловить зависимость между отношением человека с окружающим миром и эволюцией художественного творчества. Разумеется, подобный «стихийный материализм» гегелевской эстетики был недостаточно последовательным, конечно, он оказывался лишь одним из элементов общей идеалистической системы. Однако это был существенный шаг вперед в понимании исторических закономерностей развития искусства.

Наиболее благоприятным для художественного творчества Гегель считал героическое состояние мира. Именно на этой почве, по его мнению, в свое время выросло истинное, «идеальное» искусство, которое может служить своего рода образцом для наших суждений о природе художественного творчества, точкой отсчета для оценки современного искусства.

Первой неотъемлемой чертой героической эпохи, по Гегелю, является глубокое, все-

стороннее единство человека и мира. Это единство начинается на уровне природы, естественной жизненной среды. Героический индивид уже выделился из природы, поднялся над первобытной скудостью духовных интересов,— но он еще не оторвался от своего естественного окружения, связан с ним бесчисленными узами. В то же время и «рукотворная» среда, удовлетворяющая его потребности, еще в значительной мере является результатом его собственной деятельности. Наконец — что самое важное,— при этом состоянии мира и в области «всеобщих духовных отношений» идеальные герои не отступают «на задний план как нечто второстепенное по сравнению с самим по себе уже готовым миром». Эти отношения присутствуют в индивиде как нечто теснейшим образом ему принадлежащее, и притом не абстрактно, «не в качестве мыслей субъекта, а как свойство его характера и чувства».

Тесно связана с этим другая черта героической эпохи — непосредственная самостоятельность индивида в его общественной жизнедеятельности. Идеальные герои «или действуют в эпоху, когда еще нет законов, или сами становятся основателями государств, так что право и порядок, закон и нравы исходят от них и существуют как их индивидуальное дело, неразрывно связанное с ними». Поэтому «самостоятельный, крепкий и цельный героический характер не хочет делить вины и ничего не знает о противопоставлении субъективных намерений объективному деянию», «целиком отвечает за все последствия своих действий».

Гегель называет еще одно условие, с которым связано возникновение героического состояния мира,— наличие высокой цели, затрагивающей данный народ или все человечество. В соответствии с этим и в искусстве неменной чертой героического характера «является определенный в себе существенный пафос богатой и полной души».

Полнее всего этот принцип создания характера, по мнению Гегеля, находил воплощение в древнегреческом эпосе и в творчестве Шекспира. Индивид здесь «всецело вкладывал себя в одну цель, которую он четко и полностью выявлял, высказывал, осуществлял и — в зависимости от обстоятельств — при этом погибал или сохранял себя».

Отдавая все свои симпатии искусству, возникавшему на основе героического со-

стояния мира, Гегель тем не менее пришел к выводу, что оно является пройденным и невозвратимым этапом в истории мировой художественной культуры. По его мнению, в XIX веке героическая эпоха бесповоротно сменилась иным, прозаическим состоянием мира. Это состояние «развитой государственной жизни», которое характеризуется упорядоченными, закрепленными в государственном праве общественными и нравственными отношениями, всесторонним разделением труда, появлением сложных, многократно опосредованных отношений между человеком и обществом. Такое устройство жизни, с точки зрения Гегеля закономерно и даже полезно во многих отношениях, но, увы, не для искусства, идеальные представления которого вступают в непримиримое противоречие с реальной действительностью.

В условиях прозаического состояния мира «совершаемое отдельными индивидами является чем-то ограниченным в сравнении со значительностью всего события и полной цели, в осуществление которой они вносят свой вклад». Целое представляется человеку «лишь массой подробностей, занятия и деятельности разделены на бесконечное множество частей, так что на долю индивидов может выпасть лишь ничтожная частица целого».

Вместе с изменением состояния мира происходит и изменение ведущего типа героя. Решающая причина этого, по Гегелю, заключается в том, что человек, «вплетенный» в существующие отношения, «не исходит в своих действиях из своей собственной целостности», является объектом а не субъектом исторического процесса. Он всецело зависит «от внешних воздействий, законов, государственных учреждений, гражданских отношений» — и независимо от того, «находит ли он в них свой собственный внутренний закон или нечто навязанное ему извне, он все равно вынужден склониться перед ними». С какой бы стороны мы ни подошли к подобному индивиду, находящемуся в плену у внешних условий, он не дает нам «зрелища самостоятельной и целостной жизни, свободы, лежащей в основе понятия красоты».

Опираясь на эти соображения, Гегель задавал внимающим ему слушателям Берлинского университета по-своему логичный вопрос: а являются ли вообще в полном смысле художественными произве-

дения, не раскрывающие перед нами живой самостоятельности человека? Вправе ли мы называть искусством искусство, лишенное возможности выйти за пределы безыдеального прозаического существования? И он отвечал: «Если исходить из понятия подлинно идеальных художественных произведений, то продукты творчества настоящей ступени не выдержат испытания».

По Гегелю, современное искусство зашло в тупик, оказалось в тисках неразрешимого противоречия. Оно не может по своей природе не утверждать эстетический идеал — идеал «свободы, лежащей в основе понятия красоты». Но этот идеал явно недостижим, поскольку он неразрывно связан с невозвратимым героическим состоянием мира. Следовательно, искусство обречено, оно также является пройденной ступенью человеческой истории. В мире всеобъемлющего рационализма и всесторонней зависимости человека эстафету «кинобытия духа» принимает от него философия...

Что означают выдвинутые Гегелем понятия героического и прозаического состояний мира? Какова их действительная природа? Чем объяснить, что прогноз Гегеля в отношении судьбы искусства, как будто вполне обоснованный, оказался неточным? Ответ на эти вопросы дала социально-историческая теория марксизма.

В том самом 1845 году, когда закончилась первая публикация «Эстетики» Гегеля, молодые Маркс и Энгельс с увлечением работали над «Немецкой идеологией». Это была их первая попытка дать развернутое изложение основных моментов нового миропонимания. И совсем не случайно в совместном труде основоположников марксизма мы находим острый внутренний спор с общественно-исторической концепцией Гегеля вместе с последовательным развитием его диалектического метода.

Маркс и Энгельс не могли не сочувствовать гегелевской эстетической критике существующих общественных отношений. Больше того, они развивают положения Гегеля о кричащем несоответствии идеала и реальности, огромных творческих возможностей человека и их практического осуществления. Но если для Гегеля «развитое гражданское» общество навечно замыкалось лишь в его современной, буржуазной форме, то Маркс и Энгельс уже в этой работе делают решительный теоретический

шаг за пределы прозаического состояния мира.

Огромная сила научного абстрагирования позволила основоположникам марксизма уловить в невероятно сложном переплетении исторических явлений своего рода пульсирование социального творчества, обнаружить «связный ряд» общественно-экономических формаций, каждая из которых означает шаг вперед в развитии производительных сил, а значит, и творческих сил индивидов, «соответствует... более прогрессивному виду самостоятельности»¹. И в зависимости от того, какой этап своего развития проходит данный социальный «организм», человек ощущает себя либо человеком творящим, либо человеком творимым. является или разносторонней, цельной личностью — или ограниченным индивидом, пользующимся крохами благ, потребностей и интересов, доставшихся на его долю. «Различие между индивидом как личностью и случайным индивидом,— говорится в «Немецкой идеологии»,— не просто логическое различие, а исторический факт»².

Маркс и Энгельс рассматривают историческую диалектику формирования личности не только в масштабе отдельных общественных формаций. По их мнению, вся история представляет собой некий виток спирали, отмечающей для человека его трудный, противоречивый, но в конечном счете поступательный путь развития. Нижний отрезок этой спирали — ступень «первоначальной цельности» человека, которая объясняется тем, что «он еще не выработал полноты своих отношений», не выделился из созданной им материальной и духовной среды. Думается, что именно эту ступень и рассматривал с эстетической точки зрения Гегель, говоря о «героическом состоянии мира». Вторая ступень, соответствующая гегелевскому «прозаическому состоянию мира», — ступень капиталистического разделения труда, с которой связана тенденция к «полной опустошенности» индивида, всестороннему отчуждению его творческих сил. «В современную эпоху,— писали Маркс и Энгельс,— господство вещных отношений над индивидами, подавление индивидуальности случайностью приняло самую резкую, самую универсальную

¹ «Вопросы философии», № 11, 1965, стр. 128.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 71.

форму, поставив тем самым перед существующими индивидами вполне определенную задачу» — подчинить своей воле развитие общественных отношений. «Эта диктуемая современными отношениями задача совпадает с задачей организовать общество на коммунистических началах». Коммунизм — это «подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека», это «полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития, возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человеческому». «Такой коммунизм...=гуманизму». «Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов...— таковая третья ступень»¹.

Теоретическое разрешение марксизмом загадок истории было вместе с тем и разрешением загадки искусства, которую обнаружил и по-своему истолковал Гегель. Доказательство того, что «прозаическое» состояние мира отнюдь не вечно, что вместе с преодолением капитализма перед человеком открывается необозримое поле социального творчества, «сняло» гегелевский прогноз в отношении дальнейших судеб искусства, ставило на прочную научную основу иную, оптимистическую перспективу художественного развития.

3

Развитие русской общественной мысли в последние десятилетия XIX века шло под знаком надвигающейся революционной бури. Возникла ситуация, когда любой «русский вопрос» одновременно становился и общемировым вопросом, когда нельзя было, что называется, и шагу ступить, не натолкнувшись на какие-то кардинальные проблемы человеческого существования. «Вся молодая Россия только лишь о вековых вопросах теперь и толкует,— говорил у Достоевского Иван Карамазов.— О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату...»

В самом деле, речь в ту пору шла далеко не только о том, быть или не быть Рос-

сии страной окончательно европейской, капиталистической. Все более неотвратимым оказывался всемирно-исторический перелом, ведущий к «переделке человечества по новому штату»,— и надо было осмыслить его возможные благотворные последствия, предугадать связанные с ним опасности.

«Я все чаще задаю себе вопрос,— писал Павел Анненков Марксу,— не предполагает ли коммунизм отказа от некоторых преимуществ цивилизации, отречения от некоторых прерогатив личности, завоеванных с таким трудом, и, наконец, не предполагает ли он весьма трудно достижимого высокого уровня всеобщей нравственности. Конечно, и в этом случае он прекрасен, но он перестает тогда быть необходимым продуктом человеческого развития. Его придется насаждать с таким же расчетом на успех, как и при всяких опытах, при всяких новшествах, принудительно вводимых в обществе».

Вся обозримая история человеческой цивилизации до той поры была связана с резким контрастом в возможностях развития личности для имущих и неимущих. Труд миллионов создавал основу, на которой выросло прекраснейшее здание художественной и всякой иной культуры. Это «несправедливо», слов нет, но не затормозится ли развитие общества в случае «уравнительного» пользования благами цивилизации? Не придется ли заплатить за материальный прогресс ценой отступления от завоеванного уровня духовной культуры, не явится ли будущее в облике нивелированных человеческих множеств, в пепельно-сером костюме всеобщей уравнительности?

Для П. Анненкова, Г. Гейне и некоторых других мыслителей и деятелей культуры это были сомнения, которые не меняли, однако, их общей позитивной оценки перспектив коммунистического преобразования человеческого общества. Для Константина Леонтьева, напротив, сама эта перспектива означала путь к некоей энтропии духовной культуры, к разложению личности и культуры в условиях ненавистной ему демократии.

В основе работ К. Леонтьева лежит по-своему стройная концепция исторического развития «государственных организмов» и целых культур через три неизбежно сменяющих друг друга периода. Все начинается с «первичной простоты», пишет он в «Византизме и славянстве», приходит к дифферен-

¹ «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, «Искусство», М. 1967, стр. 202, 203, 221.

циации, плодотворному неравенству, «цветущей сложности», наконец, завершается «вторичным смесительным упрощением». По Леонтьеву, именно в этот последний этап и вступает, втягивая с собой Россию, европейская цивилизация. Отсюда две возможности для России — либо «в этом прогрессе подчиниться Европе», либо «устоять в своей отдельности». «Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела».

Приравнение вместо действительной общности и всеобщности, свойственное, по известному положению марксизма, буржуазной общественно-экономической формации, Леонтьев считал следствием исторического развития вообще. И понятно, что в его концепции не оставалось места для различия буржуазной и социалистической демократии: зло виделось ему в идеях демократии и равенства вообще. Из этого К. Леонтьев делал неопровержимый для него практический вывод: быть в настоящий момент реакционером, консерватором — это и значит быть истинно прогрессивным общественным деятелем. «До дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом; после этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору...»

Опасения перед неведомым будущим — основа консерватизма автора «Братьев Карамазовых». При этом, как известно, Достоевского волновали в первую очередь нравственные проблемы «перерождения человечества от рабства к свободе», его больше всего страшила возможность «духовного безудержия» в обществе, которое окончательно отбросит сдерживающие узы религии, будет строиться на атеистических началах.

«Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет!» — восклицает Митя Карамазов. (Черт, явившийся другому Карамазову, тоже на химию ссылается: все помутилось, когда вы «открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да черт знает что еще...») «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь все позволено, все можно делать?» И это не вопрос, заданный мимоходом. Он бьется, пульсирует на всем протяжении романа, проверяется искушениями Ивана

Карамазова, преступлением Смердякова, так и не находя сколько-нибудь окончательного ответа.

Вопрос о боге для Достоевского — не только вопрос сдерживания «зверя», тающего, по суждению Ивана Карамазова, в каждом человеке. Если не во зло, то на какое благо может употребить человек обретенную им свободу? Какие высшие цели преследует вся эта затеваемая «переделка человечества по новому штату»? «Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить», — рассуждает Иван. «Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее».

Идеи нравственного, христианского социализма развивает в своих поучениях Алеше старец Зосима. «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психологически повернулись на другую дорогу. Раньше чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства». (Вспомним у П. Анненкова: не предполагает ли коммунизм «весьма трудное достижимого высокого уровня всеобщей нравственности»?) «Великая мысль» о единении людей сбудется, но сначала должен заключиться царствующий пока везде «период человеческого уединения... Ибо всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самую полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство...» «Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору». Между тем «истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности». «И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше...»

Мировое значение советской художественной классики — и в первую очередь творчества Горького — неотрывно от решения проблем, поставленных человечеством в канун великого исторического перелома. Она показала, что нет никаких «сначала» и «после» в воспитании нового человека и формировании новых общественных отношений: в революционной практике оба эти процесса совершаются одновременно. Она раскрыла красоту человека из народа, общающегося к борьбе за идеалы социализма, сделала художественно неопровержимым связанный с революцией расцвет

индивидуальностей. Прямо или косвенно советская литература поверяла новую действительность всеми сомнениями, которые высказывались в прешествующую пору,— и приходила к выводу о неосновательности этих сомнений.

(Прямая переключка и с Достоевским и с Леонтьевым слышится, например, в страстных апокалиптических монологах Виссариона Буланина в «Соти» Л. Леонова:

«Слушайте... лягте на землю и слушайте: она орет. Мир гибнет. На этой остывающей планете остывает и человек... все кристаллизуется, все приходит к последнему равновесию: нет, еще не Клаузиус, а только демократия и новый, еще несслыханный человек». «Цивилизация — вот путь, вырощенье — вот завершение». «Утерялись все нормы, наступил хамский апогей естественных наук... Душа — функция протоплазмы... Все рассечено и познано, но слушайте: произошел обман. Познан труп в его мертвых, разделенных частях, а живое единство ушло невозвратно». «Человечество задыхается от сытости и неразлучного счастья. Исчезнут социальные противоречия — источник развития. Уничтожится потенциал, и другой потухнет сам собою. Вот уж где — ни радости, ни печали, ни воздыхания». «Человек прорубит наконец эту голубую скорлупу и вылупится в мир еще незнаемого цвета... там караулят его еще не испытанные холод и одиночество. И уже не будет души, огонька, у которого можно было погреться... Пусто, и даже голову разбить не обо что!»)

Новаторство советской художественной классики справедливо рассматривается нами не только на «уровне» ее проблематики, ее непосредственного идейного содержания. Оно простирается дальше — к самим эстетическим основам художественного отражения действительности. А здесь мы и должны с особой вдумчивостью принимать во внимание влияние на литературу многообразнейших изменений, происходивших в революционную эпоху в отношениях человека и мира.

Три гигантские вершины образуют в совокупности историю первых трех десятилетий советского общества. Первая, высочайшая из этих вершин при любом масштабе измерения — социалистическая революция. Вторая — могучий порыв социалистического строительства в годы первой пятилетки.

Третья — Великая Отечественная война против фашистского нашествия. Исследователь общественной психологии, общественного сознания сможет отметить между этими высшими точками в жизни народа известные понижения: настроения и чувства в годы нэпа, во время трагических и противоречивых событий второй половины тридцатых годов. Но эти три вершины так близко отстоят друг от друга, так слиты между собой своими основаниями, что — в исторической перспективе — они предстают как единая горная гряда. Каждая из них в отдельности и все они вместе обладают всеми признаками героического состояния мира, отнесенного немецким философом в минувшие эпохи.

Уже в первом литературном памятнике революции — книге Джона Рида — перед нами раскрывается потрясенный мир, в котором буквально все — привычки, отношения, взгляды, «узы порядка и законов» — пришло в движение, оказалось в процессе разрушения и становления. «Огромная Россия распадалась, — писал Джон Рид. — Бесформенное общество растаяло, потекло лавой в первозданный жар, и из бурного моря пламени выплыла могучая и безжалостная классовая борьба, а вместе с ней еще хрупкие, медленно застывающие ядра новых образований».

Ощущение переживаемых событий как гигантского исторического катаклизма, сравнимого с самыми грозными природными явлениями, передавали и многие другие публицисты и художники. «Теперь все раздвинулось, вся земля — как после землетрясения...» — писал А. В. Луначарский. «Над страной пронесся ураган революции, — читаем у А. Толстого. — Хватили до самого неба. Раскидали угли по миру...» «В наши дни человек подвергается разнообразнейшим воздействиям буйно взвихренной действительности», — отмечал А. М. Горький.

«Буйно взвихренная действительность» — особенность не только первых послеоктябрьских лет, когда нарождавшийся социалистический мир с оружием в руках отстаивал свое право на существование. Страна вновь забурилась, пришла в движение, ринулась вперед, едва закончилась короткая передышка, вызванная разрухой, голодом, ранами многолетней военной поры. «Вся Россия с корнями пошла», — повторяют герои романа А. Малышкина «Люди из захолустья», глядя на толпы, штурмующие на

станциях дальние эшелоны. Но не в том только дело, что тысячи и тысячи людей были сдвинуты «из исконных, отцами еще обогретых мест», переполняли поезда, выходили на пыльные шляхи Украины и Белоруссии. Дело в том, что огромные человеческие массы прямо и непосредственно брали в свои руки решение коренных вопросов жизни народа, прямо и непосредственно оказывались на дорогах Истории.

Знаменитая формула марксизма — «вместе с основательностью исторического действия будет... расти и объем массы, делом которой оно является»¹ — получила блестящее подтверждение в ходе общественного развития. С начала XX века революционная борьба развивалась вглубь и вширь, втягивала в свою орбиту новые и новые человеческие пласты. Наконец, могучий социальный взрыв превратил в груды развалин здание царизма, потряс до самых основ устои буржуазного мира, поднял на поверхность общественной жизни, политической борьбы многомиллионные «низы», лишённые до этого элементарных человеческих прав. Исчезли, разлетелись в прах все табели о рангах, по которым строилась общественная иерархия Российской империи. Настало, говоря приведенными выше словами Добролюбова, «время работы общественной», в которой «свободно и широко» мог выразить себя человек, появилось дело, которое стало «жизненной необходимостью, сердечной святыней» миллионов людей. Или, если обратиться снова к «Немецкой идеологии», началось производство самой «формы общения», возникли условия, которые «являются условиями самостоятельности» индивидов и создают «этой их самостоятельностью»². Неизмеримо расширилась область свободы — свободы в истинном, глубоком, позитивном смысле, свободы, определяемой реальными возможностями воздействия индивида на условия его жизни.

Известно, с какой настойчивостью В. И. Ленин подчеркивал особое, принципиальное значение для социалистического строя самого широкого демократизма, всестороннего развития творческой активности масс. Только социализм, писал В. И. Ленин, создает возможность «...втянуть действитель-

но большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты...»¹. Только социализм «...выводит трудящихся на дорогу самостоятельного творчества новой жизни»², создает условия, когда «не меньшинство, не одни только богатые, не одни только образованные, а настоящая масса, громадное большинство трудящихся сами строят новую жизнь, своим опытом решают труднейшие вопросы социалистической организации»³.

В раннюю эпоху борьбы за социализм эта творческая самостоятельность трудящихся, разумеется, проявлялась иначе, чем на других этапах истории советского общества. На нее накладывали свой отпечаток атмосфера революционного энтузиазма, бьющая ключом «праздничная энергия масс»⁴, та «народная страсть», о которой не раз писал В. И. Ленин и которая оказывалась не меньшей опорой в борьбе, чем практическая организация революционных сил. «Вся новая эра в России,— отмечал В. И. Ленин,— завоевана и держится только народной страстью»⁵. И еще, уже с учетом опыта Октября: «Революцию осуществляют, в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов»⁶.

«Народная страсть» — это и есть тот самый героический пафос, который рождается в пору общественного подъема вместе с появлением великих общенародных целей. Утвердить на земле новый строй, поборов ожесточеннейшее сопротивление внутренних и внешних врагов, создать базу социалистической индустрии, выполнив пятилетку за четыре года, разгромить фашистские полчища, посягнувшие на будущее человечества, на самое существование Советского государства,— таковы цели, которые выдвигались в ту пору на первый план, собирали в себе, как в фокусе, все задачи партии и народа. Эти цели затрагивали глубоко личные, интимные струны в душе человека и

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 195.

² Там же, стр. 199.

³ Там же, т. 37, стр. 61.

⁴ Там же, т. 11, стр. 103.

⁵ Там же, т. 13, стр. 82.

⁶ Там же, т. 41, стр. 81.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 90.

² «Вопросы философии», № 11, 1965, стр. 128.

в то же время выражали собой потребности всего общества. Они были безмерно, фантастически трудны — и вместе с тем достижимы, в достаточной мере реальны. Их достижение требовало немалого времени — но, однако, не отодвигалось в неопределенное, слишком далекое будущее. Они несли в себе перспективы дальнейшего развития, открывали поистине необозримые дали, но в данный момент оказывались на переднем плане, вырисовывались с ослепительной резкостью.

Тесно связан с этим другой объективный фактор — резкое ускорение исторического процесса. «Война подтолкнула историю,— писал В. И. Ленин,— и она легит теперь с быстротой локомотива»¹. «Быстрота общественного развития за последнее пятилетие прямо-таки сверхъестественная»², — отмечал В. И. Ленин позднее, в 1922 году. «Неслыханные перемены, невиданные мятежи» захлестнули страну и мир, преображая на глазах у всех самый лик земли. Словно вспышка молнии, социалистическая революция бросила ярчайший свет на прошлое, настоящее и будущее, наполнила смыслом оставшийся позади путь поисков, жертв и страданий. Не только теоретик, политик, но и каждый участник событий стал ощущать жизнь как направленный процесс, целью которого — и целью очень близкой — является бесклассовое коммунистическое общество.

Мы действительно вправе говорить о новом состоянии мира, которое дало о себе знать уже в конце XIX века и простирается далеко в глубь двадцатого столетия. Особенности этого состояния — «текучесть» общественных отношений, изменчивость среды, быстрота исторического развития, ясность перспектив, предельная четкость классового размежевания, особый размах социальной активности масс, непосредственная самостоятельность личности, наличие единого всепоглощающего пафоса. Все эти слагаемые вместе и каждое из них в отдельности вызывали в художественном сознании многообразные изменения, имевшие, однако, свой «общий знаменатель». В эпоху, поэтически названную Л. Леоновым «утром новой эры», самые разные дороги прежде всего вели к возрождению художественного эпоса.

Одной из важнейших закономерностей развития, как известно, является «повторение в высшей стадии известных черт, свойств ес. низшей», «возврат якобы к старому (отрицание отрицания)»¹. Вся природа, все общественное развитие, по словам В. И. Ленина, доказывали человечеству «...не только идею движения, но именно движения с возвратами к исходным пунктам, т. е. диалектического движения»². «Возврат» эпического сознания, эпического героя, казалось бы давно исчерпанных в ходе развития искусства, открыл новые, неизвестные до того возможности в художественном воссоздании современной действительности, сделал советскую художественную классику особым явлением в мировой культуре.

В эпическом искусстве древности художник еще не отделил себя от общественного целого, выступал как бы по его полномочию, от его имени. В новое время точка зрения искусства, как это показано в ряде работ советских исследователей, становится точкой зрения общественного индивида, предъявляющего свои требования к обществу, художественное произведение воспринимается в качестве индивидуальной концепции мира. Творчество советских писателей — как бы возврат к этой эпохе, когда художник, говоря словами Белинского, «смотрит на событие глазами своего народа, не отделяя от этого события своей личности». Участвуя в борьбе на стороне социализма, художник сознательно стремился стать выразителем дум и чаяний трудового народа, прямо заявлял о своей принадлежности к «атакующему классу». Известна попытка В. Маяковского передать это стремление «анонимностью» своей поэмы «150 000 000». Конечно, этот эксперимент не мог оказаться успешным. Дело заключалось не в отсутствии фамилии автора на обложке книги, а в принципиальной общности устремлений художника и народа, которая находит в произведениях искусства индивидуальное, художественно неповторимое воплощение.

Эпос минувших эпох повествует о каких-то вымышленных или действительных событиях, имевших решающее значение для судьбы народа. При этом оказывалось неважным, когда происходили эти события: их охватывала, преображала в поэтические

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 81.

² Там же, т. 45, стр. 173.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 203.

² Там же, стр. 308.

образы коллективная память ряда поколений. Реалистическое искусство XIX века, напротив, чаще всего ограничивается изображением того узкого участка действительности, который находится в поле зрения частного индивида. История как бы растворилась в быте, стала касаться каждого отдельного человека лишь через множество опосредствующих звеньев. В эпоху социалистической революции в книги вновь врывается ветер истории. Разрывая привычные рамки семейной драмы, перипетий частного существования, она как бы сама начинает строить сюжеты, определять завязку и развязку конфликтов, стягивать незримыми узами жизненные пути самых различных персонажей. Открывшиеся взору художника «становые жилы закономерностей» (А. Толстой) позволяют ему освещать с единой точки зрения, собирать воедино громадный жизненный материал, безбоязненно углубляться в видимый хаос мира, в гущу событий прошлого и настоящего. Наступает время расцвета советского исторического романа. Появляется и достигает в шолоховском «Тихом Доне» своей высшей точки роман-эпопея.

Такой же процесс «как бы возврата к прошлому» характеризует историческое движение литературного героя. Долгий путь вел от эпического героя древности, от монументальных и разносторонних характеров эпохи Возрождения к «частному», а затем и «отчужденному» индивиду эпохи заката буржуазной цивилизации. Оказалось, однако, что время эпического героя не только позади, но и впереди. Он вышел на историческую арену, принеся с собой новое мироощущение, свою особую систему идейных и нравственных ценностей. Таков Павел Власов из повести М. Горького «Мать» — первый герой социалистического искусства, изображенный в процессе борьбы за революционное преобразование мира. Таков Шахов из фильма Ф. Эрмлера «Великий гражданин» — человек величайшей целеустремленности и энергии, отдающий всего себя без остатка делу практического воплощения вековечных человеческих идеалов. Таковы герои картины Б. Иогансона «Допрос коммунистов», идущие на смерть во имя светлого будущего. Такова женщина-комиссар в пьесе В. Вишневского «Оптимистическая градегия»...

На мой взгляд повторение на высшей стадии известных черт, свойств, особенно

стей, характерных для низшей стадии, неходит проявление и в способе утверждения в искусстве эстетического идеала. «Для эпического обобщения,— говорится в одном из недавних исследований,— не характерны те сложные, диалектически-противоречивые способы утверждения идеала (через отрицание, «срывание всех и всяческих масок», через тонкий, исследовательски-кропотливый анализ духовной жизни героя и общества), к которому пришло искусство нового времени. В эпосе на первом плане — момент непосредственного и прямого утверждения»¹. Но именно этот «момент непосредственного и прямого утверждения» стал характерной особенностью советской художественной классики. Писатель видел прекрасное в распрямлении человека, в приобщении его к делам и событиям всемирного значения, в широких возможностях воздействия личности на окружающий мир — и утверждал это прекрасное всеми имевшимися в его распоряжении художественными средствами, в том числе и теми, которые как бы получили новую жизнь, заимствовались из творческого арсенала минувших эпох.

4

Социалистический реализм. Критический реализм. Модернизм...

Подчас в нашей критике слышатся сетования на то, что гигантское многообразие литературных явлений далеко не полностью укладывается в эти теоретические рубрики, что идейно-эстетическая карта литературы XX века на деле является значительно более многоцветной. Куда, например, отнести широкий поток зарубежной литературы, реалистической по своей образной системе, но узкой по охвату действительности, не поднимающейся до социальной критики? Не надо ли поискать для такой литературы особое теоретическое обозначение?

Наверное, надо. Наверное, движение нашей науки вперед связано и с дальнейшей отладкой ее теоретического инструментария, с выработкой такой системы понятий, которая точнее и полнее всего накладывалась бы на действительный — очень неровный, очень сложный — рельеф мировой литературы. И все-таки, на мой взгляд, при решении главных, стратегических проблем

¹ С. Батракова. О монументальном образе в советском искусстве. «Вопросы эстетики», № 7, 1965, стр. 204.

нашей науки нет нужды отказываться от наиболее масштабной «трехцветной» карты мирового художественного процесса. Она отражает тот реальный факт, что начиная с рубежа XIX и XX веков поток художественной культуры (если говорить, разумеется, о главных тенденциях) явственно разделился на три русла.

Одно из этих течений является прямым продолжением в современных условиях социального реализма Бальзака и Золя, Гоголя и Достоевского. Чрезвычайно изменилось содержание литературных произведений этого плана, порой совершенно несопоставима их форма, но сохраняется главное — контрастное соотношение эстетического идеала и реальности, обусловленность характера и поведения человека конкретными социально-историческими факторами. Социалистический реализм раскрывает диалектическое единство, взаимосвязь действительности и эстетического идеала в борьбе за коммунистическое преобразование общества, делает неизмеримо больший акцент на социально-исторической активности человека. Наконец, линия художественного декаданса связана с отрицанием, разложением традиционных гуманистических и эстетических идеалов, с отказом от всех принципиальных основ классического искусства.

Какими причинами, например, вызваны отмеченные выше различия героев в творчестве А. П. Чехова, М. Горького и Л. Андреева? Или поставим проблему шире: чем объяснить возникновение и устойчивое существование в мировой художественной культуре XX века этих трех расходящихся линий? Чаще всего мы ищем ответ на эти вопросы в разном мировоззрении, разном понимании художниками общественно-исторических процессов и отсюда — в обращении их к различным, подчас диаметрально противоположным, принципам художественного воссоздания действительности. Разумеется, это верный ответ. Не будем только забывать, что и само мировоззрение, мировосприятие художника обусловлено какими-то факторами общественной жизни, какими-то особенностями его формирования как человека и творческого деятеля, не будем забывать, что у всех художественных течений есть не только идейные, духовные, но и объективные социально-исторические корни. За тремя главными литературными направлениями, о которых идет речь, в конечном итоге стоят три типа отношений

человека из среды, три формации человеческой личности: «частный индивид», действующий в пределах ограниченных условий его жизни, «человек с идеалом», поднимающийся до сознательного исторического творчества, «отчужденный индивид» — человек без свойств, или, точнее говоря, со свойствами, целиком отштампованными на конвейере буржуазной пропаганды, рекламы, массовой культуры.

Горький назвал начинавшийся XX век «веком духовного обновления». Вспомним знаменитый горьковский рассказ о степном племени, загнанном врагами в леса и болота. Из «кольца крепкой тьмы» его вывел легендарный Данко. «Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец!» В очках Данко «светилось много силы и живого огня», он «был добр и ясен», и когда люди стали роптать, он поднялся над собой, как факел, свое сердце. «И вот вдруг лес расступился перед ним», люди «окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем...». Первыми днями нового века датирована горьковская «Песня о Буревестнике», который «гордо, смело и свободно» реет между молний, пророка свободу: «В гневе грома — чуткий демон — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!»

Та же бурная революционная эпоха рождала совсем другие образы и ассоциации у младшего современника Горького — Франца Кафки. «Если поглядеть на нас просто, жилищевски, — писал он в одной из своих миниатюр, — мы находимся в положении пассажира, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным. А вокруг себя, то ли от смятения чувств, то ли от их обострения, мы видим одних только чудищ да еще, в зависимости от настроения и от раны, захватывающую или утомительную калейдоскопическую игру... «Что мне делать?» или «Зачем мне это делать?» не спрашивают в этих местах».

Трудно представить себе что-либо более контрастное и несовместимое, чем эти два отношения к одному и тому же историческому моменту. Ощущение крушения, которое терпит человеческая цивилизация,

гнетущей толщи стен, окружающих человека со всех сторон,— и чувство простора, ослепительный «свет конца», свет выхода, хлынувший на человека после долгих скитаний. Затерянность художника в ледяном безмолвии мира, безысходность, сомнения, предваряющие каждое написанное слово,— и несокрушимая уверенность в начинающемся духовном обновлении человечества, прилив бодрости, заставляющий романиста говорить возвышенной ритмической прозой. Все, что мы знаем, условно говоря, о «линии Горького» и «линии Кафки» в искусстве XX века, позволяет утверждать, что перед нами здесь индивидуальное выражение двух устойчивых типов мироощущения художников, двух творческих программ, ведущих к совершенно различным художественным результатам.

Еще одно контрастное сопоставление — на этот раз произведений, относящихся к современной литературе. Поставим на минуту рядом роман Грэхема Грина «Комедианты» и пьесу Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо».

Герой Грина с подчеркнуто массовой фамилией Браун — человек без рода и племени, сумевший и родиться в космополитическом Монако,— живет на острове Гаити. Только что испытал на себе тяжесть кулаков тонтон-макутов папы Дока, он встречается со своей любовницей Мартой — дочерью немецкого военного преступника. Разговор идет о расстрелах, карательных мерах, предпринятых диктатором после налета на полицейский участок.

«—...Тебе лучше выждать, когда зрители разойдутся,— сказал я.

— Конечно. Только так это и касается нас с тобой. Мы ко всему этому не причастны.

— Да. Не очень-то хорошие получились бы повстанцы, что из тебя, что из меня...

— Мой отец вышел на улицу в 1930 году, но он стал военным преступником. Всякое действие опасно, правда?

— Да, мы усвоили это на их примере».

А вот мы оказываемся в атмосфере «абсурдистской» пьесы Беккета, где топчутся у одинокого дерева, тянут то и дело рвущуюся нить диалога Эстрагон и Владимир: «Владимир. Так что же нам делать?

Эстрагон. Давай ничего не будем делать. Оно спокойнее».

Хотя эти двое «не связаны» ни с кем и ни с чем и одержимы страхом ввязаться во

что-то, что их не касается, Эстрагона неизвестно за что избивают какие-то люди.

«Эстрагон. Я ничего такого не делал.

Владимир. Так почему же они тебя избивали?

Эстрагон. Не знаю...

Владимир. Очень может быть, что и так. Но есть, знаешь, манера держаться, вот эта манера держаться и есть главное, если хочешь уцелеть».

Подобие ситуаций еще рельефнее подчеркивает грань, отделяющую реализм и декадентство. То, что у Грина имеет точное временное и пространственное обозначение (сформированный окружением и обществом в целом Браун, Гаити, диктатор, тонтон-макуты), переведено Беккетом в план вневременной и всечеловеческий. Кто, где, когда — все это абсолютно несущественно для произведения, которое, как когда-то Л. Андреев в «Жизни человека», автор стремится обратить к неким абстрактным основам человеческого существования.

Конкретность изображения в реалистическом произведении — результат постоянного ощущения и писателя и читателя, что мир многообразен, что здесь он хуже, чем там, что вчера люди и обстоятельства были иными, так же как завтра зависит от направления сегодняшней человеческой активности.

«Я принимаю все, как оно есть. И так почти весь мир поступает,— говорит Браун.— Человеку надо жить». Пуще всего он сторонится определенности убеждений. «Ведь, по сути дела, всякое убеждение — это какие-то рамки, не так ли?» Однако герой-повествователь высвечен так, что возможность сдвигов в его внутреннем облике отнюдь не исключается автором.

«— Вот доктор Мажио — коммунист,— сказала она.

— Да, должно быть. Я ему завидую. Человеку повезло — у него есть убеждения».

И еще раз, в конце: «Я позавидовал его убежденности — убежденности и чистоте стремлений».

Конечно, повстанца из Брауна не вышло (да это и невозможно в изображенных обстоятельствах), но вся сумма его поведения далека от позиции «меня это не касается». «Я не терплю Конкассера и его тонтон-макутов. Я не терплю папу Дока...»

Поэтика авангардистского «театра абсурда» столь же закономерно вытекает из невозможности для автора какого-либо

инного состояния мира. Человек и мир таковы, каковы они есть, они равны самим себе — и абсурдна мысль об оценке изображаемого, о какой-либо дистанции между автором и его героями, о месте и времени действия, о самом действии как изменении, преобразовании, психологическом и социальном развитии от чего-то к чему-то. Предметы и явления, лишённые внутреннего движения, естественно, изолируются друг от друга. Они и не могут иметь между собой закономерных внутренних связей, не могут быть более или менее важными.

В пьесе Беккета мы попадаем в мир, где нет ничего сколько-нибудь определенного, несомненного. Придет ли Годо и у этого ли дерева они его ждут, тот или этот день или другой, заходит или восходит солнце, видели ли они раньше Поццо, был ли вчера мальчик — посланец Годо или мальчика не было, и вчера ли они его встретили — все это неважно, потому что «время остановилось», потому что «ничего не происходит». «Ни в чем нельзя быть уверенным, — констатируют персонажи пьесы. — Ни за что нельзя поручиться...»

В начале второго действия более человекообразный Владимир пытается доказать непрерывно впадающему в протрацию Эстрагону, что они оказались на том же месте, что накануне.

«В л а д и м и р. Ты что, не узнаешь?

Э с т р а г о н (*внезапно разъярясь*). Узнаешь? Что тут узнавать? Вся жизнь я барахтался в грязи! И ты хочешь, чтобы я в ней различал какие-то пейзажи...

В л а д и м и р. А где же мы, по-твоему, были вчера вечером?

Э с т р а г о н. Не знаю. Где-то еще. В другом загоне. Пустоты хватает».

Такую же реакцию вызывает у другого персонажа в конце пьесы вопрос о времени:

«Поццо (*внезапно впадая в ярость*). Вы когда-нибудь перестанете донимать меня этими вашими приставаниями со временем? Это же бессмысленно! Когда! Когда! В какой-то день — вам этого мало? — в какой-то день, такой же, как все другие, у него отнялся язык, в какой-то день я ослеп, в какой-то день мы оглохнем... Вот так рожают, распластанные на могиле, блеснет день на мгновение, и снова ночь...»

Декадентское искусство верно своим исходным посылкам: с самого своего возникновения и до сегодняшнего дня оно передает ощущение бессмысленности челове-

ского бытия, пустого, остановившегося, неизменного пространства и времени. «Рожают и умирают... И вновь рожают», — возглашали старухи в пьесе Л. Андреева. «Придерживайся того с е й ч а с, того здесь, сквозь которое все грядущее проваливается в прошедшее», — заявлял в «Улиссе» Джойса Стефен Дедалус.

Модернизм, как уже сказано, находит себе опору в известных гранях, явлениях, сторонах объективной реальности. XX век показал, как податлива, беззащитна перед воздействиями внешнего мира так называемая человеческая природа, как легко удаётся сотворить из индивида послушный винтик военного или бюрократического механизма, частицу одержимой шовинистическим угаром массы. Этот век открыл, какую грозную опасность для самого физического существования человечества несет в себе неконтролируемый научно-технический прогресс, к каким непредвиденным последствиям может вести сам извечный творческий поиск. Минувшие десятилетия заставили понять, до какой чудовищной степени способен дойти процесс отчуждения — вплоть до полной замены «естественного» внутреннего мира индивидуума искусственным, вплоть до воспроизводства человека лишь в качестве потребителя, в качестве звена непрерывного кругооборота материальных ресурсов.

Обширная зона отчуждения, словно мощная магнитная аномалия, вызвала в искусстве многообразные и глубокие смещения. Стрелка художественного компаса, всегда имевшая свой «север» и «юг», при всех переменных обстоятельств упорно державшая курс на человека-творца, вдруг потеряла ориентацию. Эстетический идеал — фикция, если человек безнадежно потерян в самом себе, если мир таков, каков есть, каким был и будет всегда. Характер — нелепость, поскольку новый человек XX века — человек отчужденный — ничем не отличается от себе подобных. Сюжет — пережиток седой древности, ибо абсурдно говорить о «развитии действия» там, где ничего не происходит. Вопросы о месте и времени — явное недоразумение, потому что для существования современного человека какую-то реальность сохраняют только «здесь» и «сейчас»...

Сложность заключается в том, что за вычетом всяческого шарлатанства и крайних форм саморазрушения декадентское искус-

ство все-таки остается искусством. Но это искусство особого рода — его эмоциональное воздействие, по справедливому суждению Ю. Давыдова¹, связано с происходящим на глазах у публики разложением, разрушением, отрицанием традиционного эстетического идеала. Это искусство опирается на свой, нереалистический тип художественного обобщения: функции всеобщего здесь приобретает любой осколок действительности, прямыми выразителями обших концепций становятся формальная конструкция, тот или иной художественный прием.

Однако различия между реалистическим и декадентским искусством выходят за пределы эстетики. Они связаны с тем объективным социальным смыслом, который несут художественные произведения, с тем очевидным фактом, что направление декадентского искусства стимулируется и закрепляется в буржуазном обществе интересами господствующего класса.

Вернемся к произведениям Грина и Беккета. Вспомним примечательную деталь из разговора Марты с Брауном в романе Грина.

«— В каком мрачном мире ты живешь. Мне жаль тебя. Не меньше, чем моего отца.

Я долго лежал в постели и думал, что у меня может быть общего с военным преступником, на совести у которого столько безвинных жертв».

А общее между невмешательством и преступлением есть. Неверно, что «всякое действие опасно»: социально опасным оказывается именно бездействие, равнозначное капитуляции перед враждебными человеку обстоятельствами. «Наш удел — безверие: мы восхищаемся Мажио и Смитами — теми, кто отдает себя служению делу, восхищаемся их мужеством, их цельностью, преданностью идее, но кого, как не нас, робких, не знающих душевного жара, — вербует мир насилия и добра, мир глупых и мудрых, равнодушных и заблуждающихся. Мы, завербованные, ничего не выбираем, мы только живем, «круговорот с Землей свершая, как дерево, и камень, и скала».

Далекая от утверждения социалистических идеалов, книга Грина тем не менее принадлежит к сегодняшней мировой лите-

ратуре Сопротивления. Сопротивления произволу гаятянских и прочих тонто-макутов. Сопротивления отчуждению человека, превращению его в условиях буржуазного общества в существо, жизнь которого лишается смысла.

Пьеса Беккета, в которой с первой же реплики начинает звучать обреченное «ничего не поделаешь», представляет для человека социалистического мира познавательный интерес как симптом болезни, как фиксация ее примет с точки зрения самого больного. Но это литература поражения, литература человека творимого. Если мы признаем, что человек последней трети XX века стоит перед возможностью либо выйти на безбрежный простор своего развития, преодолев грозящие ему опасности и трудности, либо оставить после себя испепеленную планету, о художественном декадансе можно сказать, что это искусство апокалипсиса, искусство второго варианта истории.

Понять что-либо — не значит принять. Понимание внутренней логики художественного «авангарда», его реальной социально-исторической основы не противоречит убеждению, что этот путь художественной теории и практики является ложным. Действительность XX века дает неизмеримо большие основания для иного толкования сути происходящего. Глубочайшую опору имеет в ней искусство другого «нового человека» нашей эпохи — искусство человека творящего.

XX век продемонстрировал не только новые стороны процесса отчуждения, слабости человека, обилие подстерегающих его опасностей. Великой правдой этого века является прежде всего то, что он привел в движение самые «неподвижные» континенты, поколебал «незыблемые» общественные устои, поистине стал веком духовного обновления. Он показал, как велика сила сопротивления человека неблагоприятным обстоятельствам, какие неизмеримые созидательные возможности таятся в одухотворенной высокими идеалами народной массе. Каждое из событий XX века в отдельности может показаться случайностью, результатом стечения каких-то обстоятельств. Взятые вместе, эти события показывают, как через все приливы и отливы социального движения — войны, революции, дерзкие порывы в будущее, временные поражения, эксперименты, трагические ошиб-

¹ Ю. Давыдов. Эстетический идеал и коммунизм. «Вопросы эстетики», вып. 7-й. «Искусство». М. 1965, стр. 108.

ки — пробивают себе дорогу потребности переустройства общества на новых началах. Это в конечном счете поиски таких форм человеческого общежития, которые призваны обеспечить беспрепятственное развитие и безопасность населения Земли в условиях раскованной атомной энергии и открытого космоса.

В итоговом исследовании литературы XX века, вероятно, главная линия размежевания определится в прямом соответствии с той дилеммой, перед которой оказалось в этом столетии человеческое общество. Но из этого совсем не следует вывод о простоте и ясности альтернативы, возникавшей и возникающей в каждый данный момент перед художниками. Даже те писатели капиталистического мира, для которых этот выбор в общем и целом не подлежит сомнению, не могут уйти от мучительных вопросов о своем месте в решении судеб человечества, о действительности своих творческих усилий. Что может литература в мире, где зло имеет на своем вооружении самые современные орудия принуждения? Слышен ли кому-нибудь голос романиста или поэта за неумолчным шумом пропагандистской машины империализма, грохотом бомб на вьетнамской земле, стуком телетайпов на фондовых биржах? Не является ли стремление писателей вновь и вновь напоминать миру о высоких гуманистических ценностях одним из образчиков сизифова труда?

«Романист перестает писать романы по той же причине, по какой драматурги перестают писать пьесы. Зависимость от выгоды издания не позволяет им создавать книги, какие им хотелось бы,—пишет американский литератор Герберт Кабли.— Судьбы книг решают не редакторы, а бизнесмены... В продажу пушены авторы, а не книги; «стоимость» того или иного автора на рынке определяется не качеством его книги, а экзотическими подробностями его биографии, его успехом на телевидении, его положением в обществе или какими-либо отклонениями от общепринятой морали». «Наше положение таково,—признает Г. Бель,— что нами манипулируют, нас принуждают к буржуазности, поскольку писатели в нашей стране ведут буржуазное существование». Тем же самым словом характеризует воздействие на человека буржуазного общества Ганс Энценсбергер. «Империализм вырабатывает такое мощное оружие для индустриального манипулирования созна-

нием, что не зависит больше от литературы,—пишет он.—Сегодня политическая безвредность всей литературы и даже всей художественной продукции вообще видна невооруженным глазом». По мнению индийского литератора Шравана Кумара, на долю писателя в буржуазном обществе остается роль трагедийного актера: он может изобразить страдание, но не в силах сделать ничего, чтобы изменить положение дел. О разрушительном воздействии на талант мира капитала говорит и молодая индийская писательница Нирмала Джейн. «Писатель, вступающий в литературу как сердитый молодой человек, готовый бороться против существующего порядка вещей, медленно и незаметно засасывается огромной голодной общественной машиной. Если же его воля к сопротивлению невелика, то самое общество, против которого он восстает, покупает его. В любом случае писатель становится частью статус-кво».

В самом по себе факте зависимости большинства художников от господствующих буржуазных отношений нет ничего нового. Вспомним ленинское саркастическое: «Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии?.. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания»¹. Ново другое — все большее понимание своего действительного положения даже теми художниками, которые не могут выйти за пределы буржуазного сознания, стать на последовательно марксистские позиции. И это открытие нередко ведет их от былой иллюзии «абсолютной свободы» творчества к представлениям об «абсолютной зависимости» писателя, к отрицанию каких-либо возможностей искусства вообще, к заявлениям и действиям самого крайнего, «левацкого» толка.

Интересны мысли на этот счет того же Энциенсбергера, способного подчас, несмотря на чрезвычайную противоречивость своих собственных общественно-политических позиций, давать яркие оценки метаниям буржуазной интеллигенции. По его словам, в начале нашего века еще была возмож-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 103—104.

ность эпатировать публику всякого рода новациями в языке, синтаксисе, метафоре, считать революцией «революцию» в области эстетических структур. «...В попытке сюрреалистов превратить мышеловку, в которой они оказались, в свою крепость, есть какое-то героическое упорство». Иное дело сейчас. Современные последователи сюрреализма могут сколько угодно кричать о «бунте» внутри искусства — «подобные призывы встречают благожелательное понимание правящих институтов и соответственно вознаграждаются». Элитарное искусство, создаваемое немногими для немногих, вступает поэтому в новый цикл своего кризиса — в лихорадочное оживление на собственных похоронах.

Очень точно, на мой взгляд, раскрывает социальную природу отчаяния многих представителей интеллигенции критик Эрнст Виммер в австрийской коммунистической газете «Фольксштимме». Слом лживого общества, пишет он, предполагает координированную борьбу на многих фронтах, требует выдержки и терпения. И если дело где-то не движется, возникает искушение испробовать крайние меры. Отсюда так называемая «революция» против литературы.

Теоретической базой этой «революции» в известной мере являются ловкие софизмы небезызвестного Герберта Маркузе. Первый из них: искусство никогда не сможет стать политическим, не уничтожив при этом самого себя. Второй: раз искусство приносит человеку какое-то удовлетворение, значит, это успокаивающее и одурманивающее средство, эстетическое примирение непримиримого, значит, по самой своей природе оно может быть только утверждающим, только поддакивающим существующему. Софизм третий: культура — это единственная область, где господство капитализма неустранимо. Литература, буржуазная от начала до конца, никак не может быть могильщиком капитализма. Следовательно, долой литературу!

«В пылу фантазии,— пишет Э. Виммер,— легко ликвидировать литературу и искусство. Так же просто и безболезненно, как и капитализм, на утопической ликвидации которого уже давно специализируется великое множество фантастов... В самом деле, нетрудно усомниться в возможностях литературы, если потребовать от нее невозможного — не только изменений в сознании людей, но и немедленного радикального из-

менения базиса... Из того факта, что никакая литература никогда не сможет заменить собой действий,— на почве подобных теорий — рождается иллюзорный вывод: попытаться покончить с литературой. Так искусство, отрицаемое как суррогат удовлетворения, становится — к великой радости противников — суррогатом цели атаки».

Мелкобуржуазная психология значительной части творческой интеллигенции капиталистических стран верна своим известным особенностям: одна крайность сменяется другой, вместо старых иллюзий рождаются новые, отчаяние, вызванное нетерпеливым стремлением увидеть труднейшие исторические проблемы осуществленными немедленно и полностью, мешает отличить действительного противника от ловко подsunутого тряпичного чучела.

Неумение многих писателей найти точки опоры для своего участия в борьбе против старого мира не в последнюю очередь объясняется боязнью идеологии. С одной стороны, это давняя традиция «беспартийности» художественного творчества, культивируемая буржуазным обществом, с другой — своего рода инстинкт самосохранения, возникающий у писателей в условиях все более сильного давления на них со стороны официальных идеологических институтов. Беда лишь в том, что вместе с заведомо испорченными компасами писатели отбрасывают прочь идеологические навигационные инструменты вообще: им кажется, что для творческого постижения жизни вполне достаточно их собственных наблюдений, их художнического чутья.

Американский публицист Джозеф Норт вспоминает примечательный разговор с Эрнестом Хемингуэем о Марксе. «Нет, я не хочу читать Мавра,— говорил Хемингуэй,— он только испортит мой стиль. Оглянуться не успеешь, как я начну употреблять такие слова, как прибавочная стоимость, абсолютное и относительное обнищание пролетариата, отчуждение, диктатура пролетариата...» Конечно, речь шла не просто о «стиле». Хемингуэй опасался, что марксизм нарушит непосредственность его восприятия действительности, что между ним и окружающей жизнью возникнет искажающая линза «идеологии».

Такую же попытку добраться до смысла и значения американской жизни только с помощью средств искусства предпринял Джон

Стейнбек, пишет другой известный критик—марксист Филип Боноски. Он с презрением относился к научной социальной теории, которая якобы всегда фальшива, всегда пытается втиснуть живую и изменяющуюся действительность в рамки предвзятой схемы, он хотел встречать жизнь лицом к лицу, руководствоваться в определении того, что «хорошо» и что «плохо», лишь своими «ощущениями». И он потерпел на этом пути сокрушительное поражение.

По словам Боноски, писательская «просто́та» восприятия могла еще кое-как служить в былые времена, когда считалось, что над Америкой сияет «солнце демократического идеала» и речь идет только о противоречии между идеалом и действительностью. Но что-то с тех пор изменилось. Ту истину, что главным противоречием является противоречие между американским империализмом и народами всего мира, в том числе и собственным израненным народом, нельзя было постигнуть с помощью одного «инстинкта». Трагедия Стейнбека — доказательство того, что идеологической «невинности» в Америке приходит конец. «И вместе с ней должны исчезнуть из нашей среды простак, которым, невзирая на отсутствие научных знаний, удавалось сохранить простой и чистый взгляд на жизнь и пытаться правдиво изображать ее. Отныне американским художникам, равно как и художникам ранее сформировавшимся империалистических стран, придется лицом к лицу столкнуться с непреложной истиной — они живут в империалистической стране, и сам по себе этот факт порождает коррупцию. Чтобы спасти самое себя — это

и есть новая истина,— искусство вынуждено будет бороться за свое существование с самым могущественным из всех существующих врагов».

Мы далеко ушли от рубежа двух веков, от «Мещан» Горького, знаменовавших собой качественный шаг вперед в развитии передового демократического искусства, знаменовавших рождение нового героя — «человека с идеалом». Но совершенно очевидно, что значение идейно-творческих принципов, лежащих в основе литературы социалистического реализма, открывается во всем его объеме именно здесь. На широком просторе мирового художественного развития. Горьковский Нил с его задорным «Наша возьмет!», вышедший на сцену семь десятилетий назад, оказался, как мы видели, лицом к лицу далеко не только с арзамасским мещанином Василием Васильевичем Бессеменовым. Ему противостояла система человеческих отношений, которая складывалась и затвердевала веками, его охватывала жесткая среда, превращавшая личность в свою безгласную функцию. И эта «разнузданная, грубая сила», которая, по словам Нила, «жмет и давит человека», в его лице натолкнулась на сопротивление, по меньшей мере равное ее давлению.

Появление в нашем столетии, начиная буквально с его порога, нового, социалистического искусства, нового героя — это огромный шаг вперед на пути встречного движения искусства к народу и народа к искусству, это глубокое внутреннее обновление художественной культуры, нашедшей себе опору в социальном переустройстве старого мира.



И. ПИТЛЯР

★

«ТЫ — РЕПОРТЕР ЖИЗНИ...»

(К 100-летию со дня рождения А. И. Куприна)

Более полувека отделяет нас от того времени, когда Александр Иванович Куприн находился в зените своей славы, когда не было в России, наверное, ни одного читателя, которому было бы неизвестно это имя. Прошли годы (и какие годы!), а любовь и интерес к его творчеству не уменьшаются, а, наоборот, кажется, приобретают все более широкие размеры.

Одно за другим выходят многотомные и многотиражные собрания его сочинений (в 1957—1958 годах, в 1964 году, сейчас подготовлено новое собрание сочинений). Постоянно выпускаются отдельные его книги и сборники; на экран выходят фильмы, поставленные по его произведениям. Ему посвящаются монографии, диссертации, воспоминания. Десятки исследователей серьезно занимаются его творчеством, разыскивают и публикуют его ранние литературные опыты, похороненные в старых провинциальных газетах.

Недавно в Минске вышла большая книга «А. И. Куприн о литературе» (издательство БГУ имени В. И. Ленина, 1969), любовно и тщательно составленная неутомимым исследователем и «собирателем» Куприна Ф. И. Кулешовым.

Почему это так? Почему, в самом деле, литературная слава приходит и уходит, литературная мода сменяет одна другую, а негромкий, в сущности, голос Куприна звучит сейчас по-прежнему отчетливо и живо?

Попробуем разобраться в этих вопросах. Материалы, включенные в сборник «А. И. Куприн о литературе», носят во многом «исповедальный» характер, то есть раскрывают осмысление писателем его собственного литературного опыта. Они помо-

гают глубже постичь творческий облик Куприна и, следовательно, «секрет» его писательского долголетия.

Современная Куприну критика трактовала его обычно как писателя социально индифферентного, человека «без мировоззрения», чуждого общественной и политической борьбы. В свое время к этому мнению был близок даже В. Воровский, считавший Куприна в отличие от М. Горького писателем глубоко аполитичным.

Куприн «один в нашей жизни,— писал он в 1910 году.— Один, как бывает одиноким холостяк, утративший способность любить... И превыше всей этой борьбы, раздирающей народы и классы, он готов поставить единое вечное — женскую любовь»

С этим утверждением сейчас очень трудно согласиться.

Да, Куприн никогда не был революционером. Да, он никогда не обладал сколько-нибудь законченной системой философских, эстетических и политических воззрений. Да, он часто был неустойчив и непоследователен в своих общественных симпатиях. Да, он, автор «Олеси», «Суламифи», «Гранатового браслета», действительно восславил «единое вечное — женскую любовь». Но он не был один в пору своего расцвета. И потому, что выступал он тогда в дружных рядах писателей — демократов и реалистов, объединенных Горьким вокруг его «Знания», то есть в самом передовом отряде русской литературы своего времени. И потому еще, что, кроме «единой и вечной женской любви», Куприн прославил в своих книгах другую любовь — любовь к страдающему и униженному чело-

веку, к представителю той самой эксплуатируемой массы, которая в конечном счете была призвана покончить с вековым угнетением.

Нет, не был одинок автор «Молоха», «Поединка», «Гамбринуса» — писатель, умевший столь остро и болезненно отзываться на зло и неправду жизни, умевший столь истошно разоблачать «буржуазность» и пошлость.

В книге «А. И. Куприн о литературе» собраны материалы, имеющие касательство, казалось бы, лишь к литературным, чисто эстетическим вопросам: статьи Куприна о литературе и его воспоминания о писателях, рецензии и библиографические заметки; письма к Н. К. Михайловскому (полностью они публикуются здесь впервые), А. П. Чехову, А. М. Горькому (здесь знаменитое признание Куприна по поводу «Поединка»: «Теперь, наконец, когда все уже кончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это»), И. Е. Репину и многим другим; отрывки из интервью, бесед и лекций Куприна; и, наконец, — несколько неожиданные, но вполне уместные здесь — отрывки из произведений писателя, также имеющие прямое отношение к литературе и искусству. Как видим, книга разнообразна и широка по своему составу, но в то же время она производит отчетливое впечатление цельности и законченности. Дело, наверное, в том, что между Куприным-художником и Куприным-мыслителем никогда не было различия. Да и был ли он вообще мыслителем? Все, что он писал — и свои книги, и статьи, и письма, — он писал предельно просто, без тени «учительства», во всем обнаруживая те качества истинного галанта, о которых он сам говорил в статье «Памяти А. И. Богдановича»: «яркость и сочность красок, здоровую и простую художественность, силу изображения и меткость взгляда...»

В оценке своих писательских достижений Куприн был неизменно трезв и скромно. «Про себя же я всегда говорил и думал, что моя работа — второй сорт», — с горечью писал он в статье «Чтение мыслей» (1916) в ответ на оскорбительное высказывание Н. Лернера о том, будто Куприн претендует на звание «наследника» Пушкина и на право носить его «железное кольцо». Тем не менее он всегда резко противопоставлял себя декадентам — всем гем, которые «пишут,

не задумываясь над тем, для чего они пишут», и всегда с гордостью причислял себя к художникам, «приобщенным к идеалам всей русской литературы».

Этими идеалами для него были бескомпромиссная правдивость в изображении жизни и наличие в произведении цели, то есть глубокой и нужной людям мысли о жизни.

Себя же, верного ученика корифеев русского реалистического искусства, он скромно именовал «репортером жизни»...

В 1905 году, в пору расцвета его творчества и его славы, он поделился с одним начинающим беллетристом «Десятью заповедями» писателя-реалиста (они полностью приведены в книге «А. И. Куприн о литературе»). Вот некоторые отрывки:

«Если хочешь что-нибудь изобразить... сначала представь себе это совершенно ясно: запах, вкус, положение фигуры, выражение лица... Дай сочное восприятие виденного тобою, а если не умеешь видеть сам, отложи перо.

...Не бойся себя настоящего, будь искренен, ничего не выдумывай, а подавай, как слышишь и видишь...

Когда пишешь, не щади ни себя (пусть думают, что про себя пишешь), ни читателя. Но не смотри на него сверху, а дай понять, что ты и сам есть или был такой.

...Знай, что, собственно, хочешь сказать, что любишь, а что ненавидишь... Пиши так, чтобы было видно, что ты знаешь свой предмет основательно... Ходи и смотри, вживайся, слушай, сам прими участие. Из головы никогда не пиши.

...А главное, работай живя. Ты — репортер жизни. Иди в похоронное бюро, поступи факельщиком, переживи с рыбаками шторм на оторвавшейся льдине, суйся решительно всюду, броди, побывай рыбой, женщиной, роди, если можешь, влезь в самую гущу жизни...»

Так он сам и поступал всегда. Он переменял за свою жизнь десятки профессий: был актером, борцом в цирке, землемером, псаломщиком, управляющим имением, учился зубоврачебному делу, служил на металлургическом заводе, спускался в шахту, ходил в море с балаклавскими рыбаками, охотился с полесскими крестьянами, разводил табак, поднимался в небо на воздушном шаре и погружался на дно моря в костюме водолаза. Его жадность к жизни была невероятной, сверхмерной. И это была писательская, творческая жадность — неустанная по-

гоня за знаниями, впечатлениями, правдой и достоверностью.

Куприн был, пожалуй, одним из самых автобиографических русских писателей. Материалом для творчества ему всегда служило пережитое, узнанное, прочувствованное и продуманное им самим, взятое, так сказать, из первых рук, из своего личного опыта. И «география» его произведений всегда повторяла поэтому «географию» его собственной жизни. Она была тоже достаточно широка: Москва, Малороссия, Киев, юг России, Полесье, Одесса, Крым, снова Москва, Петербург, средняя полоса России, потом заграница... И никогда — те места, в которых ему не приходилось бывать самому.

Поэтому, наверное, все, что Куприн брался живописать, будь то природа, быт, человек определенной профессии, живущий в определенной местности, было всегда на удивление конкретным, точно схваченным острым взглядом художника — трезвого реалиста и знатока жизни.

И главный герой писателя — это тоже почти всегда он сам: «средний» русский интеллигент, человек мягкий, душевный, влюбленный в жизнь, страдающий всему живому, полный сочувствия к угнетенным и великой нелюбви к «сытым» — хозяевам и угнетателям.

Вспомните героев «Молоха», «Олеси», «Кори», «Поединка», многих и многих других «срединных» героев Куприна — и вы убедитесь, что все это один и тот же человеческий тип, предельно близкий душевному складу самого писателя и во многом повторяющий его собственную судьбу.

Когда же Куприн — не в больших своих вещах, а чаще всего в новеллах — стремился к полной объективности и беспристрастности и с этой целью устранял себя в качестве прямого объекта изображения, и тогда мы все равно постоянно слышим его лирический голос, как будто бы это его Бобров или Ромашов, Платонов или Турченко рассказывают нам и об атлете Арбузове, и о конокраде Бузыге, и об актере контрабандисте Цирельмане, и о благостном доносчике Наседкине.

Великолепно умевший слышать и передавать чужую речь, «живописать образ речью самого говорящего» («Пятая заповедь»), Куприн был неизменно лиричен в своей собственной авторской речи, вел свою «партию» как бы от имени и по поручению того же Боброва или Ромашова, а в конечном счете от имени того среднеинтел-

лигентного, гуманного и чуткого человека, каким был и он сам, и наиболее близкие ему герои его произведений. Речь рассказчика у Куприна (а он сравнительно редко писал непосредственно «от первого лица») — это тоже среднелитературная речь интеллигентного человека, не лишенная подчас и расхожих формул и штампов, присущих речи именно этого круга людей. Этой, быть может, неосознанной авторской установкой на типичность, «усредненность» речи героя-рассказчика и объясняется тот ощутимый налет банальности, который был присущ речи лирического героя Куприна (это его свойство хорошо улавливал, например, Бунин, особенно у раннего Куприна).

«Репортер жизни» — и прежде всего своей собственной жизни — Куприн в отличие от иных газетных репортеров обычно не гнался за сенсационными, исключительными, из ряда вон выходящими событиями. Сюжеты его произведений «скромны», просты, чаще всего печальны и редко выходят за рамки часто встречающихся, широко распространенных фактов.

И среда, которую он живописал, почти всегда самая демократическая: солдатская масса, рядовое захолустное офицерство, городской обыватель, крестьяне, «служивый» интеллигент — инженер, врач, учитель, студент, землемер, газетчик... Рассказы «из светской жизни», которую он почти не знал, мало удавались ему.

Как немногие из его литературных современников, Куприн умел и любил показывать «человека массы», человека толпы, умел улавливать особые психологические и бытовые черты, накладываемые на людей их профессией, их делом, их средой.

В предисловии к книге «А. И. Куприн о литературе» Ф. И. Кулешов приводит удивительные по своей точности слова Романа Роллана, писавшего Куприну уже в тридцатые годы: «Я люблю разнообразие Вашего дарования и широкой человечностью. Главное, Вы обладаете редким и характерным дарованием делать живыми «людей коллектива».

Эту особенность отмечала и современная Куприну критика.

«Всякий средний человек — всегда представитель какой-нибудь профессии, и он всегда поглощен ею, — писал, например, в 1903 году Евг. Аничков в журнале «Научное обозрение» — Ведь именно в этих-то профессиях и надрывается и стонет совре-

менная жизнь человека, в них-то и проявляются люди. За этими профессиями, вносимыми в статистические графы, и притаилась серая, повседневная жизнь человечества...

Каждодневны и обыденны и несчастья всех этих маленьких людей, которые так настойчиво врезаются в наше сознание. Это — не исключительные страдания, не особое своеобразное горе. Напротив, это — не более как проявление обычной жизненной тяготы... Всюду человечество томится и страдает самым простым, самым обыденным горем. Ведь все перечисленные мною сюжеты рассказов и очерков — это ведь все самые заурядные «несчастные случаи». И большинство из них даже не занесли бы в соответствующую графу газеты, потому что уж слишком все-таки обыденно и не интересно...»

При том, однако, что Куприн действительно живописал чаще всего «маленького», «среднего» человека и его будничную «неинтересную» жизнь, недостойную даже быть занесенной в «соответствующую графу газеты», тянуло его постоянно к людям сильным, ярким и героическим. «Меня влечет к героическим сюжетам, — признавался он в 1913 году. — Нужно писать не о том, как люди обнищали духом и оползли, а о торжестве человека, о силе и власти его». И пускай Куприну это удавалось редко и то лишь применительно к людям экзотических и опасных профессий (конокрад, контрабандист, вор или же — рыбак, летчик, цирковой артист) — мечта о сильном, здоровом и полнокровном человеке всегда присутствовала в его произведениях, оттеняя и подчеркивая убогость и серость повседневности. Именно поэтому, наверное, Куприн так любил и умел писать о детях, или же о людях, живущих слитно с природой, или же о тех немногих, которые умели так сильно, горячо и самоотверженно любить...

Куприн был неистощимо разнообразен в своей страсти собирателя, исследователя и даже «классификатора» и коллекционера различных жизненных типов. Порою он прямо ставил перед собой задачу создания профессионального, коллективного портрета, когда социальное положение, профессия человека и местные условия определяют все — и черты характера, и стиль поведения, и строй речи, и наружность. Не индивидуально, частное интересует в данном случае писателя, а именно общее многим людям одной профессии и образа жизни.

Это началось у Куприна очень рано. Осенью 1895 года он поместил в газете «Киевское слово» ряд очерков под общим названием «Киевские типы». Потом эта группа произведений выходила отдельными изданиями, включалась писателем во все собрания его сочинений и вообще сыграла немалую роль во всем его дальнейшем творчестве.

Профессия газетного репортера, очеркиста сталкивала Куприна в первые годы его жизни в Киеве с различными слоями общества, и главным образом не высшими, а именно низшими его слоями — с пестрой средой городского мещанства, с представителями различных и часто весьма экзотических профессий, с тружениками и паразитами этого общества. Он прекрасно изучил город с этой именно стороны; он знал наперечет его героев и любимцев, знал всех киевских знаменитостей, причем не столько знаменитого актера или ученого, сколько знаменитого пожарного (Пророков), знаменитого лихача (Карл или Ачкас), знаменитого бильярдного маркера (Яков), знаменитого днепровского морехода, то есть капитана речного судна (Сурков, Фельдман), и т. п.

Знал он прекрасно и те особые места, где собирались его «киевские типы», но прежде и более всего его интересовала их речь: воровской жаргон, да не вообще, а специально киевский, формулы, в которых киевские «стрелки» (попрошайки) выражают свои просьбы о вспомоществовании, язык богомолки-ханжущи, базарный язык любимых словечки «студента-белоподкладочника», специфический, слащавый язык детского врача («Ну, что? Мы захворали немножко? Посмотрим, сейчас посмотрим. Ну-с, покажите наш язычок. Язычок нехорош. Желудочек-то у нас, должно быть, не в порядке? А мы его возьмем да и очистим, этот самый желудочек, чтобы он не шалил...») и т. п.

Однако ни в ту пору, ни в особенности впоследствии Куприн, как «репортер жизни», не стремился к созданию «моментальных фотографий» с натуры. Он собирал не фотографии, а именно жизненные типы. Об этом он уже тогда специально сказал в маленьком предисловии к газетной публикации «Киевских типов»:

«Под этим общим заглавием я думаю дать читателям несколько очерков, изображающих собирательные черты тех групп индивидуумов, на которые известная профессия и местные ус-

ловия имели то или иное влияние. Считаю своим долгом предупредить, что в предлагаемых очерках читатель не найдет ни одной фотографии, несмотря на то, что каждая черта тщательно срисована с натуры» (выделено А. И. Куприным.— *И. П.*).

Надо сказать, что очеркизм, стремление к документально-точному, конкретному, прикреплению к определенному месту и времени описанию, всегда были в большой степени свойственны Куприну. Так, на основе его донбасских очерков («Юзовский завод», «Рельсопрокатный завод») возникли описания завода-гиганта в «Молохе». И потом Куприн — корреспондент различных газет и репортер живой жизни — неоднократно обращался к жанру очерка (и обильно вводил чисто очерковый материал в свои новеллы и повести). Достаточно вспомнить здесь такие его прекрасные очерки, как «События в Севастополе», «Листригоны», «Лазурные берега», «Немножко Финляндии», «Париж домашний» и другие. Написанные по свежим следам событий, путешествий и встреч, они всегда были у Куприна необычайно живыми, красочными, достоверными, темпераментными, начисто лишенными «туристской» перечислительности и вялой описательности «со стороны». И лишь много позднее, вдали от родины, которая одна и безраздельно питала собой творческое воображение писателя, Куприн начал «переписывать» себя, писать по дальним уже воспоминаниям, утеравшим цвета и запахи жизни. Тогда у него возникали перепевы старых легенд или же такие полудокури-полурассказы, как «Царский писарь» и «Однорукий комендант», или же серия элегических очерков-воспоминаний, из которых сложилась его поздняя автобиографическая повесть «Юнкера»...

Правда, и здесь, на склоне лет, Куприну не изменяет его живой репортерский дар. Но только тогда, когда он пишет о реально увиденном, сегодняшнем. Таковы его замечательные очерки «Юг благословенный» и «Париж домашний» или же последняя повесть — «Жанетта», рассказывающая о нежной дружбе старого петербургского профессора Симонова и маленькой парижской девочки Жанетты, «принцессы четырех улиц». Последняя вещь, кстати, представляется нам куда более автобиографической и «личной», чем те же «Юнкера». Такова уж была для Куприна сила прямого, живого, «здешнего» впечатления...

Вернемся, однако, к Куприну молодому, цветущему, полному творческих сил и замыслов.

Как уже говорилось, в лучших его вещах каждая черта тщательно срисована с натуры, но в целом — неперменная типизация, обобщение определенного жизненного явления.

Вряд ли, однако, эта высшая задача всякого художника была бы по плечу Куприну — «репортеру жизни», если бы не обладал он при этом недюжинным общественным темпераментом, то есть умением «оперативно», своевременно откликаться на злобу дня, чутко улавливать сегодняшние жизненные беды и противоречия и, в лучших традициях передовой русской литературы, непосредственно вмешиваться в самые острые битвы современности.

В самом деле, вот ранний его «Молох» (1898) — печальная повесть о трагическом столкновении доброго, умного, интеллигентного человека с безжалостным чудовищем, заводом-молохом, воплотившим в себе все самые уродливые и грозные черты буржуазного «прогресса»...

Вот знаменитый «Поединок» (1905). Кажалось бы, тема его локальна: будни царской армии, ужасающие тупость, скука и бессмысленность существования офицерской массы. И на этом фоне — снова трагедия «маленького человека», его безнадежный поединок с косной и невежественной средой. Но как громко, как «набатно» прозвучал этот роман-инвектива в свое время — в годы, наступившие после поражения русской армии на полях Маньчжурии, накануне революционного взрыва 1905—1907 годов!

Или даже «Яма» (1909—1915), которую Куприн писал так мучительно долго и по поводу которой ему довелось выслушать столько упреков — в натурализме, в том, что он «любит копаться в грязи» и т. п. Между тем когда появилась первая часть повести, писатель почти дословно повторил в беседе с корреспондентом газеты «Киевское слово» то, что он когда-то писал по поводу своих «Киевских типов»: «...лица, выведенные мною в «Яме», не являются точной фотографией, снятой с живых людей. Эти образы и типы скорее выдуманы мною, чем сфотографированы. Я подметил, правда, здесь, в Киеве, много отдельных штрихов для психологии персонажей повести. Они помогли создать тот или иной образ, но это не копировка, которую я презираю». Та-

ким образом, и здесь Куприн ставил перед собой задачи широкой и общественно значимой типизации. И когда «Яма» была наконец завершена, он заявил корреспонденту другой газеты о том, что он ставил перед собой высокую цель — помочь обществу очиститься от язвы проституции: «Во всяком случае, я твердо верю, что свое дело я сделал. Проституция — это еще более страшное явление, чем война, мор и т. д. Война пройдет, но проституция живет веками. Когда Лев Толстой прочитал «Яму», он сказал: «Грязно это». Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее. И если бы сам Лев Толстой написал с гениальностью великого художника о проституции, он бы сделал великое дело, так как к нему прислушались бы более, чем ко мне. К сожалению, мое перо слабо, я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор...»

Более всех писателей мира — живых и мертвых — любил и почитал Куприн Льва Толстого.

Чрезвычайно подверженный различным литературным влияниям и очень чуткий и «переимчивый» к воздействию чужой литературной манеры, Куприн нередко «попадал в плен» более сильных писательских индивидуальностей. Некоторые его произведения 1901—1903 годов («В цирке», «Болото» и др.) несут на себе печать чеховской формы, проникнуты ощутимыми чеховскими настроениями. Бесспорным было горьковское влияние на Куприна в пору создания им «Поединка» (так, например, некоторые монологи Назанского прямо перекликаются с горьковским «Человеком»).

Но подлинным кумиром Куприна всегда был Толстой. Он бесконечно благоговел перед «Великим Львом» (настолько, что даже не решался посетить его в Ясной Поляне, несмотря на доброе отношение к нему Толстого и неоднократные приглашения приехать). И хотя Куприн прекрасно понимал всю «несравнимость» себя с Толстым, все же всегда он осознавал себя писателем именно толстовского «склада».

Всякому упоминанию Куприна о Толстом непременно сопутствовало слово «правда». Казалось, будто «Толстой» и «правда» были для него синонимами: «...пьесы, полной такой беспощадной правдивости, еще не появлялось на русской сцене» (это о постановке «Власти тьмы» в 1895 году); «Охота, война, любовь, болезнь, семейная жизнь,

рождение детей, светское общество, бремя славы, томления духа, подвиг — все совместилось в этой поразительной жизни, и почти все он отдал нам, претворив в бесконечно художественные образы, в когорых все — правда» (из статьи «Наше оправдание», написанной на следующий день после смерти Толстого). И дальше: «Лев Толстой высказал однажды по поводу литературного творчества тираду, изумительную как по простоте, так и по глубине:

— Чтобы хорошо писать, надо, во-первых, уметь писать, во-вторых, знать то, о чем пишешь, и, в-третьих, знать, для чего пишешь.

Эти условия, если прибавить к ним еще простоту и правдивость, всегда требуемые Толстым, надо приложить к каждому искусству...» (из статьи «Илья Репин», 1931).

Иногда Куприн горько сетовал на то, что Толстой «уже все сделал»: «За что я ни возьмусь — бросать должен: уже старик сделал. У него все есть... Весну, лес, горы, реки, лошадей, собак — он все описал, и так, что ни я, ни другой ничего уж не можем прибавить... Развѣ можно с ним состязаться! Чувствую, что если бы я родился сто лет спустя, — пожалуй, тогда я начал бы писать, тогда и на мою долю было бы что-нибудь новое из живой жизни. А теперь старик все забрал. Он ограбил всех нас. На сто лет ограбил...»

В самом деле, возьмем хотя бы область психологического анализа, анализа мельчайших и тончайших душевных движений человека. Куприн постоянно стремится здесь «вослед Толстому» изобразить «групповую психологию», фиксировать общераспространенное, свойственное многим людям одного и того же психологического типа. Даже фразу свою он строит в таких случаях совсем «по-толстовски»: «Как все молодые люди, он...», «Как все молодые люди определенного возраста...», «Как все застенчивые люди...», «Как все впечатлительные люди...», «Как всегда в таких случаях...» и т. п.

Наблюдения над психологией обычной, конкретной, свойственной многим, тонкие и мимолетные, но типичные проявления человеческой психики — это та сфера, в которой Куприн, пожалуй, более всего следовал Толстому и учился у него. Любимые герои Куприна, как и любимые герои Толстого, постоянно претаютя самоанализу и анализу своих переживаний. Так, Бобров

в «Молохе» размышляет о загадочных случаях частых в жизни совпадений, «...когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом». Так, Ромашов и Шурочка в «Поединке» выясняют, что во сне можно летать, но что особенно хорошо леталось в детстве — под самый потолок, а теперь уже не то — только иногда подпрыгнешь высоко и летишь шагов на двадцать... Или попытка Ромашова разобраться в своем настроении, в смутной тревоге, причины которой неясны: «С ним происходили подобные явления и прежде, с самого раннего детства, и он знал, что, для того чтобы успокоиться, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги...» и т. п.

В этих приемах психологического анализа заключена для читателя постоянная радостная возможность «узнавать себя»... «Как это верно! Да ведь это же было и со мной, я ведь думал именно об этом и именно так думал!» — не раз скажет себе читатель... В купринских героях себя узнает каждый. Психологизм Куприна интимен, задушевен, обращен к тебе, ко мне, к каждому. Ведь интеллигенты — герои Куприна, все эти «застенчивые», «молодые», «впечатлительные», «нервные» и т. п. люди, к которым относятся его психологические наблюдения, — все они почти всегда принадлежат к средним, демократическим слоям населения, к людям труда, дела. Им гораздо больше, чем, скажем, героям Толстого, «достается» от жизни, и мысли и помыслы их устремлены поэтому на значительно более «низкие» и будничные предметы.

А как умел Куприн улавливать и фиксировать человеческую пошлость, ее «бессмертные» формулы и признаки. В этом отношении он, бесспорно, делал такое же само-нужнейшее дело, как и великие борцы с пошлостью и мещанством — Чехов и Горький.

Но и здесь у Куприна был как бы свой «угол зрения», свой подход к предмету. Прежде всего его интересовали бытовые, массовые, каждодневные, широко распространенные проявления пошлой, мещанской психологии. Это можно обнаружить почти в каждом его произведении: думающий, чистый, страдающий человек, а рядом — торжествующие пошлые хари, избитые суждения, непробиваемые обывательские косность и скудоумие.

Вот только один пример: в рассказе

«Черная молния» кучка провинциальных «интеллигентных» обывателей беседует за столом об искусстве («Театр и литература — это неизбежные коньки всех русских обедов, ужинов, журфиксов и фэйф-о'клов», — брезгливо замечает при этом автор, никогда не упускающий случая подчеркнуть, что так бывает всегда, на всех русских обедах, ужинах и т. п.); весь их разговор — набор пошлостей и общих мест:

«Робкий начальник почтовой конторы вдруг зашепелявил:

— Однако теперь они какие деньги-то гребут! Ай-ай-ай... страшно вымолвить... Мне племянник-студент летом рассказывал. Рубль за строку, говорит. Как новая строка — рубль. Например: «В комнату вошел граф» — рубль. Или просто с новой строки «да» и — рубль. По полтиннику за букву. Или даже еще больше. Скажем, героя романа спрашивают: «Кто отец этого прелестного ребенка?» А он коротко отвечает с гордостью: «Я». И пожалуйста: рубль в кармане».

Не правда ли, каждому из нас, и не раз, приходится еще и сейчас слышать нечто в этом роде!

Подобными «формулами пошлости» буквально насыщены страницы купринских книг (вспомните хотя бы девиц Зиненко из «Молоха» или же бессмертную Раису Петерсон из «Поединка» — их манеру говорить, флиртовать, писать письма...).

И здесь тоже для читателя купринских произведений заключена возможность узнавания знакомого и примелькавшегося. «Сколько раз я это слышал и как это верно схвачено! — скажет себе такой читатель. — Слышал и, может быть, даже повторял сам, не замечая до поры, как это гадко, мелко и тошнотворно...»

Куприн писал не об избранных и не для избранных. Он писал «обо всех» и — для всех...

Вообще-то Куприн догадывался, что он «для всех», что у него есть свой широкий и любящий его читатель, с которым он способен обращаться накоротке, доверительно и непосредственно. Без посредников. Критиков — поучающих и указующих — он не жаловал. «Критики еще любят ставить баллы и распределять места: кто какой ученик? Для писателей это бесполезно и для публики не нужно», — сказал он как-то в беседе с репортером «Биржевых ведомостей» Вас. Регининым. Но тут же, правда, поделился с ним и своей мечтой о критике-

друге: «Нужны такие писатели, которые помогают публике и писателю взаимно разобратся друг в друге,— полезен тот, который, подобно ювелиру, берет в руки драгоценность и умело обращает ее к солнцу, истинный друг прекрасного в литературе и честный враг пошлости».

Но такие критики, «тонкие, нежные и осторожные»,— Куприн знал это — очень редки. Кроме того, он верил в свою публику, в своего читателя, хорошо чувствовал его и именно на него ориентировался в своем творчестве.

Много позже, уже в эмиграции (рецензируя сборник рассказов Н. Тэффи «Тихая заводь»), он писал об этом своем, русском читателе: «Право, вероятно, только в этой странной, всегда неправдоподобной России водится такой удивительный, внимательный и благодарный читатель, который сам открывал своего писателя, оставляя критика в хвосте».

Все же, не любя профессиональных критиков, Куприн часто и охотно выступал в их роли, рецензируя книги своих товарищей по перу. При этом он всегда демонстрировал свою доброжелательность и ту «верность взгляда», которую как-то отметил в нем еще Репин.

Эта сторона литературной деятельности Куприна известна мало. В сборнике «А. И. Куприн о литературе» приведено множество статей, рецензий, библиографических заметок, интервью и газетных информационных о лекциях Куприна, характеризующих его как чуткого и умного критика, который неизменно вершил свой «суд» над произведениями литературы с позиций последовательного реалиста и поборника правды. Перечислим лишь немногие из этих выступлений: знаменитая статья «Памяти Чехова» (1904) — вероятно, лучшее из всего, что было написано современниками Чехова сразу после его смерти; «Памяти Богдановича» (1907); «О Саше Черном» (1915) и «Саша Черный» (1932); «О Кнуде Гамсуне» (1908); «Редьярд Киплинг» (1908); «Заметка о Джеке Лондоне» (1911), где, кстати, содержится прекрасная характери-

стика рассказов американского писателя, показывающая, что именно ценил в литературе Куприн: «В них чувствуется живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесенных в действительности страданий, трудов и наблюдений. Поэтому экзотические повести Лондона, облеченные веянием искренности и естественного правдоподобия, производят такое чарующее, неотразимое впечатление». Найдём мы в сборнике также множество рецензий Куприна — на книги Бунина, Измайлова, Ремизова, Тэффи и многих других менее известных писателей (кстати, добрая половина публикуемых рецензий и библиографических заметок найдена Ф. И. Кулешовым и перепечатана им в настоящем сборнике впервые).

На основании этих статей, рецензий, лекций, интервью, писем Куприна многое можно было бы сказать о его отношении к отдельным писателям и литературе в целом. Все это представляет значительный интерес и может явиться темой специального исследования...

Однажды читатель «Ямы» направил Куприну взволнованное письмо и в нем спрашивал, что делать, чтобы покончить со злом жизни. «Не знаю,— с грустью ответил ему писатель.— Мое дело подвести доброго, впечатлительного, честного человека к какому-нибудь краю жизни и сказать: вот, и здесь ты жил, но равнодушно, невнимательно; посмотри же, понюхай, прислушайся, а потом подумай и делай, как хочешь, по чести, совести и рассудку».

Куприн действительно не знал ответов на многие кардинальнейшие вопросы жизни. И это определило его трагическую судьбу — судьбу изгнанника, добровольно лишившего себя Родины.

Но, как все честные и правдивые писатели, он своими произведениями учил и учит читателя «смотреть», «нюхать» и «прислушиваться» к жизни, с тем чтобы потом самому — непременно — поступать «по чести», совести и рассудку. И в этом, наверное, основная причина читательской благодарной привязанности к Куприну и в наши дни.



С. ФРЕЙЛИХ

★

«НЕСКАЗАННОЕ, СИНЕЕ, НЕЖНОЕ...»

(Этюды о Сергее Есенине)

ГОЛУБЕНЬ

Любимый цвет Есенина — синий.

Несказанное, синее, нежное...

Синее для поэта — невыразимая словами нежность.

Несказанное, синее, нежное,
Тих мой край после бурь, после гроз...

Синее — это край поэта, его Родина; нежное чувство к ней непокойно, гармония — результат тревог и потрясений.

В искусстве всегда так. В «Иване Грозном» Эйзенштейна цвет — не окраска предмета, цвет — предмет. «Не цветное — а цветовое», — настаивал режиссер.

Цвет у Есенина — это состояние: состояние природы и настроение поэта.

Несказанное синее, нежное,
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное,
Дышит запахом меда и роз.

Давным-давно я запомнил это стихотворение, сколько раз читал его другим, но только сейчас заметил, что несказанное, нежное — это синее.

Понимал ли я по-настоящему Есенина, если этого не замечал?

Беру есенинский томик и читаю от начала до конца словно впервые.

Предрабальное Синее Раннее... —

безжалостно повторяет себя Есенин.

Теперь бросаются в глаза названия:

«Синее небо, цветная дуга...»

«Вечером синим, вечером лунным...»

«Синий май. Заревая теплынь...»

«Воздух прозрачный и синий...»

«Синий туман. Снеговое раздолье...»

В этих стихотворениях синее не цвет, синее — тема.

Синий цвет небрежно разбросан в десятках стихотворений, там синее не только платок и глаза, но и цветы, в них вечер тоже синий, и высь синяя, и чащи синие, и горы синие, и осень синяя, и мрак синий.

Синее может быть не только эпитетом. Синее становится существительным в есенинском слове «синь» и в есенинском слове «голубень».

Да и как еще можно назвать такие стихи, как не голубень:

В прозрачном холоде заголубели доли,
Отчотлив стук подкованных копыт.
Трава поблекшая в расстеленные полы
Собирает медь с обветренных раки.

С пустых лоцин ползет дугою тощей
Сырой туман, курчаво свившись в мох,
И вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног.

Синь — у Есенина обычное слово, ео он болел:

О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости, до боли...

Благодаря цвету поэт видит совершенно отвлеченные, абстрактные понятия. Мы принимаем как должное и «синий час» и «синее счастье». Синь делает абстрактное представимым, чувственным.

Зато повседневное, бытовое обретает у него поэтическое значение: синяя собака у Есенина никого не возмущает.

Постоянное пристрастие к синему не делает Есенина однообразным.

В этой пленительной синеве поэт

..весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Если бы мы ощущали истинное значение цвета в поэзии, наверное, Розовый конь Есенина так же взбудоражил общество, как за десять лет до этого ошеломил читателей живописи Красный конь Петрова-Водкина.

Не только зрелый Есенин так сильно пользовался цветом.

В 1910 году пятнадцатилетний поэт сочиняет:

Дымом половодье
Зализало ил.
Ж е л т ы е поводья
Месяц уронил.

Еду на баркасе,
Тычусь в берега,
Церквами у прясел
Р ы ж и е стога.

Заунывным нарком
В тишину болот
Ч е р н а я глухарка
К всенощной зовет.

Роща с и н и м мраком
Кроет гольтьбу...
Помолось украдкой
За твою судьбу.

В каждой строфе цветное пятно. Меняясь, цвет движет мысль. Золотое от желтого движется через черное к синему. Синее возникает как преодоление трагической интонации.

А в «Черном человеке» — этой своеобразной исповеди — поэт, уже одолеваемый вестником смерти

(Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь), —

вдруг вспоминает:

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

Желто-голубое вспыхивает как воспоминание детства, но поздно — черный человек, казалось, уже завладел всем. Но, как всегда,

...Синеет в окошко рассвет.

Пусть синее уже не принадлежит поэту, в природе оно живет.

Сотрите синее в последнем абзаце «Черного человека» — и вы лишите исповедующегося поэта надежды.

Невозможно себе представить не цветовым (черно-белым, как сказали бы у нас в кино) изумительное стихотворение «Сукин сын».

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Стихотворение «держится» фабулой: поэт вернулся в деревню, его собаки давно уже нет, той же масти молодой пес встречает у ворот гостя.

Кого не тронет такая встреча: случай будит в нас мысли о жизни, о невозвратимых утратах.

И все-таки не ради этого написано стихотворение.

Фабула — лишь повод, она ведет нас в глубину произведения, к его гайне.

Поэт скрывает ее от нас до самого последнего момента:

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты. Не лай. Не лай.
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...

И вдруг:

Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

Станным, непрямым ходом поэт пришел к цели. Последняя строка внезапна как развязка:

Но теперь я люблю в голубом.

Теперь все приобрело новое значение, когда мы вдруг узнали о существовании голубой.

До этого момента судьба белой, честно говоря, не очень нас трогала.

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,

Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий.
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Молодой поэт любил белую, но сочувствие наше вызывал четвероногий почтальон, потому что он не был равнодушен — он так старался, а из его ошейника записок не брали; мы скорбим о смерти этой собаки, а к ее сыну относимся с нежностью.

Мать честная! И как же схожи
Снова выплыла боль души.

Стихотворение, начавшееся, как мы помним, воспоминанием о собаке, кончается рассказом о ее сыне.

Но голубое и белое обнаруживают другие концы и начала, о других переменах, оказывается, идет речь, лирика уступает драме — не сам ли поэт забыл прошлое ради голубого.

Лишите стихи цвета — и они окажутся произведением о собаке.

Белое и голубое делают их произведением о любви.

Но почему же все-таки стихотворение называется сукин сын?

Собака и ее сын («...в ту ж масть, что с отливом в синь») дают синий цвет.

Синее через белое становится голубым.

СОСТРАДАНИЕ

Как видим, цвет — это мысль.
Цвет у Есенина — и чувство.

Там, где капустаны грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Цвет возникает в момент сострадания.
Для поэта дерево — живое существо. Клененочек.

Конечно, природа всегда близка поэту.
Но так написать мог только Есенин:

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Природа человечна, она способна страдать.

Животные в стихах Есенина мыслят:

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.

Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Это стихотворение построено на внутреннем монологе коровы. Она вспоминает жизнь, вспоминает своего белоногого телка:

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Поэт награждает животное возвышенным чувством: в памяти возникают не подробности убийства, а образ гибели, исполненный трагизма.

Старая знает, что и ее скоро поведут на убой,—

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...

И ни слова больше о том, как это произойдет. Она думает о другом:

Снится ей белая роща
И травяные дуга.

Страдание рождает жалость.
Сострадание — поэзию.

«Песнь о хлебе», «Песнь о собаке» — так Есенин называл свои стихи. Собака бежит за хозяином, который несет в мешке топить ее семерых щенят. Когда она плелась обратно, было темно, месяц над хатой показался одним из ее щенков.

И

Покатились глаза собаки
Золотыми звездами в снег.

В стихах о животных поэт разрешает человеческие драмы.

«Сукин сын» и «корова» у горожан ругательные слова. Есенин вернул этим словам достоинство.

О родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.

Поэт чувствует себя частью природы:

Эти волосы взял я у ржи...

Он знает, что природа заберет и цвет этих волос, и синь глаз. Он готов к этому, он знает, что так должно быть.

Он умер рано, как умирают поэты. Сегодня ему было бы семьдесят пять лет.

В его стихах страсти незащищенны, они

истинны. Теперь они овладевают нами, как раньше владели поэтом.

В конце концов о чем бы ни писал Есенин, он писал о нас:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.

Изумительная эта есенинская строка:

Мы теперь уходим понемногу...

Попробуйте выбросить слово «теперь» — ритм собьется и смысл будет утрачен.

«Мы... уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать». Это не волнует, потому что «мы... уходим понемногу» касается всех: это всегда случалось и всегда будет со всеми так. Слово же «теперь» обладает в данном случае трагической конкретностью. После «теперь» — «мы» означает не «люди», а означает «я». Поэт хочет сказать, что очередь пришла за ним, о своей судьбе задумывается и читатель.

По сути дела «мы» — это два человека, поэт и читатель, которые в истинной поэзии становятся одним и тем же лицом.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ал. Михайлов. Подвиг века.— **Р. Орлова.** Сабурбия.— **Эдуард Бабаев.** Рассказы романиста.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Матюшина. Комментарий к ленинской статье.— **С. Долецкий.** Мысли, которые рождает книга доктора Спока.

Литература и искусство

ПОДВИГ ВЕКА

- Победа.** Писатели о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне. Составитель **А. Девель.** Вступительная статья **Д. Гранина.** Лениздат. 1970. 264 стр.
- Победа.** Поэты о подвиге Ленинграда в Великой Отечественной войне. Составитель **Б. Дряян.** Вступительная статья **Николая Тихонова.** Лениздат. 1970. 258 стр.
- Подвиг века.** Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Составитель **Н. Паперная.** Лениздат. 1969. 390 стр.

Люди моего поколения, вступившие в войну юношами, нередко ведут двойной отсчет времени: кроме собственного возраста, о котором теперь не так уж легко забывать, в сознании отмечаются цифры: десять лет прошло после окончания войны, двадцать, двадцать пять... И может быть, именно эти даты более всего говорят нам, как стремителен бег времени, как торопится человечество расстаться со своим прошлым.

Но думая о будущем, оно не может, не имеет права забывать о прошлом, и прежде всего — о минувшей войне, ее жертвах, ее героике. Память настойчиво воскрешает трагические события сороковых годов, огненные знаки пожарищ и взрывов, руины городов и сел, осиротевшие семьи, чудовищные злодеяния против человечности и великие подвиги во имя жизни на земле. Союзником памяти стало слово литератора, современника и участника этих событий.

За последнее время мы получили несколько прекрасных изданий, в которых собраны

произведения советских писателей о Великой Отечественной войне. Среди них книги, посвященные легендарной эпопее Ленинграда, ставшей замечательным примером народного подвига.

Два тома альманаха «Победа», выпущенные Лениздатом, включают стихи и прозу почти восьмидесяти писателей. Имена многих из них навсегда связаны с Ленинградом жизнью и смертью, творчеством, лучшими страницами написанного. Но и те, кто не был непосредственным участником обороны города, сказали об этом со страстью и волнением.

Листая сегодня объемистые тома «Победы», вновь перечитывая уже давно читанные рассказы и очерки, дневниковые записи, стихи и поэмы, неизменно ощущаешь, как высокие слова о мужестве, стойкости и патриотизме советских людей обретают свою конкретность. Солдаты и моряки, интеллигенты и рабочие, старики и дети, учителя и школьники сражаются на подступах к Ленинграду, делают оружие, сбрасывают с

крыш зажигалки, тушат пожары, стоят в очереди за голодным пайком, хоронят умерших от истощения, учат и учатся в школах, сочиняют симфонии, читают стихи в окопах и по радио. Перед нами раскрывается, как сказал Николай Тихонов во вступительной статье к одному из томов, «вся пестрая, мучительная, невообразимая жизнь, в которой, однако, живет огонь мужества — и он греет сердца, огонь ненависти — и он зовет к мщению». А он, Николай Тихонов, знает это не по рассказам, он — очевидец и участник обороны Ленинграда: прочтите записки А. Фадеева о том, как Тихонов в одном из подвалов Кировского завода во время арт-обстрела читал рабочим поэму «Киров с нами».

Теперь, спустя много лет, произведения писателей — участников обороны Ленинграда приобрели для нас и для будущих поколений значение подлинных документов. Это свидетельства современников о событиях всемирно-исторического масштаба. А тогда они писались часто второпях, под впечатлением только что пережитого, сиюминутного, без всякого расчета на долгую жизнь. И тем не менее сила этой литературы «не только в ее достоверности, документальности. Личность художника, его биография, участие его в событиях поднимают произведения того времени до явления искусства». Эти вполне справедливые слова принадлежат автору второй вступительной статьи Д. Гранину.

Истинное искусство редко создается в сознательном расчете на вечность. Но перечитайте страницу из книги Ольги Берггольц «Говорит Ленинград», ту самую, которая писалась во время артиллерийского обстрела. Она по минутам фиксирует каждый взрыв, состояние человека в эти минуты, его мысли, фиксирует четко, сдержанно, без единого лишнего слова. Я процитирую часть этой страницы, а дальше постараюсь обойтись без цитат, по крайней мере из прозы, ибо эту прозу надо читать в контексте всего тома, тогда ее эмоциональное воздействие удесятерится.

«...Сейчас — ночь, ноль часов восемнадцать минут... Вот еще свист и взрыв, ближе... Надо уйти из комнаты: она выходит на ту сторону улицы, которая «наиболее опасна при обстреле». А эта, куда я перешла и где продолжаю писать, выходит окнами во двор, в противоположную сторону. (Еще взрыв,— ноль часов двадцать три

минуты.) Здесь... «безопаснее»! Здесь мне угрожает только прямое попадание снаряда через крышу, прямо в эту комнату. Если же снаряд попадет в кабинет, из которого я ушла,— может быть, капитальная стенка между ним и этой комнатой выдержит, и я останусь жива. Еще три взрыва — один за другим. (Я так и думала, что это в наш район. Вот диктор объявил обстрел... «Населению — немедленно укрыться», — сказал он.) Сейчас — ночь, ноль часов двадцать шесть минут. В течение восьми минут, пока я писала эту страницу, убиты десятки ленинградцев, разорены десятки квартир. В нескольких минутах ходьбы от меня, в темноте и холоде, льется кровь, рыдают дети, и санитары и дружинницы, освещая ручными фонарями то, что совсем недавно было мирным спящим домом, а теперь — очаг поражения, уносят мертвых и раненых и «складывают людей»... Это термин у нас такой есть — «сложить человека», то есть собрать его растерзанные части в одну кучку.

Диктор повторяет: «Артиллерийский обстрел района продолжается». Я уже не фиксирую взрывов».

С точки зрения чисто человеческой, я обращаю внимание на то, что эти строки написала молодая женщина, поэтесса, написала в то время, когда каждая минута ее жизни грозила оказаться последней. С точки зрения искусства, я хочу сказать, что «блокадная» проза Ольги Берггольц своею обнаженностью, простотой и силой выразительности отвечает высоким критериям.

Вполне понятно, что не все рассказы, очерки, дневниковые записи, стихи того времени написаны в моменты творческого озарения, но почти всегда их приобщает к искусству ощущение подлинности пережитого, глубочайшая искренность и вера в силу слова.

То, что пережили ленинградцы в осажденном городе, трудно поддается воображению, кажется невероятным, сверхмерным для человеческих возможностей. Но когда мы читаем страницы очерковой или дневниковой прозы, даже стихи, перед нами возникают такие реалии и особенности быта, которые нельзя выдумать и которые, может быть, выразительнее любых обобщений говорят о пережитом.

Лишив человека, десятки тысяч человек пищи, света, тепла и даже крова, враг еще

не может рассчитывать на победу — ленинградцы это доказали. У людей остается еще любовь к отечеству и вера. Это то, чего никто не может отнять. То, что дает человеку силы превозмочь физические страдания, голод и холод.

В блокадном городе не было фронта и тыла в их привычном разделении, и все его жители и солдаты в окопах были равны перед лицом смерти. И это равенство не вызвало отчуждения людей, низких желаний выжить за счет других, уклониться от долга, а наоборот — сплотило их, пробудило высокое чувство солидарности. Взаимовыручка и взаимопомощь явились нормой человеческого поведения.

А. Фадеев, побывавший в Ленинграде весной 1942 года, наблюдал такую характерную сцену: на панели Лиговской улицы, зажав в горсти сетку с учебниками, лежала девочка в белом беретике, сложив тонкие ножки на мостовой, склонив набок голову. Она шла вместе с подружками и товарищами с уроков домой и вдруг ослабела. И они все стояли вокруг нее с серьезными лицами, они не могли оставить ее одну и боялись поднять ее и отвести, боялись, что она умрет от лишнего физических усилий. Фадеева прежде всего поразило то, как спокойно, без всякого внутреннего испуга девочка переждала, пока пройдет слабость, и какое выражение серьезного и глубокого сочувствия товарищу было в глазах остальных школьников. Это были уже не дети и еще не взрослые, это были новые люди, испытанные войной, голодом, постоянной угрозой смерти, утвердившиеся в самой человеческой морали.

Проза писателей-«блокадников», как правило, сдержанна, сурова, строга. Они жили тем, о чем писали. Это был их быт, их каждодневный труд, обычный для них. Глазами писателя, приехавшего в Ленинград на время, приехавшего из Москвы, где непосредственная угроза немецкого вторжения была уже ликвидирована, все это виделось несколько иначе. Искреннее чувство удивления и восхищения ленинградцами придает этим очеркам (в частности, запискам Фадеева) особую эмоциональность и приподнятость. Эмоциональность переживаемого почти всегда передается скуpee эмоциональности свидетельской. В прозе альманаха они хорошо сочетаются. Да и имена Тихонова, Фадеева, Берггольц, Вишневского,

Кетлинской, Федина, Шишкова, Гранина говорят сами за себя.

Поэтический том не менее богат именами. И опять не обойтись без упоминания имени Ольги Федоровны Берггольц, чей образ навсегда соединил в себе жизненный подвиг художника и человека, истинного советского патриота, ленинградца. Ее стихи «Я говорю с тобой под свист снарядов», «Первое письмо на Каму», «Разговор с соседкой», «Февральский дневник», «Ленинграду», «Наш фронт», «Ленинградская осень», «Стихи о ленинградских большевиках» — это поэтический памятник защитникам великого города и гражданская исповедь одного из них, стихи, которые, прочитав однажды, уже нельзя забыть.

Ленинградская эпопея подняла на новую высоту гражданский пафос стихов Александра Прокофьева, вывела из круга привычной сельской тематики к осознанию героического Александра Яшина, открыла совершенно новые возможности поэтического видения у Веры Инбер, ожесточила тихий голос Вадима Шефнера, пробудила к активному действию музу Всеволода Рождественского. Нечто подобное можно сказать о многих и многих поэтах, представленных в альманахе.

И может быть, самый волнующий пример резкого возвышения поэтического и гражданского самосознания — стихи Анны Ахматовой. Достаточно хотя бы в общих чертах представить ее путь в поэзии, берущий начало в замкнутом, отгороженном от социальной действительности акмеистском «Цехе поэтов», чтобы понять, какое громадное внутреннее потрясение заставило звенеть голос старшей поэтессы.

А вы, мои друзья последнего призыва!
 Чтоб вас оплакивать, мне жизнь
 сохранена.
 Над вашей памятью не стыть плакучей
 ивой,
 А крикнуть на весь мир все ваши имена!
 Да что там имена!
 Ведь все равно — вы с нами..
 Все на колени, все!
 Багряный хлынул свет!
 И ленинградцы вновь идут сявонь дым
 рядами —
 Живые с мертвыми: для славы мертвых
 нет.

Это был голос совести человека, много пережившего и передумавшего, голос художника-патриота, для которого самое святое — судьба его отечества и его народа.

Голоса поэтов старшего поколения обрели в эти годы новую силу звучания, понимались к высотам гражданского самосознания, а молодые сразу же подавали голос как солдаты.

...Оттеснив врага от волн полночных,
Мы завязали с ним гранатный бой.
Мы твердо знали. Да. Мы знали точно —
Победу нам дает лишь кровь и боль.

(Георгий Суворов)

Так рождалась поэзия фронтового поколения, которой суждено было сыграть заметную роль в послевоенные десятилетия. Люди героических биографий входили в поэзию военных лет: защитник острова Гангута Михаил Дудин, танкист Сергей Орлов, балтийские моряки Георгий Суворов и Алексей Лебедев, солдат Александр Межиров. Одни сложили головы у стен Ленинграда, оставив нам стихи удивительной душевной силы и искренности, другие и ныне здравствуют, они на виду как поэты значительные, завоевавшие признание многими книгами, создавшие свой поэтический образ современности, и все-таки для некоторых из них военная тема, героическая ленинградская эпопея стала узловым пунктом творческой биографии.

О поэтах следующего поколения — Олеге Шестинском, Сергее Давыдове, Юрии Воронове и Вячеславе Кузнецове — тоже можно сказать, что для них, подростков военной поры, блокада стала тем суровым и драматическим опытом, который отложился уже в первых стихах и затем определил путь творческого взросления. «Нам в сорок третьем выдали медали. И только в сорок пятом — паспорта» (Ю. Воронов) — вот анкета этого поколения.

Дети всегда остаются детьми, даже в осажденном городе. Знаменательны детали детского блокадного быта в стихах Шестинского: «Я песни пел, осколки собирал, в орлянку меж тревогами играл». Но ленинградские дети рано стали солдатами: «А если неожиданный налет, а если в расписанье мой черед, то, с кона взяв поставленный пятак, я шел с противогазом на чердак». Как все обыденно и просто! Но именно так все и было, так и отложилось в памяти. И детям, и даже взрослым в Ленинграде вряд ли приходилось задумываться о том, что они совершают величайший исторический подвиг во имя родины, защищая свой город. Они сражались и умирали, по-

тому что это была единственная приемлемая формула жизненного поведения, но они оставались людьми глубоко чувствующими, думающими, сознательно определившими свое место в строю защитников Ленинграда.

Мне хотелось бы назвать имена всех писателей, чьи произведения включены в альманах, ибо почти в каждом из них нашли отражение те или иные существенные моменты ленинградской эпопеи, но это невозможно сделать в одной рецензии. В создании книг еще принимали участие многие художники, книги иллюстрированы гравюрами, литографиями. Иллюстрации хорошо «вписываются» в содержание томов «Победы».

Как бы прямым дополнением или скорее продолжением этих томов является еще одна книга, выпущенная Лениздатом, — «Подвиг века». Она посвящена художникам, скульпторам, архитекторам и искусствоведам, которые сохранили для потомков великие творения искусства прошлого и которые своим искусством служили делу победы над врагом. Так же как и тома «Победы», эта книга увековечивает подвиг ленинградцев.

По богатству и ценности собранного в ней материала это замечательная книга. Здесь представлены дневники, письма и воспоминания хранителей музеев и художников, их рисунки, наброски, сделанные торопливою рукой при свете коптилки где-нибудь в бомбоубежище или землянке, воспоминания родственников и близких тех, кто погиб на защите Ленинграда.

Из воспоминаний и коротких дневниковых записей, иногда обрывающихся чуть ли не на полуслове, мы узнаем, в какой критической обстановке проходила эвакуация ценнейших произведений искусства из музеев и дворцов Павловска, Гатчины, Петергофа, Пушкина, сокровищ Эрмитажа, как прятались, закапывались в землю скульптуры, какую самоотверженность и героизм проявили при этом музейные работники. До последнего момента, до самого прихода немцев в Павловск и Гатчину, они не прекращали круглосуточной работы по спасению культурных ценностей. Это был фронт, передний край борьбы за культуру со средневековым варварством. Благодарные потомки склонят головы перед памятью скромных работников музеев Ленинграда, спасших для человечества великие творения искусства.

Глубоко волнуют страницы воспоминаний о старейших русских художниках, живших и до последних дней не прекращавших работы в осажденном городе. Поскользнувшись на обледеневшей гранитной лестнице, упал Н. Петров, современник и ученик передвижников. Ослабленный организм не выдержал удара, вскоре он умер от кровоизлияния в мозг. Г. Савинов погиб от голода в новогоднюю ночь 1942 года. Зимой этого же года погибли П. Филонов, И. Билибин, Г. Бобровский... Скорбный список включает в себя сотни имен, им посвящены мемориальные страницы тома.

«Здесь вы прочтете имена мастеров, достигших мировой известности,— говорится во вступлении к нему,— зрелых художников, за плечами которых остались годы упорного труда и поисков; молодых, уже начавших самостоятельную творческую деятельность, и тех, кто, подавая большие надежды, только еще готовился вступить в жизнь. Все они любили родину и погибли, защищая свой любимый город».

Художники умирали, как солдаты, на своем посту. Многие из них сражались с автоматом в руках. Мемориальные страницы — это и дань памяти тем, о ком не написано воспоминаний, кто не успел оставить большого следа в искусстве, но беззаветно любил его. Мемориальные страницы — печальный и вместе с тем прекрасный финал книги, пробуждающий горькое чувство невосполнимых потерь и гордость за людей искусства, истинных патриотов и граждан. Их великий пример служения ро-

дине и любимому искусству воспитывает поколения молодежи, он красноречиво и убедительно говорит о том, что настоящее искусство всегда связано с борьбой народа за свободу, за счастье, за будущее.

Многие известные художники, скульпторы и архитекторы, авторы книги «Подвиг века», здравствуют и поныне. Все они получили боевое крещение на Ленинградском фронте, в блокированном городе. Их воспоминания — о товарищах, о ленинградцах, о себе, об условиях, в которых приходилось заниматься искусством,— не затеряются в летописи обороны Ленинграда.

Страницы блокадного дневника В. Конашевича, воспоминания И. Серебряного, Л. Рончевской, Ю. Непринцева, записи А. Лепорской, воспоминания Н. Муратова, В. Гальбы, оставившего на стене рейхстага надпись: «Гитлер, я в Берлине, а где вы? Владимир Гальба», — читаются с неослабевающим интересом, ибо содержат драгоценные подробности военного быта, раскрывают характеры людей искусства в самые напряженные, самые драматические моменты их жизни. С любовью и восхищением пишут о боевом пути, о фронтовых дорогах художников и скульпторов искусствоведы Е. Белова-Клочкова и К. Ардентова.

Без всяких скидок можно сказать, что эта книга запечатлела подвиг века с той стороны, с которой мы его не представляли. Мы должны быть благодарны людям, чьим трудом и талантом созданы три тома ленинградской эпопеи.

ДЛ. МИХАЙЛОВ.

★

САБУРБИЯ

Джон Чивер. Буллет-Парк. Роман. Перевод с английского Т. Литвиновой. «Иностранная литература», №№ 7, 8, 1970.

«Добро пожаловать в Буллет-Парк! Надеюсь, что вам у нас понравится и вы захотите здесь поселиться» — это слова агента по продаже домов, открывающие роман американского писателя Джона Чивера. Но эти слова — не просто реклама. Ведь Буллет-Парк — едва ли не осуществленная утопия. Его обитатель — например, Элиот Нейлз, один из героев романа, — работает в городе, а живет с семьей на лоне природы в доме, оснащенной всеми благами современной суперцивилизации. Выходя из комнаты, он видит деревья, ды-

шит чистым воздухом, может встречать и провожать солнце. При доме — сад, гараж, спортивные площадки; у многих соседей — плавательные бассейны.

Разве не об этом мечтали поэты, солдаты, фермеры, осваивая Новый свет? Разве это не торжество идеалов, которые пытались воплотить в колониях и коммунах утопические социалисты? Разве не к этому стремились за океан миллионы европейских и азиатских бедняков?

Да и сегодня не только американцы хотят жить на природе не месяц в году, а все

свободное время. Растить детей в таких условиях, когда ребенку есть где быть ребенком — бегать, прыгать, кричать, не вдыхая бензинный перегар, не рискуя попасть под колеса, не мешая взрослым.

«Добро пожаловать в Буллет-Парк!» — вторит рекламному агенту священник, встречая нового прихожанина, Хэммера, — это он купил здесь дом. «Все мы надеемся, что вам у нас понравится», — так приветствует Хэммера старожил Нейлз.

Джон Чивер приглашает нас, читателей, в современный американский сабурб.

Английское слово «suburb» буквально означает пригород, предместье. Так звучит это слово и в талантливом переводе Т. Литвиновой. Географически сабурб — спутник большого города. Но в США сегодня это совершенно особое понятие, не только географическое. Это определенная общественно-историческая сила, означающая и особый быт, и особое бытие, это, пожалуй, целая страна — назовем ее «Сабурбия».

По данным американской переписи 1970 года, в Сабурбии живет несколько десятков миллионов человек. Подавляющее большинство остальных американцев стремится стать сабурбианами, ради этого трудится, ради этого копит деньги — не мы, так пусть хоть наши дети будут блаженствовать.

В сабурбах дома не ограждены рвами, стенами, заборами, но чужак не может стать их обитателем — его подвергнут ostrакизму. Сабурбиане — каста. «У нас самый настоящий первобытный, родовой строй, если хотите знать, и заправляют здесь старейшины рода. Вдовы, разведенцы, холостяки — всем от ворот поворот».

В своем романе о сабурбе «Буллет-Парк» Джон Чивер как бы принял условия задачи: замкнутость так замкнутость, каста так каста. Нет негритянской проблемы, ибо негры живут отдельно, в гетто. Нет проблемы антисемитизма, ибо и евреев сюда, как правило, не пускают. Нет расовой, национальной, религиозной вражды. Разумеется, в Буллет-Парке не может быть открытых атеистов, но и теперь, даже после того, как католик Джон Кеннеди побывал в президентском кресле, католики все же не желательны. Действующие лица книги Чивера — «ВАСП» (белые американцы англосаксонского происхождения, протестанты), то есть чистая элита, современная американская аристократия. И пусть где-то там,

за пределами сабурбов, бушуют негритянские и молодежные мятежи, пусть бог знает что творится на сценах и экранах, — миссис Нейлз в ужасе шарахается от пьесы, в которой запечатлена так называемая «сексуальная революция», но ведь можно вернуться к себе в Сабурбию. Уж там-то все должно быть благостно, уж сабурбиане-то пользуются всеми чудесами реализованной мечты.

Чивер дал своим героям символические, значимые имена, как в старых нравоучительных моралите: «хэммер» — молоток, «нейлз» — гвоздь, «хэзерд» — случай. И каждый из персонажей, казалось бы, и впрямь одномерен, словно бы исчерпывается одним качеством.

Сабурб шлифует людей, как морской прибой камни. Все углы стираются, все выделяющееся, странное, особое прилаживается или выталкивается.

Полвека тому назад Синклер Льюис изобразил мертвую хватку Главной улицы, которая не приняла ни экстравагантностей Кэрой Кенникот (до чего же они общеприняты сегодня!), ни самых невинных отклонений ее верного сына Бэббита. Диктат сабурба — прямое продолжение власти Главной улицы. Конвейерное производство стандартных людей в супердержаве за прошедшие полвека пошло далеко вперед. Рядом с персонажами Синклера Льюиса полвека тому назад родились и гротескные герои Шервуда Андерсона, которые «выламывались» из тоскливой жизни захолустного Уайнсбурга. И они были человечнее тех, кто примирился с этой жизнью. Но чиверовские чудачки, пожалуй, не лучше, чем сабурбиане-конформисты.

В книге есть два стандарта — стандарт respeitability и стандарт ее отрицания. «Все они были на одно лицо, эти бродяги, они были еще однообразнее даже, чем те стереотипные в своем мышлении и благопристойности бизнесмены, что возвращаются поездом к своим газонам и телевизорам».

Герои романа Элиот Нейлз и Поль Хэммер почти одного роста, веса, возраста, даже размер обуви у них одинаков. Знакомая, Нейлз думает о том, сколько остроумия придется им обоим выслушать по поводу их имен — «гвоздь» и «молоток». Связь между именами — грубая, всем видимая; связь между людьми — тонкая, подводная. Внешне они, казалось бы, антиподы. Нейлз — воплощенная respeitability, истинный

сын Сабурбии, «положительный», а Хэммер оказывается незаконнорожденным, мать его клептоманка. Да и сам он явно ненормален: он одержим навязчивой идеей — убить. Для этого он и приехал в Буллет-Парк. Значоно он избрал своей жертвой Нейлза. Познакомившись, он решил убить его сына Тони.

Однако по мере того, как разворачивается действие романа, мы начинаем понимать, что Нейлз и Хэммер вовсе не антиподы. Хэммер метался в поисках устойчивости. А Нейлз, нежный муж и любящий отец, стремился прочь от нее, в мыслях он убивал отца, мать, единственного сына. Впрочем, даже его сын Тони грозит убить учительницу французского за то, что она запрещает ему играть в футбол — он плохо учится...

Правда, у отца и сына Нейлзов — это лишь намерения, а Хэммер действительно плеснул Тони газ в лицо, стукнул его по затылку, запер в церкви, и только отец юноши помешал Хэммеру поджечь церковь. Думать об убийстве или воплотить мысль в действие — существенное различие. Различие, но не противоположность.

«Убийцы... граждане некой зловещей, сумеречной державы». Однако эта «зловещая держава» оказывается лишь иной ипостасью Сабурбии.

Джеймс Болдуин заметил однажды, что из Американской Мечты выделяются самые страшные кошмары. Кошмар, вырастающий из Мечты, неотделимый от нее, изображает Джон Чивер.

С первых же страниц романа на читателей наваливается унылая, удушливая тоска. Бывший владелец того дома, который покупает Хэммер, покончил самоубийством. Вдова рассказывает: пришли соседи, «мы все немного выпили, и они так меня утешили, что я чуть не забыла, что же случилось...». Этот привкус вязкой пошлости, подслащающей несчастье, не исчезает до конца.

Тоска гонится за всеми персонажами романа.

Дома в Буллет-Парке прочные, рассчитанные на несколько поколений, а Тони кажется, что живут они в карточном домике. Буллет-Парк построен на твердой земле, а кажется, что вокруг — зыбкая трясина, болото. Тоска сразила Тони. Он просто не в состоянии встать с постели, у него нет желания жить, и врачи не могут помочь. Не может цивилизация излечить своего сы-

на; родители обращаются к знахарю, темнокожему Свами Рутуола; сам он подростком сидел в тюрьме, потом чистил уборные. Он излечил юношу. Излечил шаманскими заклинаниями — в сущности, они вдвоем с Тони тоже строили своеобразные карточные домики.

Надолго ли излечение? Ведь болезнь у Тони явно социальная, порожденная устройством микро- и макромира, болезнь, подобная той, которой в разных формах сегодня болеют сотни тысяч американских подростков.

Крик одного из этих подростков пробивает госкливую тишину Сабурбии в самом начале романа: «К черту их всех! К черту яркие лампы, при которых никто не читает книг, нескончаемую музыку, которую никто не слушает, рояли, на которых никто не умеет играть! К черту их белые домики, что заложены и перезаложены от подвала до чердака! К черту их лицемерие, ханжество, безукоризненное белье, похоть и кредитные карточки! Да будут они прокляты за то, что сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, выщелочили все краски, запахи, все неистовство жизни! К черту, к черту, к черту!»

Так, но только гораздо резче, грубее и чаще всего просто непечатно вот уже несколько лет кричат на улицах американских городов девушки и юноши. Среди них и сабурбиане второго поколения, взращенные среди многих спален и многих деревьев. В чем же дело? Может быть, с жиру бесятся? — так нередко заключают и их соотечественники, и люди, удаленные на тысячи километров и на несколько эпох от Сабурбии.

Нейлзы оправдываются: они хорошие, порядочные люди, они не виноваты в том, что произошло с их сыном. Автор дает возможность объяснить болезнь Тони и так: когда он сказал отцу, что хочет бросить школу, отец так разозлился, что едва не убил его. На следующий день Тони и не встал с постели. Но, конечно, это лишь частичное объяснение. Многие коренятся в тех, более глубоких, чем память, «закоулках сознания», о которых несколько раз упоминается в романе.

Атмосфера иррационального пропитывает последнюю — и кульминационную — сцену: попытку убийства Тони. Убивают юношу, с которым писатель нас познакомил, но это не вызывает почему-то почти никаких эмо-

ций. То ли не веришь, что убийство произойдет, то ли ощущаешь, что столкновение — не истинное, что перед тобой макет. Мне представляется, что область иррационального — не чиверовская литературная территория, к тому же территория, густо заселенная его собратьями по перу.

Между тем это убийство не обыкновенное, а «ритуальное».

Сумасшедшая мать Хэммера однажды сказала сыну, что если бы она вернулась в США, то «поселилась в каком-нибудь местечке вроде Буллет-Парка. Купила бы себе домик — этаким незаметным, обыкновенным. Играла бы в бридж, участвовала в благотворительных организациях, принимала гостей, ходила бы на коктейли — и все для того, чтобы скрыть свою истинную цель.

— Какую же?

— Я бы наметила себе какого-нибудь молодого человека, какого-нибудь, скажем, агента рекламного бюро, семейного, с двумя-тремя ребятишками, словом, он должен представлять собой образец человека, живущего без эмоций и для которого не существует духовных ценностей.

— Что бы ты с ним сделала?

— Распяла бы его на дверях божьего храма, — произнесла она со страстью. — Человек, распятый на кресте, — это, и только это выведет наше общество из оцепенения! Эта мысль — вывести общество из оцепенения — звучит в книге не раз.

Гораздо страшнее, чем несостоявшееся убийство Тони, то медленное убийство души, которое так талантливо, по-чиверовски, изображено и так точно высказано, например, в монологе Нейлза: «Я ненавижу ложь и лицемерие — в самом деле, глядя на наше общество, которое терпит всех этих обманщиков, не мудрено затосковать. А ты думаешь, я располагаю свободой и независимостью в той мере, в какой бы хотел? Да нет. Еда, одежда, личная жизнь и сами мои мысли в значительной степени регламентированы кем-то сверху. Впрочем, подчас я даже радуюсь, когда мне говорят, как я должен поступать. Я не всегда способен решить, что правильно, а что нет».

В Декларации независимости США в 1776 году было записано, что все граждане молодой республики имеют неотъемлемые права: на жизнь, на свободу, на стремление к счастью.

Сабурбия дала человеку как будто многие предпосылки счастья, независимости:

отсутствие прямого, видимого принуждения, деньги, отдельный дом — тот самый дом из мечты, — и вместе с тем отняла неповторимость бытия.

У И. Ильфа есть такая запись: «В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет». Во всех домах, куда вводит нас Чивер, есть радио, телевизор, холодильник, машины — множество умных машин, которые и не снились фантастам. А счастья, да что там счастья — простого взаимопонимания, теплоты человеческих отношений нет. Дети не понимают родителей, мужья не понимают жен, друзья... впрочем, в Буллет-Парке нет и следа истинной дружбы. Мосты-связи между людьми рушатся. «Каждый день Нейлзу приходилось переходить из одной атмосферы в другую, переключаться с одного ритма на другой. Такая жизнь могла длиться лишь при наличии мостов между компонентами, ее составляющими. И вот один из главных его мостов — тот, что связывал белый домик, в котором он жил, с конторой, — вдруг обрушился». Он ощущает, что не может ехать на поезде; выходит на одной станции, потом на другой, не может добраться до работы. Идет к врачу, начинает принимать транквилизаторы, уже не может обходиться без них, в сущности, превращается в наркомана.

Как Нейлз, уезжая из Сабурбии, должен переключаться с одного ритма на другой, так и автор в этом романе переключает ритмы, вводит все новые и новые голоса. В первой части мы приближаемся к Буллет-Парку вместе с Хэммером, и сабурб поворачивается перед нами; его видит то агент, то вновь прибывший, то подросток, то Нейлзы — изнутри; вторая часть написана от имени Хэммера; в третьей части — снова многоголосие, но мы, читатели, уже подготовлены к тому, что произойдет.

Роман закрываешь едва ли не с ужасом — такая в нем царит беспросветность. И только горькой иронией звучат последние слова: «В понедельник Тони пошел в школу, а Нейлз, принявший таблетку, отправился на работу, и жизнь сделалась прекрасной, прекрасной, прекрасной, прекрасной, как всегда».

Сигналы предстоящих несчастий многочисленны и конкретны: Нейлз распиливает механической пилой сушняк у себя в саду, — именно эту пилу он схватит в конце

романа, чтобы распилить запертую дверь в церкви и спасти сына. На глазах у Нейлза гибнет человек под поездом, остается лишь желтый башмак. В разное время и Элиоту и Нэлли Нейлз сняты их собственные похороны: а ведь смерть ребенка и есть собственные похороны...

Нейлзу долго хочется верить, что источники зла — за пределами Сабурбни. Боль, страдание — гайнстевенная страна, которая расположена даже за пределами Западной Европы. Вот Хэммер вовсе не из Сабурбни — он выходец из большого города, где царят разврат и пороки. Но отец Хэммера недаром был «мужской кариатидой», поддерживающей важнейшие государственные здания. Прямая символика ясно говорит читателям: такие, как Хэммер,— столпы американского общества.

Сабурб — это попытка отгородиться. Что же принесла эта попытка?

Прошло более двух столетий с того дня, когда Жан Жак Руссо, отвечая на вопрос Дижонской Академии наук, способствует ли развитию наук и искусств порча или очищение нравов, осудил и проклял бесчеловечную цивилизацию. Гнев и печаль Руссо вдохновляли многих мыслителей и художников разных поколений. Вопрос этот еще острее звучит сегодня.

Бесспорно правы те, кто резонно говорит, что насыщение лучше голода, благоустроенный дом лучше бараков, трущоб, коммунальных квартир; что автомобиль, газ, моющие средства, умные машины и приспособления облегчили быт — приготовление и хранение пищи, уборку жилища...

Но правы и те, кто в страхе напоминает о ракетах с атомными боезарядами, о бактериологических бомбах, о смертоносной химии, о губительном загрязнении воздуха и вод. Правы те, кто с тревогой спрашивает: что же происходит с душой человеческой?

Чивера-писателя, естественно, более всего заботит человек, личность, душа. Его пугает исчезновение, утрата личности в том мире, где живут его герои. Его страшит тот образ жизни, который все блага цивилизации обращает во зло.

Проблемы, поставленные Чивером, близки многим и многим людям, широко обсуждаются в американской печати.

Один из виднейших, вполне официальных идеологов США, редактор журнала «Сэтерди ревью» Норман Казинс в статье с выразительным заглавием «Требуется: новая Мечта» пишет: «В течение многих лет многие американцы, ни минуты не сомневаясь, предписывали свой образ жизни как верное лекарство ото всех бед человечества... Однако сейчас мы должны признать поразительный факт — все это противоречит интересам человечества. Сейчас требуются прежде всего не новые меры, чтобы предотвратить или контролировать разрушение земли, а новые идеи и ценности, направленные на создание такого будущего, которое сохранило бы человека. И в этом будущем хорошая жизнь будет измеряться скорее улучшением отношений между людьми, а не увеличением национального дохода... Индивид тогда будет раскрываться полностью творчески и нравственно... национальной целью станет восстановление природы и открытие того, как жить в мире с природой. Весьма вероятно, что другие страны найдут эту цель достойной подражания в гораздо большей степени, чем нынешнюю. Быть может, именно это и пытаются сказать нам наши молодые люди».

Эта цель не осуществлена и в Сабурбни. Джон Чивер — уже не молодой человек, но говорит он своим романом именно это.

Р. ОРЛОВА.

★

РАССКАЗЫ РОМАНИСТА

Юрий Трифонов. Кепка с большим козырьком. «Советская Россия». М. 1969. 270 стр.

«Кепка с большим козырьком» — это короткие рассказы, написанные опытным романистом. Юрий Трифонов строит сюжет, рисует характеры с такой неторопливостью и подробностью, как будто у него «в запасе» большая эпическая форма. Тем большее

впечатление производят неожиданные развязки, которые сжимают тему до новеллистического лаконизма.

В рассказах Юрия Трифонова есть прямые связи с его прежними книгами — «Студенты», «Утоление жажды» и «Отблеск ко-

стра». Можно заметить даже, что тема недавно опубликованной повести «Обмен» завязывается в рассказе «В грибную осень». Все это свидетельствует о неразрывности творческих замыслов. Писатель идет в глубину своей избранной темы.

Печатавшиеся в разные годы и собранные вместе рассказы и очерки Юрия Трифонова приобрели новое качество: они стали книгой. То, что казалось случайным, эпизодичным, нашло свое место в пределах общего замысла. И в трудном искусстве составления сборника разнородных произведений виден опыт романиста.

И дело здесь, конечно, не в том, что Юрий Трифонов нашел удачное совмещение сюжетных линий, удачно — по сходству или контрасту — сопоставил события, изображенные в тех или иных рассказах, а в том, что его художественный мир обладает единством. Поэтому и в его творчестве есть ненарушимые связи идей, образов и понятий.

«Я пишу книгу не о жизни, а о судьбе», — говорил Юрий Трифонов в вышедшей несколько лет назад повести «Отблеск костра». Это признание характерно для него как для писателя. Рисуя повседневное, он имеет в виду историческое. События и характеры в его рассказах развиваются всегда в необходимой зависимости «от собственной жизни и жизни века».

Тональность рассказов Юрия Трифонова очень проста. В них повествуется о том, как изо дня в день складывается жизнь человека. Даже названия рассказов подчеркнут будничные: «Был летний полдень», «В грибную осень», «Беседа с герпетологами», «Однажды душевной ночью».

«...Всякая умно наблюденная житейская история есть хороший материал для писателя», — отмечал Лесков. Как рассказчик и очеркист Юрий Трифонов наблюдателен и точен в подробностях. Но самое существенное и самое важное то, что он создал свой мир, своих героев, характеры, в которых есть страсть, динамика и мысль.

Характер современника — вот что занимает Юрия Трифонова больше всего. Его герои — строители, механики, инженеры, рабочие и интеллигенты, революционеры и антифашисты, люди труда и нравственного долга.

Рассказ «Был летний полдень» можно назвать программным для книги Юрия Трифонова. Сюжет этого рассказа — путешествие

на родину. Ольге Робертовне на склоне дней довелось повидать тот небольшой прибалтийский городок, где начиналась ее юность. Дорога домой воскрешает в ее памяти невозвратимые утраты.

Ее встречают с цветами, как ветерана. Среди встречающих есть даже «сотрудники музея». Она слушает чтение брошюры, посвященной ее мужу, Сергею Ивановичу, начинавшему здесь свой путь революционера, и думает: «Разве кто-нибудь может все это описать так, как было?» В ее воспоминаниях возникают картины революционного Петрограда, величественные и суровые, как сама эпоха.

Дорога на родину протянулась через всю ее жизнь. В родном городе ее узнала и назвала настоящим именем — Хельга — подруга ее детства, «старушка с древним лицом в глиняных складках, с большим серым носом и голубенькими лунками вместо глаз».

«...Ольга Робертовна — человек мужественный и твердый. Предки дали ей медленную балтийскую кровь, ее руки не боялись труда...» Она чуждалась громких и красивых слов и о своей поездке на родину сказала своим домашним только, что в Прибалтике «все пять дней почти сплошь дожди». Но лицо современника освещено в книге Юрия Трифонова «отблеском костра», огнем революции.

Необходимо большое художественное чутье, чтобы увидеть законченный характер в повседневном поведении, историю — в биографии современника. Юрий Трифонов рассказывает о том, что знает до мельчайших подробностей, иногда грустно, иногда весело, иногда саркастично, но всегда сдержанно и просто.

Большая удача Юрия Трифонова — женские образы его книги. Это характеры живые, современные, типичные. Когда читаешь рассказы «Был летний полдень», «Вера и Зойка», «В грибную осень», кажется, что рассказал писатель больше, чем он рассказал. И это верный признак художественной глубины произведений.

В рассказе «Вера и Зойка» все начинается очень просто, а кончается еще того проще. Но какая сложность людских отношений разворачивается перед нами! Лидия Александровна для Веры — это «знакомая клиентка, пятьдесят два восемьдесят», которая пригласила ее, приемщицу из прачечной, с субботы на воскресенье за город — убрать дачу.

И весь рассказ представляет собой поразительное по неожиданности и стремительности превращение «клиентки пятьдесят два восемьдесят» в человека, в «Лиду Александровну», которая нуждалась в сочувствии Веры больше, чем Вера в ее вознаграждении за труды. Так, двойным движением, развивается сюжет этого рассказа.

«Деньги были очень нужны». С этого все и началось. И Вера уговорила свою соседку Зойку поехать на дачу. Зойка даже сына Мишку прихватила «для свежего воздуха». И в доме Лидии Александровны им все показалось красивым, «как у артистки». И сын у нее оказался взрослый, и муж — научный работник. Дача, правда, была очень уж запущенная, но для того они и приехали, чтобы все поправить.

И все четверо принимаются за дело. Это была не просто уборка, а ожидание, приготовление к чему-то лучшему. Лидия Александровна ждала, что в воскресенье к ней придет ее сын с отчимом, ее мужем. Но никто не приехал. Зойка торопилась и забрала причитавшиеся ей деньги. И сразу же уехала в город.

А Вера дотемна пробыла на даче. Оказалось, что Лидия Александровна отдала Зойке свои последние деньги. И Вера поделила поровну что у нее было, вышло по шестьдесят копеек. Потом она медленно шла одна по теплой легкой дороге на станцию.

Никто не приехал. «А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось?» — спросила Вера. «Нет, Вера, никакого несчастья», — ответила Лидия Александровна. В этих подробностях, в этих расчетах с копейками — такая горечь обманутого ожидания; но от рассказа веет не только горечью, но и надеждой.

Лидия Александровна вечером на террасе рассказывает о своей жизни. «Вера и Зойка слушали жадно, молча... Жизнь, о которой рассказывала Лидия Александровна, была так не похожа на их собственную жизнь, но чем-то странно напоминала ее». Юрия Трифонова привлекают именно такие неожиданные сочетания характеров, в которых живет правда. Он пишет о высокой цене познания и самопознания, несоизмеримой со всеми другими расчетами.

Рассказ «В грибную осень» полон неприметных открытий, которые образуют и объясняют характер. Надя с детьми — Колей и Витей — возвращается на дачу из Москвы. Осень была грибная, вечер ясный,

дети довольные — сцепив руки, они размахивали ими, «глядя друг на друга, как два восторженных дурачка...».

И в этот день случилось несчастье. Надя бросилась на телеграф: «Девушка, мне нужно срочно позвонить в Москву: умер человек». При этом она с тоской подумала: «Почему она назвала маму человеком?» Все сразу изменилось вокруг. Только дети ничего не поняли. Они то и дело «прибегали на кухню, нацепив волчьи маски, и рычали».

Надя потому и ужаснулась, что «назвала маму человеком», что вдруг поняла, как мало и плохо она отвечала матери на ее любовь. Она испугалась, когда тетя Фрося в упор сказала ей: «Заездила мать!» Это была неправда, но возразить не хватило сил. И тут же мать двоюродной сестры Зины уже затеяла разговор о новом обмене — «у нас ведь прекрасные две комнаты».

«...Надя не отвечала, а сидела как бы в оцепенении, глядя на блюде с салатом...» Нет, это не жестокость. Была жизнь, обыденная жизнь, с удобствами, тахтой, свежим бельем и пирогами («мама великая кулинарка»), но во всем этом было мало любви. И она поняла это, когда ничего уже нельзя было поправить.

Никакая тема не велика для рассказа. Но тема «обмена» нашла продолжение в развернутой повести. «В грибную осень» — менее завершенная вещь, чем «Вера и Зойка», но оба эти рассказа принадлежат к числу новых и больших удач Юрия Трифонова. Нравственные проблемы в его произведениях ставятся не отвлеченно, не абстрактно, а возникают из глубины образной системы, воплощаются в характерах и судьбах героев.

Герои Юрия Трифонова много ездят, много видят. Большой цикл рассказов в книге называется «Путешествия». Здесь изображены не туристские маршруты, а дороги познания современного мира. Один из рассказов книги назван тем же словом — «Путешествие». Он написан от первого лица и во многом является самоопределением автора.

«Однажды в апреле я вдруг понял, — пишет Юрий Трифонов, — что меня может спасти только одно: путешествие». Так велико было желание выйти за пределы привычного быта: «...мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровел, что если я не вырвусь завтра же из этой клетки из сухой штукагурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных книжных полок, пе-

реплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц, я умру».

И вот взъискавший дальних дорог автор отправился в редакцию просить командировки «все равно куда». Он сказал, что ему «хотелось бы познакомиться с какими-нибудь конфликтами, страстями, производственными драмами, в которых раскрывались бы судьбы людей и разные точки зрения на жизнь». Если отвлечься от фельетонного тона, который появляется в этом рассказе, похожем на автопародию, то в этих словах действительно выражается программа Юрия Трифонова и сущность его творческих задач.

Рассказ «Путешествие» есть преодоление поверхностной идеи «путешествия». Заведующий отделом, выслушав авторское излияние о «судьбах людей и разных точках зрения на жизнь», резонно заметил: «Это вы найдете, где угодно». И вот автор медленно идет по родному городу. Навстречу ему движется «густой и медленный, весенний поток людей».

Незнакомое окружает автора, забегает вперед, исчезает за спиной, теснит его со всех сторон. Неизвестное бьет в глаза, лезет в уши, насаждает и требует внимания. «...Есть улицы и районы, совершенно мне неведомые», — признается он. «Дело не в километрах...» Вот, например, Дашенькин, сосед из квартиры напротив, пожимает автору руку, как другу. Между тем этот Дашенькин совершенно неведом ему. И наконец, «в зеркале мелькнуло на мгновение серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю». Юмористическая складка этого рассказа не скрывает серьезности мысли, положенной в его основу.

Нет, дело не в километрах. В рассказе «Победитель» Юрий Трифонов изображает человека, который пережил всех своих сверстников и совершенно забыл, что он пережил. Старик участвовал в парижских Олимпийских играх 1900 года. Правда, он занял там последнее место, но уже тем одним, что он «участвовал и жив», он становится диковиной и знаменитостью.

Чтобы посмотреть на победителя, к нему в Кулоз, неподалеку от Гренобля, приезжают туристы. На его лице написано «тщеславие старости» — и больше ничего. «Он ничего не помнит, — пишет Юрий Трифонов. — Войны, смерти, болезни, революции, празд-

ники перепутались в его мозгу, уже где-то цепенеющим и откликающемся на что-то одно, свое, случайное, как полумертвый радиоприемник, в котором все лампы вышли из строя, кроме одной». Он улыбается, он ощущает жизнь «до дрожи», но что-то не менее важное, чем сама жизнь, — ее идея, смысл потеряны навеки. Человек без воспоминаний не воспринимает нового. Человек без воспоминаний не может оценить прошлого. Юрий Трифонов пишет об этом саркастично и умно. И кратко. Не больше того, что требует мысль. А мысль важная и большая.

Память требует деталей вплоть до «парусиновых туфель, которые по вечерам натирала зубным порошком», чтобы утром «при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли...». В этом память следует за историей, которая извлекает из суммы обыденных фактов общий закон. И если хотя бы отчасти верно, что проза есть накопление подробностей, то надо признать, что Юрий Трифонов не пренебрегает никакими мелочами, если они характеризуют время.

В рассказах Юрия Трифонова пропасть людей. И все они разные. И каждый из них чем-нибудь дорог автору. Это чувство невольно сообщается и читателю. В рассказе «Очки» коллектор Галя «думает о людях, с которыми вместе работает уже третий месяц, и не перестает им удивляться. Странные они, пестрые какие-то. Хорошие или скверные — не разберешь. От зари до зари в поле, ночью зябнут, днем пекутся на солнце, ссорятся из-за планшетов, ругаются, хитрят, поют песни...». Эти слова, пожалуй, могут быть отнесены ко всей книге Юрия Трифонова.

Он не только удивляется этим людям, создающим все, что есть ценного на земле, — он любит и понимает их. Как любопытную особенность рассказов Юрия Трифонова следует отметить ту смелость, с которой он изображает героев «иноязычной среды». С замечательной колоритностью нарисованы в его рассказах характеры молодого изыскателя Ораза, слушающего туркменскую песню в вагоне («Старая песня»), шофера курда по имени Бондо («Бондо»), злополучного Арташеза, приехавшего в пустыню из горного армянского села («Кепка с большим козырьком»).

В рассказах и очерках Юрия Трифонова возникают картины Испании («Испанская Одиссея»), Италии («Воспоминания о Джен-

цано»), Болгарии («Костры и дождь»). Путевые очерки писателя, какова бы ни была их тема — вплоть до спортивных новостей, — наполнены сильным лирическим чувством. В этом отношении наиболее примечательным очерком является «Самый маленький город».

Вообще лирика органично входит в прозу Юрия Трифонова. «Когда идешь по бархану вниз, — пишет Юрий Трифонов, — ноги погружаются в песок до щиколоток. Это похоже на ходьбу в воде. Тихо шуршит, струится белый песок, пластинами сползая вниз. Мне кажется, что я погружаюсь в вечность, плыву в песке огромных песочных часов». Какая смелая метафора! Она могла бы найти место в поэме о пустыне («Песочные часы»).

А вот описание московской ранней весны: «Расталкивая облака, гуляло над городом влажное синее небо. В овощном магазине, где всю зиму торговали консервами и черной картошкой, появился парниковый лук. По утрам мимо окна проносились стремительные, пугавшие Клавдию Никифоровну серые гени, внизу ухало, наверху гремело железо: рабочие сбрасывали снег с крыши» («Голубиная гибель»).

В сборник «Кепка с большим козырьком» вошли рассказы разных лет. Не все они выдержали проверку временем. «Последняя

охота», например, испорчена прекраснородушным финалом. Рассказ «Неоконченный холст» кажется недоконченным по существу.

Некоторые рассказы похожи на геодезические «кроки», наброски с натуры, как, например, «Прозрачное солнце осени» или «Однажды душной ночью», хотя в этом последнем эскизе недосказанность полна смысла. Но читатель не успевает понять и полюбить героя. А без этого нет искусства. Рядом с такими набросками кажется непомерно растянутой полуповесть-полурассказ «Доктор, студент и Митя». Здесь явно недостает сюжета, несмотря на внешнюю логичность и связь событий. Дело объясняется, по-видимому, тем, что в прозе Юрия Трифонова, как уже говорилось, большое значение имеет лирическое начало. И только там, где автор достигает высокой цели поэтического обобщения, рассказ получается цельным и сильным.

Юрий Трифонов и сам живет, действует и говорит в своей книге от первого лица. Рисуя характеры современников во всей сложности их судьбы, он прошел вместе со своими героями по всем трудным дорогам, которыми вела их «собственная жизнь и жизнь века».

Эдуард БАБАЕВ.



Политика и наука

КОММЕНТАРИЙ К ЛЕНИНСКОЙ СТАТЬЕ

Б. Назаровский. Замечательное дело. Пермское книжное издательство. 1970. 186 стр.

18 августа 1913 года в газете «Северная правда» за подписью «И» была опубликована статья «Замечательное дело», посвященная полувековой тяжбе мастеровых Павловского и Очерского заводов о наделении их земель. Статья эта, принадлежащая перу В. И. Ленина, блестяще подтверждает ленинское определение публицистики как истории современности.

В чем суть дела? По закону 3 декабря 1862 года рабочие Павловского и Очерского заводов, входивших в Пермское майоратное имение графов Строгановых, должны были быть наделены землей. Почему же и к 1913 году они не получили ее? Препятствовали крупные помещики — вла-

дельцы уральских заводов. И даже когда в 1909 году сенат вынес решение в пользу мастеровых, Столыпин, а позднее его преемник Маклаков под нажимом уральских помещиков приостановили дело.

Об этой поистине беспримерной даже для царской России тяжбе писали в те годы либеральные газеты «Речь», «Русское слово» и другие. Лицемерно сокрушаясь по поводу столь длительной волокиты, они сетовали на то, что в России плохо обстоит с «господством права». Но сама тяжба явилась лишь иллюстрацией к незыблемому положению: если закон почему-то пришел в противоречие с волей господствующего класса, он отступает... Когда порванная кре-

постническая цепь ударила, как писал Некрасов, одним концом по барину, другим по мужику, баре приложили все усилия к тому, чтобы смягчить пришедший на их долю удар. А такие баре, как уральские латифундисты, и особенно первые из них — Строгановы, не останавливались и перед прямым отказом выполнять закон. Разоблачая словоблудие либералов, Ленин писал: «Помещики тоже стоят за «право» — только за помещичье право, за свое право, за право своего класса».

Философская, политическая и экономическая глубина и емкость ленинской статьи побудили автора рецензируемой книги, уральского литератора Б. Назаровского к изучению материалов, так или иначе причастных к тяжбе. И вот перед нами результат многолетней исследовательской работы — книга, названная так же, как и статья Ленина: «Замечательное дело».

Большое место в книге отведено документам, историческим фактам, при этом автор не просто приводит их, а глубоко анализирует, умело сочетая научную достоверность с публицистической увлеченностью.

В книге нет той поверхностной беллетризации, к которой, не будем греха таить, прибегают порой иные авторы, обращающиеся к историческим сюжетам, а есть последовательный и аргументированный анализ событий с привлечением таких документов, которые зачастую красноречивее всяких слов.

Б. Назаровскому удается краткими характеристиками представить читателю «действующих лиц» исследуемой драмы. Графиня Софья Владимировна Строганова — законодательница в своем удельном «государстве в государстве». Недаром ее величали не просто «графиней», а «государыней-графиней». А вот последний яркий представитель династии — Сергей Григорьевич Строганов. Напомним, что этого «просвещенного» вельможу А. И. Герцен в своем «Колоколе» назвал генерал-инквизитором и иезуитским гонителем просвещения.

Справедливости ради отмечим, что автор не всегда соблюдает в характеристиках тех или иных персонажей необходимую для исследователя объективность. Так, например, вряд ли уместен снисходительно-иронический тон по отношению к Павлу Александровичу Строганову. Известно, что вос-

питателем его был француз Шарль Ромм, впоследствии член Конвента. Сам же П. А. Строганов, живя во Франции, стал членом якобинского клуба и принял имя Поль д'Очер. Известно также, что живший в годы войны на Урале Ю. Тынянов начал работу над повестью «Поль д'Очер», но смерть помешала писателю закончить это произведение.

Архив династии Строгановых в Центральном государственном архиве древних актов ждет своих исследователей и романистов. Зондаж, произведенный в этих фондах Б. Назаровским, свидетельствует о том, что историки, изучающие становление рабочего класса в горнозаводских районах Урала, найдут там много важного материала для своих исследований.

Б. Назаровский прослеживает жизнь мастеровых Урала с того времени, когда они начали свою беспримерную тяжбу со Строгановыми, показывает ее как хорошую школу классово-борьбы с угнетателями.

Урал был одним из главных районов крестьянских волнений. Причем районом наиболее опасным, ибо крепостные были сосредоточены здесь большими массами на рудниках, приисках, заводах. К тому же в народе жила память о Пугачеве. Характерно, что в Очере после оглашения высочайшего манифеста мастеровые тут же, в церкви, осмелились спросить священника, подлинный ли манифест оглашен им... В губернии начались волнения. В Перми культурно-просветительный кружок выпустил прокламации, в которых призывал мастеровых и крестьян требовать землю даром («Не то вас помещики совсем ограбят. Сам царь заодно с ними хочет грабить вас!»).

Затянувшееся на полвека «дело» о наделении уральских мастеровых землей привлекло внимание Ленина не только потому, что в нем отразился мучительный для народа «пруссский путь» пореформенного развития России, но прежде всего потому, что он видел в нем выразительное подтверждение марксистского учения о классовой борьбе и считал его очень поучительным для рабочего класса.

Может возникнуть вопрос: почему мастеровые выставляли несвойственное рабочим требование о наделении землей? Требование это продиктовано было не желанием бросить работу на заводах и целиком заняться крестьянским трудом, а стремлением обезопасить себя от чрезмерной «прижим-

ки», от безудержной эксплуатации заводчиком, с одной стороны, и от безработицы — с другой (от «гулевых», или, как рабочие их называли, «голодных смен»).

Особенно интересной и значительной представляется нам глава «Право на землю и право на труд». Земля, как писал Маркс в «Капитале», является всеобщим предметом человеческого труда и всеобщим его средством. В земельных требованиях уральских рабочих она выступает в этом широком ее определении, как предпосылка приложения всякого труда. Среди уральских рабочих бытовало убеждение, что только труд дает право на землю, что земля может

оказаться в частном владении только по праву трудовой заимки. Поскольку помещик-заводовладелец свертывает производство, он лишается права на землю.

Опираясь на высказывания Маркса и Ленина, автор приходит к интересному выводу: утверждение уральскими рабочими своего права на землю включало не только общедемократическое, антифеодалное требование освобождения земли и вместе с нею промышленности от крепостнических пут, а и мечты о лучшем, справедливом строе.

И. МАТЮШИНА,

кандидат исторических наук.

★

МЫСЛИ, КОТОРЫЕ РОЖДАЕТ КНИГА ДОКТОРА СПОКА

Бенджамин Спок. Ребенок и уход за ним. «Медицина». М. 1970. 495 стр.

Дети — наши создания, залог нашего бессмертия. Все другие достижения в нашей жизни не идут ни в какое сравнение со счастьем видеть, как из наших детей вырастают достойные люди.

Бенджамин Спок.

Совсем недавно мы были свидетелями того, с каким мужеством выступил против войны во Вьетнаме знаменитый американский педиатр Б. Спок. Нам, советским людям, легко понять его позицию, ибо детский врач и война — не освободительная, во имя детей, а захватническая — несовместимы. Сейчас книга Спока, которая на родине автора издана тиражом в двадцать миллионов экземпляров, переведена на русский язык.

В чем достоинства этой книги? Почему люди за океаном и в Европе говорят: «Мы воспитываем детей по Споку» — и понимают друг друга, о чем идет речь? Ведь педагогика стара, как человечество, а постулаты учителей в основе своей заучены наизусть.

Общеизвестно, что во всякой проблеме наряду с принципиальными и основными положениями существуют детали и «мелочи». Бесспорно, что успех в любом деле во многом зависит от понимания коренных задач, соблюдения главного направления. Но жизнь показывает, как важно при этом помнить о таком немаловажном факторе, как мелочи, которым зачастую не придается достаточного значения. В книге Спока не чувствуется тяготения автора к изло-

жению сложных теоретических концепций и философских идей. С вами беседует и дает советы старый, добрый, умный и ученый человек. В книге написано о том, из-за чего многие страдают, над чем часто задумываются, реже разговаривают и о чем совсем мало пишут. Возможно, что для того, чтобы об этом писать, надо, кроме всего прочего, быть крупной личностью. И если автор, начиная серьезный разговор из области медицины, психологии и педагогики, пишет: «Не бойтесь доверять собственному здравому смыслу» и «Будьте естественны и не бойтесь ошибок», а не торопится привести необходимые цитаты или оградить себя от возможных упреков, то это говорит об одном: автор уверен в себе и доверяет своему читателю, что уже немало. Ибо с доверия начинаются самые важные и добрые дела.

Более всего в книге Спока привлекают не четкие медицинские советы — они на самом деле весьма полезны, — не психологически обоснованные советы родителям — в их основе лежит много горьких исповедей, выслушанных опытным доверенным врачом, — а радует отсутствие ханжеских шор и свобода мышления в трактовке автором наиболее деликатных проблем. Согласитесь,

что ревность между детьми, режим ребенка, когда родители в разводе, дурные привычки ребенка — мелочи, пока не касаются лично тебя. Обилие поставленных и освещенных автором вопросов, угол зрения его на эти проблемы вызывает работу мысли, вероятнее всего, именно в той области, которая данного читателя более всего волнует. Понятно, что у разных людей могут появиться весьма несходные ассоциации. Поэтому сразу оговорюсь, что прочитанная книга для меня явилась лишь поводом для изложения ряда вопросов. Многие из тех положений, которые будут приводиться из книги Спока, дискуссионны и цитируются не в качестве постулата или руководства к действию, к чему мы в таких случаях привыкли, а просто как основание, чтобы задуматься или поспорить.

* * *

Первое ощущение, которое остается, когда закрываешь прочитанную книгу, — некоторая растерянность: кажется, что автор наделил ребенка неоправданно большим числом качеств взрослого. Действительно. В три месяца — его уже можно избаловать. В год — он становится личностью. В три—пять лет — начинает испытывать физическое влечение к близким людям, а в шесть лет — склонен восставать против тирании дисциплины. Но попробуйте начать разматывать длинную ленту событий, накрученную на тонкий стержень своей памяти. Острые и радостные запахи всех времен года, а более всего — весны, ощущение неожиданной тоски и одиночества или бурной радости. Невольно вы вспомните — кто институт, кто школу, а кто и детский сад. Оказывается, что на самом деле не автор навязывает ребенку свойства взрослого, а взрослые до самой смерти несут в себе качества детей, возникшие у них на всех этапах детства, начиная в прямом и переносном смысле с пеленок. Увы! Мы склонны забывать не только то, что трудно помнить, но и то, о чем забывать ни в коем случае нельзя.

Вот здесь возникает первый вопрос: делаем ли мы все, что в наших силах, чтобы сегодня, в 1970 году, наделить ребенка теми лучшими качествами, которые ему понадобятся для сознательной жизни десять — пятнадцать лет спустя. Или когда он достигнет вершины своего интеллектуального развития — в 2000 году?! Однако прежде

чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на него глазами доктора Спока...

Ребенок, какой он? Многие из нас забыли, какими они были в детстве. Кстати, именно в этом кроется одна из трагедий воспитания, ибо мы не в состоянии ни взглянуть глазами ребенка на себя, ни понять его чувств и ощущений. Поэтому многие поступки предстают перед нами в извращенном виде. Мы трактуем их, исходя из собственного отношения, которое с позиций ребенка чаще всего кажется абсурдным или странным.

Каким его видит доктор Спок? Вот заголовки некоторых разделов его книги: «Он не такой хрупкий, как вам кажется», «Ребенок легко отвлекается — это очень удобно», «Он становится разборчивым», «Жизнерадостность», «Страсть к исследованию», «Не бойтесь его», «Копуша», «Цензурные слова... Однако оценить содержание подобных довольно известных оценок возможно, лишь вчитавшись в текст книги. Попробуем привести несколько примеров.

* * *

Вспомните, как на определенном этапе вы сами или ваш ребенок начинали проявлять свой характер, что квалифицировалось как упрямство.

Спок пишет: годовалый ребенок «как будто сознает, что не предназначен быть игрушкой родителей до конца жизни, что он человек, личность, что у него есть свои желания и мысли... Представьте себе на минутку, что бы с ним стало, если бы у него никогда не было желания сказать «нет». Он стал бы роботом, механическим человеком. Вы бы не смогли удержаться от искушения постоянно командовать им, и он прекратил бы развиваться и узнавать новое. Когда он вырастет и пойдет в школу, а позже на работу, все вокруг будут пользоваться его неумением говорить «нет», и он всегда будет никчемным человеком.

Следовательно, личность начинается не только с дисциплины и хороших оценок в школе, а гораздо раньше — с умения сказать слово «нет».

Сколько огорчения родителям доставляют полные и худые дети. Чрезмерный аппетит или отсутствие его являются предметом многолетних переживаний всей семьи, ближайших родственников и знакомых медиков. Б. Спок наряду с медицинским ас-

пектом видит и другую неожиданную сторону:

«Когда позднее у детей развивается повышенный аппетит, то часто его причина в душевном разладе ребенка... почувствовавшего одиночество и тоску... Он чувствует себя заброшенным в огромном чужом мире».

Вероятно, при многих отклонениях физического характера корни их следует искать не только во врожденной предрасположенности или заболевании.

Кто не слышал на бульварах или садах истощенных криков нянь, матерей или бабушек: «Перестань пачкаться, как поросенок! Вернись на место!»... А вот что мы читаем в книге Б. Спока:

«Дети обожают купаться в земле и песке, плескаться в воде, ходить по лужам, кататься по траве, сжимать в руках грязь. Эти восхитительные вещи обогащают их душу, согревают, делают их добрее, так же как музыка или любовь делают лучше и добрее взрослого человека».

Иногда за пачканием одежд и рук, за внешней неэстетичностью поведения — с позиций взрослого человека — мы не умеем разглядеть потребности души ребенка и наносим ей ущерб.

Кого из родителей не радовала способность ребенка к буйной фантазии! Такие дети производят впечатление на окружающих своей смысленностью. Родителям их мы порой завидуем. Правильно ли это?

«Когда ребенок... рассказывает выдуманную историю, он не лжет в том смысле, в каком мы понимаем ложь. Он ярко представляет себе все, что он говорит... Если ребенок целый день рассказывает истории о воображаемых друзьях иключениях, но не в качестве игры, а так, будто он верит в то, что говорит, возникает вопрос — счастлив ли он в настоящей жизни».

Не все то, что нам в ребенке кажется плохим, — плохо. Не все то, что представляется хорошим, — на самом деле хорошо. Нам свойственно измерять явления и чужие поступки по себе, по своим ощущениям, а потому мы зачастую жестоко ошибаемся.

В определенном отношении я всегда был невысокого мнения о девочках. Секретов у них хватало в лучшем случае на двоих. Когда появлялась третья — знал весь класс. Но что касается нас, ребят, то страсть к

таинственному была нашей второй натурой... А кто из нас не играл в казаков-разбойников, а позднее — в Чапаева? Следопыты и сыщики! Как об этом наше поколение вспоминало в суровые дни Отечественной войны, когда мы оказались лицом к лицу с настоящим врагом! А партизаны и молодогвардейцы в тылу врага — для них тайна стала бытом.

Проявляем ли мы достаточно терпимости и доверия к нашим ребятам, когда они хотят удовлетворить интересное и полезное стремление к тайне? У меня в этом уверенности нет... Спок пишет об этом тяготении ребят:

«Они изобретают отличительные знаки, назначают место тайных встреч, составляют списки правил. Они могут забыть придумать самый секрет, но возможно, идея секретности — это потребность доказать, что они могут сами управлять собой без вмешательства взрослых».

Согласитесь, приведенные примеры дают основание утверждать, что мы не всегда знаем и понимаем детей, верно оцениваем их поступки, правильно реагируем на них. Ребенок очень быстро меняется. Наподобие растения или, точнее, плода он созревает. На каждом этапе у него возникают новые, неожиданные для нас потребности. Он значительно старше того, чем нам кажется. Недаром негритянская пословица гласит: «Ребенок все понимает, но притворяется, что не понимает, чтоб не работать...» Но одновременно он и моложе того, за кого мы его принимаем. Вспомните обидчивость и «дикость» одних ребят, развязность и наглость других — часто эти, последние, просто маскируют свою скромность и стеснительность. Отсюда вытекает единственный вывод. Коль скоро вы имеете дело с детьми по роду своей работы или со своими собственными детьми, то, очевидно, важно знать о ребенке, его психологии, законах его развития максимум того, что дает современная наука. А ученым свою информацию о детях — излагать в разных формах, в зависимости от уровня читателя и слушателя. О самом сложном и трудном можно и должно говорить просто.

Прежде чем обратиться к вопросам воспитания ребенка, мне хочется сделать отступление, связанное с одним из утверждений Б. Спока. Он пишет: «В соответствии с законами природы мы растим наших детей так же, как растили нас. Это разумно.

Таким образом, одно поколение передает свои идеалы следующему поколению, что является залогом сохранения нашей культуры».

Положение это вызывает у меня большие сомнения. Бурный прогресс общества, изменение его морально-этических принципов и технических возможностей, если речь идет о странах социалистических, настоятельно требуют и пристального отбора тех черт характера и традиций из всего громадного багажа, которым нас снабдили родители, но и обогащения и развития этих традиций. Я убежден, что наши дети должны быть воспитаны лучше нас.

Поэтому, развивая эту мысль дальше, я допускаю и надеюсь, никто меня за это не осудит, что наряду с подавляющим большинством прекрасных семей, где родители сознательно прививают детям лучшие свои качества и стремятся избавить их от собственных дурных черт, могут существовать немногочисленные семьи, где наблюдается иная обстановка.

С целью чисто литературного заострения вопроса, без всяких попыток обобщений, с единственной целью облегчить понимание наших дальнейших задач сделаем попытку нарисовать эту неблагоприятную обстановку. Не подумайте, что речь идет о чистоте или порядке в доме. Как раз наоборот. Квартира или комната всегда убрана, очень чистая. Не видно разбросанных вещей, но это имеет отношение к внешнему. Нас же интересует сфера — как это достигается. Внешний вид членов этой семьи производит неприятное впечатление. Родители двигаются степенно и важно, как полагается старшим по возрасту. У ребят плохая осанка. Голова вытянута вперед, плечи сутулены, что должно выражать мужественность. Девочки сидят в изящной позе, с расставленными ногами. Движения резкие. В них нет ни легкости, ни плавности, ни ощущения силы. Походка развличенная.

Типична мимика. У старших замкнутые, серьезные, деловые, унылые лица. На них можно прочитать всю гамму принесенных со службы красок: от утомления, озабоченности до высокомерия. Общение с людьми, обладающими таким выражением лица, создает обстановку дополнительного напряжения. Все время думаешь: он чем-то недоволен, что-то подозревает или просто у него не в порядке пищеварение. Дети как будто из чувства противоречия стремятся

делать все наоборот: гримасничают, их физиономии находятся в постоянном движении, не улыбаются, а громко смеются, не просят, а нудно канючат, не говорят, а кричат.

Более всего в этом доме поражает тон. Он утомляет своей чрезмерной эмоциональностью. Диапазон интонаций поистине неизмерим. Вместо просьбы отдается приказ, который вызывает лишь одно — протест. По любому поводу — раздражение, которое порождает ответное раздражение. Здесь любят с особым назиданием повторять прописные истины, что вызывает убийственную скуку. Во всех разговорах звучат убеждающие интонации. Но поскольку тебя убеждают в очевидных вещах, то появляется естественное желание проверить — так ли уж эти бесспорные истины очевидны?

Отдыхать такая семья не умеет и, мне кажется, не очень любит. Ездят они преимущественно в дом отдыха, где из отпуска, по мнению родителей, извлекается «максимальный коэффициент полезного действия». Жесткий режим построен по известному графику: подъем, завтрак, загорание и купание, обед, тихий час, ужин, кино, сон. Возможны варианты. Стремление к режиму и дисциплине является стилем жизни семейства. Приказания отдаются в манере, в которой ефрейтор сверхсрочной службы до-революционной армии разговаривал с интеллигентами: «Рядовой Константинов! Немедленно вынеси мусорное ведро! Бегом!» Но почему-то любовь к дисциплине таким путем отнюдь не прививается... Более того — в доме нет ощущения той свободы, которой все мы обладаем. Она есть, но воспользоваться ею не хочется или некогда. Многие из того, что в других семьях принято считать радостным долгом — помочь матери или отцу в делах, — здесь неприятная обязанность, от которой по возможности уклоняются.

В общении с ребятами в семье существует твердо сложившийся трафарет. Поскольку вечерами родители заняты — мать хозяйничает по дому, а отец разбирает служебные бумаги, — то, естественно, преобладает деловая обстановка. Резким, раздраженным тоном произносятся фразы: «Тебе говорят!», «Нет, и не рассуждай», «Скорее, не копайся», «Чего ему объяснять — он все равно не поймет», «Хоть сто раз повторяй — как горох об стену!», «Выросла большая, а такой ерунды понять не можешь!», «Не твое-

го ума дело!», «Не болтай, почисть зубы и — спать!»...

Старшие постоянно и энергично что-то внушают детям и уверены, что их воспитывают. Ребятам при этом скучно и неприятно. Родители устают, и им тоже невесело. Но они искренне убеждены в том, что выполняют свой родительский долг. Именно так их воспытали родители. Иногда то же наблюдается в знакомых им семьях. А если не происходит, то, разговаривая друг с другом, они отмечают: «Мать, какие у Ивановых дети спокойные. Вот везет же людям...»

Понятно, что приведена не самая типичная семья. Понятно, что эти родители являются собой не лучший пример педагогического опыта. Кроме того, они просто не очень ласковые и не добрые люди. Хотя, вероятнее всего, исполнены наилучших намерений.

Возможно, я несколько сгустил нравственную атмосферу, которая возникает в семье подобного типа, но ведь именно внешний вид, мимика, тон разговора, ритм отдыха и работы, отношение к дисциплине, к долгу являются составными частями той семейной печи, в которой выплавляется будущей характер и традиции поведения ребенка. Свойства эти и интонации речи он принесет в коллектив, невольно будет ими заражать своих товарищей по детскому саду, школе, институту, колхозу или производству. И так — вплоть до 2000 года!

Воспитание ребенка. Попробуем посмотреть, в какой мере наши воспитательные представления и акции совпадают с теми, что рекомендует доктор Спок. Вероятно, и в данном случае целесообразно отдельно рассматривать, что мы делаем и каким путем это реализуем.

В своих воспитательных мерах родители исходят из лучших побуждений, но далеко не всегда задумываются об их последствиях, или, как говорят врачи, — об отдаленных результатах...

«Бывает, что молодую мать (или отца) в детстве слишком много ругали и наказывали. Они соответственно выросли внутренне неуверенными в себе людьми, что внешне часто выражается в нетерпимости к критике и в стремлении постоянно утверждать свою независимость».

Очевидно, на формирование личности, кроме наследственности и влияния среды в широком смысле слова, решающее воздей-

ствие могут оказать и формы воспитания в семейной ячейке.

В каждой семье имеется стремление сделать своего ребенка лучше. Нас раздражает, когда он не такой, как нам хотелось бы. Так, например, если ребенок тихий и спокойный — нас огорчает, что он недостаточно подвижен. Коль скоро он непоседа и шумлив — мы завидуем родителям, обладающим спокойными детьми. Понятно, что своего ребенка мы стремимся скорректировать и изменить по кажущемуся нам оптимальным варианту.

А вот что пишет Спок:

«Любите вашего ребенка таким, какой он есть, и забудьте о качествах, которых у него нет... Ребенок, которого любят и уважают таким, какой он есть, вырастает человеком, уверенным в своих силах и любящим жизнь... Если родители так и не смогли принять ребенка таким, какой он есть, если они постоянно дают ему почувствовать, что в нем все не так, как надо, то он вырастет человеком неуверенным в себе, он никогда не сможет в полной мере воспользоваться заложенными в нем... умом, талантами или физической привлекательностью».

До чего нас раздражают в определенном возрасте наши «колуши». Умывание длится пятнадцать минут, одевание превращается в мучение. «Скорее! Не возись!», «Сколько же можно, наконец!» — слышится во многих семьях...

А Спок считает:

«Подгоняя ребенка, вы заставляете его чувствовать себя некомпетентным, что приносит только вред».

Сколько переживаний, бесед с ребятами вызывает их отношение к школьным оценкам. Родители исходят из логичной предпосылки, что ребенок, приучившийся заниматься прилежно, и в дальнейшей своей жизни станет добросовестным работником. В этом есть большая доля истины. Но единственное ли и главное ли это?

По Спoku:

«В обширных знаниях мало пользы, если человек не умеет быть счастливым, не умеет уживаться с людьми, не справляется с работой, которой он хочет заниматься». И далее: «Главное, чему учит школа, — как найти свое место в жизни. Различные предметы, которые дети проходят в школе, являются лишь средствами для достижения этой цели».

Совпадает ли такой угол видения с нашими взглядами, к которым мы привыкли?

Наказания, к которым прибегают родители, разнообразны. Позвольте не приводить вам разные формы и мотивы их. Отмечу, что доктор Спок противник наказаний. Он считает, что лучше найти способ поощрения ребенка приблизительно в такой форме: «Если ты подумаешь, то поймешь, что это плохо. Я уверен, что в следующий раз ты этого не сделаешь». Но вместе с тем он дает ряд любопытных советов:

«Родители должны иногда сердиться...»

Если ребенок «поступил неправильно», он «этого ждет и не обидится, если ваш гнев справедлив».

«Если вы отругаете ребенка, который и без этого сожалеет о содеянном, то у него могут исчезнуть угрызения совести...»

«Наказание быть должно не главным элементом дисциплины, а лишь дополнительным энергичным напоминанием, что запрещение родителей необходимо неукоснительно выполнять».

«Помните, что если метод поощрения не помогает, то наказание только ухудшит дело».

В большинстве наших семей узаконено, что четкий режим питания обладает преимуществами перед свободным или гибким режимом. В связи с опубликованием сведений об известных преимуществах гибкого питания Спок, не делая догмы ни из того, ни из другого, пишет:

«Когда родители рассуждают так, как будто режим питания — это нечто вроде политических или религиозных убеждений, мне кажется, они упускают из виду главное... Режим необходим для пользы ребенка... и для удобства родителей... Режим экономит ваши силы и время».

Вспомните, каким образом у нас делают замечания ребенку. В интонациях нередко доминирует избыток эмоций. Особенно это относится к женщинам и невропатичным мужчинам. Настойчивость, раздражение. Молодая мать способна ворчать на своего ребенка так, как ее бабушка ворчала на нее. А злоупотребление интонациями приказа: «Вернись сейчас же!» Команда звучит, как на строевом плацу... Очевидно, личная заинтересованность, повышенное чувство ответственности, любовь к своему ребенку заставляют родителей быть сверхэмоциональными, нетерпимыми, бестактными, а следовательно, вместо воспитания лучших

качеств наносят вред. Причем проблема эта не носит локальный характер, а является в некотором роде интернациональной. Понятно, что все указанные недостатки могут обостряться на территориях, где традиционно доминирует горячий, южный темперамент, и, наоборот, принимать более сглаженный характер, где люди более спокойны и уравновешенны, как, например, в Сибири или Прибалтике...

«Избегайте раздражения и отчаяния».

«Постарайтесь делать это не в форме приказания и не ворчливым тоном, а спокойно, чтобы не вызвать еще большего упрямства».

Повторно Спок возвращается к тактичности в обращении с ребенком:

«Вы должны тактично направлять ребенка, но не вступать с ним в борьбу».

«Он чувствует себя в безопасности, когда вы направляете его поведение, при условии, что вы сделаете это тактично».

«Тактично, но твердо», «постарайтесь проявить максимум терпения и делать напоминания в вежливой форме, «само собой разумеющимся» тоном, как если бы вы говорили со взрослым человеком. Раздраженное ворчание способно убить всякое желание что-либо делать».

На мой взгляд, в советах, которые дает доктор Спок, имеются такие, которые, не задумываясь, можно переносить в коллективы лиц более старшего возраста, например, в больницу, где я работаю. Не торопиться, но действовать решительно. Не проявлять жесткой власти, а проявлять гибкость. Не делать замечаний при посторонних. А в ряде случаев даже... «предоставлять ребенку право решать самому».

Один из важнейших вопросов воспитания, который дискутируется во многих семьях, — каким должно быть отношение к ребенку? Родители, особенно отцы, боясь избаловать ребенка, ратуют за строгость. Матери чаще всего стремятся приласкать «бедного ребенка, которого бессердечный отец своими замечаниями и насмешками и так доводит до слез»...

Доктор Спок по этому поводу высказывает твердое мнение: «Дело не в строгости или в мягкости. Добрые родители, которые не боятся настоять на своем, когда нужно, получают хорошие результаты и при умеренной строгости, и при умеренной мягкости...» «Строгость, исходящая из грубости, или мягкость, исходящая из застенчивости

или беспринципности, могут привести к плохим результатам». И вот, наконец, главное: «Результат воспитания зависит не от степени строгости или мягкости, а от ваших чувств к ребенку и от тех жизненных принципов, которые вы ему прививаете».

Очень хочется обратиться к мысли о необходимости учить ребят веселью, поддерживать в них стремление к юмору, шутке. Мы, русские, обладаем неисчислимым природным юмором. Но почему-то исключаем его из арсенала средств воспитания. А между тем сами же в путевых очерках с завистью ссылаемся на «традиционный английский юмор», рассказываем о том, как на конгрессах и научных съездах доклады начинаются и завершаются шуткой, пишем о французском непринужденном веселье...

Ребенку, как воздух, необходимо веселье. Понятно, что человеку, лишенному чувства юмора, эти советы не впрок. Да беда в том, что и веселые люди иногда детей воспитывают хмуро. Так спокойнее. Может быть, и спокойнее, но скучнее. Пошутил ребенок — рассмейся. Его нужно обучать юмору, веселью. Играть с ним. Прав Тур Хейердал, который считает, что человек, лишенный чувства юмора, не способен переносить лишения.

Все перечисленное выше дает основания утверждать, что молодожены или супруги, становясь родителями, берут на себя большую ответственность. Но дело не только в изменении режима дня и высвобождении большого количества времени, которого и так не хватает. Нужно подготовиться к мысли, что мы приобретаем новую, быть может, главную свою профессию. Семья — это своеобразный маленький коллектив, в котором необходима определенная нравственная атмосфера, ибо каждый шаг, каждое слово, каждая интонация подсознательно, а позднее и сознательно будут скопированы и воспроизведены в гиперболизированном варианте. Не всегда. Но к этому должно быть готовым. Значит, даже если мы не обладаем рядом необходимых качеств — нам придется ими обзавестись: быть ласковыми друг к другу, приходить после тяжелой работы домой с улыбкой, быть сдержанными, отзывчивыми, спокойными. Одним словом: «Уча других, учишься сам». Более того, поскольку мы условились, что наши дети должны быть лучше нас, то мы уподобляемся тренеру, который

своих подопечных стремится довести не до повторения, а к превышению рекорда. Мы производим отбор всего, чем обладаем, и лучшее передаем нашим детям.

Особым вопросом, который обсуждается в книге доктора Спока, является отношение к помощи старшего поколения при уходе за внуками. Время, которое требуется для ухода за ребенком и его воспитания, столь значительно, что даже если один из членов семьи не работает, это становится проблемой. А если детей двое или более? А если работают оба, а «стариков» в семье нет? Вспомните хроникальную повесть Н. Баранской «Неделя как неделя»¹, вызвавшую горячие споры. Понятно и естественно стремление молодой семьи жить отдельно, решать своими силами вопросы нравственности и экономики в соответствии с современными взглядами... Но быт он и есть быт. И лучшие ваши желания входят в конфликт с возможностями. Что делать? Где взять время на детей? А может быть, все-таки признать неполностью исчерпанным резервом старшее поколение? Считать его помощь полезной?

Спок рекомендует в случаях усложненных отношений между матерью и бабушкой бразды правления брать в свои руки матери. Что, в общем, и правильно. Однако подавляющее число женщин в нашей стране работает, что затрудняет возможность столь решительного отказа от помощи бабушек. Вместе с тем во всем мире и у нас продолжительность жизни людей настолько возросла, что вопросы рационального использования лиц, скажем, зрелого возраста, стали весьма актуальными.

Очевидно, уместно обсудить несколько неожиданную возможность участия в воспитании внуков... дедушек. Я не оговорился. Не только бабушек, а именно... дедушек. И вот почему. Ведь многие из них уходят на пенсию или сокращают интенсивность своей деятельности в возрасте, когда человек обладает значительным запасом душевных и физических сил. Более того, ряд из них уходит со своей работы с чувством внутреннего неудовлетворения.

Между тем человек думающий и активный, даже если сфера его воздействия направлена всего лишь на близких страждущих друзей или детей, которым стоит отдать лучшее, что накоплено за всю жизнь,—

¹ «Новый мир», № 11, 1969.

может, по моему глубокому убеждению, испытывать глубокое удовлетворение и считать свою миссию выполненной, уметь в этой духовной отдаче находить свое счастье. Возможность не единственная: как мы нуждаемся во внештатных воспитателях в детских больницах, сколько точек приложения жизненного опыта и сил в общественной деятельности!..

Именно поэтому пожилые люди являются, на мой взгляд, неистощимым и бесценным источником воспитания ребят. Пусть они не обладают знаниями в области современной психологии и педагогики. Зато у них отсутствует тот избыток эмоций, который так мешает воспитательным акциям родителей. А может быть, сознание и понимание того, как много ошибок они допустили, воспитывая своих детей, делает их мягче и добрее. Да и любовь к внукам, говорят в народе, посильнее родительской любви, на проявление которой у родителей по занятости как раз не хватает времени. Мне хочется быть правильно понятым. Среди лиц старшего поколения, как среди людей любого возраста, встречаются не только подлинно талантливые по духу педагоги, но и многословные, нудные люди, способные причинить больше вреда, чем пользы... Но сейчас я веду речь именно о тех дедушках и бабушках, которые оставили в нашей памяти светлое воспоминание доброты, справедливости, радости, о тех, с которыми нам всегда было хорошо и не хотелось расставаться. Коль скоро человек старшего поколения сумеет обуздать свою властность, связанную с привычкой или возрастом, и возьмет на себя трудную роль воспитателя внуков, то можно лишь радоваться, что в вашей семье еще живы старики...

Изложенное дает основание утверждать, что родители — это специальность наиболее простая, поскольку — за редким и грустным исключением — все родители. Но это и специальность наиболее сложная на свете, если относиться к ней всерьез. Более того, родители — это должность, выше которой не существует ни в одном официальном органе. От добросовестного и творческого выполнения ее зависит наше будущее.

Для того, чтобы итоги статьи не прозвучали неожиданным диссонансом к написанному ранее, я вынужден несколько отвлечься.

Я знаю, что для большинства моих со-

отечественников в понятие «смысл жизни» входят интересы общественные и личные. Меня же интересует, кроме того, в какие отношения входят люди друг с другом, чем заполнены промежутки между выполнением ими кардинальных, государственных функций. Как происходит процесс общения людей в бесконечных соприкосновениях на работе, собраниях, на улице или в магазинах, дома, на отдыхе.

Это важно и потому, что форма этих отношений — всегда сложных — рождает разные чувства: радость и горе, удовлетворенность и безнадежность, энергию и апатию, энтузиазм и прострацию. И согласитесь, что все эти перечисленные чувства властно влияют на то, каким образом будем мы идти к цели. Над этим стоит задуматься.

Потребности человека растут столь быстро, что казавшееся вчера недостижимой мечтой — сегодня становится нормой, начиная от жизни вне общежития (я имею в виду отдельные квартиры), кончая телевизором и холодильником. Понятно, что иногда может появиться желание обладать материальными благами, не ограничиваясь их масштабами. Но, как учит нас опыт, никому это еще счастья не приносило. Тем более что, согласно неумолимому экономическому закону, если кто-то имеет излишнее — он всегда получает его за счет своего ближнего...

Первое и главное место в жизни человека занимают идеи, которыми он руководствуется. Побеждают только верующие, писал Максим Горький. Мы вооружены наиболее передовой философией, когда-либо существовавшей в истории человечества, — марксистско-ленинским учением. Сила его заключается в диалектическом понимании объективной реальности: созданное для изменения мира, оно должно непрестанно развиваться. Оно оплодотворяет все без исключения виды деятельности человека, его духовный мир, определяет его этику. Отношения к долгу: перед родиной, коллективом, семьей. Совестливость. Совесть. Ту, о которой великий Ганди писал: «Я знаю только одного тирана — тихий голос своей совести». Уважение друг к другу. Вне зависимости от ранга и возраста. В том числе к мнению или мыслям маленького ребенка. Самодисциплину. Прекрасно о ней сказал доктор Спок: «Каждому ребенку необходимо развить само-

дисциплину, чтобы стать полезным членом общества... Дисциплину не наденешь на ребенка, как наручники».

В той же мере как содержание неотделимо от формы, так высокие идеи и вера наша в коммунистические идеалы неотделимы от нашего поведения. Окиньте мысленным взором коллективы или семьи, которые порадовали или поразили вас своей творческой атмосферой, нравственной чистотой. В них доминируют спокойный, уважительный тон, дружелюбные интонации, внимание, отзывчивость, сдержанность эмоций, деловитость, энтузиазм, дисциплина, оптимизм, терпение и терпимость, юмор, веселье. Иначе говоря, приметы советского культурного человека.

Герой Социалистического Труда академик Вадим Александрович Трапезников недавно высказал четкое положение, что экономические затруднения могут возникнуть также в связи с недостаточным влиянием надстройки на базис. А именно воспитание, мораль, нравственность оказывают в свою очередь непосредственное влияние на развитие производительных сил. Человек способен допустить грубые нарушения в сфере своей деятельности на любом посту — будь он рабочим у станка, колхозником или руководящим работником, когда он плохо образован, плохо воспитан. В семье родители, а в школе педагоги занимают эти руководящие посты!

С каждым годом у нас возрастает число людей образованных. Но, увы, как мало из них, именно из числа образованных людей, хорошо воспитанных. Образование и воспитание не всегда совпадают. Необходимо помнить, что существует формула: культура — это образование плюс воспитание. И одна из важнейших задач — всемерно повышать уровень культуры воспитания, культуры производства, культуры управления.

Хочу привести соображение, которое относится к интенсификации любого рода деятельности, о чем так много пишут в последнее время. Речь идет о значении в творческой жизни общества талантливых людей, в чем ни у кого не возникает сомнений. Однако отчего-то считают, что рождение таланта есть дело случайное и неуправляемое. Грубая ошибка! Недаром один ученый назвал живопись Ренессанса «эпидемией гениальности».

В чем же дело?

Замечательный советский пианист и педагог Генрих Густавович Нейгауз, воспитатель плеяды талантливейших пианистов, писал: «Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты». И далее: «Чем больше, шире и демократичнее культура, тем чаще появление таланта и гения».

Коль скоро принять эти яркие и справедливые слова, то дальнейшие соображения в пользу необходимости всемерного повышения уровня культуры всего общества становятся излишними. И правомерно говорить о необходимости каждому без исключения взрослому человеку овладеть второй важнейшей специальностью, превращаясь из дилетанта — в профессионала в области воспитания детей.

Пусть не покажется настойчивой параллель, которую я постоянно провожу между взрослыми и детьми. Как часто мы нуждаемся в смелых, инициативных людях. А их нужно не только искать, но и воспитывать. С детства. Причем воспитание это основывается на уважении.

Леонид Ильич Брежнев на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа Москвы в связи с выборами в Верховный Совет СССР 12 июня 1970 года говорил, что «...доверие и уважительное отношение к людям позволяют работникам обрести необходимое чувство уверенности, открывают простор для инициативы, смелого, творческого подхода к вопросам».

Понятно, что дети в такой же мере, если не больше, чем взрослые, нуждаются в доверии и уважительном отношении...

Именно всему этому мы должны учить детей с первых месяцев их жизни. Обучая детей, мы и сами, хотим того или нет, будем меняться. Хорошо обучая детей, мы будем меняться в лучшую сторону.

Длительность человеческой жизни шестьдесят — семьдесят и более лет. Следя с волнением за перипетиями общественных событий, мы зачастую забываем, что истинные человеческие ценности значительно выше той зачастую мелкой суеты, которой мы отдаем так много сил, времени, а иногда здоровья... Как детскому врачу и хирургу мне приходится повседневно сталкиваться с людьми самых разных возрастов в минуты их тяжелых переживаний, жестоких нравственных потрясений. Понятно, что родите-

ли и родственники больных детей, находящиеся порой в критическом состоянии, ведут себя по-разному, и их можно понять. Но стремясь понять их и помочь им и их детям, невольно начинаешь размышлять над многими причинами явлений. Естественно, возникает желание приносить наибольшую пользу. Больше той, на какую ты и твои коллеги способны. И вот книга доктора Спока дала дополнительный толчок к тем размышлениям, с которыми вы познакомились. Даже если они вызовут разно- речивые чувства, мне хотелось бы подчерк-

нуть, что продиктованы эти размышления самими утилитарными побуждениями. Нужно, чтобы наши дети были здоровы. Физически и духовно. А в том, что дети, семья и общество связаны между собой общими неразрушимыми связями, вряд ли можно сомневаться.

Остается лишь самое малое — действовать. Каждому в меру своих сил и чувства ответственности. Перед детьми, семьей и родиной.

С. ДОЛЕЦКИЙ,

профессор, доктор медицинских наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

НОРА АРГУНОВА. Песенка Савояра. Рассказы. «Детская литература». М. 1969. 112 стр.

В эту небольшую книжку писательница Н. Аргунова поместила свои рассказы о животных и о людях — тех, кто любит четвероногого зверье, и о тех, кто к ним относится враждебно.

Кажущаяся простота этого деления на самом деле влечет за собой серьезные моральные, нравственные проблемы. Их-то и стремится поставить автор книжки.

Что такое любовь к животным? Лежит ли в ее основе желание человека получить пользу от них, положим, привязанность к собаке за то, что она охраняет дом, к лошади за то, что она выполняет хозяйственные работы. Или же тут другой источник привязанности?

Н. Аргунова считает, что любовь к животным, к природе вообще есть один из нравственных критериев человеческой натуры, одно из естественных проявлений души человека.

В рассказе «Славный зверь» в поезде, едущем с Севера, летчик везет с собой медвежонка. Соседи по купе забавляются малышом, угощают его сладостями. Но вот нагрянули ревизоры и грубо требуют изгнать четвероногого пассажира. С точки зрения железнодорожных правил ревизоры, возможно, правы, но в разгаре спора выявляется чиновничье бездушие одних людей, высокомерное желание «из принципа» доказать свою правоту и неожиданное в данной ситуации, изнутри идущее горячее чувство сочувствия к летчику и участия к беззащитному зверю, вдруг объединившее всех пассажиров.

Есть в книжке рассказы, целиком посвященные животному миру, родной пленительной природе: «Латуня» — поэтичная новелла о жеребенке, с которым приключилась необыкновенная история, об умном и озорном дельфиненке («Сынок»), о сурке Тишке, который «прекрасно знал, что делать можно, а что запрещено», проявлял чудеса сообразительности и музыкальности («Песенка Савояра»).

В заметке от автора, предпосланной книге, Н. Аргунова вспоминает один случай, свидетельницей которого она была: в жаркий полдень к дому лесничего подъехал верхом на лошади парень, спешившись, он

привязал усталого коня к плетню на солнце-пеке. Едва парень скрылся в дверях дома, как лошадь подняла голову, выпрямила шею, вся как-то расправилась. А когда парень снова появился на крыльце, писательница, посмотрев на лошадь, поразилась: «Только что передо мной стояло гордое животное, статное, со свободно поднятой головой, с живым умным взглядом. Увидев хозяина, лошадь вся опустилась, пригнула шею, прижала уши, глаза у нее полузакрылись, и что-то притворно-тупое, рабское и злое появилось во всем ее облике». Животные понимают больше, чем нам кажется, говорит писательница. Подобно человеку, они тянутся навстречу ласке и страдают и ожесточаются, наталкиваясь на равнодушие.

Не только дети с радостным и теплым чувством к животным прочтут эти рассказы об удивительном мире, но, конечно, и взрослых читателей рассказы не оставят равнодушными. Зоркий глаз, наблюдательность и расположение к животным помогают Н. Аргуновой понять своих необыкновенных героев, тонко и точно донести до читателя их «психологию» и характеры.

Г. Павлова.

★

А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР. Статьи, материалы, воспоминания. «Советский композитор». М. 1969. 448 стр.

К. Игумнов, Г. Нейгауз, В. Софроницкий, С. Фейнберг — вот имена крупнейших советских музыкантов, каждый из которых явился основателем своей яркой пианистской школы. И среди них одно из первых — имя А. Гольденвейзера. Человек большого дарования, огромной эрудиции, он прожил долгую, наполненную многими интереснейшими событиями жизнь. Сверстник А. Скрябина, С. Рахманинова, Н. Метнера, близкий к Л. Н. Толстому в последние пятнадцать лет его жизни, он всегда оставался носителем лучших традиций русской культуры вообще и пианистской школы в частности. Таким предстает перед нами этот человек со страниц недавно вышедшего, посвященного ему сборника.

В этой интересной книге, составленной и подготовленной к печати одним из учеников А. Гольденвейзера — Д. Благим, читатель найдет отрывки из дневника Гольденвейзера, статьи многих музыковедов,

яркие воспоминания учеников и коллег, близко знавших выдающегося пианиста. Интересна небольшая статья Н. Гусева — личного секретаря Л. Н. Толстого, подытоживающая наиболее значительное в общении Л. Н. Толстого с А. Гольденвейзером.

«Жизнь музыканта» — так называется статья А. Алексеева, открывающая сборник. В ней рассказывается об основных этапах в жизни А. Гольденвейзера, становлении его таланта. В статьях, характеризующих А. Гольденвейзера, его исполнительские и педагогические принципы (таковы в сборнике статьи Н. Фишмана, А. Николаева, Д. Благого, в какой-то степени воспоминания Л. Ройзмана), содержится много интересного не только для пианиста-профессионала, но и для всякого культурного, чуткого к различного рода художественным явлениям человека.

Из воспоминаний об А. Гольденвейзере хочется отметить заметки Л. Ройзмана. Они написаны живо и увлекательно. Вот, например, забавный эпизод из этих воспоминаний: «В первой половине жизни близость с Л. Н. Толстым оказала определяющее влияние на весь духовный облик А. Б. Не мудрено, что, занимаясь с учениками в классе, А. Б. постоянно обращался к примерам, воспоминаниям, ассоциациям, связанным с общением с великим писателем. В таких случаях А. Б. начинал примерно так: «Однажды Лев Николаевич рассказывал мне...» Но тут на одном уроке Александра Борисовича перебила одна из студенток: «Это кто — Лев Николаевич? Оборин?» Хотя А. Б. очень любил Л. Н. Оборина, но в этот момент он «взорвался»...

Очень интересны воспоминания самого А. Гольденвейзера. Вместе с ним мы присутствуем на премьерах многих выдающихся произведений Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Метнера.

А вот его дневниковая заметка почти сорокалетней давности: «Еще прочел в «Новом мире» 10 неопубликованных писем Льва Николасвича (Толстого. — А. М.) к Н. Н. Страхову. Нынче в какой-то газете в библиографии прочел об этих письмах, что они, представляя интерес для биографов Толстого или Страхова, для широкой публики никакого интереса не представляют... А письма, как нарочно, — на редкость содержательные, живые и затрагивающие целый ряд самых важных вопросов и общественных, и философских, и всяких иных...»

К сожалению, не все вошедшее в сборник материалы безупречно в литературном отношении. Наибольшие претензии в этом плане относятся к воспоминаниям Н. Гончарова.

В целом же сборник оказался интересным. Приятно также и то, что ко всем его разделам приложены комментарии (весьма, кстати, обстоятельные), а в конце да-

же указатель имен и названий (составитель Т. Киселева).

Хочется надеяться, что в скором времени мы сможем иметь в своей библиотеке подобные сборники, посвященные и другим нашим выдающимся музыкантам.

А. Майкапар.

★

ПОЛЬ ВЕРЛЕН. Лирика («Сокровища лирической поэзии»). Переводы с французского. «Художественная литература». М. 1969. 191 стр.

Поль Верлен не издавался отдельной книгой с 1923 года, когда он вышел в очень хороших по тому времени переводах Ф. Сологуба. Миновало почти полвека. О Верлене слишком часто писали как о декаденте. Исключение составила статья Б. Пастернака, опубликованная в газете «Литература и искусство» весной 1944 года — к столетию поэта. Она перепечатана в нынешнем сборнике как послесловие.

Пастернак написал о Верлене с такой зоркостью и точностью, что, кажется, нечего и прибавить. Его характеристика Верлена пленяет гармоничностью, цельностью. Но автор предисловия к новому изданию Е. Эткинд пошел своим путем. Его статья аналитична. Автор не боится «поверить алгеброй гармонию» и добивается своего. Мы узнаем Верлена — мастера и сына своего времени.

Это был пленник утвердившейся буржуазной культуры. Парижская коммуна, которой Верлен искренне симпатизировал, пала. Действительность менялась на глазах. Росли города, людей становилось все больше, гудели заводы, неслись поезда. Это казалось и зыбким и незыблемым. Это походило на процветание и было несчастьем для отдельного человека. Не только потому, что беднякам жилось худо, но и потому, что человек все больше лишался ощущения личной причастности к ходу жизни. И Верлен был из первых, кто ушел в себя. Ушел в себя — и «унес» сумятицу своего времени.

Он всю жизнь бунтовал. Но после разгрома Коммуны этот бунт получил сугубо личный характер: Верлен разрушил свой домашний очаг, пил, буянил, сидел в тюрьме, обратился к богу и — «параллельно», как выражался он сам, — богохульствовал. Когда его избрали «королем поэтов», он пропал в кабаках и вскоре умер нищим.

Все это отразилось в гениальных стихах как нечто типичное и характерное для эпохи. Для декадентства в них слишком много правды, житейской искренности, неприбранности. В бунте Верлена не разврат, не поза, не программный аморализм, а боль человека, которому нечем жить.

Верлен писал об этом так, будто вовсе и не сочиняет стихи. Будто эти слова говорятя невзначай и случайно получается в рифму. Стихи Верлена как бы неотличимы от чувства, их продиктовавшего. Он «естественен непревосхитимо и не сходя с места», — говорит Пастернак.

Что это значило? Е. Эткинд пишет о знаменитой своею музыкальностью «Осенней песне»: главное в ней наряду с музыкой — «поэтическое осмысление человека как существа... отданного во власть слепого Рока». Здесь необходима одна оговорка. Медитации о человеке — игралище судьбы можно найти у любого романтика. Верлен раскрывает сугубо литературную тему с беспримерной интимностью. Едва ли не впервые каждый мог соотнести Рок не с Человеком вообще, а с самим собой, заурядным парижанином или провинциалом. Осенняя ночь, городское одиночество, бой часов, вой ветра, бессонница, накапливающие слезы — вот «рок» Верлена. Вот почему Пастернак дерзостно называет его реалистом.

Он же с досадой именуёт музыкальность Верлена «пресловутой». Досада понятная. Об этой музыкальности не раз писали так, словно она была чем-то внешним по отношению к стиху, словно она для украшения или в пику «острому галльскому смыслу». Между тем непередаваемая музыка Верлена именно потому непередаваема, что слита со смыслом. В его мелодиях — неделимая простота, непреднамеренность обыденной речи. Нет ничего трудней для перевода!

Лучше всего первозданность Верлена воссоздает А. Гелескул:

Душе грустнее и грустней —
Моя душа грустит о ней.

И мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце ни брело.

Оно ушло с моей душой
От этой женщины чужой.

Но мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце ни брело...

Мне кажется, переводы А. Гелескула обрезают своего рода нервный центр сборника, задают общий тон, под влиянием которого слушается и вся книга. В этом смысле он первый среди равных, даже если учесть блистательный опыт таких мастеров, как Б. Пастернак, Б. Лившиц, И. Эренбург, А. Эфрон, Э. Линецкая, В. Левик, и общий чрезвычайно высокий уровень нынешнего русского Верлена.

В. Портнов.

Бану.

★

ОСИП ПЯТНИЦКИЙ. Избранные воспоминания и статьи. Политиздат. М. 1969. 376 стр.

Осип Пятницкий был старейшим членом КПСС (с 1898 года), одним из крупнейших деятелей Коммунистической партии Советского Союза и международного коммунистического движения, одним из ближайших соратников В. И. Ленина.

О том, как высоко ценил В. И. Ленин партийную деятельность большевика О. Пя-

тницкого, хорошо сказала ближайший друг Ильича — Н. К. Крупская. В своем поздравлении в день пятидесятилетия Пятницкого она писала:

«Тов. Пятницкий принадлежит к числу тех товарищей, которые свою революционную деятельность начали в тяжелые времена царизма, когда наша партия загнана была в глубокое подполье и преследовалась самым жесточайшим образом. Двадцать лет проработал Пятницкий (или Пятница, Фрейтаг, как мы его называли) в подполье. Он был типичным революционером-профессионалом, который всю свою жизнь, всего себя отдавал партии, жил только ее интересами. Пятница был убежденный большевик, цельный, у которого слово никогда не расходилось с делом, на которого можно было положиться. Таким его считал Ильич».

Долгие годы пребывания в эмиграции (в Германии, Франции и др.) дали Пятницкому возможность изучить характер и особенности революционного рабочего движения за рубежом. «Так воспитывали, — писала Н. К. Крупская, — условия работы человека, на долю которого выпало вести руководящую работу в Коммунистическом Интернационале, вникать во все особенности движения каждой страны и помогать росту в них закаленных коммунистических кадров».

О. Пятницкий начал свою работу в Исполкоме Коминтерна в 1921 году. Автору этих строк посчастливилось продолжительное время работать с ним, наблюдать, какую поистине огромную помощь оказывали его конкретные, деловые советы представителям зарубежных коммунистических партий. Пройденная под руководством В. И. Ленина школа подпольной «техники» очень пригодилась О. Пятницкому. Он лично осуществлял контроль за деятельностью того отдела Исполкома Коминтерна, в обязанности которого входили вопросы конспиративной работы за рубежом.

Наибольшую часть сборника занимают «Записки большевика». Это воспоминания О. Пятницкого о его революционной деятельности в период с 1896 по 1917 год. В этих блестяще написанных мемуарах отражена грандиозная эпопея борьбы партии за свержение царского самодержавия в России и описана личная жизнь большевика — профессионального революционера.

В двадцатых—тридцатых годах мемуары О. Пятницкого неоднократно выходили отдельной книгой у нас и за рубежом, однако в настоящее время эта книга стала библиографической редкостью. Переиздание ее очень своевременно: воспоминания О. Пятницкого служили и будут служить делу революционного воспитания новых поколений борцов за коммунизм, за общечеловеческий прогресс.

Ал. Гринберг.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Т. Бак. Влияние В. И. Ленина и ленинизма на развитие Коммунистической партии Канады. 128 стр. Цена 18 к.

Б. М. Кедров. Энгельс и диалектика естествознания. 471 стр. Цена 1 р. 4 к.

Л. Н. Коган. Социальное планирование: работа, образование, быт. 87 стр. Цена 14 к.

А. И. Микоян. Мысли и воспоминания о Ленине. 240 стр. Цена 62 к.

Начальный курс научного коммунизма. 399 стр. Цена 66 к.

М. Панова. «Народный капитализм» сегодня. 63 стр. Цена 11 к.

Приветствия Коммунистической партии Советского Союза в связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина. 375 стр. Цена 62 к.

Б. Чехонин. Многоликая Япония. Заметки журналиста. 272 стр. Цена 54 к.

Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. 96 стр. Цена 12 к.

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. 483 стр. Цена 1 р. 18 к.

«МЫСЛЬ»

А. И. Володин. Герцен. 216 стр. Цена 23 к.
В. С. Выгодский. К истории создания «Капитала». 294 стр. Цена 1 р. 23 к.

Г. В. Ф. Гегель. Работы разных лет. В 2-х томах. Том 1. 668 стр. Цена 2 р. 20 к.

История СССР. Часть 2. 438 стр. Цена 85 к.

А. Г. Колосков. Разработка В. И. Ленинским принципов взаимоотношений между коммунистическими партиями. 150 стр. Цена 60 к.

Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. 447 стр. Цена 63 к.

С. Н. Надель. Социальная структура современной капиталистической деревни. 192 стр. Цена 56 к.

С. И. Попов. Критика современной буржуазной социологии. 111 стр. Цена 43 к.

Современные проблемы теории познания диалектического материализма. В 2-х томах. Том 1. Материя и отражение. 327 стр. Цена 1 р. 35 к.

С. И. Шкурно. Материальное стимулирование в новых условиях хозяйствования. 271 стр. Цена 1 р.

«ЭКОНОМИКА»

В. В. Воротинова, А. П. Павленко и Г. Э. Слезингер. Нормирование труда инженерно-технических работников и служащих. 255 стр. Цена 67 к.

Социалистические принципы хозяйствования и эффективность общественного производства. 256 стр. Цена 1 р. 2 к.

И. М. Сыроежин. Очерки теории производственных организаций. 247 стр. Цена 97 к.

В. П. Хайнин. План и материальное стимулирование. 175 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

День поэзии. 1970 г. Ленинград. Составители В. Азаров и В. Кузнецов. 351 стр. Цена 1 р. 47 к.

Ю. Керенеш. Христина. Повесть и рассказы. Авторизованный перевод с украинского. 216 стр. Цена 33 к.

С. Кэмпрад. Маяковский в Америке. Страницы биографии. 272 стр. Цена 64 к.

Д. Самойлов. Дни. Стихи. 88 стр. Цена 25 к.

Н. Чуковский. Девочка жизнь. Повесть и рассказы. 462 стр. Цена 88 к.

Н. Ф. Щербина. Избранные произведения. Составитель Г. Я. Галаган. 648 стр. Цена 1 р. 44 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Античная драма. Перевод с древнегреческого и латинского. Вступительная статья С. Алпа (Библиотека всемирной литературы. Серия 1. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв. Том 5). 767 стр. Цена 1 р. 48 к.

П. Антокольский. Медная лира. Французская поэзия XIX—XX вв. Переводы. 272 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Бэл. Следователь. Перевод с латышского С. Цебаковского. 238 стр. Цена 57 к.

А. Воронский. За живой и мертвой водой. Вступительная статья Ф. Левина. 432 стр. Цена 97 к.

В. Конецкий. Повести и рассказы. 390 стр. Цена 80 к.

Л. Леонов. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 3. Вор. Роман. 628 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. Нилин. Четыре повести. 542 стр. Цена 1 р. 7 к.

В. Панова. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 4. Лики на заре. Исторические повести.— Пьесы. 344 стр. Цена 60 к.

Черепаховый суп. Корейские рассказы XV—XVII вв. Перевод с корейского. 280 стр. Цена 31 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Библиотека современной фантастики. Том 18. К. Саймак. Почти как люди. Роман. Рассказы. Перевод с английского. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Дубов. Горе одному. Роман. В 2-х книгах. Книга 1. Сирота. Книга 2. Жесткая проба. Послесловие А. Туркова. 592 стр. Цена 1 р. 23 к.

Зарубежный детектив. К. Блахий. Ночное следствие.— Э. Накадзано. Свинец в пламени.— С. Хэйр. Чисто английское убийство. Составитель Л. Беспалова. 399 стр. Цена 1 р. 55 к.

А. Луначарский. За право на счастье. Дневники. Письма. Повести. 127 стр. Цена 23 к.

О. Смирнов. Зеленая осень. Повести 366 стр. Цена 73 к.

Ю. Яковлев. Позавчера была война. Рассказы. 207 стр. Цена 38 к.

«НАУКА»

Я. Буриан и Б. Моухова. Загадочные этрусски (По следам исчезнувших культур Востока). Перевод с чешского. 227 стр. Цена 62 к.

Воспроизводство общественного продукта в Японии. Сборник статей. 360 стр. Цена 1 р. 66 к.

А. Гершкович. Поэтический театр Петефи. 298 стр. Цена 1 р. 28 к.

Б. Горский. Атолл. Жизнь и смерть тихоокеанского острова. Перевод с французского. 256 стр. Цена 75 к.

Я. Гросул и Н. Мохов. Историческая наука Молдавской ССР. 125 стр. Цена 41 к.

Индустриализация СССР. 1929—1932 гг. Документы и материалы. 635 стр. Цена 3 р.

Я. Керемецкий. США: профсоюзы в борьбе с капиталом. 266 стр. Цена 82 к.

Д. Коваленко. Оборонная промышленность Советской России в 1918—1920 гг. 415 стр. Цена 1 р. 87 к.

Ленинский декрет «О земле» и современность. Сборник статей. 384 стр. Цена 1 р. 65 к.

Н. Соркин. В начале пути. Записки инструктора монгольской армии. 126 стр. Цена 43 к.

Французский ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции. 1968. 387 стр. Цена 2 р. 25 к.

Е. Черных. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. Материалы и исследования по археологии СССР. 180 стр. Цена 1 р. 24 к.

Этнические процессы в странах зарубежной Европы. Сборник статей. 284 стр. Цена 1 р. 31 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Марнов. Юконский ворон. Роман. 368 стр. Цена 77 к.

В. Митрошенков. Солнце в упряжке. Короткие повести и рассказы. 48 стр. Цена 10 к.

Н. Корнеев. Неспойное солнце. Стихи. 158 стр. Цена 48 к.

И. Кычанов. И снег, и ветер... Невский лед. Повести. 206 стр. Цена 49 к.

Л. Уварова. Где живет голубой лебедь? Короткие повести и рассказы. 94 стр. Цена 17 к.

Б. Шмидт. Признание в любви. Стихотворения. 63 стр. Цена 22 к.

В. Шукшин. Земляки. Рассказы. 208 стр. Цена 48 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Алексин. Узнаете? Алик Деткин! Повесть. 271 стр. Цена 56 к.

К. Булычев. Последняя война. Фантастический роман. 287 стр. Цена 65 к.

В. Келер. Возвращение чародея. 208 стр. Цена 47 к.

О. Коряков. Апрельские заморозки. Повесть. 143 стр. Цена 31 к.

С. Могилевская. Виолончель Санта Тереза. Повесть о музыке. 204 стр. Цена 59 к.

А. Мошновский. Моя Ангара. Повести. 287 стр. Цена 77 к.

Г. Никулин. Рассказы старшины флота. 109 стр. Цена 26 к.

В. Попов. Все мы не красавцы. Рассказы и повести. 102 стр. Цена 28 к.

Э. Рауд. Огонь в затемненном городе. Повесть. 176 стр. Цена 36 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора), **Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 22/VII 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/X 1970 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 27,6 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 10033. Зак. 2580. Тираж 160.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636